



Посреди
времен,
или
Карта моей
памяти



Посреди времен
или
Карта моей
памяти

Владимир Кантор



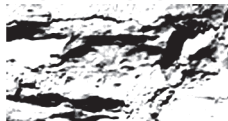
Письмена
времени

Владимир
Кантор

Посреди
времен,
или
Карта моей
памяти



Время – движущееся подобие
вечности



Платон



Владимир
Кантор

**Посреди
времен,
или
Карта моей
ПАМЯТИ**

Литературно-
философские опыты
(жизнь в разных
срезах)

Центр гуманитарных инициатив

Университетская книга

Москва — Санкт-Петербург

2015

УДК 130.2
ББК 83.3
Л68

Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ
и Союза российских писателей (2014)

Серия основана в 2004 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты ИНИОН РАН

Главный редактор и автор проекта «Письмена времени» С. Я. Левит
Составители серии: С.Я. Левит, И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденоко,
И.Л. Галинская, В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич,
Г.И. Зверева, А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская,
Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин,
П.В. Соснов

Научный редактор И.И. Ремезова
Серийное оформление: П.П. Ефремов

Кантор В.К.

Л68 Посреди времен, или Карта моей памяти / В.К. Кантор —
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская
книга, 2015. — 432 с. — («Письмена времени»)
ISBN 978-5-98712-165-8

В новой книге Владимира Кантора, писателя и философа, доктора философских наук, ординарного профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ), члена Союза российских писателей, члена редколлегии журнала «Вопросы философии» читатель найдет мемуарные зарисовки из жизни российских интеллектуалов советского и постсоветского периодов. Комические сцены сопровождаются ироническими, но вполне серьезными размышлениями автора о политических и житейских ситуациях. Заметить идиотизм и комизм человеческой жизни, на взгляд автора, может лишь человек, находящийся внутри ситуации и одновременно вне ее, т.е. позиции находимости-вненаходимости. Книга ориентирована на достаточно широкий круг людей, не разучившихся читать.

Значительная часть публикуемых здесь текстов была напечатана в интернет-журнале «Гэфтер».

УДК 130.2
ББК 83.3

© Левит С.Я., Осиновская И.А., составление серии, 2015

© Кантор В.К., 2015

© Центр гуманитарных инициатив, 2015

© Университетская книга, 2015

ISBN 978-5-98712-165-8

Существуют географические карты,
карты политические, дорожные карты,
карты памяти мобильных телефонов и компьютеров,
наконец, карты игральные.
Перед читателем карта моей памяти,
моей собственной,
которую я заполняю по мере моих сил
и свободного времени.
Насколько она увеличится — не знаю.
Пока это всего лишь наброски к большой карте.

Раз в Стране Чудес,
Там, на грани сна,
Где как гром с небес
Что ни год — война,
Где вокруг тюрьмы
Колокольный звон,
Жили-были мы
Посреди времен.

Дмитрий Кантор

1. Писатель и философ Владимир Кантор

Интервью с Виктором Шендеровичем, Радио «Свобода» 26.02.2006

Виктор Шендерович. Этот разговор происходит не в воскресенье, а за несколько дней до этого. Поэтому, как вы понимаете, мы выходим в записи, и вы не сможете принимать участия в моем разговоре с философом Владимиром Кантором. Добрый день, Владимир Карлович.

Владимир Кантор. Добрый день.

Виктор Шендерович. Первый вопрос — детский. Первый раз у меня в студии человек, — то есть много было здесь людей, которых можно вполне назвать практикующими философами, но впервые в студии — человек, у которого так называется специальность, профессия такая — философ. В детстве не было такого, что в школе слово «философ» употреблялось бы в презрительной коннотации, не было синонимом слова «демагог», «болтун»?..

Владимир Кантор. Вы знаете, нет. По многим причинам. Во-первых, я никогда в детстве не считал себя философом, хотя был из философской семьи — у меня отец философ профессиональный. А дед мой, который был профессор геологии, правда, не здесь, а в Аргентине, поступил в свое время на первый курс философского факультета и прошел весь цикл. Таким образом, настолько семейное дело, почти как коза ностра. К сожалению, и дед, и отец не имели никаких профессиональных как философы постов, я не знаю, как назвать... мест работы.

Виктор Шендерович. Вы меня заинтриговали этой частью биографии. Я мало что знаю про Вашу биографию. Расскажите, как отсюда в Аргентину и в какие годы — это я примерно представляю, а как из Аргентины сюда?

Владимир Кантор. В 1926 г. вернулись. Потому что было почувствовано и подумано, что здесь действительно страна, которая осуществила прорыв к свободе, и счастье человечества куется здесь. Поэтому в 37-м или 38-м деда посадили, разумеется.

Виктор Шендерович. В общем, было бы странно, если бы нет. Чьим он «шпионом» был?

Владимир Кантор. Его называли троцкистом, судя по обвинениям, которые были в газетах тогда, одна из них у меня сохранилась. Он сидел недолго, вышел перед войной, так что всех прелестей он не вкусил. Но хватило.

Виктор Шендерович. Хватило, чтобы понять что-то про ту идею, для которой сюда приехал?

Владимир Кантор. Мне трудно говорить, я деда не застал, вернее, он умер, когда мне был год, так что я общаться с ним не смог. Он уехал сразу после выпуска, когда его выпустили, в эвакуацию, т.е. тоже была ситуация не рабочая, он уже не работал никак. Поэтому про идею я не знаю. Я знаю по рассказам отца, когда он приехал, отец был в комсомольском возрасте и любил, естественно, левую поэзию, Маяковского и так далее. Дед купил себе шеститомник Пушкина. Может быть, вы помните, был такой академический, кажется, первый шеститомник.

Виктор Шендерович. Не застал. Я уже застал 10-томник.

Владимир Кантор. Понятно. Вот я шеститомник помню, он стоял у нас дома.

Виктор Шендерович. Сколько Вам лет? Такой дурацкий вопрос.

Владимир Кантор. Мне 60.

Виктор Шендерович. Ого!

Владимир Кантор. Мне немало.

Виктор Шендерович. Нет, мое «ого» относится к тому, что я был склонен думать, что мы ровесники.

Владимир Кантор. А Вам сколько?

Виктор Шендерович. Мне 48. Ну, в общем, ровесники.

Владимир Кантор. Почти. От деда остались книги по философии на немецком языке — Кант, Гегель, которые он читал, естественно, в подлиннике. А я мальчишкой смотрел и думал: на фига мне все это? — думал я. Никогда не думал, что судьба меня приведет именно к этим занятиям.

Виктор Шендерович. Зачем? Это вопрос досужий, вопрос обывательский. Но действительно, я очень хорошо помню, что мне было сильно под сорок, когда я впервые задумался о практической пользе знания философии и — в отношении себя — о практическом вреде ее незнания. Вдруг оказалось, мне показалось, что это имеет отношение к жизни, а не только к тому, чтобы сдать зачет и забыть об этом навсегда. Вы, как я понимаю, довольно рано почувствовали вкус к этому как к профессии?

Владимир Кантор. Вы знаете, нет, и это не так. Я почувствовал вкус к писательству. Я автор многих романов и даже лауреат неко-

торых премий и зарубежных, и российских, как писатель. Но поскольку до перестройки я был абсолютно непубликуемый писатель и невыездной философ, то философией я занимался для себя, писал я тоже в стол. Но я понимал одно, что в России, да и не только в России, на самом деле писатель не может писать хорошо или, вернее, осмысленно, так я бы сказал, не пытаюсь размышлять о мире, самостоятельно размышлять. А философия может быть единственная из наук... Она вообще не наука, строго говоря, любовь к мудрости — философия. Очень скромно себя философы назвали: мы не мудрецы, говорили они, мы любители — мы любим мудрость. И философия дает возможность и способность, если ты действительно что-то усвоил, самостоятельно мыслить, вот и все. Для этого, конечно, не надо знать, условно говоря, Платона, Декарта или что-то еще, не знаю, Соловьёва, Достоевского, но это ход к тому, чтобы постигать. Часто говорят — философ может говорить на любую тему. Ну, наверное, может. Хотя тоже это несправедливо. Я не люблю говорить на те темы, о которых я не знаю. Потому что в то, что я знаю, я могу привносить философский поворот. Но то, о чем я говорю, я всегда говорю как профессионал, только о тех вещах, которыми я занимался, которые я понимаю, давая, если угодно, некий уровень другой.

Виктор Шендерович. Дед был геолог по специальности. У Вас есть какое-то знание о мире предметное, естественно-научное?

Владимир Кантор. Естественно-научного нет. Я кончал, вообще-то говоря, не философский, а филологический факультет, и я занимаюсь историей русской культуры, литературы. Я автор многих книг и по истории культуры, и по истории русской литературы, помимо всего остального. Так что у меня есть профессия.

Виктор Шендерович. Скромно сказал Владимир Кантор.

Владимир Кантор. Ну, в общем, да.

Виктор Шендерович. Сегодняшнее, я недавно читал, надеюсь, не я один, замечательное даже не интервью, беседу с нашим общим другом Леонидом Никитинским. И меня действительно порадовал такой, как ни странно, оптимистический взгляд на происходящее, не на конкретно происходящее, не в малом времени, как говорится. Вы довольно спокойно — или это такое впечатление производило, что Вы довольно спокойно, — относитесь к тому откату, который сейчас происходит, совершенно очевидно возвращению куда-то в те времена, из которых вышли наши дедушки и бабушки. Вам это кажется естественным и временным явлением. Если я правильно понял ощущение. В Вас нет такого апокалиптического драматизма в связи с этим.

Владимир Кантор. Вы знаете, одна моя знакомая говорила, что я человек с катастрофическим сознанием.

Виктор Шендерович. Вы?

Владимир Кантор: Да. Как раз, если Вы почитаете мою прозу, Вы увидите, что там много апокалиптических предчувствий. Скажем, роман «Крокодил» вышел почти накануне ГКЧП. Как-то мне сказала жена: «Ты всегда предсказываешь». Я говорю: «Что же я предсказал?» Этот разговор был вечером, утром мы включили телевизор — ГКЧП. «Вот тебе и крокодил», — сказала жена. Извините, я все-таки на Ваш вопрос отвечу. Я немножко помудрел с возрастом, все-таки 60 — это уже предполагает не только любовь к мудрости.

Виктор Шендерович. Но и самую мудрость.

Владимир Кантор: Возможно, и самую мудрость. Я понимаю одно, что история не только России, вообще мировая история полна и откатов, и возвратов, и переходных периодов. У нас говорят — сейчас переходный период. В России всегда переходный период, у нее не было периодов не переходных. Возьмем реформы Александра II, возьмем Николая II, революцию, 30-е — это все переходные периоды. Субъективно, конечно, хочется жить при свободе, демократии и благосостоянии. Естественное желание любого нормального человека. Вместе с тем я понимаю одно, что если не произойдет какого-то непоправимого сдвига исторического, т.е. когда кончится история, кончится человечество, то и это переходный период, и мы к чему-то другому придем. Мы не возвращаемся к тому, что было, хотя внешне, конечно, на это похоже. Похоже, по знаковым каким-то выражениям, гимнам и так далее, другим вещам, по телевизору, который стал невыносим абсолютно, потому что за редким исключением смотреть там просто нечего, информации никакой, она абсолютно нулевая. Я понимаю при этом, что это совершенно не похоже даже на хрущёвское время, даже на брежневское время. Потому что, я думаю, что брежневское время вы все-таки помните.

Виктор Шендерович. Да уж.

Владимир Кантор. И помните, как порой в какой-нибудь компании, особенно за хорошей рюмкой водки язык развязывается, и ты говоришь, говоришь, а утром судорожно вспоминаешь: а кто же был четвертый? Сейчас такого нет все-таки.

Виктор Шендерович. Нет, конечно, нет. Выступая в качестве, привычном для себя в этой студии, адвоката дьявола, я хочу сказать, что банальная вещь, что 37-й год тоже не сразу стал 37-м, перед ним были 27-й, 32-й, т.е. все это тоже случилось не сразу. И были времена и на уровне 28-го года какого-нибудь, когда разговаривать можно, только пресса вся либо в эмиграции, либо... В общем, в эмиграции, но еще не уничтожена вроде бы, т.е. таких массовых, по крайней мере, репрессий нет, но уже государственная. И нацио-

нализация, и партии свернуты. Вот 28-ой год. В этом смысле, конечно, мы, может быть, из нашего 28-го года не пойдём в 37-й, я надеюсь на это очень сильно. Все-таки действительно — Интернета не было, спутникового телевидения не было, свободы перемещения уже, в скобках — еще. Но какие-то штрихи очень похожие.

Владимир Кантор. Дело даже не в Интернете, я думаю, и не в телевидении спутниковом, и ни в чем, а в страхе элиты. Элита помнит, шкуркой помнит, что было, когда вся элита ушла под нож, ушла под гильотину.

Виктор Шендерович. У Вас есть надежда на интеллект этой элиты?

Владимир Кантор. На интеллект надежды никакой — на шкуру, на ощущение того, что они должны чувствовать, как в какой-то момент механизм начинает работать и их может начать затягивать этой машиной.

Виктор Шендерович. Должны.

Владимир Кантор. И потом еще одна вещь весьма существенная, которая была у той элиты и абсолютно нет у этой. Она так тщательно пытается, дуется как лягушка, которая пыталась стать волком, придумать национальную или еще какую-нибудь идею, а там была идея. И не случайно эту эпоху и в России, и в Германии, и в европейской культуре называют эпохой идеократий. Правила идеи. Что за ними стояло — это другой разговор, это отдельный разговор, об этом тоже можно говорить. Но на идею опирались, идея структурировала поведение и властных элит, и народа в том числе. Массы, «народ» нельзя говорить, речь идет о массе. Что, собственно, и к сегодняшней ситуации относится, скорее мы имеем дело с прежними социальными структурами: это структуры власти и массы. Австрийский писатель и философ Элиас Канетти назвал так свою главную книгу — «Масса и власть», здесь может быть наиболее точное определение ситуации последних двух веков.

Виктор Шендерович. Простите, уйдем в боковую аллею, как говорится, очень интересная точка. Есть какое-то определение у Вас или может быть у Ваших коллег, точное определение, где масса становится народом или где народ становится массой?

Владимир Кантор. Томас Манн однажды замечательно сказал, что когда народ хотят обмануть, его вместо массы начинают называть народом. Я не знаю, что такое народ, можно ли назвать народом крестьянство, рабочих. Что такое народ — мне не очень понятно, потому что народ сам не очень это понимает. Когда началось движение народа в верхние этажи власти, я имею в виду еще не Октябрьскую революцию, а перед этим, когда отдельные персонажи, условно говоря, типа Ломоносова выбивались вверх, они как раз не думали, что они народ, они думали о себе как о личностях.

И проблема, собственно, простая: массы — это там, где отсутствует личность, естественно. Масса — это та самая толпа. Мы знаем, есть понятие психологического пространства вокруг каждого человека, мы стараемся по возможности сохранить его, толпа лишает нас этого психологического пространства, масса лишает. Но когда это уходит, когда «каплею льешься с массами», как говорил известный поэт, вот тогда тебе уже и не нужно этого пространства, потому что ты перестаешь быть личностью. Пространство нужно только личности. И когда народ начинают называть народом и к нему апеллируют как к народу, тем самым апеллируют, строго говоря, к его неким неправовым структурам сознания. Потому что я могу апеллировать к закону.

Виктор Шендерович. Это понятно, к чему ты апеллируешь.

Владимир Кантор. Это нормально. Я не апеллирую к народу, иначе я бы апеллировал к чему-то противозаконному. Я не могу апеллировать к народу как к высшей инстанции — это нелепость.

Виктор Шендерович. В конституции народ назван источником власти.

Владимир Кантор. Правильно. Но это только тогда работает, когда и над народом, и над властью есть закон. Если закона нет, то любые апелляции к народу абсолютно демагогичны.

Виктор Шендерович. Мы диалектику учили не только не по Гегелю, но и не по Канту, поэтому тот самый закон, который над нами, значит твердый и недвижимый...

Владимир Кантор. У нас его просто нет, к сожалению. Но я вспоминаю споры вокруг Третьей Государственной думы. Помните такую, естественно.

Виктор Шендерович. Я не застал, но рассказывали.

Владимир Кантор. Я понимаю. Я тоже не застал, но тоже рассказывали. Так вот там удивительное наблюдение одного из персонажей, которые принимали участие в этой Думе, думаков тогдашних или, как их тогда называли, думцев. Он говорит, что поначалу самодержец был над законом, но поразительно, что когда пришли выборные от народа, они тоже решили стать над законом. Потому-де, мы выражаем волю народа. Волю какого народа? Что есть народ? Народ — такое абстрактное понятие, некая бессмыслица. Я выражаю пскопских — понятно. Я выражаю волю москвичей — понятно. Я выражаю волю народа. Какого народа? Это что? Как говорил Чернышевский, очень любимый мною философ, который, к сожалению, в сознании масс загублен разнообразными над ним вивисекциями, он спрашивал, отчего это у нас считают, что народ всегда прав? И говорил: разве народ — это собрание римских пап, существ непогрешительных? Почему? Что это за апелляция странная?

Виктор Шендерович. Тем не менее выбор довольно небольшой у человечества: либо власть народа, демократия, та самая, про которую Черчилль сказал, что она ужасна, но все остальное действительно еще отвратительней. Либо все-таки попытка найти, вычленив из себя какую-то элиту и довериться ей. Но опыт, по крайней мере XX в. показал, что всякий раз, когда мы, человечество — в России, в Германии, где угодно, — пытались отставить в сторону скучные демократические механизмы и перейти к правлению с помощью непосредственно элиты, то эта элита оказывалась деспотичной вплоть до Пол Пота.

Владимир Кантор. Если говорить о таких материях, я позволю себе еще три минуты занять. Демократия родилась в Греции. Вы представляете, что такое полис? Это маленький город, очень маленький, даже Афины были крошечным городом, в котором бегали свиньи, которые однажды сбили с ног Сократа с учениками. Можете вообразить маленький городок, узкие улочки и так далее. Вот там родилось понятие демократии. Это демократия, когда я знаю вас, знаю соседа, я знаю всех. И то эта демократия умудрилась приговорить Сократа к смерти. Собственно, вся попытка Платона придумать идеальное некое государство есть попытка придумать такой социум, который не даст возможности убить Сократа, в итоге он придумал тоталитарное государство. Потому что демократия, как он полагал, в итоге ведет и к этому тоже — к убийству Сократа. Но там хотя бы было понятно правление народа. Когда появляются большие массы, власть народа становится бессмысленной, потому что масса не может руководить процессом.

Виктор Шендерович. Ну да, слишком... Непонятно, где рычаг.

Владимир Кантор. Непонятно, где рычаг, непонятно, кто руководит. Я не могу сказать: Виктор Анатольевич, я Вас прошу продумать ваш вопрос. Потому что Вы живете, предположим, в Питере, ибо, условно говоря, скажем, самая близкая точка от нас — Питер. Как когда-то говорили русские остроумцы: у нас между мыслью и мыслью пятьсот верст, имея в виду расстояние от Петербурга до Москвы. В огромной стране это невозможно. Даже в такой стране, как Германия, Польша, где за 30 миллионов зашкаливает, это невозможно. И Европа прошла в свое время, как хорошо показало некоторыми философами, в давние и не очень давние столетия школу либерализма, когда демократия пропущена через либеральную идею об ответственности человека перед законом, вот тогда она начинает работать как демократия. Потому что если просто правление демоса — то это безумие.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, история печальная, из Ваших слов вырисовывается картинка, старая история про

куру и яйцо. Как бы завести такой народ, в котором была бы власть этого народа, но перед этим он пропитался бы либеральными ценностями. Но откуда же ему пропитаться либеральными ценностями, если он будет переходить от Пол Пота к Ким Чен Иру, далее везде.

Владимир Кантор. Понятно. Вы знаете, вообще исторический процесс — процесс невеселый. Это, как мы знаем, Вы вспомнили Пол Пота и Ким Чен Ира, мы можем вспомнить...

Виктор Шендерович. И своих.

Владимир Кантор. И своих персонажей, и западных персонажей в большом количестве. Чего стоит XX век — будь здоров, а Французская революция, которая казнила не только людей, но и статуи. Вы знаете, что они статуи казнили? Статуи знати, статуи королей, статуи святых.

Виктор Шендерович. Но это как раз то самое идеологическое время, казнили идеологию.

Владимир Кантор. Вообще Французская революция — это отдельная песня. Когда она сформулировала равенство нации и государства, она дала толчок будущему нацизму Гитлера. Отсюда пошло.

Виктор Шендерович. Ого!

Владимир Кантор. На мой взгляд, да.

Виктор Шендерович. Давайте это расшифруем. У нас минутка до этого отрезка эфира. Давайте начнем здесь и продолжим после.

Владимир Кантор. Попробуем. Дело в том, что до этого Европа называлась «корпус христианум». Христианство — это наднациональная религия: нет ни эллина, ни иудея. И когда Франция, Французская революция секуляризировала государственные отношения и убрала христианство или, по крайней мере, наднациональную идею христианства из сознания, из правового поля, откуда угодно, и поставила знак равенства между выражениями «француз» и «французское государство», то дальше следовало все что угодно. Потому что, если ты не француз, а, условно говоря, норманец — а это немножко другое, а если ты из какой-нибудь другой области, британец (Британия же восстала тогда при Французской революции) — уже враг. И в итоге это доходит до нацизма гитлеровского, где было поставлено полное равенство между нацией и государством — и кто не ариец... Гитлер поставил немножко шире, расово обозначил проблему, но смысл был именно этот: немецкое государство, немецкий солдат, немецкая женщина рождает настоящих воинов. И что сверх этого, то враждебно, естественно. Вообще тема национализма, она одна из самых, на мой взгляд, катастрофических в последние 200—300 лет для человечества.

Виктор Шендерович. С этой невеселой ноты, пожалуй, начнем второй отрезок нашего эфира после выпуска новостей на Радио «Свобода».

Я возвращаюсь к тому, на чем мы закончили предыдущий отрезок эфира. Национализм последние 200—300 лет, сказали Вы. А до этого этот вопрос так остро не стоял — это был скорее религиозные войны?

Владимир Кантор. Национализма просто не могло быть. Была империя — Священная Римская империя Германской нации — называлось это так. Туда входили разные культуры, разные будущие государства, которые потом оттуда выпочковывались, если угодно. Но над всем этим все равно их держало христианство. У Грановского, был такой русский историк, была замечательная фраза, что до христианства сражались не только народы, сражались их боги в язычестве. Когда появилось христианство, которое было над всеми народами, хотя, конечно, каждый священник в каждой стране окормлял своих воинов, но все равно было понятно, что рано или поздно надо мириться, это все-таки в пределах одной культуры, в пределах одной веры. И, в общем, худо-бедно, Европа выстраивалась по этому принципу.

Виктор Шендерович. Скорее худо-бедно, конечно, учитывая сроки.

Владимир Кантор. Что касается сроков, Вы говорили о малом времени, придумал Бахтин замечательно: малое и большое время. Мы все время поневоле, потому что мы жители малого времени, из него смотрим на все остальное. Но если посмотреть из большого времени, тогда понятно то, что происходит сегодня — часть общего процесса и процесс исторический, процесс вхождения в историческое поле свободы, а я думаю, в конечном счете если говорить в некоем высшем философском смысле о цели движения истории, — это именно вхождение в это поле свободы. Это процесс, который займет не одно столетие, по крайней мере. Это длительный, невероятный процесс. Как он при этом, в каких формах выльется, мы тоже не знаем. Может, произойдет нечто, когда человечество встанет перед задачей освоения мироздания, если оно не погибнет, разумеется.

Виктор Шендерович. Вот эта оговорка очень актуальная. Потому что скорость, с которой возможности человека по самоучитожению превышают его способности к осмыслению, в XX в. нарастили страшным образом эту скорость. И совершенно действительно апокалиптические мысли волей-неволей приходят в голову, когда ты видишь ту цивилизацию, которая сейчас постучалась к нам в дверь, и понимаешь ее возможности. И в отличие от крестоносцев, они имеют возможность выпустить кишки не только тем людям,

которых они встретят возле Гроба Господня, они могут это сделать по всему миру.

Владимир Кантор. Крестоносцы — это их противники.

Виктор Шендерович. Нет, крестоносцы их соратники, союзники по способам, так бы я сказал.

Владимир Кантор. Дело в том, что войны, переселение народов, когда германцы, гунны и прочие шли на Рим, или когда татаро-монголы шли на Русь, уничтожались города, вырезалось все население. По тем временам это было равнозначно Хиросиме, если угодно. Неважно, как убьют город — сверху бомбой или войдут отряды ошалевших от крови молодчиков и вырежут всех до единого — это примерно одно и то же. Другое дело, что опасность Хиросимы, которая может стать мировой Хиросимой, — это, конечно, ни один Аттила, ни один Тамерлан проделать не мог. Хотя, может, в идеале к этому стремился.

Виктор Шендерович. Был бы не против, разумеется, просто руки были коротки.

Владимир Кантор. Не доходило. По степени уничтожения народонаселения соотносительно с тем количеством народонаселения, которое было в те эпохи, я думаю, мы не сильно превосходим другие страны по бессмысленности даже. Одно из самых страшных уничтожений — это Холокост, но нечто подобное можно, очевидно, найти не в таких масштабах, разумеется, безумных и бессмысленных, но можно найти в истории — стилистику, если угодно, уничтожения. Мы присутствуем при одном феномене, с которым мы должны считаться — увеличением численности людей. Это, с одной стороны, производит впечатление громадности жертв, с другой стороны, это дает возможность одному из миллионов совершить акцию человеческого самоубийства, нажав какую-нибудь непонятно какую кнопку. И с третьей стороны, очень странная вещь: когда идут массовые жертвы, то атрофируется чувствительность наша, гуманитарная, гуманная, как хотите назовите, чувствительность, она уходит. У Бунина в «Окаянных днях» есть замечательное, в свое время меня поразившее рассуждение. Он говорит: когда казнят одного или убивают одного, мы в ужасе, потому что это некто один, мы понимаем лицо, фигуру. Или Чухрай, когда снимает «Балладу о солдате» об одном, мы сразу понимаем, что таких Алёш было много. Когда, пишет Бунин, убивают семерых, какой-нибудь Леонид Андреев может написать рассказ о семи повешенных. Когда убивают 70, мы в оторопи. Но когда большевики убивают 70 тысяч, они лишают нас всякой чувствительности, мы не понимаем, что такое 70 тысяч, человек это не в состоянии вообразить. Вот это тоже одна из страшных тем, если угодно, человечества XX в., когда

людей стало много действительно, то уходит гуманитарная восприимчивость того, что происходит с человечеством. Мы говорим — шесть миллионов.

Виктор Шендерович. Это невозможно представить.

Владимир Кантор. Это невозможно вообразить. Поэтому начинают спекулировать. А на самом деле было не шесть, а два миллиона. Подумаешь, четыре взяли вынесли за скобки.

Виктор Шендерович. Ничего не меняется, самое главное, что это абсолютно ничего не меняет в оценке.

Владимир Кантор. Но при этом обыватель говорит: да, врут про шесть миллионов, на самом деле два было. Хотя два — это тоже непредставимая цифра, это сумасшедшая цифра, даже если было два.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, эта атрофия сознания, Вы ее связываете с уходом вот этой верховной власти христианства, о которой Вы говорили, говоря о Средних веках?

Владимир Кантор. В какой-то степени да. Хотя христианство, в отличие от всех остальных религий, я об этом не раз говорил, студентам люблю повторять, единственная религия, мировая религия, которая позволила секуляризацию. То есть она сохранила все свои ценности в секуляризованном виде — не убий, не укради, не прелюбодействуй, вводя их в систему правового сознания, правового поля, если угодно, и некоего нравственного императива. Потому что, воспитываясь в определенной среде, читая, как говорил Высоцкий, «нужные книжки», определенные книги, вы получаете запас этих христианских норм.

Виктор Шендерович. Собственно говоря, мы не подозревали, когда наши родители, мои, например, говорили мне, учили не врать и как минимум не лжесвидетельствовать, не убивать и не красть, мысль о том, что это имеет отношение к христианским ценностям, пришла мне на четвертом десятке.

Владимир Кантор. Это как раз и заслуга, как все в мире имеет обратную теневую сторону, это и заслуга христианства, которое позволило создать секуляризованное общество, и вместе с тем мы видим сегодня слабость, очевидную слабость христианства, которое не в состоянии противостоять сумасшедшим выходкам любых массовых террористических структур. Потому что террористические структуры, к сожалению, в основе своей опираются на принцип массы. Что дает силу террористу? Он не одиночка. У нас любят американские фильмы, где какой-нибудь маньяк, сумасшедший придумывает что-то и собирается уничтожить мир. Ничего подобного. За террористами всегда стоит воля миллионов и в этом ужас террора, на мой взгляд. Потому что, условно говоря, какой-нибудь Бен Ладен говорит, что за ним весь мир мусульманский.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, они взяли в значительной степени, по моим немусульманским наблюдениям, они взяли их в заложники.

Владимир Кантор. Кого?

Виктор Шендерович. Мусульманский мир в том числе.

Владимир Кантор. Разумеется. Но они-то спекулируют на том, что за ними миллионы.

Виктор Шендерович. Ну, знаете, как...

Владимир Кантор. Как большевики спекулировали, что за ними миллионы простого народа.

Виктор Шендерович. «Хамас», который имеет право говорить, разумеется, что представляет интересы палестинского народа. Мы знаем, что бывает в Палестине с тем, кто не разделяет идеи «Хамас». Таким образом увеличивается количество соратников — просто из чувства самосохранения.

Владимир Кантор. Может быть. Но я имею в виду другое. В данном случае, может быть, Бен Ладен не самый удачный пример. Классический пример — русский террор. Когда они убивали царя, губернаторов и прочих, они считали, что выполняют волю народа — это им давало силы. Не потому что они были те самые маньяки, которые собирались попить кровушки царя-батюшки. Нет, они выполняли волю народа, так ими понимаю. Я думаю, что сегодняшние террористы, — вы правы: народ — заложник у них, но они полагают, что они выполняют волю народа.

Виктор Шендерович. Что может такая индивидуализированная протестантская этика, которая опирается на отдельного человека, на отдельный разум, что она может противопоставить в практическом смысле, не в нравственном, что она может противопоставить этим миллионам и сотням миллионов?

Владимир Кантор. Практически противопоставить, очевидно, нечего, кроме структурирования по возможности окружающего вас лично мира, кроме выражения своих понятий о добре, справедливости, правде, чести и так далее. Минимальные надежды, что кто-то это услышит, поймет и воспримет. С предложением читать хорошие книжки — это тоже на самом деле. Вы знаете, я работаю со студентами, и один из моих курсов связан, как ни странно, не с философией, а с литературой. То есть, не могу сказать — заставляю, я предлагаю студентам читать некие книги.

Виктор Шендерович. Это студенты чего? МГУ?

Владимир Кантор. Я работаю в университете «Высшая школа экономики», философский факультет. Студенты-философы, которые сначала восприняли курс довольно высокомерно: нам — литературу? Вдруг они поняли, что это чрезвычайно важно. Они с

восторгом читали всю эту классическую мировую литературу. И я понимаю, что многие смыслы, духовные смыслы, ценности духовные — они оттуда, разумеется, усваивали не в меньшей, а может быть и в большей степени, чем из философских текстов.

Виктор Шендерович. Что они читают?

Владимир Кантор. Курс, если говорить о том, который я веду, от Данте и Рабле, условно говоря, до Бёлля, Джойса — этот промежуток я взял, включая русскую, разумеется, литературу — Толстого, Достоевского.

Виктор Шендерович. От поколения к поколению меняются просто правила хорошего тона. В моем поколении читать Бёлля было... просто не поняли бы. Сейчас вдруг как бы он вышел из фокуса, в расфокусе. Да, был, но это не обязательно.

Владимир Кантор. У меня к Бёллю особое отношение, не только у меня, у моего поколения. Мы читали «Глазами клоуна» — эта книга была просто библией для нашего поколения, мы читали и перечитывали по многу раз. Я своей любимой женщине дал читать эту книгу: пока не прочтешь, говорить не буду с тобой.

Виктор Шендерович. Хороший способ.

Владимир Кантор. А потом случилось так, что я получил стипендию Бёлля и полгода жил в доме Бёлля в Германии. Так вот что такой был неожиданный поворот моей собственной судьбы, связанный с Бёллем.

Виктор Шендерович. Что читает это поколение? Вы интересуетесь, что они читают за пределами вашего курса?

Владимир Кантор. Вы знаете, не очень понятно. Они читают современную, разумеется, по возможности литературу. Но я поразился, что когда я начал говорить о Данте, примерно треть моих студентов, а это второй курс, Данте уже читали, и для меня это было удивлением большим. Данте прочесть в общем не просто. И когда я начал им рассказывать: ад, рай и прочее, — я смотрю, они начали меня проверять. Говорят: Владимир Карлович, а это в каком круге?

Виктор Шендерович. Наглые студенты, но симпатичные.

Владимир Кантор. Слава Богу, экзамен я выдержал. Но тем не менее это было очень приятно. Приятно не то, что они меня спрашивали, а то, что они читали. Казалось бы, должны быть прагматики — экономика, я думаю о карьере, я думаю о другом. И вдруг идут на философский, где карьеры особой не сделаешь. Меня всегда поражают на самом деле студенты, которые идут на философский, филологический. И я про себя думаю: господи, как здорово, что еще кто-то есть, кто идет на эти специальности, из которых шубы не сошьешь никакой. И когда я прихожу в библиотеку гума-

нитарную и вижу полный зал молодежи, я думаю: значит, еще, как говорил Пастернак, значит, еще что-то читают.

Виктор Шендерович. Был замечательный фельетон Аверченко. Вы помните? «История русской грамоты». Про то, как вначале человек приходит... Глупо пересказывать Аверченко своими словами, но в двух словах: сначала человек приходит в библиотеку еще в царское время и просит именно это издание, именно смирнинское, именно оно ему дорого. Потом еще время проходит, еще и еще. И кончается тем, что два обывателя разговаривают: «Вы знаете, вчера виселица на площади была, очень похоже на букву Г». Такая эволюция русской грамоты. Все-таки читают — это действительно приятно.

Владимир Кантор. Читают — это приятно.

Виктор Шендерович: Вернемся к этой поразившей меня, честно говоря, Вашей мысли об ответственности Робеспьера за Адольфа Гитлера. О том, что действительно лозунги Французской революции... — вот не дано предугадать, как слово отзовется.

Владимир Кантор. Это правда. И наше с вами слово не дано предугадать, как отзовется, даже нынешнее.

Виктор Шендерович. Поэтому мы стараемся «фильтровать базар». У Володиной — к вопросу о лозунгах Французской революции — у Володиной Александра Моисеевича была потрясающая строчка: «Свобода и братство, равенства не будет. Никто никому не равен никогда». Не кажется ли Вам вслед за Володиным, что равенство и свобода — это вещи, друг другу противоположны?

Владимир Кантор. Это очевидно совершенно. Это до Володиной говорили почти сразу. Реакция на идею просвещения — свобода, равенство и братство.

Виктор Шендерович. Братство — да, братство меня устраивает.

Владимир Кантор. Неправильно Вас устраивает, как раз начиная от Ветхого Завета, с Каина и Авеля тема братства...

Виктор Шендерович. Специфически звучит.

Владимир Кантор. Вопросительно. Что такое наши братки или братовщина и прочее? Это тоже идет оттуда.

Виктор Шендерович. Это братство против закона.

Владимир Кантор. А помните замечательный анекдот советских времен, когда русский и поляк находят бутылку воды в пустыне и советский человек говорит: «Давай по-братски». «Нет, — отвечает поляк, — давай лучше пополам».

Виктор Шендерович. Замечательно.

Владимир Кантор. Тема Старшего брата, помните, у Оруэлла. Так что тему братства я бы вычеркнул, вынес за пределы.

Виктор Шендерович. Она не такая четкая, как понятие свободы и равенства.

Владимир Кантор. Она более требует художественного осмысления, но она неоднозначна абсолютно. Как и свобода, но особенно равенство. Равенства нет, условно говоря, по рождению. Говорят: Америка — страна всеобщего равенства. Дает ли Америка, как говорил Достоевский, дает равенство каждому по миллиону? Не дает. И какой-нибудь троечник, окончивший Йельский университет, вряд ли стал бы президентом этой великой страны. А мы знаем того, который стал. Видимо, не потому, что есть равенство возможностей, а потому что есть равенство невозможностей.

Виктор Шендерович. Так почему, давайте — это интересный вопрос. Где дефект механизма, почему троечник не только из Йельского университета, но и из других и вообще университетов не кончавшие, почему троечники при демократии становятся элитой, и все общество начинает жить по этим правилам и с этой пониженной планкой?

Владимир Кантор. Дело в том, что троечники очень устраивают массу, потому что масса — тоже троечники в своей основе. Ведь специалистов высокого класса не так много. Помните среднюю школьную или какую-то аналогичную, как мы все не любили отличников.

Виктор Шендерович. Ну, в общем, да, неприятный человек.

Владимир Кантор. Неприятные люди.

Виктор Шендерович. Много о себе понимают, как правило.

Владимир Кантор. Потом мы начинали подрастать и понимали, что отличник может быть не самый плохой, а вот есть такой, который о себе много вообще понимает и предлагает что-то, что я лично сделать не могу. А почему ты можешь, а я не могу? А вот этот троечник может то же, что и я. Когда нам предлагается выбор, конечно, я выбираю того, кто мне понятнее.

Виктор Шендерович. Понимаете, какая штука, противоречит логике обыденной, просто логике здравого смысла. Потому что если мне надо, чтобы мне электрику починили в квартире, я, наверное, выберу себе пятерочника, я выберу того, кто...

Владимир Кантор. Их нету!

Виктор Шендерович. Секундочку. Но есть кто-то, кто в этом разбирается. Так я за эти деньги лучше найму того, кто мне сделает, чтобы потом не замыкало по всей квартире. Но почему же электрика я постараюсь, если у меня будет возможность, выбрать пятерочника, а почему в случае с политикой с такой радостью мы отдаемся просто прохвостам, говоря щедринским языком, просто прохвостам?

Владимир Кантор. Во-первых, найти электрика-пятерочника очень трудно, даже за большие деньги. А если вы находите... Я вспоминаю рассказ отца, который студентом поехал к академику Тарле и пригласил его выступить перед студентами. Тогда это был

самый модный историк. Тот сказал: «Моя лекция стоит столько-то». И растерянный отец, у которого была студенческая какая-то сумма мизерная, сказал: «Но можно ли выступить перед студентами бесплатно, а если не бесплатно, то хотя бы за небольшую сумму?» Академик ответил: «Найдите другого Тарле».

Виктор Шендерович. Когда мы говорим о Тарле, в скобках — Копперфильде, Святославе Рихтере, то, пожалуй, что да, тогда можно так сказать. Но что касается электрика и даже хирурга, и даже политика, тем более политика, то, в общем, я думаю, что комплекс требований к этому человеку вполне по силам обществу многомиллионному, как, скажем, у России, из ста миллионов найти себе пятьсот человек умных и честных, а собственно, никакого третьего... умных, честных и работоспособных — все. Вот, собственно, все.

Владимир Кантор. Не получается почему-то, причем почти всегда. Я знаю несколько примеров исторических, как и Вы, когда это получалось. Условно говоря, Авраам Линкольн — это очевидный и пятерочник, и благородный человек. Собственно, его и убили поэтому. И, в общем, был такой замечательный, если говорить об американской истории, человек как Вашингтон, которого не убили, который совершил на самом деле величайший прорыв в истории человечества, когда они победили, ему предложили королевский титул. И он сказал: «Попробую впервые в истории обойтись без этого титула. Я буду президентом не более чем на два срока. Вернее, на один, на второй — если меня выберут. Но не более этого». Его хотели провозгласить пожизненно отцом нации и прочее. Прошло восемь лет, он ушел в отставку и сказал — нет.

Виктор Шендерович. Бывает же. Но, действительно, Вы правы, это исключение.

Владимир Кантор. Это уникальный случай. В России таких было, я бы назвал два, два с половиной, точнее. Это, конечно, Петр и Екатерина — это невероятное везение России. Уж откуда они взялись, мне непонятно. То есть Екатерина — понятно. Петр вообще чудо какое-то. Пушкин говорил о Петре: какое чудо в русской истории.

Виктор Шендерович. Толстой Лев Николаевич иначе писал об этом чуде.

Владимир Кантор. Льва Николаевича я не люблю, сразу скажу.

Виктор Шендерович. Я ему передам.

Владимир Кантор. Хорошо, при случае.

Виктор Шендерович. При случае, конечно. Надеюсь, что скоро. Понимаете, какая штука, да, это прорыв, вздыбивший Россию. Хорошо, это я Вас перебил, два с половиной, вы сказали.

Владимир Кантор. И Александр Второй — это половина, которой не хватило крепости или крутости, я не знаю как, нынешним языком говоря, Петра и Екатерины удержать страну в повиновении, потому что те проводили реформы. Ведь при Петре и при Екатерине в результате экономический уровень страны возрос в десятки раз, то, что называется национальным богатством или как еще назвать.

Виктор Шендерович. При этом, если говорить о Петре, то с Запада он взял только технологии.

Владимир Кантор. Не только.

Виктор Шендерович. Парламентаризм как идею он оттуда, мягко говоря, не вынес.

Владимир Кантор. А извините, из кого парламент было делать?

Виктор Шендерович. Ну да. Как идею, я же сказал.

Владимир Кантор. Как идею он вынес. Он первый приказал перевести на русский язык Локка, «О веротерпимости» его книгу, или «О толерантности», как ее назвали. А на Локке строится вся западная демократия. И это Петр велел сделать в России. Петр говорил с Лейбницем и по его совету построил академию в России. У нас часто говорят: а почему академию, а не школы начальные? А кто учил бы в этих школах начальных. Были люди? Не было.

Виктор Шендерович. Мне кажется, я не большой сторонник Петра Алексеевича, хотя кто меня спрашивает, собственно, но все-таки ему это нужно было для того же, для чего советской власти нужен был академик Сахаров — чтобы сделать водородную бомбу.

Владимир Кантор. Никакого проку от академии у него не было вообще.

Виктор Шендерович. Некоторые внешнеполитические интересы.

Владимир Кантор. Никаких. В этот момент — никаких. Конечно, он Россию поднял на дыбы, а не на дыбу — все-таки вздыбил. В том смысле, что Россия вошла в Европу, вернулась, вернее, в Европу, откуда она была изгнана татарами. Россия была морской державой при киевских князьях, она стала сухопутной при московских. При Петре она снова стала морской державой. Не было флота, не было армии, не было газеты, не было алфавита, которым мы пользуемся. Это не Кирилл и Мефодия, это алфавит, сделанный Петром, и так далее.

Виктор Шендерович. Разумеется. Я в данном случае повторяю, я выступаю в качестве адвоката дьявола.

Владимир Кантор. А академия как раз никаких политических выгод не несла, как не нес политических выгод перевод Локка. Ребята, учитесь толеранции — говорил он.

Виктор Шендерович. Вернемся напоследок к нашим делам скорбным. Когда мы выберемся из этого малого времени в какое-то чуть побольше?

Владимир Кантор. Во-первых, зависит от каждого из нас, в каком времени жить. Как сказал когда-то поэт — я о Науме Коржавине, — «нету легких времен». Их вообще нет в истории. И вопрос в том, как прожить в любом времени достойно. В общем можно. Система движений и откатов характерна для любого исторического процесса. Что будет, будет ли статус-кво некоторое, что было бы для России не самым худым вариантом на самом деле. Потому что статус-кво — это периоды, которые Россия переживала редко. Хотя статус-кво противное, но тем не менее. Я не знаю. Дело в том, что, как и всегда, все зависит не только от нас с вами и вообще не от России. Потому что как повернется мировое развитие. Скажем, карикатурная война, она говорит о тех процессах исторических глобальных, которые могут повернуть XXI век в совершенно неожиданную сторону. Роль России в этих процессах... тоже нам пока неизвестно, какую роль будет играть, не снова ли щитом.

Виктор Шендерович. «Милльоны вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы». На этой оптимистической ноте мы заканчиваем беседу с писателем и философом Владимиром Кантором. Спасибо, что пришли к нам.

**О ЖИЗНИ,
ВЫХОДЯЩЕЙ
ИЗ РЯДА...**

2. Попутное слово

Это слово будет в двух частях. Первая — объяснительно-информативная и благодарственная. Вторая уже вводит в мемуарное пространство книги.

I.

Приимерно лет десять тому назад некоторые издатели начали мне предлагать написать книгу мемуаров, мол, вы многое видели, у вас было много интересных друзей и знакомых. Я категорически отказывался, поскольку считал свое время малоинтересным, тем более неинтересной свою собственную жизнь. Да потом я не мог даже вообразить, как это я сяду и начну описывать свой мир, родственников от какого-то там колена, друзей, с которыми общался, пил водку, болтал. Тем более табу для меня были мои любовные увлечения (такими и остались). Точнее сказать, я размотал свою биографию по своей прозе, как и положено писателю. А переносить на бумагу реальные события моей жизни — кому это надо! Во всяком случае, я боялся отравы изображения подлинного себя, а не в костюме вымышленного героя.

А время? Что такое мое время? Слава Богу, никакой революции, никаких лагерей, никакой войны, сплошной брежневский застой, а перестроечный переворот был слишком очевиден, да и никак я не принимал в нем участия, жил себе да писал. Пару мемуарных текстов я написал как дань памяти. Раскопегарил меня Фейсбук и интернет-журнал «Гэфтер», особенно «Гэфтер», где мои «мур-муры», как назвала их моя знакомая, вдруг оказались востребованными наряду с культурфилософскими статьями. Пушкин как-то удивился, что с людьми, ставшими волею судьбы историческими фигурами, его связывало короткое дружеское знакомство. Такие люди, как мне казалось, были в предыдущем поколении, в поколении моего отца. Описывать снизу вверх не хотел, интонации же сразу не мог найти. Хотя рассказывать разные байки любил. Было в моем репертуаре несколько комических историй о столкновении с сильными мира сего. Но никогда не думал записывать их. Но ситуация Фейсбука и

«Гефтера» была тем для меня хороша, что позволяла не писать все подряд, а от случая к случаю выхватывать из жизни те или иные красочные эпизоды и фигуры. То есть не становиться мемуаристом, а оставаться рассказчиком. Это меня вполне устраивало. Тем паче, что на каждую мою публикацию в «Гефтере» (ибо они всегда перепечатывались в Фейсбуке) я получал одобрительные отзывы друзей-приятелей, френдов, если пользоваться фейсбуковским термином.

Так потихоньку набралось довольно много мемуарных эссе, ироничных, но без иронии после опыта XX в. и исторических безумств века теперешнего писать о жизни невозможно. Думаю, что читатель не посетует на иронию, а напротив, не раз улыбнется. Правда, так получилось, что герои моих эссе, особенно любимые, вдруг оказались теми не совсем обычными людьми, о которых стоит писать мемуары. Необычность их, как мне теперь видится, в том, что они так или иначе выломались из ряда, в который их пытался определить социум.

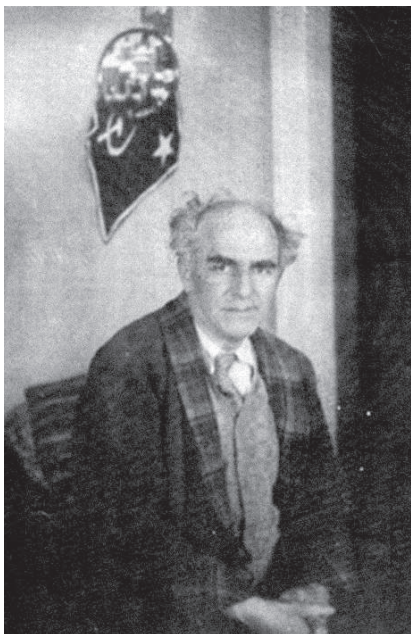
Известность и знаменитость для меня не были определяющими факторами, напротив, несмотря на серьезность ими совершенного и сделанного, мои герои не попали в мейнстрим сегодняшнего массового общества. В тех случаях, когда в героях оказывался сам автор, ирония и усмешка были непременным условием. В результате почти двухлетнего писания и печатания в «Гефтере» воспоминательных текстов и сложился основной корпус этой книги. Поэтому моя глубокая признательность шеф-редактору «Гефтера» Ирине Варской, первой читательнице моих мемуаров, которая не только их одобряла, но печатала. Мне иногда кажется, что если бы не было этих публикаций, которые как-то организовывали меня, то вряд ли я собрался бы перевести свои устные рассказы в печатный текст.

II.

Друг моего детства, юности и нынешних дней (изображенный как Лёня Гаврилов в новелле «Историческая справка», как раз ему и посвященной, а также в повести «Соседи» и рассказе «Милицейская фуражка»), узнав, что я хочу переиздать «Два дома» в полном — восстановленном — объеме и виде, попросил меня указать адресно место действия этой повести — ему очень хочется, чтоб она осталась хотя бы в реестре архитектурных описаний Москвы, чтоб он мог смело помянуть мой текст при составлении архитектурной исторической справки. Сообщаю: дом «бабушки Насти» — это 4-й Нижне-Лихоборский проезд, д. 26, кв.1. Дом «бабушки Лиды», где жил я постоянно вместе с родителями, — это Красностуденческий проезд, д. 10 (теперь — № 15), там жила профессура Тимирязевской академии.

«Бабушкинастин», маленький, двухэтажный, деревянный (там начинается действие), находился в знаменитых Лихоборах (название говорящее!), это была комнатка в коммунальной квартире на первом этаже, впрочем, читатель уже составил себе представление об этом жилище и его обитателях из повести. Мой дед, мамин отец — Сергей Антонович Колобашкин, получил комнату в этом доме в 1929 г. в самом начале раскулачивания, когда переехал (бежал почти) в Москву, бросив в деревне Покоево трехэтажный дом, хозяйство и несколько гектаров приусадебного сада с прудом и т.п. Дочери его имели свой выезд. Происходил он из крестьян. О прошлом не говорил со своими внуками никогда. Хотя мы знали, что его отец, наш прадед, был богат, извоз держал, детям дома оставил, а деньги прятал (рычал: «Умру — всё ваше будет!»), и нашли их только в начале двадцатых, когда они потеряли всякий финансовый смысл. В детстве я играл бумажными кредитками по пять и десять тысяч, не говоря уж о красненьких, синеньких и керенках, не отдавая себе отчета, что это часть потерянного моими предками состояния. Дедушка Сережа стал шофером и всю оставшуюся свою жизнь прожил в кошмарной коммуналке, но сохранил жизнь себе, жене и детям.

Пятиэтажный и кирпичный «бабушкилидин» относился к домам (два пятиэтажных и два четырехэтажных), которые люди из окрестных бараков называли — «профессорские дома». Там обитал «профессорско-преподавательский состав» Тимирязевской сельскохозяйственной академии (бывшая Петровская земледельческая, рядом роскошный парк, где в прошлом веке С.Г. Нечаев убил студента И.И. Иванова: см. роман Достоевского «Бесы»). Что же был это за состав? Начну со своей семьи. Мой дед по отцу, профессор геологии и минералогии (помню оставшиеся от него и стоявшие на столе у бабушки стразы лилового цвета) Моисей Исаакович Кантор, приехал в 1926 г. из Аргентины, занял по протекции Вернадского и Ферсмана кафедру в Академии (они ценили его аргентинские работы по геологии, где он имел кафедру в Ла-Платском университете). Сначала жил в коммунальной кооперативной квартире, а в 1937 г., когда был построен дом, получил взамен кооперативной трехкомнатную в новом краснокирпичном доме. Отсюда в 1939 г. его увезли на Лубянку. После разработки Керченского месторождения, за что был выдвинут на Сталинскую премию и в члены-корреспонденты АН СССР — Вернадским, Ферсманом, Вольфовичем, он в том же году был арестован по доносу своего заместителя как якобы троцкист (рассказ «Наливное яблоко»). Ни премии, ни звания, разумеется, не получил. Но пробыл в заключении до 1940 г. Надо сказать с чувством благодарности, что Вернадский поддерживал деда и после возвращения из



Моисей Исаакович Кантор
(1879—1946)

тюрьмы (сохранились письма). Дед скончался в 1946 г., через год после окончания войны, и был похоронен в Тимирязевском парке на кладбище для профессуры Тимирязевской академии.

Каких соседей по дому я помню или просто могу назвать? Было много известных людей. Приходил, быть может, к своему сыну, жившему в нашем доме, знаменитый почвовед В.Р. Вильямс. Приезжал академик Д.М. Петрушевский, великий медиевист, тесть профессора Д.А. Кисловского, зоолога, отец мой дружил с его сыновьями. От одного из них впервые услышал я хлебниковское, что люди делятся на изобретателей и приобретателей. Академик В.С. Немчинов, экономист, статистик, о котором положительно упоминал Сталин,

жил в среднем подъезде. Он был ректором ТСХА, его именем названа улица в Тимирязевском районе. По сути дела его экономическая школа сменила школу арестованного в 30-м году и расстрелянного в 37-м А.В. Чайнова, экономиста и блистательного писателя, тоже ученика и сотрудника Петровской академии. Жил там и академик Жуковский, биолог и генетик. Дед был в хороших отношениях с А.Р. Жебраком, под его влиянием и посоветовал своей невестке, т.е. моей матери, заняться генетикой. Приятельствовал он и с профессором математики Надеждой Васильевной Рындиной. Потом с ее сыном дружил мой отец, а я дружу уже очень много лет с ее внуком. Так что термин «профессорская культура» был придуман мной не случайно.

Этажом выше жил дед моего приятеля Андрея Дубкова (под именем Алешки Всесвятского он выведен в повестях «Два дома», «Я другой» и новелле «Немецкий язык») — профессор неорганической химии И.Н. Заозерский. Как я подозреваю, он был внуком, сыном или очень младшим братом профессора богословия Заозерского, с которым полемизировал Владимир Соловьёв. Позднее в этот дом переехал и школьный друг моего брата Андрей Добрынин, ныне известный куртуазный маньерист. Среди прочих достойных и известных там жил Жорес Медведев, к которому часто ходил его

брат Рой. Дом этот описан мной не однажды — и в романе «Крокодил», и в романе «Крепость», и во многих рассказах.

Построен дом был заключенными. 1937 год всё же! Мы, дети, догадывались об этом — на выдавленной чем-то и закрепившейся после обжига надписи на красном кирпиче, вделанном надписью во двор под окном профессора Н.Н. Тимофеева, жившего на первом этаже, стояли слова: «Кипич делаю заключенный в лагерь». Фразу эту я запомнил навсегда, включил в свой, на данный момент, самый значительный текст — роман «Крепость». Большая часть его действия происходит в этом доме. В романе было и эссе, которой писал главный герой: «Мой дом — моя крепость». К сожалению, эссе, как и многое другое философское и не только, из журнальной публикации было устранено. Боже мой, конечно же, я благодарен «Октябрю», пожалуй, с начала 90-х наиболее смелому журналу, за то, что напечатал, дал роману, хоть призрачную, но жизнь, объявил о его существовании. Просто для журналов, увы, кончилась эпоха длинных романов. Другие («Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», куда я тоже ходил) вообще даже рассматривать роман такого объема отказались. Но тем не менее вообразите себе Раскольников или Ивана Карамазова без их статей — вместо Достоевских философских романов просто детективные истории. Или «Войну и мир» без историко-философских размышлений и рассуждений Толстого? Что получается? Мыльная опера из жизни высшего света в эпоху Наполеоновских войн, а вовсе не историко-философский трактат в лицах, тем более не народная эпопея. В результате «Крепость» оказалась все-таки изрядно порушенной: вместо романа в 35 листов со сложной барочной структурой осталась сюжетная интрига на двенадцать листов, так называемый *журнальный вариант*. Правда, и в этом виде роман был выдвинут на премию Букера, которую, разумеется, не получил.

Теперь о посещавших этот дом. Наверно, это тоже важно. Кроме Петрушевского, других гостей наших соседей я не знал. К нам же приезжали либо заграничные друзья бабушки, два раза ее дочь, моя тётка — аргентинская поэтесса Лиля Герреро, и друзья отца, из которых самыми близкими, а потому мной любимыми были — кровный брат отца, сын моего деда Моисея Исааковича от его первого брака, знаменитый разведчик и писатель Алексей Павлович Коробицин (взявший фамилию своей матери), автор романов «Хуан Маркадо — мститель из Техаса» и «Тайна музея восковых фигур»; кинорежиссер Григорий Наумович Чухрай (ближайший друг отца со школьных лет); вернувшийся из ссылки поэт Наум Коржавин (он же Эмка Мандель), первый воспитатель моего подросткового еще вольномыслия; и last not least — писатель-прозаик Николай Семенович Евдокимов (тоже друг школьных лет отца), его заботе я обязан первой публикацией своей прозы.

3. Реальность той стороны луны. Мой дядя Алексей Коробицин, разведчик

Та сторона луны — это тайна, о которой знают только специалисты, космонавты и астрономы. Что уж говорить о тех, кто там провел не один день. Я говорю так отчетливо, ибо знаю, что мой родной дядя, брат отца, Алексей Коробицин, как раз и был человек лунной природы. Обманная, загадочная луна. Ведь Запад, где он жил годами (с тридцатых до середины пятидесятых), — это другая сторона луны, на которую, как мне в юности казалось, я никогда не ступлю. Никак не ступлю. Тем более как разведчик, как герой. А для него это была реальность. А можно и по-другому сказать: вся страна была покрыта сетью Архипелагов, и кроме архипелага ГУЛАГ был и архипелаг СМЕРШа, военной разведки, ЧК и пр. Не говорю уж об архипелагах структур, работавших на власть. Все архипелаги подчинялись нечеловеческим законам, но внешне были почти как люди. Хотя, быть может, у них были свои неземные поверхности.

Не знаю, в каждой ли семье бывает любимый подростком дядя, который при этом, а может и благодаря тому, выглядит немного таинственно. Как в английских таинственных романах типа Диккенса или Уилки Коллинза, Стивенсона и Конан Дойла, в основном англичане — мастера криминального жанра и создатели самой мощной разведки.

Я даже знал от отца его разведческий псевдоним — «Лео из Ла Риоха». Были еще кодовые имена — Турбан, Нарсисо, последний почему-то запомнился — «Кораблѐв». Лео, однако, был основной. Но дома не было принято об этом говорить. Потом уже, прочитав мемуары, где о нем говорилось вскользь, понял окончательно происхождение клички. Цитирую начало этих казенных мемуаров с пояснениями:

«Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 г. в Аргентине в городе Ла-Риоха. Не совсем понятно, почему по документам он значится Павлович, а не Моисеевич или Михайлович, как его братья. Отец, Моисей Кантор, был по образованию геолог, а по роду деятельности —



Алексей Коробицин.

лет пошел служить на Балтийский флот. После службы шесть лет ходил на торговых судах. Во время испанской войны попал в Испанию переводчиком, работал с военно-морским атташе и главным военно-морским советником будущего адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Алексей Павлович покинул Испанию одним из последних, в конце 1938 г. За проявленную доблесть и мужество в боевых операциях при оказании помощи командованию ВМФ Республиканской Испании Коробицин А.П. награждён орденом Красного Знамени. Вернувшись из Испании, попал на работу в разведку, стал резидентом в Мексике. Не отзови его Центр в 1941 г., может статься, и судьба его сложилась бы по-иному...»

Два пояснения.

1. Бежали они (дед, его первая жена и сын Саша) в Константинополь на лодке контрабандиста, перед турецким берегом начался шторм, но спасать их никто не выходил. Тогда лодочник сорвал с ребенка штанишки и раздвинул ножки, показав публике, что это мальчик. И несколько лодок вышло в море. Мальчиков турки спасали. А уж оттуда через пару лет перебрались в Аргентину.

2. Пояснение — об отчестве: дед ушел к другой женщине, моей бабушке, матери отца. Их брак они зарегистрировали в Эквадоре в 1923 г., когда отцу уже был год. Это свидетельство я нашел в столе, отдал папе, но он куда-то его убрал. Три сына среагировали на уход отца каждый по-своему. Все трое взяли фамилию матери — Коробицины. Дядя Саша стал Александр Моисеевич Коробицин, лей-

революционер. В годы первой русской революции участвовал в экспроприациях, которые устраивали анархисты, после таких акций они раздавали захваченные средства нуждающимся. Был арестован, отсидел 11 месяцев в тюрьме. В 1909 г. бежал из ссылки и вместе с женой, Лидией Коробициной, учительницей химии и тоже революционеркой, и двумя детьми эмигрировал в Аргентину. Там Кантор работал геологом, профессором университета. В Аргентине у супругов родился третий сын, Алексей.

В 1926 г. семья возвратилась в СССР. Алексей пошел учиться в ФЗУ, вступил в комсомол. В 18

тенант, всю войну проработал переводчиком. Дядя Лёва взял фамилию матери, отчеством имя другого деда, стал Лев Александрович Коробицин. По семейному преданию, идущему, как понимаю, от дяди Алеши, во время войны капитан морской пехоты Лев Коробицин погиб, закрыв своим телом немецкий дзот. Своего единственного сына дядя Алеша назвал в память погибшего брата — Лев. А судьба дяди Алеши совсем другая. Он тоже взял фамилию матери, а как возникло отчество, не знаю. Мой отец говорил, что его отчество возникло как отчество его деда Александра Павловича Коробицина, екатеринбургского мещанина, по еще одному преданию, бывшего какое-то время старообрядческим священником. Но по свидетельству о рождении Лидии Александровны (любезно присланному мне моим троюродным братом Сергеем Коробициным) его звали «Александр Харитонов Коробицин». У меня есть фотография, в центре которой сидит милая высокая русоволосая интеллигентная женщина, Лидия Александровна Коробицина, первая жена деда, а вокруг нее сыновья — трое крупных парней. Дядя Алеша меньше ростом, чем два брата, взгляд лукавый и умный. Роста он и впрямь был невысокого. Если, скажем, у моего отца был рост один метр 76 см, то у дяди Алеши был рост метр 72.

Фотографии дяди Лёвы у меня не сохранилось. Но фото двух братьев, Александра и Алексея, времен войны могу показать.

О дяде Алеше Коробицине я знал уже лет с восьми только то, что он воевал в Испании, потом надолго исчезал, отец говорил, что он служит капитаном на кораблях дальнего плавания. Моряк! Капитан! Конечно, герой! Больше ничего не знал. А потом вдруг в 1956 г. мне 11 лет, он поехал с нами (папой, мамой и мной) отдыхать в Джубгу. Маленькая деревушка на берегу Черного моря, в море впадала река, по этой реке под свисающими перевитыми ветвями мы как-то по предложению дяди Алеши поплыли на двух лодках вверх по течению. В реке шныряли рыбки, некоторые довольно крупные, мы с мальчишкой-соседом ловили их по утрам. Страшноваты были змеи, не очень большие, тонкие, гибкие, с маленькими головками, но мы их боялись, поскольку не знали, ядовиты они или нет. Сейчас иногда я думаю, что моего дядю Алешу, улыбчивого и добродушного, те, которые подозревали его профессию, тоже могли опасаться, не нанесет ли он смертельный удар. Уже потом, лет семь-восемь спустя, я как-то спросил его, носил ли он оружие (мальчишке лестно видеть героя), на что дядя Алеша усмехнулся: «Как правило, нет, только если нужно было по роли». «А как же, — заранее изнемогая от мальчишеского героизма, спросил я, — а сражаться?» Он вдруг рассмеялся: «В моем деле сражаются умом. Я почти никогда не стрелял, если не был в бою».



Александр и Алексей Коробицины. 1942.

Но это уже был более поздний разговор. А пока мы плыли по реке, над нами свисали ветви, похожие на лианы, тень закрывала нас от жары. А километров пять выше по реке мы наткнулись на плетённый мост, как в приключенческих книгах: деревянные дощечки днища и ветви и лианы как перила. Конечно же, мы прошли по нему: рядом с дядей Алешей ничего не было страшно. Странное спокойствие. Потом это спокойствие подтвердилось странным образом. На

следующий день мы гуляли в парке, и вдруг на шею отца попал клещ. Мама первая заметила и закричала. Отец даже не почувствовал, а тут, услышав крик, повернулся, увидел клеща и попытался ударить по нему ладонью, чтобы убить его. Реакция дяди Алеши меня поразила. Он перехватил руку отца и сказал: «А вот этого делать не надо. Не тронь его!» Отец заметно занервничал, опасаясь, что клещ может быть энцефалитным. Дядя Алеша рассмеялся своим тихим улыбочным смехом. «Когда мы партизанили в гомельских лесах, мы нарочно ловили этих клещей, сажали на руку и смотрели, как они вгрызались и протачивали себе дорожку». Мама нервничала: «Алеша, хватит шутить! А как вы спасались?». Он провел рукой по усам и опять усмехнулся: «А очень просто. Капали на то место, куда клещ вьелся, каплю керосина, он сразу и вылезал». Но керосина ведь у нас с собой не было, хотя в съемной приморской комнате керосинка стояла. Но успеем ли мы дойти-добежать до комнаты, — мы далеко ушли в лес.

Родители и вправду испугались, я, глядя на них, тоже. Это была неожиданная опасность среди жаркого и расслабляющего отдыха. Хотя это казалось, если взглянуть со стороны, рассказанной кем-то, словно безумцем, историей, которых вообще-то быть не должно в этом мире. «История человеческой жизни — это история, рассказанная безумцем», — писал Шекспир. А я был довольно начитан. Здесь немножко запахло безумием. Но родители всерьез рассуждали об опасности, тогда дядя Алеша встал, сходил к мужикам, приехавшим на машинах, взял у них пузырек с бензином и вернулся. Несколько капель, и клещ, работая всеми лапками, начал выбираться. Дядя Алеша стряхнул его на землю и раздавил. У меня все это в голове как-то сразу перемешалось. Вроде это было, наверно, на самом деле, и было страшно, а теперь это просто почти бытовая шутка. Как история из книги.

А потом пошли на пристань нырять и плавать. И опять мое представление немного сломалось. Дядя Алеша — моряк, капитан, герой. Когда к нам домой приезжал его друг Машевич из Латинской Америки, он качал меня на носке ботинка и пел: «Капитан, капитан, улыбнитесь! Ведь улыбка это флаг корабля!» И я понимал, что это про дядю Алешу. Сам дядя Алеша относился к Машевичу немного иронически. Уже много позже сказал мне: «С ним было трудно работать. У него в каждом кармане было по пистолету на боевом взводе. Верный шанс — провалиться». Я удивился: «А вы разве никогда не отстреливались?». Надо было видеть его смущенно-ласковую улыбку: «Никогда. Мне никогда по роли не приходилось это делать. Ведь побеждаешь умом, а не пулей. А когда приходилось стрелять, стрелял. Но это уже на Гомельщине, в партизанах».

Я ждал, как он красиво нырнет и уплывет далеко-далеко, уж во всяком случае, не хуже местных деревенских приморских пацанов. Сказать, что он разочаровал меня — было бы неправдой. Просто я тут же решил, что так и должно быть. А он как-то солдатиком спрыгнул с мостков, минут пятнадцать поплавал вокруг деревянной пристани, почти по-собачьи, потом влез на доски причала и развалился загорать. К этим доскам только раз в неделю приходил теплоход, о котором кричали рупоры: «К пристани прибывает теплоход “Агат” типа “Жемчужина”». И играли «Мишку»: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?..». К вечеру теплоход отчаливал. Оставался просто деревянный настил.

И странное дело: вместо разговоров о военных приключениях (хотя потом я понял, что по-настоящему воевавшие не любят рассказывать военные истории) дядя Алеша рассказывал историю о том, как пытается напечатать свою первую книгу рассказов о Мексике «Жизнь в рассрочку» (1957). Как потом уже я понял, его выперли на пенсию, в отставку. Сорок шесть лет — не время даже для военной пенсии. Он как-то сам сквозь зубы бросал, что те, кто мог его поддержать, были уже в начале пятидесятых расстреляны. Новое начальство его уважало, но не могли преодолеть того обстоятельства, что у дяди Алеши не было военного образования. Хотя навоевано им было на несколько генеральских званий. Без дела он сидеть не мог, видел много, писательский дар был очевиден, хотя не про все можно было писать. Но сюжеты он находил. Много видел, в любом случае можно найти нечто неожиданное. Как в любом кусочке жизни, если ее видеть.

С ним прощались в 1966 г. в ЦДЛ, я еще вернусь к этому сюжету. Выступали писатели и говорили, что главную книгу Алеша не написал. И тогда генерал из военной разведки вдруг сказал: «Нет, написал, но вы ее никогда не прочтете». Название книги знал отец (хотя и он не читал). Книга называлась «Искусство перевоплощения». Никогда и я ее не видал.

Пока же речь шла о том, что цензура не пропускала рукопись, поскольку трудно было объяснить, почему советский майор знает такие точные детали мексиканского быта. Дядя Алеша острил: «Я им предложил, чтобы книга вышла под псевдонимом АЛЬПАКО. То есть так якобы зовут реального автора — мексиканца АЛЬПАКО. Но дальше слова: “В переводе Алексея Павловича Коробицина”. Смеются, но отказываются». Шутка и впрямь была прозрачна, хотя для дураков, может, и не очень понятна. Книга все



же вышла под его именем, может, военное начальство прикрикнуло на писательскую цензуру — не знаю.

Но лето кончилось, и теперь видел я любимого дядю не чаще двух-трех раз в год. А он и вправду был любимый дядя, тот человек, глядя на которого физиономия почему-то расплывалась от удовольствия и счастья. О его военных делах мы не говорили, он выпустил новую книгу «Хуан Маркадо — мститель из Техаса» (1962), где работал сюжет двойничества, о котором я позже писал в своих литературоведческих и культурфилософских текстах. Было два брата-близнеца, мексиканцы, но один, Хуан Маркадо, вырос в бедной семье, второй, Рикардо Агирре, — в богатой гасиенде. Во время восстания Хуана Маркадо его богатый брат спасает близнеца, попавшего в плен и должного умереть. И узнает тайну. А когда в бою с американскими войсками Хуан погибает, брат называется его именем, показывая родимое пятно, которое вроде бы отличало братьев. И только верные друзья понимают его героизм. Восстание Хуана Маркадо продолжается. Думаю, что книга была написана столь искренно, ибо момент мужества и самопожертвования был, конечно, у героев от автора. В тот самый год я заканчивал десятый класс. Заканчивал скверно, у меня было две двойки в году (то есть переэкзаменовки) и тройка в году по поведению. Литератор меня хотел перевоспи-



тать, да и все почему-то думали о моем перевоспитании. Очень часто вместо школы я шел мимо нее в Тимирязевской парк, гулял там и размышлял обо всем сразу. О том, почему никто не желает дружить со мной так, как я хотел бы, как «три мушкетера», например. И чтобы был такой брат, как в романе дяди Алеши. Но младший хотел быть первым, а потому дружбы не получалось.

На мою удачу была введена одиннадцатилетка, поэтому у меня был шанс пересдать и остаться в школе. Двойки были по литературе и русскому языку. Идеиные расхождения с учителем решались просто. Вначале он играл в свобододобивого пре-

подавателя, требовал, чтобы мы с ним спорили. Придумал ШПТ, что значило школьный поэтический (потом полифонический) театр. Пытавшиеся играть в свободных приняли с восторгом полифонические представления о том, как Пушкина убил император Николай и как русская поэзия мстила за него. Правда, школьный остряк, хулиган и двоечник, вырезал на школьном столе: «Покупайте ДДТ и травите ШПТ». У литератора было много любимцев, быстро усвоивших советскую систему, — спорить, чтобы прийти к заданному учителем тезису. Сегодня его и называют «культовый учитель по литературе». К 80-летию выпустили книгу о нем, где я стою на первом месте среди его удач: «Его учительский путь в Москве начался в девятой специальной школе. Среди ее выпускников-гуманитариев — Владимир Кантор, Нина Брагинская, Татьяна Венедиктова, Марк Фрейдкин». Да, это была школа Юлия Анатольевича Халфина. Спорить было надо, но так, чтобы правота все равно была на стороне прера. За мои реальные несогласия я получил две двойки в году и обещание, что переэкзаменовку я никогда не дам и пойду учиться в вечернюю школу. «Это будет для тебя хорошая школа жизни», — сказал он. Спасибо завучу, с которой я спорил, но у которой хватило соображения не давать мне волчий билет. Но на тройке по поведению в году Халфин настоял за то, что я «имел наглость временами отвечать ему резко и настраивать против него класс». Мечь писателя всегда словесна. В романе «Крепость» я изо-

бразил его как подловатого человека по имени Григорий Александрович Когрин (он же *Герц Уиерович*). Понятное дело, что антисемитских мотивов не было (даже наоборот), но мне хотелось показать, как человек строит из себя русского, даже православие принял. Когрин обвинил моего героя в покушении на него, хотя знал, что булыжник в него кинул местный хулиган. А он твердил, что русский народ не способен к злу, если его интеллигент не подучит, как Иван Карамазов Смердякова. Самое безумное в этой истории было, что весь класс считал, что лучше меня из одноклассников литературы никто не знает, что я больше всех читал. Такое простое нарушение логики преподавания явилось своего рода маленьким уроком жизни, что дело не в реальности, а в мозгах того, кто решает твою судьбу, в безумном решении начальника.

Но к этим двум двойкам решила примазаться толстая и рыжая англичанка Марья Ниловна, никем не любимая. За что меня она не любила, не знаю, я всегда был на неплохом счету. Но ведь переписать четверку на двойку в общем ажиотаже можно. Встретив меня в коридоре, спросила: «Что, Кантор, скоро расстанемся? Больше в школе не увидимся?» Уже в полном отчаянии от всех своих неприятностей, я неожиданно сострил, довольно зло: «А что, Мария Ниловна, вас из школы увольняют?» Она остолбенела, а я, получив маленькую сатисфакцию, поехал домой.

Дома ждал меня непростой разговор, хотя отец готов был меня поддержать. Но крестьянское начало мамы требовало, чтобы, даже не соглашаясь с бариним, все равно участок выкосить как надо. Изгнанная дважды с работы, она принимала как должное — не протест, а противопоставить несправедливости — работу. В университете она занялась генетикой по совету друга деда и нашего соседа по дому Антона Романовича Жебрака, известного биолога. Надо сказать, мама нервничала поначалу, но дядя Алеша, который оказался в тот момент в Москве, вывезенный из гомельских лесов, сказал, что она справится, что отец (то есть мой дед) направил ее к хорошему человеку. Но мама, уже решив что-то, делала, так как полагала, что лучше никто не сделает; она, выражаясь языком характеристики, «проявила себя как хороший исследователь», ее хвалил сам Раппопорт. И потом именно за это она и была уволена как любимая ученица знаменитого российского биолога-генетика Иосифа Абрамовича Раппопорта, одного из основоположников отечественной генетики, выступившего на знаменитой «августовской сессии ВАСХНИЛ» 1948 г. против Лысенко. Надо добавить, что Раппопорт прошел всю войну, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова. За боевую операцию по соединению с американскими союзниками был

представлен к званию Героя Советского Союза, вместо этого был награжден орденом Отечественной войны, а также получил американский орден «Легион Почета». Что, наверно, впоследствии вызвало подозрения. В 1949 г. за несогласие с решениями сессии ВАСХНИЛ Раппопорт был исключен из ВКП (б). Он был едва ли не единственный, кто осмелился выступить против сталинского биолога Лысенко. А маму просто выгнали с работы, она пошла чернорабочей. Хотели восстановить эменесом, но потом оставили в 1949 г. на той же работе — в Главном Ботаническом саду копать, корчевать и пр., за то, что не согласилась поменять еврейскую фамилию мужа Кантор на девичью русскую — Колобашкина. И еще одно добавление. Когда мама вернулась в науку, поступив на работу в Институт садоводства в Бирюлево (НИЗИСНП), она вывела новый вид (соединение земляники и клубники) — земклунику, очень любимую одно время дачниками, так вот самый популярный сорт она назвала «РАПОРТ», в честь Раппопорта. Это был знак любви и признательности, мать умела быть благодарной за науку. Об этом говорится сегодня в биологических справочниках, цитирую статью под названием: «Что за чудо, посмотри-ка — созревает ЗЕМКЛУНИКА»: «В 70-х годах прошлого века селекционеру Татьяне Сергеевне Кантор удалось получить уникальный гибрид. Гибрид между клубникой мускатной и земляникой садовой крупноплодной. <...> Татьяна Сергеевна Кантор ушла из жизни, так и не успев официально зарегистрировать эти сорта. Тем не менее они радуют садоводов вот уже четвертый десяток лет. <...> Во Франции получен землянично-клубничный гибрид под названием *Ville de Paris*¹. Стоит зайти на сайт «Земклуника», где многое рассказывается. Правда, как и учителю, ей за ее открытие досталось от начальства. Когда маму начали приглашать во Францию французские коллеги-селекционеры, ее еще до выслуги пенсионного возраста уволили, сильно сократив тогдашнюю пенсию, земклунику объявили достижением Института садоводства, а на международные конференции начал ездить директор. Правда, названия сортов поменять он не посмел. Мама же, чтобы выработать нужный пенсионный срок, на старости лет снова последний год отработала чернорабочей. И директор Василий Григорьевич Трушечкин (кстати, тоже участник войны с наградами, о которых теперь не знаю, что и думать) не постеснялся ее взять на эту должность именно в том институте, где было сделано открытие.

Начальство у нас всегда умело использовать людей, нечто сделавших, но по возможности не давало шансов на личный успех. Прямо

¹ М. Воробьев, биолог. http://www.sotki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=977:2012-10-29-08-24-26&catid=51:top



Татьяна Сергеевна Кантор, мама.

по Высоцкому: «Кому сказать спасибо, что живой?!» В нашей истории всякое бывало. Но вернуться к своей переэкзаменовке.

Разговор получился, слава Богу, в смягченных тонах. Отец и дядя Алеша пили армянский коньяк под лимон, мама готовила чай. У обоих глаза были совсем не строгие. «Да ладно, Карл, — сказал дядя Алеша, — вспомни, какие мы были. Как ты из лесной школы в Испанию сбежать пытался. А как я в порту дрался. Меня же привезли в матросском костюмчике, и меня тут же в порту, избили и раздели, а я дубиной огрел местного начальника, потом почти голышом до нашего отца бежал. А ты англичанке остроумно ответил, молодец». «Ну, хорошо, — ска-

зал отец, уже немного хмельной, — с литературой я понимаю, но почему все же тебе чуть пару по-английски не вкатили?». Я снова пересказал свой, как мне казалось, остроумный ответ и добавил, что по-английски на уровне школьной программы я вполне понимаю. Дядя Алеша ухмыльнулся. «Ты считаешь, что это и есть знание языка? Язык требует вживания, ты в нем себя должен как в своей одежде чувствовать». «Как это?» Тут у меня мелькнуло соображение, что я получу сейчас какой-нибудь шпионско-лингвистический урок. Дядя Алеша сидел немного размягченный, бутылка армянского коньяка была наполовину выпита. «Необходимо то, что я называю лингвистическим нахальством. Надо говорить так, будто ты понимаешь. Я так немецкий выучил». «Как это? А вы разве не немца там играли?» Он покачал головой: «Иногда. А тогда я был мексиканским подданным. Да, если уж вспоминать, ситуация была плачевная. Я уплывал последним пароходом из Гамбурга. И вдруг эсэсовская проверка. А документы мне приготовили немецкие подпольщики, это была такая липовая работа, что мне самому страшно было глядеть на них. Тем более показывать эсэсовцам. И когда предложили сойти провожающим на берег, я вылетел на берег. Надо было что-то решать, мысль в тревоге работает быстро, если ты не трус. Я взял такси и поехал в мексиканское консульство. Там

сидел, как всегда пьяный, консул. Он мне протянул стакан текилы (есть такой хмельной латиноамериканский напиток). Я отказался и начал орать на него, что он не исполняет своих прямых обязанностей, что на паспорте до сих пор нет мексиканской визы. А мексиканская виза со всеми ее картинками занимала как раз две страницы. Он лениво шлепнул визу, прикрыв как раз две сомнительных страницы. И я смело вернулся на корабль. Все обошлось».

Примерно на этих словах беседа переползла на другие темы. А я дал себе слово учить иностранные языки как следует. Прошла пара лет, я поступил на вечернее отделение филологического факультета МГУ, фамилия понизила мне проходной балл, вместо 20 — 18. Это тоже выглядело занятно. Я понимал, что шансов с моей фамилией попасть на филологический у меня маловато, шел 1963 год. Первый экзамен — сочинение, в этом я был уверен, с подросткового возраста заставив себя помнить всю орфографию и синтаксис, учителя говорили, что у меня абсолютная грамотность. Потом английский, который, помня слова дяди Алеши, я учил днем, утром, вечером, слушал пластинки, читал все, что попадалось под руку. И английский я сдал на отлично. История тоже — отлично. Оставалась устная литература и устный русский. Билет достался удачный, и по литературе, и по русскому языку темы я знал. Я все ответил и видел, что принимавшие были довольны. «А что у вас за сочинение?». И достала мое сочинение из лежащей стопки. Оценка была — тройка, удовлетворительно. «Ну, вы понимаете, что больше четверки мы поставить вам не можем». Следующий день был день, когда можно было опротестовать оценки. Я пошел выяснять по поводу сочинения. Доцент достала мою тетрадку, протянула мне: «Сами смотрите». Замечаний не было ни на одной странице, ни одна строчка не была подчеркнута, нигде знака вопроса, но в конце сочинения выведена красными чернилами тройка. Я ошалело показал на оценку и на отсутствие замечаний. Дама-доцент даже покраснела, взяла мой экзаменационный лист, увидела две пятерки и четверку. Очевидно, у нее было разрешение повышать на балл. И я получил четверку, и так обрадовался, что дальше права качать не пошел. Опыта не было. Мог и пятерки добиться. Тогда учился бы на дневном, а так и то с помощью отцовского коллеги с трудом попал на вечернее. Просто не было указания, что брать нужно тех, кто на самом деле знает что-то.

Дядя Алеше мне рассказывать не хотелось про это. Уж он бы настаивал на своем. Так мне казалось. Почему-то я не задумывался, как это он, такой умный, ловкий, еще не старый, был отправлен в отставку. Но все же разговор состоялся через месяц после поступления.

Через месяц некоторых студентов начали вызывать в особый отдел на собеседование. Меня тоже вызвали, но на вопрос, кто мой любимый писатель, я, как всегда честно, ответил: Достоевский, особенно «Преступление и наказание» и «Бесы». Потому-де, что там рассказано многое, что заставляет задуматься. «Молодец, — сказал молодой чиновник в пиджаке и галстуке, — думай, это полезно. Но все же не забудь, как Фадеев изобразил в “Разгроме” интеллигента Мечика, изобразил как предателя. Вот эту предательскую интеллигентскую суть должен ты в себе вытравлять». Потом ходили по очереди мои однокурсники. А вечером Мишка П., с которым я за этот месяц сдружился, родственник известного литературоведа, шел со мной до метро «Площадь Революции», все что-то хотел рассказать, наконец, у метро отшел в сторону. «Вовка, разговор есть, — он нервничал, потел, протирал очки, но хотел выглядеть значительным. — Знаешь, что мне в особом отделе предложили работать с ними, рассказывать о сомнительных разговорах и тому подобное. Представляешь, какой они нам дали шанс! Не рассказывать ничего реального, а придумывать разговоры и вкладывать их в уста сволочей. Понял? Это же удача!». Я тупо молчал, потому что растерялся. Потом сказал: «Но это же можно и невинного оклеветать!» Мишка возразил: «Не невинного, а негодяя».

Я ехал домой в смутных мыслях. В чем-то Мишка казался мне прав, но отчего-то было страшновато, хотя вроде бояться было нечего. Но не хотелось только руку в пасть крокодилу вкладывать, откусит ненароком. Дома неожиданно оказался дядя Алеша, который сказал: «Слышал о твоих неприятностях. Но поверь, это пустяки, о которых не надо даже думать. Или у тебя еще проблемы?» Мама повела нас на кухню, где расставила чашки, налила чай, вынула коробку конфет, насыпала в плетеную из тонкой витой проволоки корзиночку разные сорта печенья. Прихлебывая чай, он улыбался и поглядывал на меня. «Ну?» И я рассказал про особый отдел, про разговор с Мишкой и наши рассуждения, что, вступив в контакт с органами, мы можем принести пользу друзьям. И вообще интеллигентным людям. Папа вопросительно посмотрел на брата:

«Алеша, здесь нужен твой совет. А то я такого наговорю, что лучше не надо».

Он явно нервничал.

«Карл, не суетись, на все есть житейский опыт, у меня он был неплохой. Думаю, у тебя такого не было. Из любой ситуации надо искать выход, а не идти напролом».

И ко мне:

«Вовка, ты что-то ему обещал или только слушал?»

«Только слушал».

«Ну вот и молодец. Ума хватило. Теперь меня послушай. История немного другая, но важен принцип. Думаю, у тебя и здесь хватит ума этот принцип извлечь из моего рассказа».

«Я постараюсь».

Потрогав указательным и средним пальцами свои небольшие латиноамериканские усы, как он делал, когда не то нервничал, не то думал, как лучше сформулировать. «Я расскажу историю 1947 года, я только что вернулся из очередной командировки, думал пару месяцев отпуска получить, но меня вызвал командир и показал список арестованных и расстрелянных, ГБ не любила военную разведку. Но, глянув на мою усталую физиономию, сказал, что, так и быть, он мне два месяца даст, но чтобы я был осторожнее, а потом отправит сразу на следующее задание».

Вообще сегодня думая, как они сражались с немцами, ожидая каждый момент удара в спину от своих, и сражались, и верили... Какой-то изврат сознания. Но это пустые рассуждения. Продолжу его рассказ:

«И тут вызывают меня в органы. В кабинете меня встретил полковник из органов, называл даже не товарищ майор, а Алексей Павлович. И сказал, что они внимательно “ознакомились с моей работой и очень мою работу ценят. Поэтому они хотели бы, чтобы я и с ними поработал. Ведь на одну страну работаем”. Я ответил, что это большая честь, но я хотел бы несколько дней для обдумывания предложения. “Конечно, конечно. Недели вам хватит?”. Я ответил, что хватит. Через неделю я пришел и сказал, что абсолютно согласен. Он так посмотрел на меня и спросил: “Ваше решение серьезно? Не передумаете?” И я простодушно ответил: “Конечно, нет. Я посоветовался с моим начальством, и мне разрешили!” Он даже подскочил: “Вы что наделали. Вы же подписку давали о неразглашении нашего разговора”. Я честно ответил, что никакой подписки я не давал. “Да, — спохватился инструктор, — я с вас не брал такой подписки. Но мы же знаем, в какой структуре вы работаете, вы это сами должны были понимать!” Я пожал плечами: “Но вы же тоже должны понимать, что, работая в ТАКОЙ структуре, я не мог поставить в известность о вашем предложении мое начальство”. Он махнул рукой: “Ладно, вы свободны!” и я ушел, ПОНИМАЯ, что меня ждут неприятности. Но я также понимал, что предложение о совместной работе означало то, что я должен был доносить на мое начальство».

Как написано в одной из бумаг о нем, в 1947 он вынужден был из военной разведки уволиться из-за отказа перейти в МГБ. Но ушел он позже, после 1949 г., когда космополитизм коснулся всех. Правда, дядю Алешу, по его обмолвкам, отправили в другую командировку, и

до 1955 г. он был мексиканским консулом в США в штате Кливленд. Но твердых данных на такого рода людей нет.

Тут я немножко и даже не немножко отступлю от последовательности изложения. Как сказано в воспоминаниях Владимира Никифоровича Ващенко, работавшего с дядей Алешей в конце войны, а впоследствии (в 1977—1989 гг.) ставшего вице-адмиралом и замначальника ГРУ Генштаба, «в конце мая 1942 г. с подмосковного аэродрома взлетел самолет, на борту которого находилась разведывательно-диверсионная группа. Ее командир — Алексей Павлович Коробицин (псевдоним — “Лео”) — имел на руках паспорт, якобы выданный Минским отделением милиции на имя А.П. Кораблёва». Далее дается советский нежный вариант того, что произошло, где все советские люди готовы были помочь друг другу. Приведу рассказ непосредственного участника истории — моего дяди, тем более что он отчасти совпадает с предисловием Юр. Королькова к книге «Тайна музея восковых фигур».

Дядя Алеша отхлебнул чай, потом сказал: «Дело, конечно, не в месте, где человек работает, хотя отпечаток есть. Но меня однажды спас от смерти человек, курировавший от Органов Советское радио во время войны. Это когда я партизанил. Как и все в жизни, начинается любой эпизод в жизни с большой неприятности. Нас должны были выбросить в один район Белоруссии, но летчик промахнулся, слишком сильно с земли по самолету немцы били, и выбросил где смог. Это были гомельские леса. У меня был радиопередатчик и двое сослуживцев, но очень неудобные в гомельских лесах. Один — немец-спартаковец, ротфронтовец, другой — австриец-коммунист. И все бы ничего, но ни один ни слова по-русски не говорил, кроме «да здравствует товарищ Сталин». Да на беду мы еще были и в форме эсэсовцев. Мы даже парашюты зарыть не успели, как нас местные лесовики схватили и собирались расстрелять, а одежку нашу поделить. Они обсуждали, не подозревая, что я-то все понимаю. Послушав, я понял, что надо что-то быстро говорить. И я сказал: «Вы, бляди, совсем оборзели? вам давно никто муде не драл? Хотите, сучары? Могу устроить!» Мужики опешили: «Чего? Свой, что ли? А чего фрицевские тряпки нацепили на себя?» Дело испортили немцы, закричавшие «рот фронт!» и что-то в этом духе. Мужики, называвшие себя партизанами, одетые в полушубки и валенки, с винтовками и охотничьими ружьями через плечо, скрутили их и потащили куда-то через кусты, говоря, что командир с ними разберется. Как сказал дядя Алеша, а я ему поверил, много пряталось по лесам мужиков, которые и воевать не воевали, но считали себя вправе забирать продукты от крестьян для поддержки своей боеспособности. Нас притащили в землянку, где за столом сидел уже немало выпивший командир и сказал: «Раз есть рация, пусть передадут в

Москву, что отряд под командованием такого-то уничтожил столько-то живой силы, техники, пустил под откос три поезда». Дядя Алеша пытался возражать, что у них другое задание, что такой информации от них не ждут. Тогда командир приказал привязать их к деревьям и расстрелять. Стреляли, правда, над головами, а потом бросили в яму, куда два раза в день кидали им хлеб, опускали кувшин воды, а по вечерам расстреливали. И срок им дали трое суток. Если через трое суток Совинформбюро не передаст нужную информацию, их расстреляют. Радиограмму пришлось передать, и дядя Алеша подписался суперсекретным псевдонимом «Лео». Это был псевдоним на случай ЧП. Но начальство не сочло их ситуацию ЧП. «Мы Алексея с другим заданием посылали, и этой информации от него не ждем». А в гомельском лесу их расстреливали каждый вечер. Иногда командир, кроме кружки воды, предлагал кружку самогона. Но дядя Алеша как начальник маленькой группы это запретил. Так и жили в ледяной земляной яме три дня. На третий день их вытащили в землянку, посадили за стол со связанными руками. Перед ними сидел густобородый командир с помощниками, стояла бутылка самогона, лежали пласты сала, а еще перед каждым лежали пистолеты. В центре стола стоял радиоприемник, рядом радиопередатчик разведчиков. Как говорил дядя Алеша, все они были бледные и напуганные, разведчики, ожидая близкой смерти, а партизаны не были до конца уверены, тех ли они собираются расстрелять, и не придется ли отвечать за это собственной шкурой, если придут другие представители с Большой земли. Уже после рассказа я вспомнил роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Как американец попадает в испанский партизанский отряд, где оказывается чужим, хотя пришел с заданием от республиканского руководства.

Пробило двенадцать часов. Последняя сводка от Совинформбюро. И вдруг голос Левитана сообщает, что в гомельских лесах такой-то партизанский отряд под командованием такого-то командира уничтожил ... живой силы, техники и пр. Произошло волшебное превращение, им развязали руки, принялись лебезить, кормить и поить. Это было чудо, но созданное человеческими руками. Когда радиограмма была получена в Ставке, начальство учитьвать просьбу Лео не пожелало. На счастье в тот момент в кабинете был друг дяди Алеши, который осмелился вмешаться в разговор: «Но раз Алеша просит, значит это ему нужно для какой-то игры. Мы все его знаем и знаем, что попусту он такой текст не пошлет». Говорившего не послали, поскольку он принадлежал другой организации, которая по негласному соглашению была выше других. И дядя Алеша сказал: «Дело не в организации, а в человеке. Организация портит, но человек может оказаться сильнее. Вот и подумай, сможет ли твой друг сделать то, что сделал Митяй? Что же о начальстве, то у

начальства всегда мозги плохо вращаются». И начальство сказало Митяю, что его ведомства эта проблема не касается, что они сами разберутся. Единственное, что сумел сделать Митяй — переписать радиogramму и с тем уйти. А потом он пошел в контору Совинформбюро и стал просить их передать текст. От себя, по его просьбе, без разрешения начальства. Разумеется, те отказали. И тогда Митяй купил себе батон и несколько пачек кефира и остался жить на лестнице Совинформбюро. Постелил газеты на ступеньки — на них и жил, ел, спал, ночевал. Конечно, его давно бы выгнали, если бы не удостоверение Органов. Но и то — они звонили регулярно его начальству. Но там махнули рукой, дружбу, как ни странно, и они уважали. Но Митяй не просто спал, четыре раза в день он заходил в рубку Совинформбюро и снова выкладывал перед ними записку с данными. Каждый раз усиливая натиск, понимая, что время уже делится не на дни, а на часы, даже минуты. И он победил. В последние минуты передача была сляпана и вышла в эфир.

Еще, может быть, важнее недавно найденное мною в семейном архиве письмо дяди Алеши своему отцу, моему деду. Это, конечно, голос советского человека, понимающего опасность перлюстрации писем, особенно человека, работающего в ГРУ. Но вместе с тем здесь звучит и вера в написанные им слова. Добавлю, что письмо написано перед выброской в гомельские леса, о чем говорится скупно и спокойно. О своем задании, разумеется, он не говорил, это теперь только понятно, куда он летел.

«Москва 21 мая 1942 г.

Дорогой папа!

Я с удивлением узнал из письма Зумруд о том, что ты не получил моего письма, которое я послал тебе после моего приезда, и, конечно, вполне разделяю твою обиду на меня в связи с моим молчанием (вернее — отсутствием писем). Папочка! Это верно, что я невозможный человек в отношении моей корреспонденции, но значит ли это, что я забываю или недостаточно люблю своих родных и знакомых? Я думаю, что нет. Одним словом — моя корреспонденция обратно пропорциональна моим чувствам...

Давно, очень давно мы с тобой не видались — более трех лет. За это время пережито нами столько, сколько не расскажешь в течение столетия. Но приятно сознавать, что мы не только переживаем — мы делаем историю. Каждый из нас вписывает заметную страницу в Великую Историю Отечественной Войны.

Я переписывался с Карлом, моим замечательным младшим братом, и могу тебе только сказать, что горжусь им. Я как никогда горжусь моим братом-героем, моим дорогим, любимым Лёвочкой, ко-

торый погиб геройски. Я горжусь его женой Валинькой, занявшей его место на пароходе. Я горжусь Сашей, его храбростью, проявленной в боях, тобой я горжусь, потому что ты даешь стране больше, чем может дать твой организм. Я горжусь каждым красноармейцем, каждым советским гражданином — всей страной. Ну разве можно заставить пригнуть голову такой гордый народ??

Очевидно, идиоты из Берлина не учли, что мы — гордый народ. Да и что ожидать от работы эрзац-мозгов.

Папочка! Я послезавтра уезжаю в командировку, где пробуду, вероятно, остаток 1942 г. Писать я к вам не смогу, да и получать письма тоже. Новости обо мне сможет передавать изредка Саша. Целую тебя крепко — до счастливой встречи. Большой пламенный привет Иде и Зумруд с ребятами.

Алеша

Здесь многое требует пояснения. Но я поясню, повторив уже написанное с неким расширением. Дядя Лёва, капитан морской пехоты, закрыл, как Матросов, грудью немецкий взвод с пулеметом, по интеллигентскому миропониманию не решившийся послать на подавление взвода своих матросов.

Продолжается рассказ дяди Алеши: «Дальше начались другие проблемы. Нам пришлось влиться в отряд, где командир хотел прятаться, а не воевать. Но пришлось, отряд окружили. Воевать он не умел, в первом бою и погиб. Большая земля потребовала, чтобы я принял командование. Если ты когда-нибудь прочтешь роман “По ком звонит колокол” Хемингуэя, там был американский разведчик Роберт Джордан, которого послали к партизанам помочь в борьбе с франкистами, история романтическая, но невеселая. Мост он взорвал, но погиб. Я не погиб, но еле живой был вывезен на Большую землю. Привезли в госпиталь, который тогда находился в здании Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, где до войны работал твой дед. А моя Мария, майор медслужбы, ты ее знаешь, стала моей женой. Да, ее звали очень строго: Виолетта Николаевна».

Вообще, имена жен моих дядей были экзотические. Скажем, у старшего, Саши, — была Зумруд.

А вот данные об этом периоде жизни в одной из его характеристик:

«А в апреле его, в звании старшего лейтенанта, включили в разведывательную группу “Лео”, которая должна была действовать в немецком тылу. Командовал группой Алексей Коробицин, его старый знакомый еще по Мексике. В ее состав, кроме Коробицина (“Лео”)

и Кравченко (“Панчо”), входил радист Г. Антоненко (“Поль”) и два австрийских антифашиста — И. Штейнер (“Тарас”) и М. Ляйтнер (“Максим”). Это их едва не погубило.

В июне 1942-го группа была сброшена в районе Чечерска Гомельской области. После высадки “Лео” должен был встретиться с командиром партизанского отряда. Однако группа сбилась с дороги и вышла хоть и к партизанам, да не к тем. Узнав, что среди разведчиков есть австрийцы, партизаны арестовали группу. Двенадцать дней их держали под арестом, требуя признаться, с какой целью немцы забросили их в лес. Все утряслось, после того как партизаны связались с Москвой.

Восемь месяцев и одну неделю отряд успешно действовал в тылу врага. Так, например, 15 ноября 1942 года “Лео” передал в Центр: “Группа под командованием моим и Панчо совместно с отрядом Федорова занимается диверсионной работой. Пущены под откос 11 воинских эшелонов, уничтожено 5 грузовых, 11 легковых машин. Убито 1 485 солдат и офицеров, ранено 327 офицеров, в том числе генерал войск СС и подполковник”.

Непрерывные бои с врагом поставили группу в тяжелое положение. 10 февраля 1943-го “Лео” радировал: “Ежедневные бои не позволяют дать координаты. Макс ранен. Тарас ранен. Есть обмороженные”. Последней каплей стало “тяжелое отравление во время голодания” (из рапорта майора медслужбы). 5 марта 1943 г. группу вывезли на самолете в Москву».

История ГБ с моим однокурсником так ничем и не закончилась (или закончилась). Но я про это не знал. Во всяком случае, на эту тему мы с ним не говорили больше. Потом были всякие истории политические, на Западе и у нас. То убили Джона Кеннеди (потом, когда я был в Штатах, мне рассказали местные, что он не выплатил долг мафии), то наши монстры разобрались с Никитой, стоило ему прижать партаппарат. Но не расстреляли. И это считалось большим завоеванием хрущёвской демократии. Помню разговор Наума Коржавина (Эмки Мандела) и дяди Алеши. Эмка все время повторял, что Никита крови не хочет, что с ним можно договориться, «я бы с ним за рюмкой посидел». «Посидеть можно, — отвечал дядя Алеша, — но в некоторых случаях в дело все равно вступают другие обязанности. Если надо, то и застрелить придется». Я тогда подумал, что он говорит о своей истории в партизанском отряде. Но разговоры разговорами, а Никиту все же сняли. И тут все начали вопрошать о предложении, которое ему сделали. А Мишка старался выглядеть загадочным, важным и неприступным.

К власти пришел Брежнев, интеллигенция стала говорить о том, что брови Брежнева — это усы Сталина, поднятые на должную высоту. Что говорило о равнодушии образованного общества к идеологии, за



которую дядя Алеша воевал в Испании. Думаю, ему было грустно, хотя понимал он многое, а уж видел и того больше. Но каким-то образом люди его опыта и закала, не совершавшие при этом подлостей, знавшие, что они сражаются не только за идею, а за нечто другое, которое казалось важным для спасения мира в человечестве, удивительно умели хранить и нести в себе чувство человеческого достоинства. Качество в XX в. редчайшее. Говорю это, не преувеличивая. Напомню хотя бы о Сахарове. Сегодня вроде тоже политические игры, но они какие-то не всерьез. Те люди тоже играли, но очень всерьез, поскольку, прошу простить за банальность, ставка в той игре была уж больно высока.

В 1964 г. в «Юности» (очень престижный по тем временам журнал) вышел в трех номерах последний роман дяди Алеши «Тайна музея восковых фигур». Книжный вариант вышел уже после его смерти в 1968 г.

Роман читался, был популярен, поскольку была там не только криминальная линия, но и символически-мистическая — опять о двойниках. Сторож при входе был копией восковой фигуры, как бы два привратника при входе. И когда преступник по ошибке свернул голову кукле, то умер и настоящий живой человек — пропала возможность зарабатывать на кусок хлеба. Кто был всю жизнь его двойником — не знаю, но тема такая зря писателя не волнует. В последнем романе вижу некую разгадку. Он сам был своим двойником, разведчик, который переиграл сам себя. Убили его двойника, умерла идея, выхода не было — надо было умирать. Он и умер в 1966 г.

Фотографий от него в семейном архиве сохранилось очень мало. Две я привожу, есть еще среди братьев в Аргентине. Но та фотография уж слишком домашняя. Поразительные глаза везде, внимательные, но без вызова, все видит, но ничего не скажет.

Умирал он от рака легких. Знаю, что навещали его родственники, очень часто ходила моя бабушка, та самая женщина, что уве-

ла отца у Алеши. Но так случилось, что они подружились, вместе воевали в Испании, где бабушка была военной переводчицей в Барселоне у нашего командования, получила за Испанию орден Боевого Красного Знамени. Сама иронизировала, что, когда франкисты неожиданно атаковали Барселону, все республиканское и советское военное руководство, бросив карты и бумаги, тем более переводчицу, попрыгали в машины и умчались. Бабушка, как преданная делу коммунистка, к тому же аккуратная женщина, собрала все бумаги, спрятала их в ридикюль и спокойно (со



своим блестящим испанским языком) миновала франкистские посты и несколько дней прожила у своей испанской подруги. Когда франкистов выбили, наше командование, зная, что оно побросало все карты и не нашло их, могло ожидать только расстрела. И тут переводчица приносит пропажу. Кто-то сгоряча предложил ее расстрелять, чтобы она не проболталась. Горячего человека уняли, а бабушку представили к ордену. С тех пор с Алешей она дружила. Он ее уважал. Умирая, просил о помощи, просил принести яд. Видимо, боли были невыносимые. «Ида, ты же сильная, дай мне яд. Большевики должны помогать друг другу». Это она рассказывала, но она не дала, сказав ему: «Существует партийная этика. Нельзя». А он заплакал. Она его жалела, но яду не дала: «Алеша, ты сильный, ты должен все выдержать». Сама она была сильной. Уже после смерти дяди Алеши были торжества по поводу испанской войны, все же воевала, имела орден Боевого Красного Знамени, несколько медалей. И бабушку пригласили. Она умела сидеть на собраниях. И слушать партийную болтовню. Но тут по ошибке после директора института, говорившего о героизме республиканцев, о первой победе в схватке с фашизмом и т.п., слово дали ей. И она просто-душно, но внятно произнесла: «Чего мы торжествуем? Я вот ехала и думала, газеты читала... Война-то была проиграна, проиграна позорно. Все про это знают, знают и про сталинские лагеря, которые прошли интербригадовцы и наши офицеры. Я ведь чудом уцелела. Повиниться бы надо перед памятью погибших». Никто тронуть ее

не посмел, старый большевик, участник испанской войны, орденоносец, и речь ее кое-как замотали. Бабушка умела заботиться, когда видела шанс на борьбу с болезнью, но здесь шанса не было, и к дяде Алеше относилась она как к человеку, который должен был выдержать реальность.

Прощались с ним в ЦДЛ. Почему в ЦДЛ — не знаю. Наверно потому, что его уже приняли в Союз советских писателей, и он очень этим гордился, а писатели хоронили своих. Пришел и я с женой. Спустя годы могу сказать, что я настолько ему верил, что его слов хватало на четверть века моей первой семейной жизни. Мы поженились в 1965 г., дядя Алеша приехал к нам с отцом в гости. Посидел молча, послушал молодые перепалки, а потом, уходя, сказал: «Вовка, проводи меня». Когда мы шли к метро «Войковская», он помялся, но сказал: «Поверь мне, человек к человеку долго притирается. Не наделяй по горячности глупостей. Поживи год-другой, тогда и решай». Прожил я, как уже писал, много дольше, с 1965 по 1988. О чем не жалею. Было всякое, хорошего больше, а в плохом и моей вины было немало, а может, и много. Но дело не в этом. Мы в первый раз попали в ЦДЛ и разглядывали с любопытством писателей. Пожалуй, впервые тогда я понял, что писатели, ставши массой, толпой, такая же масса, какие создавали имидж вождям народов, масса, которую боялся Элиас Канетти. Почему-то не было на лицах писательской одухотворенности, а почти каждый, понимая, что хоронят человека необычного, старался несколько слов об этой необычности сказать, говоря, что главной книги Алексей Павлович написать не успел, но вот выступающему что-то из нее рассказывал. Я, не зная никого, шатался по углам, ожидая момента, когда позовут прощаться. И вдруг в соседней маленькой комнате я увидел группу сравнительно молодых генералов, которые препирались, что именно надо сказать. Судя по форме, которую я тогда уже немного различал, это была военная разведка. Слушать их разговор было неудобно, да и как-то не по-советски. И только я пошел назад в переполненный зал, как один из генералов отодвинул сослуживцев и решительно подошел к гробу. И сразу заговорил, буквально прикрыв предыдущего оратора: «Вот все вы смотрели только что фильм “Кто Вы, доктор Зорге?” Это и вправду был один из крупнейших наших разведчиков, но его позиция была сложная: ему приходилось работать сразу на три разведки — советскую, немецкую и японскую, поэтому его роль была как бы исходно разоблаченного разведчика. Вы говорите, что Алеша не написал своей главной книги, что его жизнь — целый роман. Это так, но даже больше, чем так. Так вот Алексей Павлович по своему

масштабу был много крупнее Зорге, он был **ни разу не разоблаченный** советский разведчик. Понятно ли вам, что это значит? К сожалению, награды не всегда догоняют героев. Алексей Павлович помимо орденов был представлен к Герою Советского союза, но так и не получил». Он мял в руках бумажку, которая, как потом выяснилось, была рабочей характеристикой. Он оставил ее на краю гроба, а я подобрал. В этой характеристике его еще называют капитаном. Потом стали писать — майор. Впрочем, вот эта характеристика:

«КАПИТАН Коробицин Алексей Павлович — 1910—1966.

Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 г. в Аргентине, в городе Буэнос-Айрес. Его отец был политический эмигрант, бежавший из царской ссылки в 1907 г.

Вместе с семьей в 1924 г. Алексей Павлович вернулся на родину в Советский Союз. Товарищ Коробицин А.П. член КПСС.

С 1936 г. по 1938 г. Алексей Павлович находился в Испании, где принимал участие в операциях против фашистских мятежников.

В 1939 г. был отправлен на ответственную работу за рубеж. Будучи в спецкомандировке, т. Коробицин решал сложные разведывательные задачи.

В период Великой Отечественной Войны Коробицин А.П. работает в тылу немецко-фашистских войск на территории Белоруссии.

Там он руководит действиями разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов.

В 1943—45 гг. разведывательно-диверсионной группой под его командованием было подорвано и уничтожено 13 вражеских железнодорожных эшелонов с живой силой и боеприпасами, десятки автомашин, ликвидирован генерал войск СС, добыто ряд ценных сведений о противнике.

Коробицин А.П. является одним из лучших советских разведчиков. Разносторонне образованный, смелый, инициативный, беззаветно преданный родине и делу нашей партии.

Капитан Коробицин не щадя своей жизни боролся против врага и везде, куда бы ни направляло его командование, образцово выполнял поставленные задачи.

За боевую работу в тылу противника Алексея Павловича награждают орденом “Красная Звезда” и медалью “Партизану Отечественной войны I степени”, а за активное участие в боях против фашистов в Испании — орденом “Красное Знамя”».

Это была обычная характеристика, к которой в начало приляпали даты жизни. Это было очевидно. Здесь ни звука о том, что он работал консулом Мексики в американском штате Кливленд (откуда и возник роман «Тайна музея восковых фигур»). Ко мне подошел Мишка П.: «Ну вот видишь, порядочность и разведка совместимы. А я не знал,

что Алексей Коробицин твой дядя. Никогда никому не рассказывал. Молодец!»

Прошло года два. Если честно, я жил с каким-то странным ощущением, что дядя Алеша жив, просто уехал надолго, как часто уезжал. Разговоры о нем были нечастые. Один — неожиданный. Сестра моей мамы была замужем за контр-адмиралом, который, с одной стороны, был немножко антисемитом (не верил, что евреи умеют воевать, поэтому с дядей Алешей и отцом о войне разговаривал в ироническом тоне), с другой — по долгу службы был связан с военной разведкой. Помню их неожиданный приход к нам в гости, уже после смерти дяди Алеши. Настоял на приходе дядя Витя (Виктор Александрович Петров), стройный, похожий на молодого Утёсова, бравый военный в морской форме. Настоящий морской капитан. Мы сели за стол и вдруг он предложил выпить за героическую жизнь дяди Алеши, повинившись, что не подозревал, что бывают такие смелые люди. Сам был тоже не робкий мужик, подводник. Во время войны им выстрелили из торпедного аппарата, так спасся он и еще трое. А тут он рассказал, что его и еще нескольких начальников из того же ведомства водили в контору, где вывешены фотографии выдающихся советских разведчиков. «И знаешь, Карл, — сказал он, — фотография Алеши была второй или третьей в ряду. Я горжусь, что я его знал».

Но затем произошло нечто необычное. В декабре 2012 г. я был на международной конференции по Достоевскому, которую регулярно проводит Игорь Волгин. Там я абсолютно случайно в номере у Волгина на небольшой пьянке разговорился с замечательной во всех смыслах писательской парой — Еленой Черниковой и Ефимом Бершиным. Поскольку все свои **книги** я раздарил, у меня для подарка оставались только воспоминания о моем отце, где упоминались и Наум Коржавин, и Алексей Коробицин... Я рассказал также, что почти сорок лет прожил неподалеку от пруда, где Нечаев утопил студента Иванова.

И вдруг получаю мейл, да не один, привожу их по порядку:

«Читаю журнал с огромной радостью и с изрядным ужасом убеждаюсь в миллионный раз, что в определенном возрасте и определенным людям с л у ч а й н о даже за столом посидеть невозможно. Пересечения, слова, топонимы, мысли, даже мелькнувший Иванов (жертва Нечаева), — всё так вовремя, будто мне лично писали Вы эту работу.

...А Людмила Коробицына (Иерусалим) не знакома Вам?

Елена Черникова».

Я ответил:

«23.12.2012, 17:48.

Дорогие Лена и Ефим,

это и вправду просто чудеса. Кто она и что она? Вы давно ее знаете?

А что с ее мужемлевой? Ее не знаю, а его помню. Очень давно это было. Женат он был тогда на девушке из медицинского. Как-то глухо прозвучало в ее тексте что-то об органах в связи с ним...»

И далее ответ Лены:

«Были мы в октябре в Израиле. Ефима пригласили читать стихи в Иерусалиме вместе с Игорем Иртеньевым, Аллой Боссарт, Галиной Климовой, Сергеем Надеевым и Александром Грицманом (США). Он прочитал, а после выступления на него накинулся народ. И даже на меня (типа “легко ли быть женой гения”). Я как-то вывернулась, а его затискали. Потом ко мне подошла женщина (это была Людмила) и попросила разрешения выразить Ефиму свой восторг. Он ей надписал свой сборник стихов. Она дала нам свой иерусалимский телефон и пригласила звонить ей наутро, чтобы как-нибудь ещё пообщаться. Наутро не сложилось звонить-общаться, но адреса были даны, а позже она прислала нам в Москву свою книгу (оказалось, превосходные очерки русской деревенской жизни). Я ей обещала переслать книгу Ефима “Маски духа” (роман), но ещё не выслала. Она, музыкант по основному образованию, сейчас пишет песни на его стихи. Прислала черновые наброски.

Сегодня утром она прислала Ефиму поздравления с праздниками — строго в тот момент, когда я получила от Вас вопрос, не Львовна ли она.

Совместив одно с другим, я поняла, что вот они чудеса и есть.

Её адрес у Вас там в моём письме.

Елена Черникова».

И, наконец, третье письмо, которое я осмеливаюсь процитировать:

«Владимир, сегодня утром мы с Ефимом (Бершиным, моим мужем) написали Людмиле, а она в ответ прислала ссылку (см. ниже), из которой следует, что именно по линии Александра Коробицына она и является Коробицыной. Такие чудеса».

Далее была ссылка на livejournal Людмилы.

И вот как развернулась судьба семьи великого разведчика.

25 Ноябрь 2011.

Отрывок из ещё не законченной книги

Разрозненные, не связанные отрывки не очень твердого на голову человека:

«Алексей Павлович Коробицин прожил замечательную, поистине героическую жизнь, полную борьбы, захватывающих приключений и самоотверженного служения воинскому долгу. Многие годы он посвятил отважному делу советского разведчика. Видимо, и сейчас не пришло ещё время до конца рассказать об Алексее Павловиче Коробицине. Солдаты невидимого фронта долгие и долгие годы остаются неизвестными, но не пропавшими без вести героями. Сейчас на ленинградской верфи строится большой океанский корабль, который будет носить имя Алексея Коробицина. Скоро корабль спустят на воду, и теплоход “АЛЕКСЕЙ КОРОБИЦИН” уйдет в свой первый рейс. Он станет бороздить морские просторы. А на флагштоке океанского судна будет гордо реять красный советский флаг, под которым боролся Алексей Павлович Коробицин. Для него этот огненный стяг был дороже всего на свете». — Юр. Корольков, 1968 г. (предисловие к книге А. Коробицина «Тайна музея восковых фигур»).

Надо сказать, что, насколько мне известно, такой корабль так в море и не вышел.

Алексей Павлович остался “пропавшим без вести героем”... А зачем ворошить память? Сын А.П. Коробицина уехал в Израиль, друг — Наум Коржавин (Эмка Мандель) — в Америку... (в книге Коробицина его стихи помещены по дружбе...) Да к тому же Коробицин, в прошлом Алекс Оскар Кантор из Буэнос-Айреса, с отчеством Моисеевич, которого родители-коммунисты привезли в Советский Союз, был уже никому не нужен.. В январе 1975 г. я воссоединяюсь со своим мужем Лёвушкой Коробициным, которого органы, по просьбе матери, 2-ого профессора кафедры психиатрии в Москве, Виолетты Николаевны Фавориной, упростили “подписать документ о сотрудничестве...” и отправили в Израиль на 9-ть месяцев раньше меня, которую срочно положили в больницу лечить туберкулёз, объяснив, что ситуация с моим здоровьем катастрофическая... “Охранял” меня в больнице от этой болезни и “дружил” со мной плюгавенький коммунист из Перу, которого навещала Ибарурис. Отправив Лёвушку, органы забыли нас развести, так спешили. Оставляя официальную женой, я имела право на выезд за мужем, для воссоединения... Вот только меня “забыли” ввести в курс дела, связанного с заданием Родины моему мужу, а также взяли с меня положенные деньги за вынужденный насильственный



отказ от гражданства. Два билета на самолёт в Тель-Авив (через Вену), мне и дочери, оплатило Голландское посольство...»

Такие последние известия об Алексее Павловиче Коробицине, дошедшие до меня. Но, кажется, люди, долго ходившие по той стороне луны, продолжают жить немного по-другому, чем все люди, уходящие на тот свет. Их след незаметен, как лунная дорожка. Только чудится, что она есть, но есть ли она на самом деле?

Именно такую лунную дорожку я и хотел показать читателю.

4. Как встать вне строя

И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

А.С. Пушкин

Я знал его так хорошо, что вполне мог бы записать эту историю от первого лица. Но нельзя себе приписывать те события, которые хотя и происходили с твоим вторым Я, но все же не совсем с тобой. Да и вообще, кот может записывать увиденное, но не может участвовать в событиях как человек. Когда он засыпал и я пристраивался на подушке рядом с его головой, то все его мысли и воспоминания прошедшего дня становились мне так понятны, как, наверно, даже сам он не мог осознать. Что мне в Кире всегда нравилось, так это то, что он, как кот, всегда хотел ходить сам по себе. Он всегда говорил, что не хотел бы быть персидским владыкой, да и вообще не хотел бы иметь никакой власти. На родителей, однако, за имя не сердился, привык к нему. Я знал, что у него были те, кого люди называют друзьями, я их знал, знал и жену, но друзья потом поразъехались кто куда (не то, что в его любимых «Трех мушкетерах»), и уже не собирались вместе никогда. Главный его друг тех лет живет в Бостоне и порвал с Киром все отношения, потому что стал миллионером. А с женой Кир сам расстался. Вы спросите, где я сейчас сам живу, раз семья распалась, и как давно это было. Да и кто меня кормит.. Скажу для начала, что история эта произошла сорок лет назад, а живу я в институте для умеющих писать котом. Нам здесь дана полная свобода, хотя кормят чем-то необычным, поэтому я и жив до сих пор. Конечно, не правительство о нас, о котиках, заботится. Оно бы и котом построило по ранжиру и учило поворачиваться и шагать строем по команде. Нет, я думаю, что это инопланетяне подобрали наиболее выдающихся особей нашей породы, а мы им записываем про людей, что хотим. Никто нас не заставляет писать на определенные темы (поэтому это наверняка не спецслужбы). Нам дана свобода. А свобода способствует творчеству. Но надо представиться. Меня зовут Март (это потому что я в марте родился), я черно-белого окраса, несмотря на мои сорок пять лет, еще хорош собой и кошечки обращают на меня внимание.

Но, впрочем, не о себе взялся писать. О себе как-нибудь в следующий раз.

Итак, он, Кир Галахтин, т.е. мое второе Я, был наполовину еврей, полтинник, к 1970 г. женат, у него был сын, а в прошлом году он закончил университет и собирался поступать в аспирантуру. Как я люблю писать, так он все время читал. Как говорили его родственники, что как только он научился складывать слоги, то книжки из рук не выпускал. Проблема, которая его в тот момент волновала, называлась армией, куда

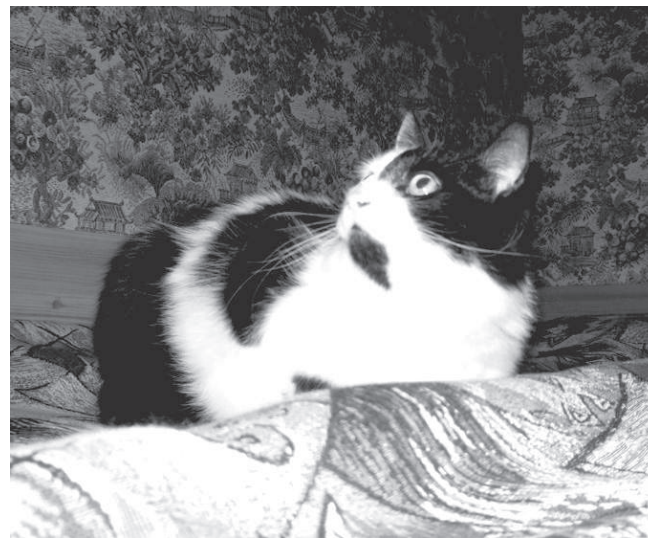


его вдруг решили забрать. До прошлого года было постановление людского правительства, что тех, кто получил высшее образование, да еще имеет малого ребенка, в армию забирать не будут. Армия — это заведение, как я понимаю, где недоучившиеся взрослые дяди заставляют молодых людей бегать по двадцать пять километров, подтягиваться на турнике, отжиматься по пятьдесят раз, спать мало, есть плохо, выполнять даже идиотские приказы командиров и ни на минуту не разрешать им оставаться наедине с самим сбоем. Все это называлось воспитанием настоящего мужчины, и служба считалась делом чести. Это была хорошо отлаженная машина в те годы. Сейчас, правда, рассказывают, что недавно министр обороны Сердюков разворовал и распродал армейское имущество. Но тогда такого не было, или было, но без особого шума.

Короче, мой Кир, мое Я, был в душе абсолютным одиночкой, хотя друзья его скорее любили, а уж женщины несомненно. Кир, как и я, старался избегать всяких сообществ и групп. Какая уж тут армия! На вопрос, почему он не участвует в политической жизни, в жизни государства, он всегда повторял одну и ту же фразу, где-то им вычитанную, что он хотел бы быть сознанием эпохи, а не ее персонажем.

Тщеславие, скажете вы? Наверно. Но это такая странная вера в свое предназначение, которая держит человека, требует от него оставаться независимым.

Впрочем, хватит кошачьей болтовни. Поведу рассказ по порядку.



Ком Марм

Начало самообороны

Университет Кир закончил в начале лета 1969 г. Ему было 29 лет. Осенний призыв прошел мимо него, поскольку попал он в больницу с острым аппендицитом, пролежал долго. После неудачной ночной операции полупьяным хирургом он лежал недели две, температура не уходила, а все лезла вверх. Почему-то валили на воспаление легких. По счастью, матери удалось отпроситься с работы в служебное время, она застала заведующую отделением и потребовала, чтобы провели консилиум. Вокруг Кира, который лежал в палате, что-то бормотали врачи, от жара он плохо понимал, о чем речь. Оказалось, что в результате у него развился острый перитонит, его снова вскрывали и откачивали гной. Глубокий шрам, где можно разглядеть след выводной трубки, остался на всю жизнь. Когда его выписывали, заводделением, позвала его в свой кабинет и сказала: «Интересовались вами из военкомата, но я им написала, что в этот призыв вы не годны. Но вообще благодарите свою мать, она вас словно заново родила, потребовав консилиум. А то могли вас ей вернуть через другое здание», — и она кивнула на видневшийся за окном одноэтажный домик морга.

Дома мама сказала: «Хорошо, что такое не в армии произошло. Там матери нет, чтобы проследить за всем. Чтобы в следующем году поступил в аспирантуру. Оттуда вроде не берут».

Но даже я, кот Март, знал, что высшее образование для советского военного командования и правительства не было никакой ценностью. Это царская Россия берегла образованных. А советские знали завет, что государству ученые не нужны, от них смуты в государстве. Царя свергли образованные, и с каким трудом потом удалось их приструнить. Хотя Кир говорил своей умной жене, что традиции были, что один правитель въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Я потом эту книжку тайно прочитал, никто ведь не знал, что я *кот ученый*, но столько спать на подушке с Киром или у них обоих в ногах — многого наслушаешься. Но все же Салтыков пугал соотечественников, а те, что после пришли к власти, взялись за дело всерьез. Но это я опять отвлекся на свои кошачьи соображения.

В марте Кир отпраздновал свое тридцатилетие. Собрались те, кого он называл своими друзьями. Жена Мила пела песни под гитару. Стояли бутылки и рюмки, пили портвейн и водку. Андрей Дубков, звавший себя Энди на американский лад, ровесник Кира, сосед с верхнего этажа, как всегда, напился. Говорили о призыве на военную службу тех студентов, в чьих институтах не было военных кафедр — их на два года, а тех, у кого кафедры были — на год. Но Кир после операции аппендицита и грядущей аспирантуры чувствовал в себе что-то вроде иммунитета. И в разговоры не вслушивался. Его больше тревожило недовольство бабушки, что внук ее не занимается каким-нибудь общественно полезным делом, а пьянствует. Человек должен служить, это смысл человеческой жизни. Бабушка была у Кира не простая, а член партии большевиков с тысяча девятьсот третьего года. Она сидела в царской тюрьме, много лет провела в эмиграции, потом воевала в Испании в гражданскую войну, имела боевые награды, преподавала историю партии и обладала такой властной натурой, что ее недовольство Кир чувствовал сквозь две запертые двери. Но в быту была порой наивна донельзя. Как-то приходящая ее домработница сказала, что опоздала из-за мужа, который «так нажрался», что лег поперек входной двери, и она не могла его никак сдвинуть. Бабушка ответила: «Зачем же он так много ест. Вы бы последили за ним, это вредно».

Наступил апрель, суббота; утром, возвращаясь из магазина, Кир из почтового ящика достал две газеты — «Комсомолку» и «Известия» и повестку о необходимости явиться в военкомат. На душе стало скверно, словно с ним такого произойти не могло. И вдруг словно злой мальчишка выстрелил в него из *духовушки* и попал маленькой пулькой в заднее место. Жил раньше у них такой в сосед-

нем подъезде недоросль Андрей Артемьев, у него все было импортное, ему все покупали, раньше прочих он начал «харить чувих» и, развлекая их, стрелял из духового ружья со своего четвертого этажа в попы пожилых людей, чужих, проходивших через их двор. Они вскрикивали, хватались за пораненное место, оборачивались, но его уже на балконе не было. Чуть позже таких молодцев начали называть плейбоями. Он любил спрашивать ребят младше его: «Шла старушка с тестом, упала мягким местом. Чем ты думаешь?» Была такая шутка в тогдашнем детстве. Обычно отвечали — задницей, а надо было отвечать, что думаю головой.

Почему при получении повестки ему припомнилась духовая винтовка, он тогда понять не мог. А потом было стыдно видеть в этом символ.

Итак, несмотря на то, что как от дробинки в заднице, тело заныло, думать надо было головой. Он, конечно, был одиночкой. Строем ходить не любил, в компаниях всегда был на отшибе, тем более не хотел в армию, уже вкусив университетской жизни, где профессора говорили ему «вы», не хотел, чтобы ему «тыкали» и принуждали. Но помощь нужна и одиночке, ведь одиночка — это не значит отшельник, пустынный, анахорет. Нужен был белый билет, для этого, как показал опыт с аппендицитом, нужна была болезнь, по которой в армию не брали. Жена с сыном уехали еще вчера к теще с тещей. Значит, не посоветуешься, а у Энди мать была врачом, скорее всего и медицинская литература имела. Человек книги, он искал опоры в книге. Выпив стакан чаю с бутербродом, он посмотрел на часы, и увидев, что уже около одиннадцати и Энди, даже если у него была бурная ночь, должен уже проснуться, он поднялся этажом выше. Энди не только встал, но уже был в костюме и галстук, на выходе то есть.

«Ты куда намылился?»

«Иду *одну* тут *харить*. Любовницу военкома, Юльку Поджидаеву, надо же дело с повесткой как-то закрыть».

Кир про себя поразился этой простоте человеческих отношений: как женщина может просить любовника нарушить свой долг за человека, который ее *харит*. Вроде своей бабушки он в практических делах мало что понимал.

Но сказал: «Мне тоже повестка сегодня пришла. Хотел с тобой посоветоваться. У тебя же мать врач». Энди кивнул: «Без проблем. Мне-то они десять дней назад прислали, вот я и подсуетился. Давай ко мне к шести. В шесть военком работу кончает, она к нему, чтобы он ее до жены попользовал, а до шести мое время.

Возьми пока вон медицинскую энциклопедию, полистай». Он вынес ему толстый том и побежал к своей «одной», а Кир пошел читать медицинскую энциклопедию. Все болезни были хороши, каждая по-своему, но имелось два неизвестных: во-первых, какая освобождает от армии, во-вторых, как заполучить нужное заболевание.

Тут вдруг позвонил Юрка Мостовой, по прозвищу Мост, ныне бостонский миллионер, а тогда аспирант МАИ, бывший ленинградец. «Как дела?» — спросил он. «Хреново, — ответил Кир. — Повестка в военкомат пришла. Думаю, что делать». Мост ответил: «Понимаю. Начинается борьба человека с бездушным механизмом. Если воли хватит — победишь». Мост был поклонник американской фантастики, где человек всегда побеждал машину. Почему-то о телефонной *прослушке* Кир не думал. Хотя по поводу нашей московской *прослушки* был у него разговор с бывшим одноклассником Шуриком Родиным, который в этой конторе работал. «Да хрен, не бойся, Кир. Там все наворачивается на бобины, а бобины складывают в подвал. Там все перепутано. Никто ничего не найдет. Ну, если за тобой, спецслужки нет». Кир был уверен, что нет, и продолжал говорить, как будто жил в свободной стране. Впрочем, годы спустя он понял, что она и впрямь, при известных допусках, была свободной. «Надо выбрать болезнь», — ответил Кир. Мост засмеялся: «Только будь осторожнее. Ты помнишь Лёньку Усвяцова из Питера с Кирочной, так тот, когда решил мотать, придумал себе заикание. Причем выяснил, что бывает заикание на гла-а-а-сные и с-с-согласные. В совершенстве освоил оба заикания. Пришел в военкомат, сел под дверь, а там почему-то шахматы стояли. Ты же знаешь, у Лёньки был разряд мастера, от нечего делать фигурки расставил и стал сам с собой играть. Подходит мужичок в темном костюмчике, белой рубашке и галстук. Не скажешь, что военком. И говорит: “А что, слабо три пятиминутки? Чья возьмет? Глядишь, я тебе пригожусь”. Ну, Лёнька вошел в азарт, про заикание забыл и трижды мужичка сделал. Тот заходит в кабинет, через полчаса Лёнькина очередь, а в кабинете длинный ряд врачей, медкомиссия, ну Лёнька тряс мудьями и заикался на гласные и согласные. Дошел со своим заиканием до военкома, который бумаги подписывал, а военкомом, как ты догадался, был тот самый мужичок, которого Лёнька только что ободрал. Ну и получил наш друг Забайкальский округ, а военком еще приговаривал: “Скажи спасибо, что в вечную мерзлоту не отправил”. Так Лёня три года и отслужил без выходов и отгулов».

Кир ответил, что это не совет, но, может, он к нему еще заглянет. И сел ждать возвращения Энди, который, как и обещал, пришел

сразу после шести. «Ну пойдём ко мне, мне Юлька, ну та, которую я *харил*, что-то подсказала. Вообще ты замечал, что все Юльки — активные давалки, но добрые?» Кир поднялся с ним этажом выше, где раньше они слушали Вертинского «на костях» — на рентгеновских снимках. Оказывается, Юлька Пожидаева сказала, что точно не берут с гипертонией. Они открыли том медицинской энциклопедии, внимательно прочитали симптоматику. Но оставалось главное: как добиться, чтобы тонометр показал нужные цифры. Энди ухмыльнулся: «Бабки есть? Беги за чем-нибудь покрепче. Юлька сказала, что наутро с давлением будет тип-топ. Только не жмись». Кир возразил, что завтра воскресенье, но, возражая, уже подумал, что так будет выглядеть натуральнее, раз врача в воскресенье вызвал. И Энди подтвердил, что это как раз неплохо. Кир сбегал в магазин, купил бутылку коньяка, две бутылки водки, какой-то «капитанский джин». Купил хлеб, масло, лимон, сайру, бычки в томате, российский сыр и колбасу «Отдельную». И они накирлялись изрядно, Кир еле сполз на свой этаж. Бабушка смотрела на него как на конченного человека, жены, слава Богу, не было. Она с сыном еще оставалась у тещи.

Утром он набрал номер поликлиники, где был вызов врача на дом. Пока врач шла к дому, он по возможности прополоскал рот и зажевал чем-то пахучим. Бабушка вдруг что-то сообразила и ушла в свою комнату. Пришла сравнительно молодая женщина-врач, померила давление. У него было 165 на 95. «У вас гиперкриз, — сказала она, — надо пару дней полежать. В среду придете в поликлинику. Больничный нужен?». Он даже удивился вопросу: «Конечно. — ответил он. — Как же иначе». На работу ему не надо было. Но он понимал, что больничный — это для военкомата. Вечером позвонил Энди: «Ну как? Порядок? Чего написала?» «Гиперкриз», — ответил Кир. Он хмыкнул: «Старичок, это только начало. В среду никуда не ходи. Снова вызывай». Кир и сам думал то же самое, но снова напиваться во вторник ему не хотелось. Тяжело было. Но в понедельник вернулась жена Мила. «Конечно, в поликлинику не надо, — сказала она, — пить тоже не надо. Я тебе такой кофе заварю, что врач поразится твоему давлению». Милка была кофезависимой и прекрасно разбиралась в этом напитке. Утром в среду я вызвал снова врача из поликлиники. Давление показывало уже 180 на 90. Бюллетень Киру продлили до понедельника. Но он продержался еще неделю. За это время пришли еще три повестки.

В следующий понедельник он все же отправился в поликлинику, три остановки на автобусе вдоль парка. Очередь была неболь-

шая, но Кир сидел, изображая больного, и впрямь чувствовал себя скверно.

Врач, молодая женщина лет двадцати трех, показала ему красивой. Сам Кир был молод и нравился женщинам. Она улыбнулась Киру, померила давление, оно по-прежнему было высоким. И она велела ему идти домой, побеспокоилась, дойдет ли, и сказала, что, видимо, придется в четверг явиться на консилиум, будет известный кардиолог. «Как вы думаете, что послужило причиной такого мощного гиперкриза? Вы же еще такой молодой, а давление, как у пятидесятилетнего», — ласково спросила она. Видимо, пятьдесят для нее — это была уже глубокая старость. «Думаю, перезанимался, у меня через месяц экзамены в аспирантуру», — ответил Кир голосом книжного мальчика, каким он и был на самом деле, хоть и не до такой степени. Она засмеялась: «Так трудно? А я собираюсь через год в ординатуру». Кир улыбнулся ей своей самой обаятельной улыбкой (не только красивая, но с той же ценностной ориентацией): «Желаю удачи!» Она улыбнулась в ответ: «Вы осторожнее с таким давлением. Если в четверг будет плохо, позвоните мне в кабинет, — она написала что-то на бланке и протянула эту бумажку — с телефоном ее кабинета, — постараюсь послать за вами перевозку».

Кир пришел домой, все рассказал жене Милке. «Нравишься ты женщинам, — сказала она. — А за что, сама не пойму». Зато мне, Марту, все было понятно. Он был почти такой же обаятельный, как я, и такой же красивый. Каждой хотелось его приласкать. У людей считается, что мужчина должен быть груб, некрасив и суров, но мы, коты, думаем иначе. Обаяние и красота еще никому в мужском роде не вредили. Особенно если ты одиночка, и у тебя нет шайки, которая поможет. Вот я красив и обаятелен, и все меня любят просто так, ни за что. А стоит помурлыкать, так получишь все, что хочешь».

Кир сел за стол читать литературу к первому экзамену, первый был по философии. Учебники Кир не любил, поэтому читал историю философии по книгам, написанным самими философами. У него дома были Фейербах и Гегель. С русской философией было хуже. Он только слышал о книгах Шпета, Зеньковского и Флоровского. Достать их было невозможно. Поэтому читал без конца «Былое и думы» и «Развитие революционной мысли в России» Герцена, а также почему-то оказавшуюся в домашней библиотеке «Историю Молодой России» Гершензона, изданную в Госиздате в Советской России аж в 1923 г. Эту книгу торжественно принесла ему бабушка, достав из своих закров. «Посмотри, — произнесла она, — эту

книгу любил твой дед. Я просмотрела ее, в ней ничего вредного и антисоветского нет. А фактов много. Тебе нужно как следует подготовиться. Ты должен поступить в аспирантуру. Ты же внук профессора. Я понимаю, что два года армейской жизни не пойдут на пользу научным занятиям». Так Кир обрел союзника, совсем, как ему казалось, неожиданного. Хотя если бы подумал, то сообразил бы, что бабушке не нравились их посиделки именно потому, что они мешали науке. Даже я, кот Март, это понимал.

Пиковая ситуация

Но на следующий день началось наступление, защита, и все по нарастающей. Рано утром в дверь позвонила соседка с первого этажа и протянула жене повестку со словами: «Я за нее расписалась, пожалуйста, не подведите меня». Милка взяла записку, посмотрела и сказала: «Придется мне отстреливаться. Не родителей же твоих туда посылать». Повестка требовала явиться в 16.00 кому-нибудь из родственников Кира на комиссию в военкомат. Родители жили далеко, да и не очень были в курсе происходящего. Уже в полшестого вернулась Милка, полная задора, ощущения своего успеха и хохота: «Прихожу. Сидят три начальника в форме, тебя курирует капитан Квасов. Квасов и говорит мне, иронически говорит, мол, кто я и кем тебе прихожусь. Отвечаю, что женой. Он говорит, что повестка имела в виду родителей. “Знаете, говорю, тридцатилетний женатый мужчина с ребенком от меня естественно самым близким своим родственником считает жену, я вполне совершеннолетняя, как вы понимаете, могу все объяснить”. Квасов сопит: “Почему он не приходит по повесткам?” Говорю: “Разве вы не выяснили в поликлинике? Он болен. У него тяжелая гипертония”. Он кивает: “Выяснили, разумеется. Ну, вы как к этому относитесь?” Я ему отвечаю: “Плохо отношусь. Думаете, мне, молодой женщине, приятно почти каждую ночь вызывать мужу неотложку, вместо того, чтобы заниматься совсем другими делами”. Он аж смутился, бедный: “У меня тоже гипертония, однако я хожу на работу”. Тут я его добиваю: “И вы хотите сказать, что вам или вашей жене ваша болезнь доставляет удовольствие?” Он смутился даже: “Нет, конечно. Но вы должны мне обещать, что как только приступ пройдет, он явится к нам на медкомиссию”. Тут я не удержалась, подняла руку в пионерском салюте и сказала: “Торжественно клянусь”. Они переглянулись, но ничего не сказали. Придется тебе в четверг серьезно подготовиться к твоему консилиуму. Самый крепкий кофе я тебе обещаю, но хватит ли его?»

И тут неожиданно в комнату вошла бабушка. Как у Пушкина про царя Салтана: «Во все время разговора он стоял позадь забора». Она была одета как всегда в красный байковый халат с глубокими карманами. Войдя, она сказала: «Я подумала и все-таки купила. В обычных аптеках этого нет, а в нашей — Четвертого управления — продают без рецепта, особенно пожилым людям, у которых гипотония». И она протянула меленькую пачку кофеина, сказав, что для повышения давления достаточно одной таблетки, чтобы Кир не злоупотреблял. И ушла к себе. Милка взяла пачку, внимательно рассмотрела и сказала: «Все-таки у старых большевиков всегда была смекалка, и они знали, на чьей стороне правда». Надо добавить, что жена и бабушка не то что враждовали, но всегда демонстрировали разные моральные установки. Но в случае Кира они сошлись.

Наступило утро четверга. Самое смешное, что тонометра дома не было — люди здесь давлением не страдали. Милка, правда, считала себя гипотоником, поскольку, когда не надо было бежать на работу, спала до двенадцати, а то и до часу. Поэтому и пила без конца кофе. Она поставила ему одну за другой две большие чашки очень крепкого кофе, подумала, налила третью. Кир отпил, но немного, уже не хотелось, да и без того в голове шумело, а еще надо было таблетку кофеина выпить. На автобусе доехал до поликлиники, находившейся на краю Тимирязевского парка, вошел в ворота, сквозь которые дорога вела в поликлинику. Уже войдя в ворота, он вдруг испугался, что кофе и таблетка кофеина не подействуют, разжевал и без воды проглотил вторую таблетку кофеина. Консилиум проходил на четвертом этаже, лифта не было, и Кир вдруг почувствовал, что каждый этаж дается ему с все большим трудом. К четвертому этажу он обливался потом, а ноги дрожали от слабости. Когда он вошел в кабинет, то поразился тому, как заволновались врачи, даже побледнели. «Вам плохо?» — спросила красивая участковая врач. «Да, чего-то еле дошел. Вроде с утра ничего не предвещало, а сейчас даже ноги дрожат», — честно рассказывал Кир то, что чувствовал. К нему подсел мужчина в халате, надел ему на руку манжету, начал нажимать рукой грушу, так что руку сдавило, приложил трубку к сгибу локтя, слушая его давление (тогда электронных приборов не было). Потом еще раз перемерил. Предложил сделать это же заведующей отделением. Потом долго сам слушал сердце. Потом сказал: «Немедленная госпитализация». Кир с трудом поднял голову, но сказал твердо: «Нет, у меня через десять дней экзамены в аспирантуру». Мужчина пожал плечами: «А вы доживете?». Кир был уверен, что доживет, и сказал честно: «У меня и давление оттого, что хочу в аспирантуру». И добавил поспешно:

«Занимаюсь много». Врачи сошлись в кружок подалее от Кира и что-то говорили. И заведующая сказала, чтобы Кир подписал бумагу, что отказывается от госпитализации добровольно.

И Кир ее, конечно, подписал. Ему хотелось узнать, какой ему поставили диагноз, но, понятное дело, спрашивать это было неудобно. Поэтому он спросил только: «Очень высокое давление?» Мужчина сказал, что он услышал, мол, верхнее за двести сорок, а нижнее выше ста. Стоявшая рядом докторша попыталась урезонить пациента: «Может, передумаете, пока не ушли. Пришлем перевозку, больница рядом. Вам далеко до дома добираться?» Кир твердо помнил, что как раз напротив поликлиники — через шоссе — живет его друг Юрка Мостовой, квартира которого совсем невысоко, всего на втором этаже. «Доберусь», — сказал он довольно уверенно. Вышел из кабинета и, держась за перила, тихо спустился по лестнице. Его шатало, но все же он набрался решимости и вышел из поликлиники. Подошел к шоссе и очень внимательно, как никогда не делал, поглядел в обе стороны. Потом, осторожно переступая ногами, чтобы не завалиться, перешел на другую сторону. Мост увидел его из окна, и ждал его уже у подъезда. «Кир, ты рехнулся! Разве можно себя до такого состояния доводить. Я как из окна тебя углядел, даже испугался, что ты сандалии отбросишь, не дойдя до подъезда». Кир еле улыбнулся: «Ты же сам говорил, что борьба человека с бездушным механизмом сложна, но необходима». Мост покачал головой и, поддерживая за локоть, довел до своей квартиры.

Юрка Мостовой — отдельная тема. Гений человеческой судьбы. Киру он очень нравился, но он еще не понимал, что второго такого уже не увидит никогда, человека такой решимости и внутренней силы. Юрка был инженер, но любил гуманитариев. Когда они познакомились, он только перебрался из Питера, там его бросила жена, в Москве оказались общие друзья-филологи. Они разговорились вдруг на университетском психодrome. Мост говорил напрямую, что привыкший к длинным гуманитарным экивокам Кир оценил вначале как прямолинейность, а потом принял как настоящее общение. Но подражать даже не пытался, понимая, что по-другому устроен. Первая почти фраза, которую произнес Мост, глядя ему в глаза, была даже непонятной: «У тебя друзья есть? Ты в них уверен?» Кир удивился: «Есть, конечно. Я многое готов для них сделать». «А поехать ночью на другой край города по телефонному звонку, если друг просит?» Кир подумал, потом кивнул: «Наверно, да». Мост сжал его плечо: «Это хорошо, что ты задумался,

прежде чем ответить. Правильно. Но все же настоящий друг — это не только тот, для которого ты все сделаешь, но и который для тебя все сделает. Такие есть?». И снова Кир задумался, перебирая своих приятелей: «Не знаю, наверно, нет». Мост протянул руку: «Теперь есть. Ты, похоже, настоящий».

И вот они уже дружили два года. Разговоров много было. Мост был еврей, но с удивительным лицом крутого бойца, стригся почти наголо, так что в метро к нему как-то наклонился странного вида мужик и спросил: «Давно от хозяина?». Мост отпихнул его плечом и сказал: «Пошел вон!» И тот на следующей станции вышел. «Что он хотел?» — спросил Кир. «Он решил, что я от хозяина, ну из лагеря». Такие лица были у американских актеров вроде Кирка Дугласа, Грегори Пека — решительные, но не жестокие. Кстати, странно, что оба эти актера тоже были евреи, как, кстати, и Юл Бриннер из «Великолепной семерки», любимец всей подростковой молодежи в России. С женщинами, правда, он не церемонился, сказался печальный опыт женитьбы, когда молодая жена ушла к его другу. Близкому, добавим, другу. Но потом он нашел питерскую филологиню из славного семейства Тмарченко, женился и стал думать об устройении своей жизни. Он жил в коммуналке, вторую комнату занимали муж и жена, вечно оравшие друг на друга, жена временами уходила ночевать в ванную комнату. Для начала он умудрился отселить эту парочку, и они с Веркой и Веркиной дочкой Анулей получили двухкомнатную квартиру. Это был второй этаж, и одно из их окон выходило на крышу магазинчика, располагавшегося на первом этаже. Мост придумал там что-то вроде гостиной, где летом он устраивал отмечания разных событий. Он научил Кира пить спирт. «Какой же ты Галахтин, если спирт пить не умеешь! Евреи всё должны уметь, тем более полтинники». А потом он стал говорить об эмиграции в Штаты. «Я и без того внутренний эмигрант, мне здесь ничего не нравится, а я хочу нормально жить и нормально зарабатывать. Получать столько, сколько я стою». Кир писал какие-то полудиссидентские тексты в стол и возразил: «Но есть же высшие интересы». На что Мост ответил: «Ты гуманитарий, это твои проблемы. А я хороший математик и дорого стою. Здесь же я обречен всю жизнь крутиться вокруг ста двадцати рублей». Это «дорого стою» было для Кира открытием, он никогда про себя так не думал. Потом Мост занялся йогой, перешел на вегетарианство, и вся семья приняла новый образ жизни. Правда, Веркина дочка Анулечка играла с подругами в «колбасу», но Верка была в полном подчинении у мужа и полна веры в него, а дочка ее возразить Мосту боялась.

Мост довел Кира до кресла, посадил его туда, быстро расстелил постель, раздел друга, укрыл одеялом, поставив ему на пятки и затылок горчичники. Это было его универсальное лекарство. Сел около него и время от времени шупал ему пульс. Телефона у него не было. Выйти на улицу, позвонить Милке из телефона-автомата он не решался. Видно, Кир производил плачевное впечатление. «Знаешь, — сказал он, — борясь с бездушным механизмом, надо себе не навредить. Воякам что, если ты помрешь! А Милке, а сыну твоему, не говорю уж о твоих родителях». К пяти пришла Верка, быстро сварила куриный бульон (это было еще до их вегетарианства), напоила Кира и пошла в детский садик за Анулей. К шести вечера Кир вроде пришел в себя, вскоре прибежала Милка, ей по дороге в садик позвонила Верка. Посидев еще немного, выпив чаю под комический рассказ Милки о ее визите в военкомат, Кир с женой уже смогли отправиться домой.

Но пик еще не был пройден. Далее нужно было подавать документы в аспирантуру, а среди этих необходимых бумаг должна была присутствовать известная всем советским студентам форма № 286, которую выдавала поликлиника и которая подтверждала, что абитуриент здоров и может учиться. Без нее остальные документы не принимались. А ведь он считался тяжело больным. Можно было бы потянуть время, сказать, что стало лучше и просить эту форму. Но время поджимало. Более того, чтобы получить эту форму, Кир должен был отказаться от бюллетеня, который был его охранной грамотой. Но делать было нечего, он пошел в поликлинику к очень ему нравившейся врачу, такой молодой и интеллигентной. «Как вы себя чувствуете? — спросила она, — лекарства пьете?». Кир ответил, что ему уже гораздо лучше, снял пиджак и закатал рукав, чтобы она могла надеть ему на руку манжетку тонометра. «О! — воскликнула она. — Несравнимо лучше, сто семьдесят на девяносто. Продолжайте принимать то, что вам прописал кардиолог, а ко мне через неделю». Кир спросил: «А какой он мне диагноз поставил?» Она покачала головой: «Нельзя, но все равно ведь рано или поздно будем писать вам диагноз, хотя со временем он может улучшиться. А пока у вас признана гипертония второй степени и стенокардия». Оба наименования его более чем устраивали для военкомата. Тем более их надо было оставить и не менять диагноз.

Кир улыбнулся ей улыбкой по возможности обаятельной, виноватой, смущенной и не оставляющей места для возражения. Он еще не очень понимал, что есть тип улыбки, действующий на женщин. Уже потом он с Милкой, свояченицей и сыном отдыхали в Гурзуфе.

На пляж шли не рано, родственницы спали долго, в киоске, где выдавали пляжные зонтики, женщина разводила руками: «Уже кончились. Раньше вставать надо». Сначала так отвечала жене, потом свояченице. Последним подходил Кир и, улыбаясь извиняющейся улыбкой спрашивал: «Опять проспали. Может, остался хоть какой-нибудь зонтик?» Она всегда отвечала: «Ну, только для Вас. Он вообще-то директорский, но директор на пляж уже сегодня не придет». И она отдавала ему последний большой зонт. Кир благодарно улыбался и догонял своих спутниц. Феномен обсуждался не раз. Наконец, Милка определила его улыбку как «смущенно-наглуую». Без ответа оставался вопрос, почему она так действовала на выдавальщицу зонтов. Кир не удержался и спросил об этом женщину из киоска, она ответила: «Потому что вы как-то сами по себе. У меня любимый кот так же себя ведет. Придет, муркнет и все для него сделаешь».

Он улыбнулся и сказал: «Но мне надо закрыть больничный. У меня послезавтра первый экзамен в аспирантуру. Я же не могу сдавать экзамен на бюллетене». «А если вам плохо станет?» — неуверенно спросила она. «Это невозможно, — ответил Кир, — я ведь ради аспирантуры так напряженно работал. Давление ведь не случайно. Неужели в следующем году все по новой? — И, нагляя, добавил: — мне ведь не только закрыть больничный надо, но форму двести восемьдесят шесть получить, без нее до экзамена меня не допустят». Она оторопело посмотрела на Кира: «Но я ведь не могу там написать, что вы здоровы...» Он наклонился над столом: «Вы просто не пишете о гипертонии, а все остальные болезни, которые я перенес, оставьте. Никто же не требует полного перечня, просто добавьте слова о том, что я могу учиться в аспирантуре». Она вопросительно посмотрела на Кира: «Я вас понимаю и сочувствую. Я понимаю, что наука — это ваш выбор. И выбор неплохой. А вообще вы из меня веревки вьете. Хорошо, что мой муж такого не видит, он тоже врач, и очень строгий». Она взяла бланк, заполнила требуемую форму, закрыла больничный и сказала: «И на бюллетень и на форму печать поставите в регистратуре. Желаю удачи!». Это был подарок жизни. Кир понял это позже, хотя спасибо и сказал, но имени спасительницы так и не узнал, глупо, по-мужски обрадовавшись (был тогда верным мужем), что она замужем, и не надо заводить романа. Она помогла и еще раз. Но через неделю. События не медлили.

Крещендо

Весь вечер и половину следующего дня он сидел за книгами. После обеда начал нервничать. Впрочем, нервность оказалась благотворной. Дело в том, что позвонил Энди и рассказал, что за его приятелем, который так же, как и они, *косил* от армии, ночью приехали менты, загрузили в ментовозку и сдали с утра в военкомат. Но до этого у себя подержали, сбили на пол кулаками, да еще несколько раз по почкам сапогами въехали, чтобы не увиливал от священной обязанности гражданина. «Ты еще на больничном?» — спросил приятель с верхнего этажа. «Уже нет, вчера закрыл», — ответил Кир. «Ты что? А потянуть еще не мог?» Объяснять про экзамены Кир не стал, просто сказал, что не мог больше. «Ну, тогда поопасайся, подумай, что делать, если придут. В деревню уехать не к кому?» «Нет», — ответил Кир, но сам задумался. А потом сказал жене: «Завтра экзамен вступительный. Не хочу рисковать. Поеду ночевать к родителям». Милка вспылила: «Что за советская трусость! Они не имеют права вламываться в квартиру без ордера!» Кир ответил: «Когда вломятся, поздно будет ордер спрашивать. Ты же не будешь отстреливаться и тому подобное». На мой кошачий взгляд, Кир был прав. Всегда знал, что сначала тебя ногой пнут, а потом и еще наподдадут, не разбираясь, ты ли разбил какую-то там чашку. И Кир настоял на своем, позвонил отцу и спросил, может ли он приехать с ночевкой, а отец погоняет его по вопросам, в которых он не уверен. Первый экзамен был по философии, отец — профессиональный философ. И он уехал, мама покормила их ужином, а далее они действительно весь вечер говорили то о Гегеле, то о Декарте. Но и о военкомате и призыве тоже говорили. «Ты знаешь, — сказал отец, — я, как началась война, пошел добровольцем. Понимаю, что сейчас ситуация другая. Но все же подумай. Если аспирантура тебя освободит, то хорошо, но я против всяких иных способов освобождения. Вот почитай письмо твоего деда, которое он послал мне в первые дни войны. Может, пригодится для раздумий о жизни! Как ты слышал, он был в концлагере по ложному обвинению, но перед войной его выпустили, как невинно оклеветанного. Но он не озлобился, а остался преданным идеалам своей страны». Легли спать поздно, почти в два ночи. Кир, правда, прочитал письмо только следующим вечером. Однако никак не комментировал, даже жене не показывал.

Я письмо тоже читал, Кир оставил его на столе открытым. Как вы понимаете, раз кот умеет писать, то и читать он умеет. Письмо стоит того, чтобы включить его в мои записки.

Письмо

«Дорогой мой сын! Я, старый профессор, который уже не может держать оружия в руках, горжусь, что мой любимый младший сын сражается с проклятыми оккупантами, которые посмели топтать нашу землю, разрушать наши фабрики и заводы, грабить и убивать советских людей. Убей как можно больше врагов, не щади их. Если так получится, то не щади и своей жизни во имя Победы!»

А в начале шестого зазвонил телефон в коридоре, Кир выскочил первым к звонку, который, по счастью, никого не разбудил. Шнур был длинный, и он унес телефон в комнату, где спал. Звонила Милка: «Только что ушли!» «Кто?!» Она замолчала, видимо поудобнее устраиваясь с телефоном и закуривая. Потом, затянувшись, сказала: «Как кто? Менты! Двое явились — полковник и при нем сержант. Полковник с любезной улыбкой извинился за такой ранний визит, но потом сразу: “Где Галахтин?” Я распахиваю дверь в нашу комнату, где супружеская расстеленная постель, а супруга нет. “Как видите, его нет”. Тут полковник допустил ошибку, говорит: “Но он же виноват!”. Тут я упираю руки в боки и говорю: “Почему вы думаете, что он виноват? Может, это я. Может, он из-за меня домой не приходит!” Он даже растерялся: “Да я о другом. Он перед Родиной виноват!” (Тут Милка хихикнула, для нее с ее абсолютно антисоветской установкой слова полковника и впрямь могли показаться забавными.) Я и говорю ему: “Ах это! Какие пустяки!”. Полковник вначале даже остолбенел: “Но он должен в военкомат явиться. Это священная обязанность”. Я его спрашиваю: “А вы священник?” Он растерялся и говорит: “Я в переносном смысле”. Короче, мы почти разговорились, и, предложи я ему чашечку кофе, он бы пошел со мной на кухню. Но сержант устыдил его своим присутствием, и они ушли». Милку переполняла гордость, и поступок стоил того.

В то же утро за экзамен он получил пятерку, других вариантов у Кира не было. Только победа, иначе всё зря. Как в приключенческих фильмах, поезд мчится через горящий мост, но путь, чтобы выжить, только один — вперед. Горящий мост надо преодолеть. На удачу Кира экзамены шли один за другим, в три дня — три пятерки. Результатов ждать было некогда, да и так было ясно, что он прошел. Но официальное зачисление в аспирантуру было через месяц, а то и полтора, за это время вполне могли забрать на службу, ведь он был пока никто. Ему вернули паспорт и сказали, чтобы в момент зачисления он пришел с паспортом. Теперь его не защищала никакая бумажка, оставалось одно (да другого варианта и не было): взять справку в поликлинике и идти в военкомат на медкомиссию.

И он снова отправился к красивой молодой докторше. Сказав, что чувствует себя вполне прилично, что экзамены он сдал на отлично, что спасибо за добрые напутствия, что зачисление через полтора месяца, но теперь ему нужна медицинская выписка из истории болезни для военкомата, потому что пришла повестка. «Ну кто же на первую повестку ходит! — улыбнулась она ему как несмышленишу, с которым их связывало полтора месяца болезни, и она, как врач, чувствовала ответственность за больного, продолжала его опекать. — У меня муж только на четвертую пошел. Так что ничего страшного. Не волнуйтесь». Но не рассказывать же было ей о дюжине повесток, о вызове жены в военкомат, о ночном визите милиции... И Кир, приняв абсолютно законопослушный вид, чем даже немного разочаровал, как ему показалось, красавицу (красавицы любят дерзких), сказал: «Вы знаете, я привык сразу выполнять необходимые формальности». Она пожала плечами, взяла историю болезни и принялась выписывать одну болезнь за другой, начиная со скарлатины, которой он переболел в трехлетнем возрасте. Выяснилось, что болезней было немало: две операции (гланды и аппендицит, дважды каждая повторенная), трижды дифтерит, корь, ветрянка, бесконечные фолликулярные ангины, стоматит и пр. Она, похоже, раньше не читала его историю болезни, а тут, выписывая, с удивлением невольно глянула на стоящего перед ней рослого, симпатичного и на вид вполне здорового мужчину. И спросила: «Последние заболевания записываем?» И тут Кир чуть себя не выдал: «Еще бы!» Она снова посмотрела на него, в глазах промелькнуло вдруг понимание, но тут же наклонилась над листком, записывая и это тоже, становясь с написанием каждой буквы соучастницей. Ведь совсем недавно она писала, что он абсолютно здоров и гипертонию со стенокардией по его просьбе пропустила. Протянув ему листок, сказала: «Печать внизу, только учтите — дама, которая там сидит, порой ведет себя странно. Но вы будьте потверже. Хотя, кажется, вы это умеете». Тетка была уже в возрасте и, казалось, здесь посажена не печати ставить, а отлавливать прогульчиков и уклоняющихся от работы и воинской обязанности. «Не буду ставить печать! Это же для военкомата. Пусть доктор перепишет справку и уберет два последних диагноза. Симулировать армию хочешь? Бери, неси назад, пусть переписывает». Кир разумно до бумаги не дотронулся и сказал вежливым, но железным тоном: «Знаете, не нам с вами судить, что правильно, что нет. Диагноз поставил консилиум во главе с заведующей отделением. А в военкомате все диагнозы проверяются, как вы знаете. И попросил бы мне не тыкать. Вы мне не родственница, я вам не подросток, и вы не имеете права называть меня на ты!» Последнее требование, види-

мо, убедило ее, что Кир достаточно силен. Она шлепнула на справку печать: «Надеюсь, вас разоблачат!» Кир взял справку и ответил строчкой Пушкина: «Несчастью верная сестра надежда...» И ушел.

Зашел к Мостовому, тот был дома. Провел на кухню, налил чаю. «Может, глоток спирта?» Вдруг ощущение, что именно этого ему не хватало. «Давай». Юрка плеснул Киру, потом себе. «Я с тобой за компанию, а то я сегодня тоже нервный». Он знал уже о пятерках Кира. Но был скептичен: «Не воображай, что победил, — сказал Юрка. — Считай, что ты на диком Западе, и можешь стать жертвой любого негодяя, поэтому все время будь настороже. Впрочем, место, где мы родились и живем, пострашнее дикого Запада будет. Я вчера зашел в МГУ, на филологический, Верку ждал, у нее семинар был по Достоевскому. Не понимаю, что она в нем нашла. Да и курс! Клиника психическая — один кривой, другой горбатый, прыщавые, узкие шейки, но есть и качки, тем не до филологии, но зато у всех бесконечные крики о патриотизме. На меня смотрели вопрошительно, почему молчу. Потом один тонкошей все же влез: “Простите, а вы Пушкина знаете?” Я отвечаю, что читал, мол, кое-что. “А Онегина?” Я киваю. “Помните там эпитафия: и жить торопится, и чувствовать спешит. А мы переделали. Еврейчики ведь ныне устроили массовый исход из России. Теперь мы этот эпитафия так произносим: и жид торопится, и, чувствую, сбежит. Как вам? Нравится?” Пришлось ему ответить, что если бы он не был такой убогий, то я бы ему попортил физиономию, но она и так природой испорчена: “Я и есть тот самый жид, и, конечно, сбегу, пока тут такие ублюдки”. Он отодвинулся: “Извините, я не знал, что вы из этих”. Подошел, сжимая кулаки, качок, я сунул руку в карман: “Только подними лапу, пусть опять к хозяину пойду, но тебя попишу за милую душу”. Он сразу к перилам: “Да это не еврей вовсе”. Тут Верка вышла, я к ней: “Пойдем отсюда, пока я их всех не урыл”. И мы вышли, у нее встреча с научным руководителем, а я домой поехал, во временное наше жилище». Кир удивленно поднял глаза: «Почему временное? Вы же здесь прописаны». Мост рассмеялся: «Кир, ты все же странный, я тебе столько раз говорил, а ты все не веришь. Не хочу я здесь жить, не хочу ждать, пока придут фашисты и повесят меня перед подъездом». Кир аж плечами вздернул: «Ты что? Фашизм у нас невозможен. Тридцать лет назад страна разбила немецких фашистов, ты что, забыл?» «А ты забыл, что у нас была Колыма, что всю интеллигенцию либо перестреляли, либо опустили, как в лагерях делают. Это что, не фашизм?» — Мост даже рассмеялся. Кир возразил: «Но это все происходило не под расовыми лозунгами!» Мост продолжал смеяться: «Я ведь тебе свой разговор с

филологами не зря рассказал. Перейдут и к расовым. Я ждать этого не хочу и не буду. Но ты не обращай на меня внимания. У тебя свои дела сейчас». «А польза Родине?» — пытался возражать Кир. «А чего же ты от армии бежишь?» — смеялся Мост. «Знаешь, мой отец воевал в авиации дальнего действия, имеет несколько боевых орденов. Но пользу по-разному можно приносить, я хочу как ученый и писатель!» — это Кир для себя решил. «Ну-ну, посмотрим, кому ты будешь нужен! Да этой стране интеллигенция на хрен не нужна. Еще убедишься в этом. Еще уедешь, как и я». Кир помотал головой: «А родители? Я даже кота Марта не смогу оставить!»

Было приятно, что про меня, про кота, он тоже думал и беспокоился.

Домой Кир вернулся не в лучшем настроении. Но он не мог себе представить, что когда-нибудь покинет свой дом, свой двор, своих друзей, он был все же очень домашний мальчик. Да и свои задачи надо было решать, Юрка был прав. И на следующий день он со всеми документами был в военкомате, записался на медкомиссию. Было много парней примерно возраста Кира, были они все коротко стрижены, почти как Мост. «От хозяина?» — вспомнил он выражение Моста. И когда, ожидая своей очереди, вышел на крыльцо покурить, спросил у белокрысы парня, который уже курил там, прислонясь к стене: «Давно от хозяина?» Тот с любопытством уставился на Кира: «Откуда знаешь? Ну да, три года волкам отдал, еще два — не буду. Мы здесь все такие, с одной судимостью. А ты за что был?» Кир отрицательно покачал головой: «Я там вообще не был». Парень удивился: «А как с нами попал?» «Случай». Тот хлопнул Кира по плечу: «Так мотай отсюда, пока не поздно». Кир посмотрел на него так, будто тот мог что-то посоветовать. «Раздеваемся, я на тебя посмотрю, — сказал белокрысый. — Может, что и присоветую». Поразительно, но это было общее, чаще молчаливое, но почти всеобщее сопротивление военной машине. Все знали о постройке дач для генералов, об использовании солдат как рабской силы, о чудовищной дедовщине, о том, что нет военной опасности, а потому и нужды нет в огромной непрофессиональной неповоротливой армии. Родине можно ведь служить по-разному. Наука тоже ей во благо, — добавлял про себя Кир. Хотя и помнил слова военного министра Николая I генерала Сухозанета: «Без науки побеждать возможно, без дисциплины — никогда». Потом проиграли войну в Крыму. А потом в Афгане и особенно стыдно в Чечне. О том, что через тридцать лет министр обороны Сердюков будет торговать имуществом министерства, никому и в голову прийти

не могло, хотя все к тому шло. Пасквилянты писали, что в Чечне офицеры продавали чеченцам своих солдат в рабство. Призывники все уже разделись до трусов и толпились перед входом в первый медкабинет, за которым шла целая анфилада кабинетов, а на выходе военные начальники принимали уже проверенный человеческий материал. Тут к Киру белобрысый подвел крутоплечего парня, в сущности уже мужика, видимо, местного лидера. Тот оглядел Кира с головы до ног, протянул руку, взял Кира за локоть: «Ну-ка повернись. Точно. Пацаны правильно сказали, что плоскостопие тебе *косить* надо». Что было моему Киру ответить, что, мол, он и сам знает, что делать? Нет, конечно. И он сказал: «Спасибо».

В первом кабинете измерили его рост, взвесили на весах, послушали трубочкой грудь, пару раз попросив вздохнуть, врач сказал, что в армии он наверняка сбросит лишние килограммы. И его отправили в следующий кабинет к окулисту. Со зрением все было в порядке. Следующий был хирург, который пощупал руки, ноги, велел снять трусы, взвесил на руке яйца Кира, посмотрел, ровно ли они висят, написал, что норма, и отправил дальше к лору (ухо, горло, нос). Здесь ему немного пофартило. Лором оказалась мать его бывшего одноклассника. Не глядя на вошедшего, она принялась листать принесенные ей медицинские бумаги. И вдруг вслух прочитала: «Галахтин Кир Павлович». Она удивленно посмотрела на Кира, узнавая его: «О, повзрослел! А чего с призывом подзадержался? Мой Василий уже оттрубил свою пару лет, теперь на втором курсе МАДИ...» Кир улыбнулся ей и постарался ответить нейтральным голосом: «Да я ведь сразу в университет поступил на исторический. А теперь вот сдал экзамены в аспирантуру. Но в этот поток допризывников попал случайно». Она спросила с интересом: «Как сдал-то?» Он, немного гордясь, ответил: «Все на отлично». Она улыбнулась дружески: «Молодец! Всегда был умный, мой Василий всегда говорил, что ты историю лучше всех знаешь. Чем же могу помочь? Когда зачисление в аспирантуру? Скоро?» Он грустно возразил: «Если бы! Через два месяца». Она снова пролиставала его медицинское дело. Увидев последний диагноз, она взяла красный карандаш и жирно подчеркнула его: «Гипертония II степени. Стенокардия». И расписалась, что, мол, врач подчеркнул: «А то делают вид, что не заметили. Ну, удачи тебе. Спаси Бог!» Далее врач за врачом признавали его здоровым и годным, но потом кардиолог запнулся на подчеркнутым диагнозе, позвал невропатолога, который уже пропустил Кира, постучав ему по коленкам и проверив реакцию, то есть заставив призывника достать пальцем до носу с закрытыми глазами. У Кира все было в норме, врач написал, что он

годен, а тут его позвал кардиолог и ткнул карандашом в подчеркнутый диагноз. Они попросили Кира отойти, что-то написали в его деле, расписались, и кардиолог сказал: «Полежишь в больнице дня четыре в нашем отделении. Там тебя как следует проверят».

Да, надо сказать, идя на военную медкомиссию, Кир впервые за последние два года побрился. Так требовалось военными правилами. Милка смеялась: «Словно лысый стал». Даже мне, коту, было непривычно видеть голое лицо Кира. А он больше всего боялся встречи с капитаном Квасовым. Он понимал, что тот ему ничего не сделает, но заранее он с тоской чувствовал, что ему будут говорить «ты», орать на него, а если бородатый, то шквал ругательств возрастет. Если сейчас борода — это признак правого мусульманина, то в те времена — это «западнический» вызов общественному строю. Объяснять, что все русские классики носили бороды, было бессмысленно. «Ты что, Чехов? Или Ленин? Высоко занесся!» Но в этот раз Киру повезло. За столом с военными вместо трех сидело двое, они тут же подписали ему направление в больницу, пожелали, чтобы его признали здоровым, и он мог послужить. Когда Кир уже вышел в коридор, мимо него прошмыгнул в эту же дверь полный капитан, и из-за двери Кир расслышал свою фамилию: «Галахтин уже был?» «Да, его в больницу направили». «Ну ладно, я до него еще доберусь!». Кир быстрыми шагами пошел прочь из военкомата, думая: «Что за странная привязанность и нелюбовь? Чем я его так достал?» В больницу велено было отправиться сегодня же. Но прежде он отправился домой. Может, чувствовал Квасов его сознательное неприятие представляемой им структуры.

Дома были и жена Милка, и бабушка, сын еще оставался в детском саду. «Надо собираться в больницу, — сказал Кир, — в специальное отделение для призывников. Будут разоблачать». Милка ухмыльнулась: «Ничего, мы их снова кинем. Каждый день с утра термос кофе, и порядок! Я и сейчас тебе на дорогу покрепче заварю. А потом сумку с бельем соберу, пока кофе пить будешь». Он взял пару детективов и вестерн на английском, а также Эрнеста Хемингуэя «A farewell to arms». (Это был период, когда Кир почему-то решил выучить английский как следует, чтобы читать свободно, о свободном разговоре он и не думал — не с кем.) Детективы и вестерн дал ему Мост, а «Прощай, оружие» на английском случайно купил в букинистическом иностранной литературы. Уж очень роман был в тему. Уже когда он собрался, открылась дверь бабушкиной комнаты и, видно, что не очень соглашаясь со своим поступком, она протянула ему пачку кофеина со словами: «Будь

осторожен, принимая это». Что творилось в душе и голове старой большевички, помогавшей внуку избежать призыва в советскую армию, мне, коту, описать не под силу. Могут только констатировать этот факт. А Кир не задумывался о том, что думала его бабушка, давая ему пачку кофеина; удивлялась только его жена, видевшая в бабушке идейную врагиню.

Больница

Надо сказать, и Кир это знал, что поликлиника, где ему ставили диагноз, и больница, где находилось отделение для призывников, были сообщающимися сосудами. Поликлиника была от этой больницы. Он надеялся, что больница не будет оспаривать диагноз поликлиники. Встреча в приемном покое сулила плохое продолжение, словно гадание старухи-колдуньи, которую не позвали на праздник рождения принцессы, и она напророчила всяческие неприятности бедной девочке. За столом сидел человек лет шестидесяти, коротко стриженные усики под носом, коричневые от табака, коричневые редкие ресницы, желтые глаза и тонкие губы. Он листал медицинское дело Кира, и взгляд его вдруг стал неуловимо и непонятно почему неприязненным и даже злым. «Это твой дед профессор Галахтин похоронен в Тимирязевском парке? Слышал, что там есть кладбище? Или, может, даже видал? Так твой? Или однофамилец?» «Мой!» — ответил Кир, не очень понимая, гордиться этим обстоятельством или для этого человека быть внуком профессора, захороненного на Тимирязевском кладбище, все равно что быть парией. Видимо, последнее. Кир почувствовал волну ненависти, вдруг хлынувшую на него. «Твой дед, когда его хоронили в месте, не предназначенном для кладбища, месте, которое выделили только для профессуры Академии, хотя я был против, наверно и вообразить не мог, что его внук будет от меня зависеть!» — засмеялся сидевший. «Но дед-то ни при чем, не виноват, что его там похоронили», — возразил Кир не очень уверенным голосом. «Просто профессора, хоть зарплаты у них были небольшие, себе вечно льготы выбивали, — угрюмо сказал доктор. — А теперь профессорский внучок хочет уклониться от службы в нашей армии, хочет на диване полеживать да книжечки читать. Но это у тебя не получится. Ну-ка расскажи, что ты чувствуешь? Почему тебе такой диагноз поставили?» Кир рассказал о своем самочувствии, причем напирал на тот случай, когда ему и в самом деле было худо и он у Моста отлеживался. Желтые глазки сузились: «Хорошо излагаешь, прямо по медицинской энциклопедии, грамотный, начитанный паренек.

Ну, давай я тебе давление померяю, что там у тебя на самом деле». Он надел манжету Киру на руку и начал качать грушу, как насосом, манжет сжимал руку все больше и больше, так что, казалось, он больше не выдержит. Потом отпустил грушу, воздух медленно выходил, он внимательно прислушивался, потом сказал: «Ну вот, как я и думал, сто двадцать на восемьдесят, давление, как у космонавта. Симулируем! Но мы тебя здесь быстро распознаем». Кир понимал, что надо защищаться: «Вы уж простите, но я в вашей поликлинике наблюдался. Мне там диагноз поставили, были приглашенный кардиолог и заведующая отделением». «Надеешься, что на них управы не найдется! Найду, не сомневайся. Иди пока в палату».

Что-то в Кире надломилось, настроение упало, как у бойца, ожидающего поражения. Он, правда, старался уверить себя, что врач приемной палаты не важнее заведующей отделением, но ведь смотря что он предъявит ей. В палате было еще трое парней, спустя годы он не мог вспомнить ни лиц их, ни диагнозов. Но, кажется, такая мощная симуляция была только у него. Кир разложил свои вещи, в тумбочку книги, термос с кофе на тумбочку, и сразу допил весь кофе, что там оставался. Взял вестерн про ковбоя Хондо, на Хемингуэя сил не было, хотелось полностью отключиться. Кофеин он пока не пил, решил оставить его на утро, когда придет ведущий врач палаты. Пока же пришла сестра, померила давление и сказала ободряюще: «Ну вот, видишь, давление нормальное. Если так еще подержится пару дней, то и отпустим тебя. Иди спокойно в армию». Кир побледнел: «Не может такого быть, у меня диагноз гипертония и стенокардия». Сестра беззлобно возразила: «Ну в этом доктор разберется, мое дело давление вечером измерять. А оно у тебя хорошее». И ушла. Через час явилась жена с огромным термосом: «Еле пропустили! Рассказывай, как дела. Нормальное давление? Два раза уже? Не может быть!» Кир мрачно кивнул: «Не знаю, почему». «Пей кофе и успокойся, — сказала Милка. — Завтра я с утра на работе. Не забудь кофеин приять, а днем тебе Верка, ну жена Мостового, еще баллон с кофе принесет. Друзья не оставят».

Далее три дня прошли так однообразно и быстро, что в деталях он не помнил их. Но пара разговоров и несколько эпизодов из памяти уйти не могли. Утром пришел дежурный врач из приемного покоя и, глядя на Кира желтыми глазами, спросил: «Ну что, симулянт, не разоблачили еще тебя?» Единственно, что сумел ответить Кир: «На каком основании вы говорите мне ты?». Усатый врач ухмыльнулся только: «Сейчас поговорю с твоим палатным врачом». И он дождался палатного врача. Это оказалась очень милая, даже

красивая молодая интеллигентная женщина, чем-то напомнившая ему районную докторшу. Желтоглазый и усатый строго сказал подошедшей: «Вот хочу вас предупредить по поводу этого молодого человека, это профессорский внучок, который очевидно симулирует, чтобы не пойти в армию. Как ему удалось обойти нашу поликлинику, не знаю. Но я проверил, давление абсолютно нормальное». Она ответила односложно: «Да, я видела вашу запись. Спасибо!» Врач-доносчик ухмыльнулся торжествуя, кивнул покровительственно его палатному врачу, красивой молодой женщине, и вышел. Она была синеглазой шатенкой, это Кир запомнил, но взгляд ее был внимательный и немного строгий. Она присела на стул рядом с его кроватью, улыбнулась: «Как давно у вас повышенное давление?» Кир смущенно улыбнулся в ответ и повторил версию, которую он проговорил в районной поликлинике, но с добавлением, вполне правдивым (он давно понял, что маленькая ложь должна быть в оболочке из правды, тогда и она становится правдой): «У меня и в самом деле дед профессор, он был геолог, работал в Тимирязевской академии, дружил с Вернадским и Ферсманом, похоронен в Тимирязевском парке, там есть маленькое кладбище для профессуры академии». Она откликнулась, довольно оживленно: «Да, я слышала об этом кладбище, это как бы местная достопримечательность. Меня туда наш заведующий водил, — она немного покраснела. — Показывал окрестности больницы. Так ваш дед там похоронен? Ну а вы что?» И Кир рассказал, что после университета напряженно готовился в аспирантуру, куда непременно хотел поступить, потому что хотел быть ученым, а не солдатом. Она кивнула головой: «Я в этом году тоже в ординатуру поступила. Тоже были очень трудные экзамены. Мне, правда, наш заведующий очень помог. Он хороший человек», — она снова немного покраснела, а глаза засветились благодарностью, как подумал Кир, неизвестному ему заведующему. Он подумал о возможном романе: молодая женщина была хороша собой, стати и под халатом угадывались. «Ну, давайте я вас послушаю, а потом давление померяю».

Кир согласился вполне спокойно. Термос кофе он уже выпил, таблетку кофеина тоже проглотил. Но желтоглазый доктор оказался чем-то вроде злого волшебника: давление снова было в норме. Докторша растерялась не меньше Кира, померила ему давление на другой руке. И на правой руке — норма. «Я через пару часов еще к вам зайду», — сказала она, свернула свою трубку и измерительную манжету. И вышла. А Кир остался в ожидании нового термоса с кофе. «Чо, бля, закосить хочешь? — сказал лежавший наискосок от него приклатненный толстяк. — Не выйдет. Они здесь всех здоро-

выми признают. Я с сотрясением лежу. Не верят. Глаз наметанный. Я по-настоящему, как парни советовали, сотрясение побоялся сделать». Кир удивился: «Как это — по-настоящему?». Толстомордый как-то глупо захехекал: «Год назад, один керя не хотел служить. Мы ему и предложили сотрясение. Он начал спрашивать, что да как, а я тем временем на четвереньки за его спиной встал, а один наш здоровяк, балдоха, ему в челюсть со всего маха. Он через меня кувырнулся, затылок в крови, скорую вызвали. Ну и комиссовали его по язве, даже во время проверки, как у нас сейчас, спохватились и на операционный стол увезли. По всем линиям не подошел».

Кир закрыл глаза, сделал вид, что спит, потом через время взял роман Хема, начал читать эпизоды в больнице. О том, как молодая медсестра оставалась у героя на ночь. Правда, понимал, что здесь ему такое не светит. Пришла жена Моста, пробралась в неурочное время, принесла ему термос с кофе, а пустой забрала, чтобы отдать Милке. Он выпил чашку, запил еще одну таблетку кофеина. Но самочувствие оставалось вполне приличным, будто он все возможное повышение давления выдал, пока ходил в поликлинику и делал себе диагноз. А теперь организм отдыхал, сопротивляясь стрессам. В злого волшебника Кир все же не верил. В палату снова вошла молодая докторша: «Давайте еще раз попробуем. У меня одна идея появилась». Она измерила ему давление на левой руке, потом на правой. На обеих руках была норма — сто двадцать на восемьдесят. Просто идеальное давление. И тогда она, смущаясь, сказала: «Хочу попробовать померить давление вам на бедре». Кир тоже смутился, но все же откинул одеяло. Она быстро добавила: «Давайте не смущаться, все же я врач. Это я и себе говорю». Он засучил пижамные трусы на левой ноге. Манжетка с трудом обхватила мужскую ногу, Кир был не из щупленьких. Но и на левом, и на правом бедре давление было все так же нормальным. «Ну ладно, — сказала докторша, — три дня мы должны вас проверять. Посмотрим, что будет». Эта процедура повторялась еще три дня. Утром, днем и вечером она измеряла его давление. Кир понимал, что она хочет ему помочь, хотя не имеет права произнести это вслух. Но давление стабилизировалось, не смотря на кофе и кофеин. Он был просто в отчаянии. Бабушка съездила в свою аптеку, купила новую пачку кофеина, Милка принесла ее в больницу. Но проку не было никакого. Единственное, на что он мог полагаться, — это на выписку из поликлиники. Не может же больница оспорить заключение своей поликлиники.

Наступил день выписки. В палату быстрыми шагами вошел усмешливый, даже иронический с виду, молодой и симпатичный бы-

строглазый доктор лет тридцати. Это и был заведующий отделением. Он раздавал результаты исследований. Одного он направил в гастроотделение, двух других признал здоровыми. «Вот, бля, так и думал», — сказал мордатый понуро. Получившие выписку о годности начали собирать вещи. Тогда он подошел к Киру, взял с тумбочки вестерн, который со вчерашнего вечера читал Кир, желая набраться мужества у ковбоев, и сказал: «Американские вестерны читаем? Полезно. Нужно привыкать к ожидающей суровости жизни. Марш-бросок на двадцать пять километров, скатка по жопе бьет, автомат по спине, пот, грязь, без душа придется, ведь марш-бросок рассчитан дня на три-четыре». Кир не очень уверенно ответил: «Невозможно. У меня гипертония второй степени и стенокардия». «О стенокардии не может быть и речи. Ее просто нет. А вот гипертонию мы оставили», — сказал усмешливый врач. Тут разговор стал на редкость откровенным. «Но ведь с гипертонией заберут», — полувопросительно произнес Кир. «Я понимаю, что делаю, — ответил врач. — Все в порядке. С таким диагнозом в армию не берут. Скажите своему палатному врачу спасибо». Кир оделся и пошел в ординаторскую, там ее не было, он подошел к дежурной медсестре и спросил: «А мое дело уже сдали?» «Нет, но на руки не выдаем». «Да мне бы на секунду, только взглянуть», — и, не дожидаясь возражения, открыл папку. Все дни она писала ему давление сто восемьдесят на девяносто, иногда сто девяносто на восемьдесят пять. К диагнозу придраться было теперь нельзя. Аспирант помог аспиранту.

Немного комическое завершение

На следующий день он пошел по указанному адресу сдавать документы и выписку. Это действие происходило в подвальном помещении рядом с военкоматом. Подвал был полон бывших эков, признанных годными к военной службе. У стены стоял стол, на нем лежали разные бумаги, в углу ящики, куда складывали паспорта, медицинские выписки и личные дела. Личные дела заполнял сидевший за столом невысокий мужичок, стриженный «под ёжик» с ничего не отражающими глазами. Когда он поднимался, он напоминал невысокий пенек. Подходившие называли фамилию, имя, отчество, год и месяц рождения, место рождения, количество судимостей, учебное заведение, место и год рождения родителей и т.д. Все это, замечу, безо всякой проверки и подтверждения документального. Подошла очередь Кира. Он сдал свой паспорт, медицинскую выписку, назвал фамилию, имя отчество, год, месяц, число и место рождения. Потом последовал такой диалог:

Чиновник: «Сколько судимостей?»

Кир: «Ни одной».

Чиновник: «Как так — ни одной!»

Кир: «Так получилось».

Чиновник: «Что кончал?»

Кир: «МГУ».

Чиновник: «Номер?»

Кир: «Не понял. Какой номер?»

Чиновник: «Какой номер ПТУ?»

Кир: «Это МГУ, Московский государственный университет. Думаю, у него нет номера. Он главный в Советском Союзе».

Чиновник: «А... Понятно. Где отец родился?»

Кир: «В Буэнос-Айресе».

Это была чистая правда. Так получилось, что отец родился в семье политэмигрантов в Аргентине.

Чиновник: «Чего? Это где?»

Кир: «Аргентина».

Чиновник: «Чего? Азербайджан?»

Кир: «Нет. Аргентина. Это в Латинской Америке».

Чиновник: «А что он там делал?»

Кир: «Он? Просто родился. А его родители были политэмигрантами из царской России, как Ленин. Там они и родили отца».

Чиновник: «А зачем они вернулись?»

Кир (чувствуя зыбкость разговора): «По приказу товарища Ленина».

Чиновник (вдруг переходя на вы): «Понял. Ну идите. Паспорт получите назад вместе с военным билетом».

Кир: «А нельзя ли сейчас? Мне гонорар получать. А без паспорта это невозможно».

Чиновник: «Че-его получать?»

Кир: «Гонорар. Это деньги за статью, которую я написал, а ее опубликовали».

Чиновник: «Ну, тогда возьмите. Не забудьте с собой принести, когда придете получать воинские документы».

Он поставил галочку около фамилии Галахтин и обратился к следующему. Кругом стояли бывшие ээки, смотря на Кира с удивлением и даже, как ему показалось, с уважением. Сунув паспорт в боковой карман, он сделал было шаг от стола, как открылась дверь, сквозь которую они спускались в подвал, и сверху раздался громкий, начальственный голос: «Галахтин здесь?». Кир поднял глаза, наверху стоял полный офицер — капитан Квасов. Кир стоял, не шевелясь, чтобы не привлечь к себе внимания. Поведение на

уровне инстинкта. Чиновник-пенек посмотрел в свои бумаги, увидел галочку, стоявшую против названной фамилии, и ответил: «Уже ушел». Квасов хлопнул себя по бедру и воскликнул: «Опять ушел!» После чего Кир начал двигаться и прошел мимо Квасова, а было ощущение, что он, как в фантастических фильмах, проходит сквозь стену, исчезая с глаз своих врагов.

Через день он пошел получать свой военный документ. В зале собралось около сотни человек, бывших эков и будущих солдат, все стулья были заняты. Лица показались Киру опухшими, очевидно, пили все эти дни, как положено перед призывом. Да и вообще все они в этот раз выглядели почему-то какими-то рахитичными и маленькими, Кир сам себе казался Гулливером. На эстраду вышел широкоплечий, коротко стриженный полковник, строго сказавший: «Ждите, сейчас вам раздадут ваши документы». Он сел за стол. Через пару минут в зал вошла полногрудая с толстыми икрами секретарша, неся поднос с грудой разных бумаг. Мало за эти годы видевшие женщин, бывшие эки проводили взглядом каждый ее шаг, невольно выдохнув одним дыханием: «У-у! Вот это телка!» Нисколько не смутившись, секретарша вышла. А полковник вдруг встал, снял китель, повесил его на спинку стула, вышел на середину эстрады, засучил рукава рубахи и, показывая собравшимся мощные бицепсы, даже немного играя ими, сказал: «Вот посмотрите на меня. Мне сорок лет, а я силен, здоров, могу любому из вас бока намять. А почему? Потому что никогда не пил, не курил и не смотрел на женщин с половым любопытством!» Мужики в зале подавились смехом. Полковник все же произнес речь о чести служить в рядах доблестной Советской армии. Слушали его плохо, переговаривались, кто-то даже закурил в рукав, двое разливали по пластмассовым стаканчикам водку, третий все вертелся, он был на ряд впереди, боялся, как бы его не забыли. Похоже, они привыкли к таким речам и клали на них с прибором. Полковник обвел глазами зал и не увидел ни одного нормального лица, нормальной фигуры, кроме лица и фигуры Кира. Прямо с эстрады он вдруг обратился: «Ну а ты, орел, в какой род войск собираешься?» Кир понял, что к нему, но в зале было более ста человек и все завертели головами, ища того, к кому обратился полковник. Так что тянуть одеяло на себя было неудобно. Полковник это тоже понял. Вдруг сошел с эстрады, вошел в зал, прошел по рядам и сел рядом с Киrom. Обнял за плечи: «Ну, орел, повторяю вопрос, плечи у тебя сильные, любой род войск подойдет. Но могу помочь. Куда хочешь? Морфлот? Авиация?» Отец у него был летчиком, все детство он хотел стать настоящим моряком. Но мечты эти ушли с возрастом. А теперь и вообще

это звучало для него дико. И он ответил: «Не, никуда. Гипертония у меня второй степени». И добавил зачем-то: «И стенокардия». Полковник оторопел, как-то отстранился, посмотрел почему-то уважительно и, перейдя «на вы», сказал: «Тогда вам надо по партийной линии идти».

Самое смешное, что о карьере он вообще не думал никогда, тем более о такой прямолинейной карьере. И, получив военный билет, в котором говорилось, что он не годен в мирное время, в военное же годен с ограничениями, Кир отправился домой. Дома его уже ждали друзья и накрытый стол. Он сразу позвонил родителям, трубку взяла мама и, узнав новости, сказала: «Я рада. Что бы ни говорил отец, я теперь спокойна. Если что случится, сможем тебе помочь». А гости выпивали, смеялись его рассказам. В этот раз и бабушка сидела за молодежным толом. «Я всегда хотела, чтобы мой внук был ученым, — сказала она. — Если бы была война, я бы сама направила его в армию. А пока пусть хранит традицию и будет профессором, как его дед». Бабушка подняла рюмку: «Я предлагаю выпить за мир во всем мире».

А я, умный и ученый кот, сидел в углу и ел куриную печенку, купленную мне в честь победы Кира. И что теперь? Его бабушка умерла, умерли отец и мать. С женой он развелся, Энди спился, а Мостовые живут теперь в Бостоне. Сам он вряд ли будет рассказывать эту историю. Будет стесняться, что избежал службы в армии. А мне, коту, все можно. Скажут, намурлыкал Бог знает что, может, и выдумал все. Но все равно, кроме меня, никто это не расскажет. А мне интересно, для меня это и необходимая письменная работа. Мне знакомый кот рассказывал (он сам слышал), как один чиновник говорил: «Работать с интеллигенцией — все равно что котов пасти». Да, нас пасти трудно, мы каждый сам по себе, не бараны какие-нибудь. Оценок нам за наши сочинения в институте не ставят, но комментируют. Об этих моих записках руководители института сказали, что они не очень похожи на реальность, что интеллигенты, по их сведениям, в трудные минуты друг другу не помогают. Но смотря в какие моменты! Поэтому завершаю свои записки честным словом благородного кота, что все рассказанное в них — чистая правда.

7 августа 2013 г.

5. Необходимость «планки», или Преодоление современности (слово об отце)

Писать о жизни отца сыну трудно. Человек нечто делает, это понимают и оценивают современники (редко), чаще потомки. Сын может рассказать то, что не видели и не знали другие. Такова моя задача: рассказать, как я его видел всю свою жизнь, каким он мне представлялся. Разумеется, говоря о философе, важно, даже необходимо определить его интеллектуальные интересы, по возможности показать, как они выростали из его поведения, отношения к людям, к трудностям и удачам, — из судьбы человека, которая и определяет философское высказывание.

Прошу у читателя прощения, но начну с *детского*. Каждое утро, лет с трех и до школы, отец водил меня в детский сад (у мамы работа начиналась очень рано, когда садики все были закрыты). Дорога шла через парк и занимала минут пятнадцать. И вот всю эту дорогу отец читал мне стихи. Постоянно звучали Пушкин и Маяковский. Он помнил их поэмами, «Онегина» знал наизусть всего. Мне эти поэты казались почти друзьями. И только в школе я узнал, что они жили в разные века. Но отец думал и дышал поэзией, сам писал стихи, считал долго себя поэтом, пока не стал философом, ощутив в себе другое призвание. Хотя музыка небесных сфер, на мой взгляд, и в поэзии, и в философии звучит похоже. Но недавно все же его последняя книга была о Маяковском («Тринадцатый апостол»), поэте, со стихами которого он жил, начиная с четырнадцати лет, строками которого часто думал. Пушкин тоже был не случаен. Известно из семейного предания, что начиная с 30-х годов мой дед совершенно не мог читать современной литературы, купил шеститомник Пушкина, только его и читал. Когда в середине 60-х В.И. Толстых предложил отцу написать статью в сборник о моде, он это сделал, назвав ее «Мода как стиль жизни», неожиданно дав анализ проблемы на тексте пушкинского «Онегина». Как недавно

написал Толстых: «Статья Карла Кантора, на мой взгляд, мудрая и здравая, стала украшением книги <...> “Мода: за и против”»¹.

Необычность отца для меня, для соседей, для друзей определялась не только стихами и философией (бытом он жить не умел, хотя и разбирался в моде и более пятнадцати лет вел журнал «Декоративное искусство СССР»), но и тем, что он был, в сущности, выходцем из другого мира. Красивый, черноволосый, он родился в Аргентине, в Буэнос-Айресе, полное его имя было Карлос Оскар Сальвадор, и в Советскую Россию был привезен в возрасте четырех лет. Там оставалась его родная сестра, аргентинская поэтесса Лида Герреро, писавшая стихи и пьесы, переведшая на испанский Пушкина, четыре тома стихов Маяковского, да и других советских поэтов и прозаиков, ей посвящена книга отца о Маяковском. Время от времени (уже в хрущёвские времена) она приезжала в СССР, в Москву, всегда жила у нас, во дворе соседи смотрели на нее (на живую иностранку с Запада!) из всех окон. Она привозила странную мелкую пластику, которую она расставляла по полкам, необычный русский язык, интерес окружающих и визиты молодых поэтов (запомнил Вознесенского и Евтушенко), мечтавших о переводе их стихов на испанский. Мечтали об этом и молодые философы, ходившие к отцу в гости. Скажем, Александр Зиновьев принес ей свою рукопись о «Капитале» Маркса. Сестра водила отца к разным известным поэтам, я запомнил только рассказ о Пастернаке, с удивлением говорившем: «Все же там (т.е. за пределами его дачи в Переделкино) еще рифмуют». Потом тетка вышла из аргентинской компартии, заявив, что ее руководство лакействует перед советскими коммунистами, и больше поэтессу Лилу Герреро в СССР не пускали.

Конечно, он нравился женщинам. Хотя слухи о его романах, которые до меня доходили, насколько я знаю, весьма преувеличены (уже много позже отец был достаточно откровенен со мной). Еще в школе он влюбился в мою мать, она ждала его с войны, и на всю жизнь осталась его спутницей. И поэтому два слова о маме, без которой жизнь и работа отца, мне кажется, не очень понятны. Мало того, что она, молодой генетик, попала под страшную сессию ВАСХНИЛ в 1948 г., в следующем году начальство выяснило, что она замужем за евреем. Шла страшная антисемитская кампания по борьбе с «безродными космополитами». Ее вызвали в дирекцию, произнесли прочувствованные слова, что она, еще молодая и красивая русская женщина, вполне может найти себе другого мужа или хотя бы развестись и вернуть себе девичью русскую фамилию. Мама вспылила: «Как вы смеете!» Но они смели! И маму перевели

¹ Сейчас так не пишу: Сб. статей / Под ред. В.И. Толстых. М.: РОССПЭН, 2010. С. 150.

из научных сотрудников в чернорабочие. Отец очень много взял у своей жены, не только русского терпения и стойкости в бедах, но даже в идейном плане. Могу сказать, что мама была замечательным генетиком, создавшим новые виды растений, для садоводов многое скажет выведенная ею *земклуника*, гибрид клубники и лесной земляники, и *сморжовник*, гибрид смородины и крыжовника. Помню портрет американского селекционера Лютера Бербанка (отца культурного картофеля) на стене ее комнаты, когда правоверные биологи вешали портреты Мичурина и Лысенко. Ее дважды изгоняли с работы, несколько лет она работала и чернорабочей, и лаборанткой. Отец признавался не раз, что на идею гена истории его натолкнули мамыны работы. Само название его главной книги — «Двойная спираль истории» — говорит о ее генетическом происхождении. Из последних работ: кроме книги о Маяковском, он написал нечто, по форме напоминающее «Vita Nuova» Данте, под названием «Таниада», стихи, перемежающиеся прозой, — рассказ о маме и их любви.

Вообще-то, сегодня это может показаться странным, но отец мерил себя, свою любовь, жизнь своей семьи, будущих детей соотношением с судьбой страны. Из Челябинска, где находилась часть авиации дальнего действия (АДД), в которой он служил, он писал маме:

Война эта —
судьбораздел.
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче
всё и везде.
Я льюсь
по отрогам Урала.
И если моя — Миасс,
твоя судьба — Лихоборка,
не сольемся,
бурля и смеясь,
не родим
озерца-ребенка.

Что б ни были мы
и где б,
Но только бы
Землю России
реки наших судеб,
иссохшую, оросили.

Это была для него точка отсчета. Этим он жил. Сохранились позорительные письма его курсантов, воевавших на передовой. По-



Отец после армии

зволю себе привести отрывок из одного письма: «Здравствуйте многоуважаемый наш учитель, вернее наш “отец” тов. Кантор К.М. Конечно, извините нас, что так Вам долго не писали письма. В виду того, что жизнь наша была на колесах до этих пор. <...> При благоприятной погоде мы воюем, т.е. выполняем боевые задания. Спасибо вам тов. Кантор за ваши труды, приложенные в нас. <...> Со-

общаем вам тов. Кантор: Журавлев и Пилипенко погибли смертью храбрых русских воинов. <...> Ваши дети Стариков П.М., Само-родников».

Он жил, веря в то, чем жил. Вступая во время войны в партию, верил, что так он принимает на себя всю полноту ответственности в страшное время, сохраняет свою честь. Он, рожденный в Аргентине, никогда не был внутренним эмигрантом (хотя среди его друзей было много диссидентов), никогда не стремился эмигрировать. Он думал, что верность себе можно и нужно сохранить при любых обстоятельствах. Ненавдя всяческие проявления тоталитарного мышления, он хотел сохранить идею коммунизма, которая с юности виделась ему спасением человечества. При этом сумел воспитать детей, полностью не принимавших существующий режим.

Тут я должен рассказать один сюжет: будучи марксистом и ленинцем, отец не принимал категорически Сталина. Поэтому чуть не был посажен в 1949 г. по доносу тогдашнего его друга Ивана Суханова, написавшего, что «Карл Кантор говорит против Сталина, что, мол, при Ленине такого антисемитизма быть не могло». Донос был отправлен в парторганизацию МГУ и в органы. Возникло то, что называется *дело*. О доносе знали все, сокурсники и преподаватели перестали с ним здороваться, переходили на другую сторону тротуара. Из философов у нас дома с того момента появлялись только два человека (назову их по именам, как называли родители) — Ваня Иванов и Саша Зиновьев. Как я теперь понимаю, Ваня Иванов (позже я с ним не встречался) был просто нормальный русский человек, не понимавший, что другая национальность — это грех, и державший себя без колебаний. Поэт Наум Коржавин, живший у нас дома в начале 50-х после Караганды, когда познакомился с этим человеком, как-то сказал отцу: «Вот такого же Ваню Иванова убил Нечаев». Саша Зиновьев, как вечный оппозиционер

и ёрник, произнес фразу, давно растиражированную его поклонниками. Он сказал: «Карл, а ты что, еврей?» На растерянное «да» ответил: «В другой раз будешь умнее!» Какой другой раз?.. Алогизм шутки не помешал дружбе. Из нефилософов двое друзей отцовской юности, писатель Николай Евдокимов и кинорежиссер Григорий Чухрай (тогда почти неизвестные, лишь один был у них чин — фронтовики), отослали в партбюро философского факультета по письму в поддержку отца, что они ручаются за него своей честью (немодное в то время слово). Но все же такие люди были!

Собрали общеуниверситетское партсобрание. Коллеги были беспощадны: «Волчий билет!», «Расстрелять Иуду!», «Пусть похлебают лагерную баланду!» Спас отца (о чем он всегда вспоминал с постоянной благодарностью) секретарь парткома Михаил Алексеевич Прокофьев, химик-органик, не философ. Подчеркиваю это. Думаю, что к крикам философской толпы отнесся с презрением. Потом он стал министром просвещения СССР. В начале 80-х отец увидел его по телевизору и сказал: «Как он напоминает человека, который меня, в сущности, спас». Он был так далек от партийного функционерства, что даже не уследил карьерного роста своего спасителя. А дело было так. Наслушавшись инвектив со стороны философов, Прокофьев попросил слова и начал свою речь со слов, сразу изменивших тональность происходившего: «Что случилось с нашим ТОВАРИЩЕМ (товарищем! а не гражданином, не врагом!), коммунистом Карлом Кантором? Как мы могли допустить такую беду с человеком, летчиком авиации дальнего действия (АДД), вступившим в партию во время войны, отличником, заводилой, открывшим нам поэзию Маяковского! Это наша вина, товарищи! Наша недоработка! Поэтому предлагаю самое строгое наказание, которое может постигнуть коммуниста. Предлагаю объявить коммунисту Кантору строгий выговор с занесением в личное дело». Это было по тем временам суровое решение, почти волчий билет, но не сравнимое по своей мягкости с «лагерной баландой» и т.п. После собрания отца «профилактически», как потом мне объяснили понимающие люди, продержали несколько дней на Лубянке.

Его не посадили и не выгнали, но несмотря на красный диплом в аспирантуру отец не попал, в 1952 г. ему дали «свободное распределение», и он с трудом устроился вести семинарские занятия по истории партии в Рыбном институте. В 1953—1957 гг. преподавал истмат в Гидрометеорологическом институте. С 1957 г. — заместитель главного редактора журнала «Декоративное искусство СССР», в сущности это была должность «умного еврея». Взял его на эту работу главный редактор журнала и главный художник Москвы Михаил Филиппович Ладур, который, приглашая отца на работу, сказал:

«Как цыган чует лошадь, так я чувствую людей». В 1964 г. А.И. Ракитов вытащил его на защиту кандидатской в Плехановку, где отец и защитился по теме «Теоретические проблемы технической эстетики». По сути дела он стал одним из тех, кто пытался возродить отечественную традицию промышленного искусства, введя термин технической эстетики, понятия дизайна и маркетинга, которые тогда казались пришедшими совсем из другого мира. В эту сторону ему удалось повернуть и «Декоративное искусство». Отец проработал в журнале более пятнадцати лет и был снят с должности (уже главного редактора) М.А. Суловым за публикацию статьи И. Эренбурга о Марке Шагале (очень советский сюжет). Рассказывали, что Сулов вызвал заведомо искусства ЦК КПСС и бросил на стол журнал со статьей, спросив: «Кто ему позволил?» На что получил ответ: «Уже уволен». И отца уволили «задним числом».

Куда бы я ни приходил, все знали меня как сына Карла Кантора. Наум Коржавин (для друзей Эмка, Эмка Мандель) включил меня в надпись на своей первой книге «Годы» 1963 г.: «Тане, Карлу, Иде Исааковне и Вове без лишних слов с обычным дружеским чувством. Эмма. 5.IX.63 г.». Это был некий знак приобщенности к кругу интеллектуалов. Надо сказать, что и в редакцию журнала «Вопросы философии» я попал благодаря протекции Мераба Мамардашвили, с которым отец не то чтобы дружил, но находился во взаимоотношительных отношениях. Я ходил на лекции Мераба, после лекций он приглашал меня и нескольких знакомых в «Националь» на чашку кофе. И там за чашкой кофе он из случайного разговора выяснил, что я уже несколько месяцев без работы. И Мераб отправил меня в журнал, сказав: «У нас как раз свободное место. А сына Карла Фролов должен взять». Так оно и вышло. Причем Фролов проявил немалое мужество, поскольку в этот момент в одной из центральных газет была статья секретаря по идеологии МГК КПСС В. Ягодкина против отца.

Быть сыном было хорошо, очень долго я почти без колебаний и критики воспринимал все слова отца. Годом к тридцати начались попытки самостоятельного мышления. Я даже написал повесть «Я другой». В те годы мне иногда говорили: «Ты выступаешь против идей отца». Самое поразительное, что он это понимал, но еще более поразительное, что, читая мои тексты, давал советы как бы изнутри этих текстов, показывая, как можно лучше развернуть ту или иную аргументацию. Ему очень нравилась самостоятельность, не было никакой обиды. Это сохранило нашу дружбу.

Отца любили друзья и родственники. Алексей Коробицин, знаменитый разведчик, писатель, его сводный брат, написал свою первую книгу «Жизнь в рассрочку»: «Брату Карлу, самому младше-

му и самому умному». Таких надписей было немало. Скажем, Владимир Тасалов надписал свою книгу «Прометей или Орфей» так: «Карлу! Дарю книгу с восторгом, напоминающим восторг человека, радостно сдающегося в плен!» Кстати, восторг был взаимным. Восторг отца по отношению к талантливым людям и их произведениям, делам был основой его отношения к миру. Как-то он дал мне книгу Эриха Соловьёва о немецком экзистенциализме и сказал, что если я хочу что-то понимать в философии, то должен прочитать эту книгу. Все имена думающих советских философов я узнавал по рассказам, где личное знакомство и приятельство играло немалую роль, многие бывали у нас дома. Помню, как у нас дома Наум Коржавин читал стихи. Причем такого тогда не слышал никто. 10 марта 1953 г. он читал свои стихи «На смерть Сталина».

Его хоронят громко и поспешно
Соратники, на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться, все забрать и наказать.
Холодный траур, стиль речей —
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...

Надо представить время, эти безумные похороны, ставшие новой Ходынкой, рыдания многих миллионов, чтобы понять ошеломление от этих слов, тревогу мамы и неожиданную радость в глазах отца. И испуг философов из Института, но уже никто не донес. Время поменялось.

Уже много позже, читая мемуары Надежды Мандельштам и Анны Ахматовой, я вспоминал эти строки об отсутствии друзей у Сталина, и на этом фоне высказанное по телефону желание Пастернака поговорить с вождем «о жизни и смерти», т.е. подружиться, выглядело обычным подхалимажем. Особенно если учесть, что в этот момент он должен был защитить Мандельштама, от чего увильнул. Более того, после ареста Мандельштама воспел Сталина:

А в те же дни на расстоянье
За древней каменной стеной
Живет не человек — деянье:
Поступок ростом с шар земной.

На теме Пастернака я немного задержусь.

Когда сообщили в газетах, что скончался «член Литфонда Борис Пастернак», отец отреагировал стихами. Хотя Пастернака и не очень уже принимал:

Какие-то прохожие, проезжие,
Пыль, чад и суета сует.
И называют все это поэзией
Достойной наших трагедийных лет.

Какие-то бездарные поделки —
Им красная цена в базарный день пятак...
А под Москвою, в Переделкино,
Затравлен насмерть Пастернак.

Его хоронят, где-то рядом станция...
Нет, нет, сюда никто не опоздал.
Идут как прежде мимо поезда,
У гроба не свои, а иностранцы.

Это было написано в период гонений, когда нынешние почитатели старались делать вид, что такого поэта нет. И все-таки была у отца абсолютная независимость мысли. Когда в постсоветское время из Пастернака сделали кумира, а вчера поносившие стали приносить славословия, превращая его в главного и независимого русского поэта советской эпохи, отец в своей книге о Маяковском написал о сервиллизме Бориса Леонидовича, о его приспособленчестве и внутренней согнутости перед властью¹.

Благодаря занятию дизайном, промышленным искусством, отец вышел на проблему проектирования, которую он хотел прочитать (и написать) как философскую идею. Даже проговаривал много раз, что придумал некую философическую клеточку мироздания, вроде платоновской идеи или монады Лейбница, которую он назвал ПРОЕКТОН. Но так и не написал в той полноте, какую идея заслуживала. У него на столе долго лежала выписка из «Фрагментов» Фридриха Шлегеля: «Проект — это субъективный зародыш становящегося объекта. Совершенный проект должен быть одновременно и всецело субъективным и всецело объективным — единым неделимым и живым индивидом»².

В каком-то смысле его дети были его проектом. Я приведу стихотворение, которое отец написал к моему дню рождения в 1980 г. Мне

¹ Кантор К. Тринадцатый апостол. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 157.

² Шлегель Фр. Фрагменты // Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 290.

исполнилось тогда 35 лет, я работал в «Вопросах философии», был женат, у меня был уже взрослый сын, я написал две повести: «Два дома», «Я другой» и десяток рассказов. Прозу мою не печатали, читали ее два-три человека; один из них, Владимир Федорович Кормер, замечательный писатель, которого тоже не печатали, говорил мне: «Это нормально. Было бы хуже, если б печатали». Можно было провести жизнь за вечерними застольями, махнув на себя рукой, как многие тогда делали. Я помню, как морщился отец, видя, как я трачу время. И в итоге я усвоил его позицию. Это была стоическая неприязнь к внешнему успеху, которую он мне привил раз и навсегда. Хотя сам любил, чтобы его слушали и восхищались. Человек противоречив. Но меня он спас, объяснив нечто важное — к тому же в стихах. Должен еще сказать, иначе не очень понятна будет первая строка стихотворения. Я назван Владимиром в честь Маяковского. А теперь отцовские строчки:

В Начале все же было Слово,
И это Слово было — «Вова!»

Потом.... Слабеет память тела
Быстрее памяти души...
Потом, наверно, было «дело»...
Но ты об этом не пиши.

.....
В Начале, точно, было Слово.
В Начале, После и Всегда.
Теперь опять, как и тогда,
Его я повторяю снова:

«Будь Словом, Вова! Плоть — трава,
Оставь слова, слова, слова».
28 марта 1980 г.

С тех пор я написал немало слов — повестей, романов и рассказов, много научных статей и монографий. Какие-то были замечены, большинство нет. Но было еще самое важное, чему меня тогда сумел научить отец, что я хотел бы выделить как доминанту его духовной позиции: несмотря на внешний успех или неуспех — *отец требовал от себя и своих детей, как говорят спортсмены, «держаться планку»*. Ориентироваться на высокое — наплевать, поймут сейчас или вообще не поймут, или прочтут тебя когда-либо много позже. Но необходимо говорить только то, что чувствуешь и думаешь.

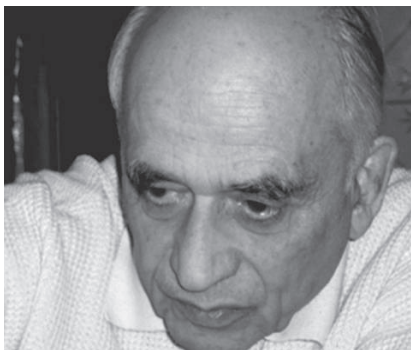
Он и свои тексты писал, годами не печатая. Известная теперь «Двойная спираль истории» до 2002 г. лежала в разбросанных рукописях почти двадцать лет. И еще он советовал: «Когда пишешь даже о самом

великом мыслителе и писателе, не бойся посмотреть на него критически — иначе никогда не скажешь своего, утонешь в чужих идеях». И вместе с тем у каждого должен быть свой проводник в мир идей — скажем, у Мераба Мамардашвили это были Декарт и Кант, у отца — Маркс и Маяковский, для меня остаются значимыми два мыслителя — Достоевский и Соловьёв. Кумиров у отца не было. Были учителя и духовные водители. Это давало ему точку опоры, духовной, не внешней.

Последние годы отец вернулся к проблеме философии истории, которая, по сути, всегда стояла в центре его интересов, пробиваясь в его работах по эстетике и дизайну. Он ввел понятие «парадигмы всемирной истории» как парадигмы истории культуры в ее движении к свободе индивида, уточняя его другим понятием — «паттерна», т.е. проекта конкретных культурно-исторических типов. Есть паттерны истории западноевропейской, российской и др. С его точки зрения, нет общества — ни русского, ни западноевропейского, ни китайского, — в котором бы укоренился лишь один тип паттерна. Тип культуры связан с определенным народом и формируется в процессе жизнедеятельности определенного общества, этноса, народа. Но он обладает способностью перемещаться в другие общества, входит в них наряду с другими паттернами, которые в нем укоренены. Отец выделял три фундаментальных типа паттернальной культуры: персонцентрический, социцентрический и смешанный. В российской культуре, на его взгляд, доминирует смешанный — персоносоцицентрический. Если парадигмальность в культуре может быть понята как ее изменчивость, способность к развитию, выходу за однажды достигнутые пределы, то паттернальность культуры есть выражение ее наследственности. Развитие всемирной истории, в отличие от движения доистории, не может быть реализовано без парадигмальных проектов (как пример — иудеохристианская религия).

Внешне, бытово, он был часто зависим от тех, кто в данный момент мог о нем заботиться. Он мог капризничать. Но в трудные и плохие минуты удивительно стоически принимал судьбу. Так случилось, что в ночь на 9 февраля 2008 г. в больнице из его близких был я один. Он, видимо, понял раньше меня, что умирает. И дальше была поразительна твердость. Вспомнил маму, просил поцеловать внуку и внуков, сказать им, что они талантливы, и он рад, что успел это увидеть, посожалел, что редко видел правнука, говорил о женщине, которую любил последний год. Я пытался сказать, что мы еще попируем по выходе «Тринадцатого апостола». Он закрыл глаза, произнес спокойно: «Уже без меня. Главное, чтобы том вышел»¹.

¹ Том вышел спустя пару месяцев после его кончины: *Кантор Карл*. Тринадцатый апостол. М.: Прогресс-традиция, 2008.



Карл Кантор. Незадолго до смерти

Написано им много. Насколько помню, он писал всегда. Опубликовано гораздо меньше. О печатании его текстов чаще всего и говорить не приходилось. Сначала его тексты называли «евромарксистскими», а потому печатали с трудом. Как говорил тогда Володя Кормер: «Если бы Карл Моисеевич жил во Франции, мы бы сейчас изучали его, а не Гароди». А потом его не очень печатали за то, что

он остался марксистом, когда марксизм перестал быть общеобязательным мировоззрением. Он продолжал думать и писать, что хотел. И говорил о том, чтобы оставить слова, а не утвердиться посредством слов. Высшая оценка все равно приходит после смерти, дается на Божьем суде, достигая нашей Земли отголоском. Сейчас этот отголосок начинает звучать по поводу его собственного творчества.

Последние папины стихи, неожиданные для меня (он был таким русофилом), совершенно библейские по интонации, были написаны примерно за месяц до смерти. Написав, он прочитал мне вслух, потом оставил их среди своих бумаг на столе. Слава Богу, что тогда же я переписал их в свой блокнот.

Скончался век, исчерпан срок,
Пройдет и время.
И вечность явится, как Бог,
С лицом еврея.

Это был экспромт.

6. Сергей Бычков, Владимир Кантор Вспоминая отца Александра...

Современная переписка из двух углов

Уроки «прямоты без лести» и «дружбы без фарисейства» — крылатые слова важнейшей переписки.

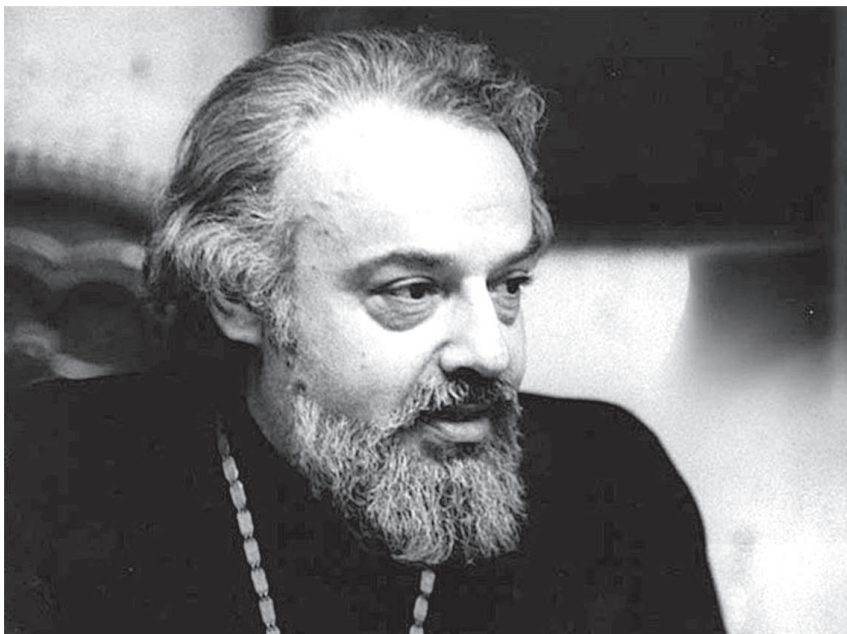
Журнал «Гэфтер»

Дорогой Владимир!

Думаю, что сама мысль о подобной переписке возникла не случайно. Тени Великолепного Вячеслава и смиренного Михаила Осиповича Гершензона осеняют нас, поскольку мы стремимся продолжить их дело, как они продолжали дело своих предшественников по сохранению и приумножению русской культуры. Они не сетовали на времена неблагоприятные. Они трудились, не покладая рук, невзирая на враждебные ветра. Их наследие приходит в сегодняшнюю Россию и заставляет нас более пристально всматриваться в происходящие перемены и в самих себя. Вечные вопросы продолжают беспокоить нас. Кто мы? Зачем мы здесь? В чем заключается наша задача?

Да и времена предельно схожи. Они затеяли свою переписку в самое, казалось бы, неблагоприятное время, когда умирало то, что составляло славу России. Во время Гражданской войны умирали от недоедания поэты, ученые, живописцы и композиторы. Мартиролог третьей русской революции до сих пор не составлен. Мы живем во время пятой русской революции, которая длится без малого вот уже четверть века. Мой духовник, православный священник Александр Мень, считал, что хрущёвские перемены следует считать четвертой русской революцией. Видимо, он был прав. Горбачёв стоял у истоков пятой, которая продолжает менять лик современной нам России. Многие из тех, кто покинул страну в начале горбачёвской перестройки, уже не узнают ее лика. Кто-то считает, что России после таких катаклизмов не суждено возродиться.

Хотя считаю, что деление, предложенное Гегелем, на страны «исторические» и «неисторические» не потеряло своей актуальности. Россия, несмотря ни на что, остается «исторической» страной. А это означает, что у нее может быть будущее. Великая русская культура вполне может ассимилировать поток варваров, хлынув-



ших на ее просторы после развала империи под аббревиатурой СССР. Историческая закономерность, на мой взгляд, заключается в том, что прорывы, подобные тому, который предпринял Петр I или Михаил Горбачёв, на десятилетия опережают инерционность масс. Государственные деятели, приходящие на смену реформаторам, боязливо отступают, пытаясь реставрировать прошлое. Иногда кажется, что эти попытки приносят успех, как это происходит в современной России. Увы, это только иллюзия. Странно, что дело Петра продолжила немка Екатерина II. Причем не только продолжила, но и во многом завершила его замыслы. В этом — смысл надписи на памятнике Петру, изваянном Фальконе: «Петру Первому Екатерина Вторая». Мне кажется, прав был академик Александр Панченко, первым отметивший это духовное родство.

Сергей Бычков

Дорогой Сергей!

Ты сразу задал высокую планку (и дело не в параллелях с классикой — «перепиской из двух углов»), это мы обговорили заранее, а в том соображении, которое сквозит в твоих строках: что, несмотря на бесконечные перемены последних десятилетий, Россия остается равна себе. Не могу не согласиться, что самый решительный прорыв, выводящий страну из ситуации внеисторического существо-

вания, совершил Петр Великий (тут, разумеется, и Екатерина Великая, и Александр Освободитель — три фигуры, прокладывавшие европейский путь для России). Но начало — Петр. За это, кстати, бранил его Шпенглер, писавший о «псевдоморфозе» Петра, «втиснувшего примитивную русскую душу» в чуждые ей европейские формы. И далее каркнул, как ворон, что «примитивный московский царизм — это единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня». Впрочем, писалось это уже после победы большевиков, совершивших антипетровский переворот, символически подкрепив его перенесением столицы в Москву. Я бы поэтому говорил не о равенстве себе, а о своего рода маятнике, амплитуда которого слишком велика. Хотя Французская революция тоже была своего рода возвратом в варварство, начиная от гильотины, уничтожения высшего сословия (хоть и не в российских безмерных масштабах) и, главное, уничтожения священников, отказа от христианской парадигмы. Русские революционеры отчасти подражали французским якобинцам, но шагнули в пропасть много решительнее (как называл эту пропасть Степун, «преисподнюю небытия»).

Петра бранят за уничтожение патриаршества, но даже Хомяков снял с него это обвинение, заметив, что независимость Церкви была «уже уничтожена переселением внутрь государства патриаршего престола», который был независим в Константинополе, но не мог быть свободным в Москве. Сам же Петр, конечно, был фигурой, несшей в себе основные христианские инициативы, что так тонко описал Пушкин:

Тогда-то *свыше вдохновенный*
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.

Как ты понимаешь, слова выделены мной.

Пока Бог в советское время писался с маленькой буквы, советский читатель мог воспринимать эту фразу как старинную манеру выражения, но для Пушкина это было очень серьезно. Преисподняя небытия означала не только истребление русских мыслителей и писателей, но массовые расстрелы священников, чтобы не было возврата к христианству, которое, худо ли, хорошо ли, но устанавливало и поддерживало нормы нравственной жизни. Понемногу воз-

рождавшаяся в хрущёвское время интеллигенция снова искала этих норм, чтобы можно было противопоставить их людоедству сталинского режима. И, конечно же, это должны были быть не «ленинские нормы партийной жизни», ибо лагеря уничтожения (скажем, Холмогорский), расстрелы заложников были устроены с благословения Ленина. Россия так или иначе вписана в парадигму христианской цивилизации и вне христианства, пусть секуляризованного, развиваться цивилизованно не может. Сегодня молодым людям трудно это представить, но Библия в советское время была абсолютно недоступна для чтения, если не хранилась в семейной библиотеке. Но был еще ход, этим ходом я как раз и прошел. Для меня учителями христианства стали русские писатели. Священникам я не доверял, зная их сервильность сталинского периода. Пока в конце семидесятых не познакомился с отцом Александром Менем, человеком абсолютно свободным, интеллектуалом, при этом православным священником. Познакомился я с ним у нашего общего приятеля Льва Турчинского, собравшего самую полную библиотеку русской поэзии начала века. И тогда, к своему стыду, я впервые услышал о катакомбной церкви, независимой, существовавшей вопреки всем советским жестокостям, ее-то воспитанником и оказался отец Александр. Мы как-то сдвинулись на край стола и проговорили несколько часов. Причем я услышал и его рассказ о юности, о том, что все свои последующие идеи он в семнадцать лет записал в школьную тетрадку.

Но я знаю, что ты много больше общался с отцом Александром, занимался и церковными делами. Поэтому, думаю, пришла пора рассказать о катакомбной церкви и как туда попал отец Александр. Сережа, я разболтался. Но ты должен внести строгую ноту специалиста.

22 февраля 2014

ВК

Дорогой Володя!

Во многом мы единомышленники. И, во-первых, в области российской истории. Что бы ни говорили о России, но ее цивилизация в основах своих зиждется на христианстве. Не будем забывать, что Русь приняла крещение в те времена, когда Европа еще пребывала в младенческом состоянии. А учительницей Руси была Византия, сохранившая и приумножившая откровения иудейской и эллинской мысли. Эта страна в X веке была наиболее высокоразвитой как в культурном, так и в богословском плане. И наши предки оказались способными учениками. Уже в XVIII столетии они положили начало великой русской литературе. И в годы сталинщины, на которые выпало наше формирование, русские писатели зажигали в наших девственных сердцах христианские идеалы, так яростно



Сергей Бычков и о. Александр Мень, 1985 год

уничтожавшиеся в 20—30-е годы большевиками-богоборцами. Не будем забывать, что вплоть до конца 50-х годов в СССР Достоевский оставался запрещенным писателем.

До 20 лет я жил в провинции. Библию видел лишь однажды, у странницы, которую приютила на ночь в Красноярске моя мать. О Евангелии впервые узнал из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», когда он в изуродованном цензурой виде был опубликован в журнале «Москва» в конце 1966 года. Летом 1967 года я приехал в Москву поступать в Московский университет. Жил у своего друга, ныне покойного художника Андрея Сперанского. У него было дореволюционное карманное издание малинового цвета Четвероевангелия. Я повсюду таскал с собою эту книжицу. Читал и пе-

речитывал, пытаюсь понять, почему евангельский образ Христа так разительно не совпадает с образом Иешуа га Ноцри. Именно Булгаков привел меня к отцу Александру.

С трудом сдал документы в МГУ: с меня вдруг потребовали трудовой стаж. Когда я сидел в очереди у дверей приемной комиссии, то, экономя время, читал Евангелие. Очередь была многочисленной. Я погрузился в чтение, но ощущал, что кто-то внимательно смотрит на меня. Оказалось, что две девушки не отрывают от меня глаз и что-то обсуждают. После того как я сдал документы, они подошли и познакомились со мною. Мы спустились в сквер на Охотном ряду, где стоят памятники Герцену и Огарёву, и разговорились. Москвички Галя Носановская и ее подруга Эля Разинкова так же, как и я, решили поступить на филологический факультет. Накануне вечером они яростно спорили. Галя посещала храм в Тарасовке, где служил отец Александр Мень. Эля убеждала ее, что религия — признак отсталости и мракобесия. И приводила, на ее взгляд, неопровержимый аргумент: разве можно сегодня встретить молодого человека, который бы читал Евангелие? Поэтому обе были потрясены, когда в здании МГУ на Охотном ряду увидели юношу, внимательно читающего Новый Завет.

Мы подружились, часто встречались. Галя отвезла меня в Тарасовку и познакомила с отцом Александром. Мне было трудно в храме. Тогда Евангелие воспринималось мною совершенно отдельно от Церкви и ее истории. Я не переставал постоянно сравнивать евангельские тексты с булгаковским романом. В 21 год мне было трудно отделить художественный вымысел писателя от подлинного евангельского текста. Мысль о том, что все люди изначально добры, усвоенная от булгаковского Иешуа, гвоздем засела в моей голове. Проблема зла оставалась неразрешенной. Отец Александр принял меня радушно, хотя в моем сознании не соответствовал образу православного священника. Хотя откуда мог взяться в тогдашней моей голове подлинный образ православного священника? Время почти начисто стерло из моей памяти образ молодого отца Александра. Много лет спустя я посмотрел фильм Калика «Любить», который снимался в годы его служения в Тарасовке, и вновь поразился его живости и молодости. В нем не было той степенности и сознания собственной значимости, которые отличали многих его собратий. Он оставался самим собой и тем самым разрушал тот привычный образ священника, который формировался скорее в подсознании, нежели в сознании советского человека. Этим он шокировал не только меня. Архиепископ Афанасий Сахаров, знавший его мать и тетку, отсидевший в концлагерях 33 года, весьма критично отнесся к нему, узнав, что он коротко стрижет волосы и бороду. Но вынужден был изменить свое мнение, когда возникла потребность причастить в больнице одного

из умирающих христиан. Отец Александр без каких-либо препятствий проник в больницу и причастил его. Будь он в сапогах и с копной волос на голове или с косичкой, в длинном подряснике и фетровой шляпе, его бы не пустили на порог советской больницы. А ведь все перечисленные мною внешние атрибуты почему-то считались в те годы, да и гораздо позднее, необходимыми для священника.

Летом 1967 года мы часто дискутировали с ним, хотя я был зеленым юнцом, о «Мастере и Маргарите» в то время, когда я сопровождал его на требы. Мы шли тропинкой вдоль речки Клязьмы, поворачивали по кривым улочкам и переулкам поселка, живо обсуждая булгаковский роман. Я не понимал уклончивости отца Александра. Перечитывая Евангелие, я подмечал слишком много несоответствий булгаковского Иешуа евангельскому Иисусу. В Евангелии он представлял человеком, который подчинял Себе не силой убеждения, а внутренней силой и мощью. Он исцелял без каких-либо усилий, совершал чудеса, после которых люди готовы были сделать его царем. Он говорил слова, которые не умещались не только в головах и сердцах современников, но и в моем. Многие казались чрезмерно жестокими, требовали от меня неслыханных жертв, хотя сердце мое безмерно тянулось к Нему. Почему же булгаковский Иешуа так сильно отличался от евангельского Иисуса? Его образ я впервые воспринял через Булгакова, поэтому ждал от отца Александра ясных и простых ответов. Но, увы, не получал. Много позже, в середине 70-х годов, я как-то спросил его о причинах тогдашней уклончивости. Он ответил, что в то время сам не до конца разобрался в романе. Неудивительно — он был опубликован в журнале «Москва» без нескольких глав и вдобавок искорежен цензурой. А самое главное — мы тогда еще не знали, что Булгаков не успел завершить работу над романом. Поэтому концовка романа противоречила многим главам и вызывала столько вопросов.

В Тарасовке, благодаря отцу Александру, я познакомился с семьей Беляковых-Покровских, которые снимали там на лето дачу. Ксения Покровская и ее муж Лева были прихожанами отца Александра. Мать Ксении, Татьяна Евгеньевна, оставалась равнодушной к религии, занимаясь младшим сыном — Петей и внуком Женей. На даче часто бывал отец Александр, поскольку настоятель храма, отец Серафим Голубцов, родной брат его покойного духовника, отца Николая, матерый стукач, запрещал ему принимать прихожан в сторожке. Мне несколько раз пришлось говорить с ним. Кстати, он вполне соответствовал образу православного священника — благообразный, в седилах, неспешный. Бывал я у него и на исповеди. Видимо, был излишне откровенен с ним. Думаю, что в моих поздних московских злоключениях сыграли роль и его доносы.

До сих пор в памяти запечатлена картинка из тех далеких времен: на обрыве, над Клязьмой, неподалеку от храма маячат фигуры юношей, ожидающих отца Александра. Чаще всего это были Евгений Барабанов и Михаил Аксенов-Меерсон. Женя уже тогда важничал и держался в стороне: он нелегально переписывался с Никитой Струве и помогал ему в формировании «Вестника русского христианского студенческого движения». «Вестник» издавался в Париже, и приходилось прибегать к конспирации, чтобы пересылать материалы по русской культуре и богословию. Женя пришел к отцу Александру еще в период его служения в Алабино и вскоре стал доверенным лицом. Это был замысел отца Александра — чтобы «Вестник» формировался главным образом в России. Главный редактор журнала Никита Струве оказался человеком конгениальным. Он подхватил начинание отца Александра и создал один из самых интересных и захватывающих журналов своего времени. В нем печатались Надежда Мандельштам и Александр Солженицын, протопресвитер Александр Шмеман и Франсуа Мориак, российские неославянофилы и неозападники. Отец Александр познакомил Женю с Александром Солженицыным. И Женя немало помогал писателю в отправке его книг за рубеж. Тогда это было уголовно наказуемое деяние. Отец Александр умел различать знамения времени и задолго до расцвета демократического движения проторил конспиративную дорожку на Запад. «Вестник» благодаря его заботам из эмигрантского тоненького, умирающего журнала превратился в толстый, интересный журнал.

Покровские взяли надо мной опеку, поскольку на втором вступительном экзамене — по русскому языку — я получил тройку и стало ясно, что не пройду по конкурсу, который был достаточно высоким. За три года учебы в мединституте я изрядно подзабыл школьные уроки. А в Москве новая жизнь настолько мощно подхватила меня, что я почти не готовился к экзаменам. Думаю, что отец Александр попросил своих прихожан приютить меня. Немало моим образованием занимался Миша Аксенов-Меерсон. Он постоянно привозил на дачу в Тарасовку к Покровским запрещенную литературу. Там я познакомился с произведениями Солженицына и Евгении Гинзбург, Шаламова и Синявского. Я испытал подлинное потрясение. До этого я был вполне советским человеком, не подозревавшим, что общество, в котором приходится жить, во многом сродни нацистскому. В начале 60-х годов еще в Оренбурге я читал воспоминания бывших эзков, но нас уверяли, что ужасы тоталитаризма давно позади, что общество вернулось к ленинским нормам демократии. Я не подозревал, что словосочетание «ленинские нормы демократии» — набор несовместимых понятий. Благодаря Мише многое в моей голове прояснилось. Как-то он отвез меня на заброшенную дачу Покровских в Перово и опорожнил тол-

стый портфель, с которым никогда не расставался. В полном одиночестве в течение нескольких летних дней я поглощал его содержимое. Изредка я выходил в сад, уже окруженный бетонными новостройками, срывал созревшие сливы и наслаждался августовским солнцем. Тогда мне трудно было отличить подлинно пережитое от художественного вымысла. Не все подряд нравилось из отечественного самиздата. Главы из «Ракового корпуса» Солженицына уже тогда навевали на меня скуку смертную. Рассказы Даниэля и Синявского не произвели на меня большого впечатления, хотя это было нечто новое. Позже появился термин «фантастический реализм». Хотя многие талантливые произведения самиздата напоминали мне «Записки из подполья» Достоевского. Лишь позже я понял, что иначе и не могло быть. Атмосфера в стране напоминала душное и полутемное подполье. Позже это ощущение выразил генерал Григоренко, написав книгу под заглавием «В подполье можно встретить только крыс».

Для того чтобы рассказать о катакомбной церкви, мне придется сделать небольшой исторический экскурс. Эдакое мини-эссе. Но это в следующий раз.

22.02. (18.45)

Дорогой Сережа!

Полезность от компьютера очевидна, можно в один день обменяться не одним письмом. Конечно, Гершензон с Ивановым жили в одной комнате. Но, чтобы один мог писать, другой уходил. А здесь мы в одиночестве и творческом спокойствии, и не прерываем общения. Ладно, и от техники есть польза.

Надо тебе сказать, эта школьная тетрадка, где, по словам отца Александра, он записал свои основные идеи, а потом всю жизнь просто их развертывал, запала мне в сознание. Он был ровно на десять лет старше меня. А когда тебе тридцать с небольшим, то человек старше на десять лет, особенно уважаемый, воспринимается как тот, кого хочется слушать и информацию впитывать и переваривать. Я тут же задумался, а есть ли у меня такая тетрадка, где были бы записаны основные идеи моей будущей деятельности? Да, были тетрадки с незаконченными повестями и рассказами, мне казалось тогда, что я нашел свое понимание того, как я должен писать, даже термин где-то вычитал и пытался к себе применить — «субъективная эпопея». То, что я хотел писать. Но отец Александр в голове ворочал почти мирозданием, я же в тот момент считал, что это дело давно прошедших лет, когда жили Соловьёв, Бердяев, Франк, Федотов. С дочерью Франка мне к тому времени посчастливилось пообщаться, она даже мне подарила первый мюнхенский сборник о нем 1954 года. Но все это было тогда, все эти попытки философски противопоставить христиан-



Владимир Кантор и о. Александр Мень, 1984 год

ство тоталитаризму, а тут вдруг твой современник спокойно рассуждает на таком же уровне, а главное, всерьез, как над делом своей жизни, а не по-студенчески, по-аспирантски. Не просто пересказывает чьи-то взгляды, а пытается понять структуру мысли своих предшественников и идти дальше. Это поражало, и это придавало энергии самостоятельности. Среди прочего я отцу Александру благодарен за это — за то, что разбудил желание самостоятельно смотреть на мир, а не воображать себя маленьким. При этом мы сидели за столом у Левки Турчинского на Сходне, выпивали, закусывали. Левка даже нас сфотографировал — так мы увлеклись беседой. Не знаю, показывал ли я тебе это фото. Если сейчас найду, то pošлю. Нашел. Посылаю.

Но вот что поразительно. Он же был из еврейской семьи, ставшей истинно христианской, то есть это культурный факт, о котором писал Владимир Соловьёв как о важном моменте в развитии христианства. Но, значит, были смелые, раз ушли в катакомбную церковь. Эта смелость была и в отце Александре, так мне казалось.

Мой покойный друг Володя Кормер в романе «Наследство» описал отца Ивана, служителя катакомбной церкви. Роман этот он раздал нескольким друзьям на случай обыска, чтобы хоть у кого это текст сохранился. С 1975 года он больше десяти лет лежал у меня дома. В романе, кстати, один из персонажей, отец Владимир, у которого в его маленьком домике при церкви в Новой деревне висел портрет

Владимира Соловьёва, был списан с отца Александра. Уже позже, попав в этот домик, я оценил писательскую точность и зоркость Кормера. Приведу его описание, чтобы не повторять уже написанного: «На столе стояла пишущая машинка, накрытая вышитой салфеткой, полка с книгами (были видны несколько роскошно переплетенных красных томов “Добротолубия”), проигрыватель, маленький приемник, какие-то бронзовые вещицы, подсвечник, череп, в середине на полке выделялась голова Данте из черного металла или тонированного гипса. На этой же стене, над столом и вокруг, висели большое резное распятие, фотографии и картины в рамочках: два или три портрета Владимира Соловьёва, репродукция с картины Нестерова “Философы”, изображающая Сергия Булгакова еще в пиджаке и плаще и Флоренского в рясе, а также бесчисленные портреты каких-то неизвестных седобородых монахов, старух монахинь и священников. По левую руку от стола в торцовой стене пристройки было окно, задернутое легкими шторками с современным веселеньким абстрактным геометрическим рисунком, и дальше в углу — киот и складной аналой с большою Библией, заложенной широкими лентами. Иконы, в основном старые, без окладов, развешены были также и над окном, и на другой стене, слева, возле стеллажа с книгами. Уставленные ровно, корешок к корешку, книги выдавали библиофильские наклонности хозяина». В те ранние (для меня) годы я знакомился и с отцом Александром, и с героями катакомбной церкви сквозь призму литературы. В романе был описан герой катакомбной церкви отец Иван. К тому моменту я вроде бы уже выбирался из марксистско-советской парадигмы, опять же с помощью литературы — Достоевского. Но возможность увидеть въявь существующих людей из другого мира, я бы даже сказал, другого измерения, не живущих по нормам советского общества и в силу этого казавшихся совершенно свободными, придавала некую бинокулярность взгляду на мир. В романе, кстати, был и портрет Жени Барабанова, юного адепта отца Александра (с ним я познакомился в начале 90-х, а подробнее общался в Германии в 1992 г.).

Но вернусь к теме. Как ты полагаешь, насколько было опасно быть прихожанином катакомбной церкви? Так что твое мини-эссе все же необходимо.

ВК

25.02.2014

Дорогой Владимир!

Одна из ключевых тем, затронутых тобой, — катакомбная церковь, в лоне которой воспитывался отец Александр и идеалам которой оставался верен всю свою жизнь. Но нынешнее поколение читателей вряд ли знакомо с этим феноменом. Поэтому придется прибегнуть к

историческому исследованию. Большевики отличались основательностью. Особенно в делах разрушения. Недаром в «Интернационале» звучали строки: «Весь мир насилия мы разрушим до основания...» Им это удалось сделать довольно быстро. К 1922 г. были разрушены все социальные институты царской России. Оставалась лишь Русская Церковь. Богоборец Ульянов-Ленин решил, воспользовавшись страшным голодом 1921 г., уничтожить и Церковь. Кстати, голод был следствием так называемой «продразверстки» и Гражданской войны.

В июле 1921 г. при подотделе пропаганды Агитпропотдела ЦК возникла Антицерковная комиссия. Она была призвана координировать антирелигиозную борьбу во всероссийских масштабах. Секретарем комиссии с июля по август 1921 г. был Емельян Ярославский. В состав весьма внушительной комиссии входили чиновники из Агитпропа, Московского комитета РКП(б), VIII ликвидационного отдела Народного комиссариата юстиции, ЦК РКСМ (Российского коммунистического союза молодежи), а также Народного комиссариата просвещения и Главного политического управления (недавнего ВЧК). Комиссия быстро выродилась в чиновническую структуру, которая занималась утверждением всевозможных антирелигиозных брошюр, листовок, плакатов. Весной 1922 г. Ленин решил реорганизовать эту комиссию (поначалу она громко называлась «Комиссия по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)», а позже проще — «Антирелигиозная комиссия») и слить ее с другими антисектантскими и антицерковными комиссиями.

14 и 15 марта 1922 г. Ленин написал программную статью «О значении воинствующего материализма». Через три дня — 19 марта — направил поразительное по цинизму «Письмо В.М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б)». Эти дни стали началом той масштабной и тотальной войны против религии и прежде всего Русской православной церкви, которая без передышек продолжалась 10 лет, вплоть до 1931 г. Весной же 1922 г. по всей России прокатилась кампания по изъятию церковных ценностей. Большевики декларировали, что ценности будут проданы, а вырученные деньги пойдут на закупку хлеба для голодающих россиян. Кампания сопровождалась массовыми арестами епископов, священников и мирян. На осень 1922 г. были намечены показательные процессы над духовенством, которое оказывало сопротивление при изъятии церковных ценностей. В связи с этим было принято решение реорганизовать Антицерковную комиссию. 13 октября 1922 г. на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) с докладом об учреждении Антирелигиозной комиссии выступил заведующий Агитпропом ЦК А.С. Бубнов. 19 октября на заседании Политбюро ЦК РКП(б) с участием Ленина утверждается решение Оргбюро и оговаривается

состав этой комиссии, сразу же ставшей засекреченной. Все протоколы заседаний этой комиссии с самого начала своего существования помечены грифом «Совершенно секретно».

Был арестован патриарх Тихон, который, как мог, сопротивлялся натиску большевиков. Его пытались сломить в течение года. В свое время мне удалось обнаружить архив чекиста Евгения Тучкова, который с момента возникновения секретной Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б) в 1921 г. вплоть до 1929 г., когда ее ликвидировал Сталин, был ее бессменным секретарем. Именно он допрашивал патриарха Тихона и добился от него текста, известного как «Покаяние». Но поставить Русскую Церковь под полный контроль государства не удалось вплоть до смерти патриарха. В последний год жизни он часто повторял: «Я не могу отдать Церковь в аренду государству». Тогда же, в 1922 г., чекистами было инспирировано движение обновленцев, которые клялись в верности большевикам и строчили доносы на верных патриарху священников и епископов.

Но лишь в 1927 г. большевикам удалось сломить сопротивление митрополита Сергия (Страгородского), который объявил себя преемником патриарха Тихона, и он опубликовал знаменитую Декларацию, из-за которой возник раскол в Русской Церкви. Митрополит Сергей призывал российских христиан к «лояльности» по отношению к большевистскому государству. Тех епископов и священников, которые не признали Декларации, называли «катакомбными». С 1927 г. начали уходить в подполье наиболее активные и дальновидные священники и епископы. Среди них был и будущий наставник отца Александра, архимандрит Серафим (Битюков), человек глубоко духовный и укорененный в русской культуре. Именно он в 1935 г. в городе Загорске (Сергиевом Посаде) в небольшом рубленом доме на окраине города тайно крестил Елену Мень, мать будущего священника, и младенца Александра.

С.Б.

Дорогой Сергей,

история эта, да и вообще история, всегда ухитрялась подминать массу, волочь ее за собой, но всегда были люди, шедшие наперекор потоку, наперекор мейнстриму, и поразительно, что именно они-то и остались в истории. Поразительно, что евреи почти всегда оказывались на острие этих процессов, при всех своих комплексах. Они были среди большевиков, но именно они сумели наиболее полно выразить неприятие нового мира. Достаточно вспомнить Мандельштама.

Как справедливо написал Ив Амман, очевидно, был комплекс у крестившихся в XIX веке евреев, что они примыкают к определяющему жизни большинству. Хотя Владимира Соловьёва очень радо-

вало это обращение евреев в христианство. Но в годы советского террора это соображение не могло действовать, тем более что речь шла о гонимой катакомбной церкви. После падения советской власти и крушения идеологии власть судорожно начала искать новую или хотя бы эрзац-идеологию. Поначалу на эту роль предложило себя евразийство. Но оно годилось либо для элиты, либо для зондеркоманд, для широких слоев народа евразийство выглядело невнятицей. И тогда вернулись к привычному — к православию. Но это место, если говорить о свободном и новом православном взгляде на мир, было занято. Был отец Александр Мень, окружающие его церковные слои, идеология катакомбной церкви. Казалось бы, власти было на кого опереться. Но в России во все времена власть не любила мыслящих независимо людей, предпочитая холоуев. Если уж даже в политике царь сдал нужного государству Столыпина, то что уж говорить о духовной жизни. Помню, как в патриотических листовках конца 80-х, когда православие уже принималось властью как замена коммунистической идеологии, звучало раздражение, что отец Александр Мень не имеет права быть православным священником, поскольку он еврей. Все это напоминало нацистскую идею о борьбе арийского Христа с иудейским Моисеем. Но нацисты преследовали, тем не менее, и евреев, и христиан, достаточно взглянуть на списки уничтоженных священников в нацистских лагерях. Поэтому справедливо написал еще в годы нацистских гонений Семен Франк: «Мы с Ним как вечно гонимым...» Идея арийского Христа в послевоенной Германии стала смотреться как варварство.

Но вернемся к катакомбной церкви и пойдем, как воспитался такой характер, как у отца Александра: при полной политической лояльности к существующей власти очевидная духовная несломленность и сопротивление. Дело в том, что катакомбная церковь не преследовала политических целей. Я вспоминаю свой разговор с отцом Александром. Всякое неопитство нелепо. Как человек, увидевший другую жизнь, я хотел привести свою внешнюю жизнь в соответствие со своими взглядами. Выражаясь модными словами Солженицына, «жить не по лжи». А работал я тогда уже в «Вопросах философии», журнале, который казался мало знавшим его команду абсолютно советской структурой. Я и задал отцу Александру этот вопрос, не уйти ли мне из журнала. На что он ответил вопросом, женат ли я и есть ли у меня дети. Я ответил, что да. «На какие деньги вы будете содержать семью, если уйдете? У вас есть другой вариант работы? Потом я знаю, что там работают очень достойные люди». И смысл его дальнейших слов был очень прост: на каждом месте можно приносить пользу, а что приходится отдавать кесарю кесарево, так это всегда было. Главное — не забывать отдавать Богу Богово. И добавил, что он ушел из

катакомбной церкви в РПЦ, поскольку получил тем самым возможность нести свое слово гораздо более широким слоям паствы. Не изменяя своим идеям и идеалам, которые воспитала в нем катакомбная церковь, — независимость и верность своему пониманию мира.

Опускаю здесь его публикации на Западе, рассказ об издательстве «Жизнь с Богом», о том, что отец Александр Мень был одним из зачинателей христианского самиздата начиная с 60-х годов, о его псевдонимах, из которых наиболее известен был Эммануил Светлов. Во всяком случае, под этим именем я читал все его книги.

Но он сумел сделать и еще одно дело, которого до него не сделал, мне кажется, никто.

Кормер немного иронически изобразил в романе отца Владимира, «большеголового дородного мужчину лет сорока или даже моложе, похожего на ассирийского царя Ашшурбанипала», как тонкого культуртрегера, интеллигента, который все знает. К которому приходят интеллигенты разного сорта с вопросами о том, что такое Армагеддон и как надо жить в этой стране. На все он дает спокойные и разумные ответы, защищает науку от покушения на нее диких неопитов и т.п. Аверинцев назвал его «миссионером для племени интеллигентов». Но так бывает, что ирония порой высвечивает суть человека, причем не иронически, а выявляя его сущность. Сервантес думал посмеяться в своем Дон Кихоте над рыцарством, а создал образ идеального рыцаря. Так, назвав отца Александра культуртрегером, писатель дал нам ключ к великому открытию отца Александра.

После книги «Сын человеческий» он обратился к духовной истории человечества. Не только к Ветхому Завету как истоку Нового. Об этом писали многие. Но он сумел написать и проанализировать разные человеческие эпохи как исток новозаветного прорыва человечества.

В обезбоженной, потерявшей благодать стране, где только сатана Воланд помнит о Христе (думаю, ты не случайно вспомнил «Мастера и Маргариту»), отец Александр сумел показать всем, желающим это узнать, что христианство — это результат тысячелетнего развития человечества. Я бы назвал это подвигом отца Александра. Это то, что семнадцатилетним юношей он задумал, записал в тетрадку, а потом Бог дал ему сил реализовать этот замысел.

Кажется, это и правда был духовный подвиг.

ВК

Дорогой Владимир!

Наша переписка становится все напряженнее и интереснее. Многое подмеченное тобою в отце Александре верно. Да, действительно, он всегда шел против течения, как шли любимые им Алек-

сей Константинович Толстой (вспомни его стихотворение «Против течения...») и Владимир Соловьёв. В разгар торжества позитивизма в России он уезжает в Сергиев Посад и вольнослушателем поступает в Духовную академию. А потом пишет фундаментальный труд «Критика отвлеченных начал». В нем он опровергает основные догмы позитивизма. Отец Александр еще юношей приобрел у букиниста полное собрание сочинений Владимира Соловьёва, естественно, из-под прилавка. И проштудировал его. Его всегда отличали высокий профессионализм и основательность. Он искренне считал себя и на самом деле был учеником Соловьёва. Его шеститомник «В поисках пути, истины и добра» — это неосуществленный Соловьёвым замысел о духовном пути человечества, о поисках им истинного Бога. Отец Александр не только подхватил этот замысел, но и блистательно осуществил его.

Помню множество упреков в его адрес. В конце 70-х годов я написал шутовское стихотворение, которое показал ему:

Вчера Шиманов рассмешил до колик —
Он закричал вдруг: «Мень — католик!»
От смеха корчась, я сказал ему: «Фантаст!
Мень — тайный исихаст!»
Бороздинов сказал: «Я слышал от людей,
Мень — верный иудей!»
Левитин, покраснев, как вываренный рак,
Вскричал: «То сеет слухи враг!
За Менем промысла не числится худого.
Он плоть от плоти Соловьёва!»
Так кто же Мень? Мыслитель православный
И всех российских бед виновник главный!

Когда я показал это стихотворение отцу Александру, он вполне серьезно отнесся к нему. Более того, откомментировал. Он сказал: «Все верно. Я католик. Потому что в переводе с латыни кафоликос означает православный. С детства я был воспитан на Иисусовой молитве, которую не оставляю и доныне. Да, я — иудей. Такой же, как и Нафанаил, о котором Господь сказал: “Вот иудей, в котором нет лукавства”». Признал он и свое ученичество у Соловьёва. Что же касается последних двух строк, кратко ответил: «Есть и такое мнение». Самое забавное, что консервативный публицист Геннадий Шиманов, призывавший в начале 70-х годов коммунистов принять православие как идеологию, оказался пророком. Он был среди обличителей отца Александра, называя его «иудейским потаковником». Сегодня мы наблюдаем, что даже ярые коммунисты типа Зюганова бьют себя в грудь и громогласно объявляют, что они православные.

Но я не могу согласиться с тобой, когда ты ставишь знак равенства между религией и идеологией. Они антиподы. Религия освобождает человека, а идеология закрепощает его. Они несовместимы. Каждый из нас, тех немногих, которых называли диссидентами или инакомыслящими, в советское время на своем месте противостоял коммунистической идеологии. Сегодняшние вожди стремятся превратить христианство в идеологию. Как говорят юристы, эта попытка — «покушение с негодными средствами». Пойми меня правильно, это не спор о словах. Хотя мы должны быть предельно точны не только в делах, но и в словах.

Вот еще один светлый и любимый образ из жизни будущего священника — схиигуменя Мария, которая неподалеку от Троице-Сергиевой лавры создала небольшой катакомбный женский монастырь. Детство и отрочество Александра Меня прошли под сенью преподобного Сергия. Он часто в летнее время жил у схиигуменьи Марии, которая во многом определила жизненный путь и его духовное устройство. Любимым занятием у матушки Марии было забраться с книгой на дерево и запойно читать. Так было удобнее: никто не мешал и забывалось непрестанное чувство голода. Позже он вспоминал: «Подвижница и молитвенница, матушка была совершенно лишена черт ханжества, староверства и узости, которые нередко встречаются среди лиц ее звания. В ней было что-то светлое, серафическое. Всегда полная пасхальной радости, глубокой преданности воле Божией, ощущения близости духовного мира, она напоминала чем-то преподобного Серафима или Франциска Ассизского. Она недаром, всегда, в любое время года, напевала “Христос воскрес”... Она была монахиней с ранних лет, очень много пережила, много испытала в жизни всяких тягот, но полностью сохранила ясный ум, полное отсутствие святошества, большую доброжелательность к людям, юмор и, что особенно важно, — свободу. Когда еще был маленьким, матушка говорила: “Сходи в церковь, постой, сколько хочешь, и возвращайся”. Шел в Лавру и стоял довольно долго. Наверное, если бы матушка сказала: “Стой всю службу”, — я бы томился. Не очень любил длинные лаврские службы. Но чаще всего стоял всю службу, потому что была дана возможность уйти когда угодно». О ней помнил всегда и вспоминал с особой теплотой. Он не уходил из катакомбной церкви. В 1945 г., когда на патриарший престол был избран Алексей (Симанский), епископ Афанасий (Сахаров), отбывавший очередной лагерный срок, написал общинам, которые почитали его своим епископом, что настало время вернуться в лоно Церкви. Он считал, что избрание митрополита Алексия прошло в соответствии с церковными канонами и что раскол изжит.

Еще в отроческие годы Александр Мень уяснил важную жизненную истину: «Я, мальчишкой еще, слава Богу, догадался, что жить надо крупно. Крупно и просто. Не усложнять, не мельчить жизнь, не дробить — она и так на клочки раздираема... В делах своих, в побуждениях, в ценностях — все надо соединять. Соединяй и властвуй!» Окружающие поразились его умению беречь время. Быть может, поэтому ему удалось сделать так много. В одном из писем он так раскрыл секрет своих взаимоотношений с быстро ускользающим временем: «Я одним делом всю жизнь занимаюсь. И не я его делаю, но оно меня. Дело — дерево: один ствол на корнях, дальше ветви и ветки, мельче и мельче... Задачи разветвляются на дела, дела на делишки — как кровообращение: от сердца до капилляров... На каждый обозримый период стараюсь держать не более пяти дел, как пальцев на руке, потом только одна работа главная, как большой палец, а остальные сопутствующие, но их сумма по значимости примерно равна основной... Стараюсь соблюдать иерархию — отличать делишки от дел, дела от задач, задачи от Цели: если низшее наезжает на высшее, а не служит ему — к ногтю... Все, в общем, просто: ствол расписания крепкий, ветви бытия гибкие... Конечно, энтропия взимает налог, зряшные потери все равно происходят. Если в пределах примерно одной пятой от времени в целом — еще ничего... Когда ясно себе представляешь, к чему стремишься, то знаешь, чего и хотеть в каждый миг, что предпочесть, от чего отказаться, что предоставить случаю, — когда идешь верной дорогой, время само себя бережет».

Очень важно тобою подмечено отношение отца Александра к диссидентству как явлению. Но думаю, что это разговор для следующей темы.

Твой С.Б.

Дорогой Сережа,

ты подлинный летописец этого эпизода нашей духовной жизни. К своему стыду, я как писатель многое записывал, но многое просто забывал, думал, что забываю. Так и с фразой о том, что отец Александр ушел из катакомбной церкви. Так мне запомнилось, а поскольку он все время старался быть открытым как можно большему числу людей, то это у меня срослось без противоречий. Но вот и польза беседы, когда один из собеседников может уточнить нечто, что другой забывал. Но при этом беседа — это и место для споров.

Ты твердо пишешь, что религия и идеология — антонимы. Я бы не был столь категоричен. В первоначальном смысле, идеология — это всего-навсего сумма идей, поэтому я позволил себе сказать об идеологии катакомбной церкви. Но последние несколько столетий это понятие приобрело смысл вполне монструозный. Именно этот монстр

тебя и насторожил. И в этом смысле идеология — это ложное сознание, иллюзия, искаженное отражение социальной действительности — как правило, искаженное в интересах той или иной социальной группы, чаще — власти, так что она манипулирует массами. А христианство обращается к конкретному человеку («В доме Отца моего...» и т.д.), ибо в доме христианского Бога есть место каждому. Тем самым мы вроде бы выходим на некое определение. Но ведь бывает и религиозная идеология. Скажем, крестовые походы — это в чистом виде манипуляция массовым сознанием. И второй момент. Христианство как атрибут государства (так бывало много раз), как атрибут некоего племени приобретает, разумеется, идеологические черты. Русское самодержавие, а потом послевоенный Сталин именно так и старались использовать православие. Для меня пафос работы отца Александра как раз и состоял в преодолении идеологической составляющей православия, в обращении не к толпе, а к каждому. Была такая замечательная книжка Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Именно о подражании, не о подмене, нет. Просто надо идти Его путем. А это очень личный путь, когда много званных, но мало избранных.

Почему так не любило отца Александра, как бы помягче сказать, «церковное воинство»? Эти «воины» суть идеологи в самом дурном смысле слова. Типа фарисеев нашего времени, если не хуже. Они не любили Меня, потому что он преодолел и в проповедях своих, и в своем богословии, и в пастырском служении идеологизм, который, как тень, сопутствует любой религии, даже христианству. Я бы даже осмелился сказать, что антихрист и есть выразитель именно идеологии как ложного сознания, присутствующего и в христианстве как социальном явлении. Для этих идеологов любое отклонение от того, что они считают нормой, — преступление. А тут таких отклонений много было. И еврейство, и то, что этот еврей был лучший православный богослов, был при этом и великий пастырь. Ты приводишь замечательный разговор о кафоличности отца Александра. Некий похожий вопрос я ему тоже задал, типа, как он относится к католичеству. Он немного снисходительно улыбнулся и ответил: «Нормально. Наши перегородки до Бога не доходят».

Ты предлагаешь вспомнить об отношении отца Александра к диссидентству. Мне трудно об этом говорить, ибо для советской власти почти любой инакомыслящий был диссидент. В том числе и отец Александр, печатавший свои труды за рубежом. Но здесь я уступаю место тебе, ты лучше знал этот круг отца Александра.

Но все же картина наша была бы неполной, если не сказать о его пастырском служении. И этот рассказ не может быть рассуждением вообще. Только через конкретные судьбы высвечивается работа пастыря. Я позволю себе остановиться на истории моего очень близ-

кого приятеля, с которым, как было сказано когда-то, «делил пополам судьбу». Его любимый сын в пубертатном возрасте перестал воспринимать родителей как людей, заслуживающих уважения. Он стал хиппи. Отец же работал в «советском» философском учреждении, получал «советские» деньги (будто были здесь другие), а сын про учебу и слышать не хотел. Все разговоры отца о необходимости учиться воспринимались лишь как попреки. И вдруг мой приятель услышал от сына одну неожиданную вещь, что только один прекрасный человек есть в наших окрестностях — отец Александр Мень. Как уж слух об отце Александре дошел до хиппозных компаний, объяснить не берусь. Но для него это был шанс. И он спросил: «А хочешь, я тебя отвезу к отцу Александру?» Сын ошалело посмотрел на отца: «А ты что, знаешь его, что ли?» Мой приятель был для него уже ниже плинтуса, а тут вдруг из-под плинтуса поднялась его голова.

И они поехали в Новую Деревню.

Но эту историю в следующий раз.

Сейчас твой ход. А я на день отключаюсь от нашей переписки.

ВК

Дорогой Владимир!

Жаль, что наш разговор-воспоминание приближается к концу. Отец Александр был настолько многогранной личностью, что ему стоило бы посвятить не одно биографическое исследование. Каждый общавшийся с ним видел его таким, каким он открывался ему. Среди его прихожан было немало диссидентов. Хотя себя он не причислял к этой категории. Безусловно, он был инакомыслящим. Но он очень органически, хотя не без усилий, вписывался в существующую в жестких рамках богоборческого режима структуру РПЦ. Помню, как в его присутствии кто-то из интеллигентов начал поносить Русскую Церковь и обвинять ее в приспособленчестве. Отец Александр напомнил ему биологическую истину о том, что приспособляемость — свойство живого организма. Если Церковь приспособляется — значит, она жива.

Один из прихожан раскрылся перед ним и рассказал о клятве, которую он вместе со своим другом, подражая Герцену и Огареву, принес на Воробьевых горах — бороться до конца дней с коммунизмом. Отец Александр абсолютно серьезно ответил ему: «Я не знаю более антисоветской книги, чем Евангелие!» Советским диссидентам приходилось особенно тяжело в советском обществе. Лишенные работы, преследуемые сотрудниками КГБ, обремененные собственными проблемами, они все свои горести несли ему. Он был бесстрашным человеком. Казалось, читал все, что происходило в душе пришедшего к нему человека. И не просто читал, но всегда стремился помочь найти выход из

затруднительного положения. Проблемы, которые казались неразрешимыми до разговора с ним, разрешались с его помощью мгновенно. Крайне редко я видел его усталым или раздраженным. Казалось, что его терпению нет предела. Основную часть прихода составляли интеллигенты. Пастырская работа с ними чрезмерно затруднена: российские интеллигенты всегда ощущали себя избранниками, часто без каких-либо серьезных на то оснований. Амбициозность, неоправданные претензии, отсутствие духовной трезвости — все это требовало колоссального терпения от пастыря. Всегда помогал прихожанам, причем не только словом утешения, но, когда требовалось, и деньгами.

СБ

Дорогой Сергей, должен перехватить слово, иначе моя история про приятеля и его сына будет нехстати, а так она просто картинка к твоим словам.

Итак, они по Ярославской дороге доехали до станции Пушкино, оттуда надо было проехать одну остановку до Новой Деревни. Но можно было и пешком. Они пошли пешком. Сын спросил: «А он будет со мной говорить? Или я только буду присутствовать при вашем разговоре? Тогда я не хочу». Приятель примиряюще сказал: «Думаю, что ты будешь равноправным собеседником». Пришли они в церковь к окончанию службы и вперед пробираться не стали. Но отец Александр, уже сходя с амвона, заметил моего приятеля, кивнул ему, но продолжал отвечать на вопросы прихожан. Потом подошел, благословил моего приятеля и повел их в свой домик рядом с церковью, предложив выпить чаю. Сын шел, на лице его было написано, что он понимает важность происходящего и с кем он идет. Скорее всего, вообразил, как будет рассказывать приятелям, что пил чай с САМИМ Александром Менем, ради этого готовясь терпеть скуку взрослых разговоров. В то, что с ним будут говорить как с самостоятельной личностью, он вдруг разуверился. Они вошли в комнату, где на стенах висели портреты, в углу икона, горела лампадка. Отец Александр ушел хлопотать по чаевному делу, достал чашки, блюдца, деревянное блюдо с пряниками, сахарницу. «Ну что, по глотку чаю? А потом я хотел бы поговорить с молодым человеком. Но наедине... Папа не возражает?» Мой приятель кивнул: «Конечно, не возражаю». Они выпили по чашке чая, и мой приятель вышел на улицу, прихватив недоеденный пряник. Потом, как говорил, пожалел, что не взял больше. Ходить пришлось долго. «Казалось, что больше часа хожу, но вряд ли. Однако не меньше минут сорока», — говорил приятель.

Вдруг выглянул из домика сын, помахал ему приглашающе рукой, лицо прямо светилось. Похоже, что разговор получился более чем удачным.

Приятель вошел, и отец Александр сказал: «А теперь мне надо пару слов сказать твоему отцу. Не возражаешь?» Сын вышел беспрекословно, к чему мой приятель не привык. Потом, когда за ним закрылась дверь, он спросил отца Александра: «Спасибо, отец Александр. Он уже немного изменился. Вы собираетесь его крестить?» Мень усмехнулся: «Разве в этом дело? И Сталин, и Гитлер были крещеные.... А что толку! Нет, здесь надо другое». «А что?» Приятель удивился, но потом с каким-то придыханием повторял слова отца Александра, который произнес: «Я беру его на себя!» Приятель, рассказывая, говорил: «Ты понимаешь? Он это сказал как о само собой разумеющемся. А ведь сколько внутренних сил надо иметь, чтобы такое сказать!» А Мень добавил: «Он будет ко мне ездить раз в неделю, будем заниматься. Он у вас хороший». Они пошли к поезду. Мой приятель попытался задавать какие-то вопросы. Но сын неожиданно мягко ответил: «Папа, не надо. Не надо об этом говорить». Прошло время, рассказывал приятель, перемены начались далеко не сразу. Поначалу уменьшились нашествия хиппи в квартиру, потом стали появляться религиозно-философские книги. У моего приятеля они были, но тут важно, что это были находки сына. А через полгода сын вдруг сказал, что его можно поздравить, что его сегодня утром отец Александр крестил, что это как ход к новой жизни. У приятеля была фотография рядом с отцом Александром. Сын повесил ее в рамке на стенку, надписав: «Отцы». То есть один земной, другой духовный. Потом приятель ушел из семьи, женился второй раз. С сыном отношения осложнились, но 9 сентября сын вечером позвонил ему из Семхоза: «Папа, сделай что-нибудь. Сегодня кто-то убил отца Александра. Все его ученики здесь». Приятель позвонил друзьям в «Мемориал», но что мог тут «Мемориал»! Отец Александр должен был стать ректором православного университета, то есть получил бы некую власть. Интеллектуально с ним бороться стало бы много труднее. Проще было устранить.

Вот история. Далее слово тебе! Тут ведь невероятно не только пастырское служение, но и сколько при всем этом отец Александр написал! Почти университет!..

ВК

Дорогой Владимир,
что ж, подхватываю эстафету.

Он и вправду был необычайно трудолюбив и успел сделать много. Его день был всегда жестко расписан. Отец Александр был харизматической личностью. Это не означало, что он не был сторонником строжайшей дисциплины. И прежде всего по отношению к самому себе. Помню, как во время разговора у него в саду, в теплый летний

день у него запищали ручные часы. Я с удивлением спросил: «Что это?» Он хитро улыбнулся и ответил: «Напоминание!» Он прекрасно знал, что среди бытовых забот, встреч и разговоров забывается молитва и важные дела. Он был прекрасным организатором и сумел иерархически выстроить приход. В разное время он отбирал прихожан, которые в разные периоды исполняли функции секретаря. Это не означало, что отец Александр был необязательным человеком — при том непосильном каждодневном грузе, который он нес, трудно было удержать в памяти все необходимое. При огромной занятости он поддерживал отношения со старшим поколением христиан, пережившими гонения «катакомбниками» — друзьями его матери и тети. Все они были людьми преклонного возраста, обремененными различными болезнями. Их необходимо было навещать, причащать, когда они оказывались в больнице. Когда после празднования тысячелетия Крещения Руси открылась возможность проповеди, его постоянно приглашали выступать. Необходимо было планировать дневной и недельный циклы таким образом, чтобы успеть как можно больше. В этот период он начал заметно сесть.

Отца Александра трудно было смутить: с любым он находил общий язык. Этому помогала не только харизма общения, которой он был щедро наделен, но и высокая культура. Он был, по евангельским словам, настоящим ловцом человеческих душ. Часто уже после первой встречи с человеком он понимал, что ему нужно и отчего он страдает. В общении с людьми, еще не пришедшими ко Христу, отец Александр был особенно бережным. Он избегал малейшего насилия над разумом и совестью человека. Хотя мне неоднократно приходилось наблюдать, как иной человек начинает в очередной раз исполнять перед ним «ритуальные» танцы. Отец Александр прекрасно понимал внутренние трудности человека и терпеливо ждал. Недаром он сравнивал себя с акушером. «Маевтика» Сократа была его специальностью. В одном из интервью 1988 года он признавался: «Я чувствую в себе больше сил, даже физических. До рукоположения я был значительно слабее физически. Это парадокс — я был моложе... на 30 лет. После рукоположения я стал способен выносить нагрузки в пять раз большие. Кроме того, за каждой литургией я получаю таинственный квант духовной энергии; в общем, я могу чувствовать такую близость Божии, которую раньше не ощущал...»

И последнее в этом послании. Я вновь возвращаюсь к идеологии. Вернемся к примеру о крестовых походах. Мне кажется, что первоначальный импульс был вполне христианским — освободить Палестину, Святую землю от мусульман, для которых она тоже была Святой, но без христиан. Но часто благие замыслы мостят дорогу в ад. Сегодня мы видим, как новоявленные православные

из недавних партаппаратчиков пытаются втиснуть христианство в прокрустово ложе идеологии и навязать его государству. Они не представляют, как может государство существовать без идеологии. Ничего, кроме отвращения, эти попытки не вызывают.

Отец Александр как-то говорил, что основной расклад сил остается тем же, каким был при жизни Христа. Фарисеи, для которых буква закона дороже всего. Саддукеи, для которых жизнь завершается на земле. Иродиане, всегда готовые служить новому хозяину и идти за новыми веяниями. Книжники, не желающие видеть перемен в жизни. Они не узнали Христа. Более того, вынесли ему смертный приговор. Все претензии, которые предъявлялись ими к Христу, предъявляются и поныне отцу Александру, который подражал (опять вспоминается Фома Кемпийский!) не только своей жизнью, но и насильственной смертью Спасителю. Поэтому до сих пор его книги являются камнем преткновения для современных фарисеев, саддукеев, иродиан и книжников. Для одних он ретроград, для других — чуть не ниспровергатель Типикона, монашеского устава, по которому вот уже тысячу лет пытается жить Русская Церковь.

Идеология всегда идет рука об руку с пропагандой. Коммунистическая идеология в прошлом столетии уничтожила десятки миллионов жизней в различных концах света. Прошло четверть века с того момента, когда рухнула «империя зла». Но до сих пор в столице и в различных уголках огромной страны стоят идолы в кепке с протянутой рукой. Это означает, что осознания содеянного зла и покаяния не произошло. Проповедь Иоанна Крестителя заключалась в том, что он призывал иудеев к покаянию, поскольку он-то знал, что Христос уже пришел на землю. Что такое покаяние? Глубинная перемена мыслей. Когда она происходит, меняется человек и его жизнь. Вот почему не меняется наша сегодняшняя жизнь. А «совок» остается идеалом не только для народа.

Цель идеологии — оболванивание человека, превращение его в послушный винтик государства. Для идеологии жизнь личности — пустой звук. Для Христа каждая личность бесценна. Будь это сборщик налогов, хиппи или блудница. Об этом постоянно говорил и писал отец Александр. Суть христианства — ответ человека на призыв Христа, который зовет его следовать за Собой.

Куда?

На Голгофу!

Зачем?

Чтобы распяться вместе с Ним, но вместе с Ним и воскреснуть!

02.03.2014

Просто О ЖИЗНИ

7. Разве это жизнь?

Владик Касовский жил на первом этаже. Это я помню, знаю точно. Я третьеклассником, потом пятиклассником, потом семиклассником заходил в подъезд, потом поднимался по каменным ступеням, поднимался на один маленький лестничный пролет и оказывался на площадке первого этажа, где друг напротив друга располагались две профессорские квартиры. Слева жила вдова профессора Мигалова и его красивая, уже пожилая дочь, справа жил профессор Рувим Касовский с женой, дочкой Софой и великовозрастным сыном, которого он сумел протащить через институт, где сам работал, защитить его диплом и пристроить работать. Как у него получился такой сын, было не очень понятно, уж очень профессор был строгих правил — каждый вечер перед сном он ходил упорно по десять кругов вокруг дома. Может, потому, говорили соседи, что пяти лет у него случилась базедова болезнь. И он смотрел на всех выпученными, слегка слезящимися глазами. Да, Владик... Нет, он не пьянствовал, был интеллигентен, добродушен, женился на ясноглазой, с милым лицом русоволосой женщине, крупнотелой красавице, тихо улыбавшейся соседям. Как теперь понимаю, Зина вышла, очевидно, из совсем другого социального страта, окружавшие ее молодые кобели, видимо, были или казались ей много ниже, чем профессорский сын. Она жила в доме с коридорной системой, а после одной комнаты, где она жила с отчимом и двумя братьями, небольшая трехкомнатная профессорская квартира, где с ее приходом стало жить пятеро, а когда она родила, то и шестеро, все равно была более домашней. Она видела, что пришлось по душе строгому Рувиму и его жене Иде. Более того, казалось, что после дурака отчима, который иногда и пытался приставать к ней, хотя и нерешительно, она нашла в старом Рувиме кого-то вроде отца. И легко стала называть его «папой», хотя его жена так и осталась для нее Идой Исааковной. А Владик?.. Он вдруг почувствовал, что стал большим, что у него, как у большого, — есть жена, женщина, что он посвящен во взрослое таинство, которое ему казалось раньше грязной болтовней мальчишек.

Так вот, идя из школы и поднявшись на площадку первого этажа, я почти всегда видел Владика, который стоял там в пижаме и стоптанных тапках. Он курил «Беломор», жуя мундштук папиросы. Он всегда хватал меня за плечо и радостно улыбаясь, спрашивал: «Борька, слышал последний анекдот? У армянского радио спросили: “Сможет ли женщина выдержать одиннадцатиметровый?” Ты ж понимаешь, что тут речь не о пенальти. И армянское радио ответило: “Сможет. Если такой найдется”. Ловко придумали, а?» — и он смеялся, немного брызгая слюной от удовольствия. Я поднимался к себе на третий этаж, переваривая информацию. Я вроде понимал, что он имел в виду, но и не очень. Подростковое воображение чудовищно. Я и впрямь решил, что бывают мужчины с пенисами такого размера. Мне теперь иногда кажется, что и он так думал, страдая, что у него обычный. Но это потом выяснилось.

А в следующий раз он ошарашивал меня другим анекдотом, смеясь и немного брызгая слюной: «Послушай, Борька, вчера мне рассказали. У армянского радио спросили: “Можно ли оберемнить женщину заботами?”. Армянское радио ответило: “Можно. Но лучше за шкафом!”. А? Как словом-то играют! Понравилось. Но вообще-то могу тебе сказать, что женщина, когда хочет отдаться, отдается в любом месте, причем самая порядочная. Это выше их». Он смотрел на меня своими выпученными базедовыми глазами, голубоватыми и слегка водянистыми.

Воскресными летними днями (суббота тогда была рабочим днем) соседи мужского пола грудились во дворе за шахматными досками под липами. Переживали матч Михаила Ботвинника и Василия Смыслова, разбирали их партии. Радовались, что мировая шахматная корона все равно останется в Советском Союзе. Владик играл со всеми, играл неплохо, но чаще проигрывал. Мне проигрывал, поэтому относился с уважением и болтал со мной: «Знаешь, жена Смыслова говорила, что она кормила своего Васю во время матча рыбой, треской, чтобы было больше фосфора. А слышал, Борька, как мужик приходит к врачу и говорит, что у него плохо с потенцией. Врач отвечает, что надо побольше рыбы есть, что в ней много фосфора. А мужик отвечает: “Я хочу, чтобы он у меня стоял, а не светился”. Как полагаешь, правильно ответил?» Я неопределенно хмыкал и вспоминал фразочку взрослых девиц с нашего двора, что до женитьбы Владик был «сексуально озабоченным», а после свадьбы и рождения сына стал «сексуально озадаченным». Отвечать было нечего, и мы продолжали играть. Потом его позвала жена, пришло время обедать. «Вот, Борька, — произнес он как хозяин, — не женись. Начнет одна такая тебя понуждать жить по своему времени». Но я-то видел, что хозяйкой была Зина.

Она вышла из подъезда, тихо подошла под липы к играющим и сказала, как-то очень по-женски: «Я же жду».

«Иду, иду!» — вскочил он, и она повлекла его за собой.

Но все равно каждое возвращение из школы сопровождалось для меня встречей с Владиком. Будто он не работал никогда. Однако он работал, где-то за кем-то вел семинары, времени было полно, зарплата маленькая. Но он хохмил: «Все равно всех денег не зарабатываешь». И рассказывал анекдот, как девушка наутро говорит любовнику: «Да уж, не очень-то. И зарплата у тебя тоже маленькая».

Как-то я пару раз попытался пересказать родителям анекдоты. Они поморщились.

«Ему что, не с кем из взрослых поговорить?» — рассерженно выговорила мама.

С тех пор, когда я рассказывал не совсем приличные анекдоты, отец спрашивал: «Опять Владика Касовского на лестнице встретил?» Я смущался, относиться к Владiku стал немного иронически. Потом я женился, уехал, а, как слышал, у них с Зиной родился сын Зигфрид. Он рос на удивление быстро. Строгий дед Рувим выглядел ошеломленным, получив внука с таким немецко-арийским именем. Видно было, что он внука избегал, как-то погружаясь в себя. Но невестку все равно любил, был с ней ласков. А внук был толстый, сильный, с голубыми глазами немного навывкате, но явно глаза не в отца, со щитовидкой всё было в порядке. Он как-то быстро сошелся с окрестной шпаной, вместе с ней приходил бить юных жильцов профессорских домов, и был, пожалуй, самым громким в выкриках «жидовская морда» и «еврей пархатый».

У родителей я бывал еженедельно. Так получилось, что я отловил как-то сына Владика во дворе, усадил на лавочку под липой, где летом раньше играли в шахматы, и сказал: «Тебе не стыдно? Ведь у тебя и дед, и бабка, и родной отец — евреи. Дружки узнают — побить могут. Не опасешься?» Он с простодушной наглостью посмотрел на меня и сказал презрительно: «А Владик Касовский мне не отец. Он еврей. Мой отец — спортсмен-боксер и зовут его Ростислав Жгутин. Слыхал, небось? Он за меня кому хошь морду набьет. А потом мама у него немка, так что он настоящий ариец. И я тоже». Я оторопел: «Разве твоя мама развелась с Владленом Рувимычем?» Он пожал по-взрослому плечами: «Ей жалко его. Этот еврей каждую ночь ревет как баба и просит ее не уходить. А мамаше старика только жалко. Потому и живем здесь».

Какая-то новая картинка нарисовалась мне. Я был женат и уже нагляделся на разные семейные пары, которые были все несчастливы на свой лад. Но такого еще не встречал. То-то, вспомнил вдруг я, что Зина последние годы ходила, опустив глаза вниз, и

только кивала в ответ на приветствия. Оторопело пошел я прочь от юного нациста. Время было уже перестроечное, *такие* уже начали появляться, по Москве ходили слухи, что бритоголовая шантрапа отмечала на Красной площади день рождения Гитлера. И все равно как-то не верилось, что из тихой еврейской профессорской квартиры мог вылупиться такой гаденыш. Стало страшно.

Войдя в подъезд, сразу увидел на площадке первого этажа Владика, который жевал в зубах беломорину и, увидев меня, сразу привычно возбудился, заулыбался. «Борис, как семейная жизнь? Что-то ты жену сюда не возишь!.. А слышал анекдот? Брежнев распорядился показать ему тот свет, чтобы выбрать местечко получше. Привели его в рай — скучно. В трубы дуют, псалмы поют. Повели в ад, там разные комнатки. В одну заводят, а там Никита Хрущёв с Брижит Бардо сношается. Ну, Брежнев в ад и захотел. Попадает в ад. Сажают его на сковородку и принимают его филейные части жарить. Он взвыл. Кричит: “Я, как Хрущёв, хочу!” А ему главный черт отвечает: “То, что ты видел, наказание для Брижит Бардо, а не для Хрущёва”. Понял? Женщине заниматься этим делом с плохим мужчиной — сущее наказание».

Он хохотнул заискивающе, так мне теперь показалось. Слушать это было стыдно, мучительно, особенно после рассказа его пасынка (или бастарда, выблядка?). Я кивнул, сделал вид, что спешу, и побежал двумя этажами выше, где жил раньше и где по-прежнему жили мои родители. Но рассказывать им ничего не стал. Как-то увело бы в сторону от наших проблем. А я через пару недель должен был уезжать в Нью-Йорк почти на два года и хотел обсудить, кто и как сможет помочь родителям, пока меня не будет.

Прошло два американских года. Были они разные. Одно было странно: оттуда жизнь в России казалась такой нереальной, почти несуществующей, даже наши политические деятели — маленькими и как бы невзправдошными, политический выбор России — не имеющим для жизни человечества никакого значения, будто выбор марсиан, а уж отношения мужчин и женщин в России — словно сексуальные игры рыб в гигантском нью-йоркском аквариуме.

Отец выучился посылать мейлы, мы постоянно беседовали. Я ему излагал, как видится Россия из далека. Он призывал меня к реальности, говоря, что свой уголок жизни содержит в себе всю шекспировскую глубину, надо только уметь ее увидеть. Америку я охватить не мог. Несмотря на архитектурную эклектику того же Нью-Йорка, я чувствовал его мощную мелодию, но не мог понять, как она возникает. И все американцы виделись мне эклектичными, но мощными. А когда летел в Калифорнию над Скалистыми горами, то все вестерны ожили во мне. Грубые ребята забрались на край

света и построили страну. И выработали они одно важное условие жизни: *privasy* — *прайвэси*. Это я в нью-йоркском метро увидел. Это не уединение, как говорит точный перевод, а некое свободное пространство, между одним человеком и другим. Войти в это пространство без насилия невозможно. Оно стало инстинктом западного человека. Вы входите в страшное нью-йоркское метро, толкаться невозможно, от тебя отступают, сохраняя пространство. И так во всем. Никакого российского амикошонства, когда выворачивают себя наизнанку. Это я понял, но знал, что в России все равно все не так. Или не всегда так. Закрытость воспринимается как чуждость, враждебность, и человек эту закрытость всячески маскирует, маскирует свою потребность в свободном пространстве вокруг себя. Будто стесняется этого.

По мейлу отец через пару месяцев сообщил, что их сосед с первого этажа профессор Рувим Касовский скончался. Было ему уже семьдесят восемь, не молод. Да и детей дорастил вроде бы до самостоятельности. Владика уже стукнуло сорок семь. А его сестре Софе тридцать пять, была она незамужней, посвятив себя уходу за родителями. Через полгода умерла жена Рувима, верная Ида. Я все еще оставался в Нью-Йорке. Но следующий мейл меня не очень удивил. Отец писал, что нашего анекдотчика Владика оставила жена Зина, уехала к другому, забрав сына Зигфрида, что Владик ходит потухший, ни с кем не разговаривает, даже анекдоты перестал рассказывать. И тут вдруг меня пронзило, что его анекдоты — это было тоже своего рода *прайвэси*: ограждение своей души от посторонних. Жалко его снова стало, но слишком он был далеко, а тут своих дел хватало.

Через два года в марте я вернулся в Москву, почти сразу поехал к родителям. И первое, что увидел, войдя в подъезд, это коляску, а за коляской Софу, пытающуюся скатить коляску по ступенькам. Я быстро подошел, помог ей. Она мне улыбнулась радостно-растерянной улыбкой: «Думала, что совсем засох стебелек, а он, видишь, ожил, зазеленел. Сыну уже два месяца. Кто муж? Он медик. Тебе должен понравиться. Спортивный, не пьет. В больнице работает и преподает в институте». Я позволил себе поцеловать ее в щеку и спросил: «А как Владик? Что с ним?» Она засопела немного: «Ты слышал, что Зина уехала от нас? А Владик снова женился. Собирается к жене переезжать. Но совсем перестал за собой следить. Даже бредется не каждый день. А Зигфрид его умер, неожиданно. Резкое обострение диабета. Ну, я пошла. Гулять с Мишкой надо». Я поднялся к родителям. Когда вечером спускался, то на площадке первого этажа увидел Владика. Он, как всегда, курил «Беломор», который доставать было все труднее. Он действительно изменился. Щеки небритые и как-то обвисшие, выпяченный больше чем раньше кадык, глаза совсем на-

8. О динозавре

выкате, животик круглился над тренировочными штанами, в которых он обычно выходил курить. Плечи сутулились.

«Слышал, Борька, мою печаль? — остановил он меня. — Сын мой Зигфрид *преставился*, — он употребил неожиданно православное слово. — Диабет. И Зина ушла от меня. К какому-то спортсмену. Как женщина ушла, но не переехала. Хотела даже, чтобы он с нами жил. Мол, диабет у сына может излечить. Не излечил. Потом все же уехала. После смерти Зиги. А я снова решил жениться. Хотя знаешь ведь, что хорошее дело браком не назовут. — Он слабо хихикнул. — Моя новая в меру серьезна, прихрамывает, правда, с палочкой ходит. Зато никто не польстится, а то веры женщинам нет. Знаешь анекдот?»

«Ну?»

«Акушерка приходит к роженице.

— Здравствуйте мама. У вас проблемы. Вы родили мальчика с черным цветом кожи, блондина с голубыми раскосыми глазами. Пожалуйста, следующий раз в групповухе будьте осторожнее...

Роженица-то и отвечает:

— Слава Богу, он хоть не гавкает...»

Я криво ухмыльнулся:

— Думаю, не все такие... Да и Зина была нормальной женщиной. Влюбилась — бывает.

— Эх, Борька, рассказывать не буду, что было. Отец-то мой помер из-за ее поведения. Когда своего спортсмена к нам привела жить. Я ей быстро надоел, понимаешь? И Зигфрид мой от него... Она с ним уже открыто хотела жить. Но у него не могла. Мол, квартира у него маленькая. И прописать хотела. Отец еле их выгнал.

Он вдруг заплакал, не выпуская изо рта папиросу. Слезы потекли по щекам. Вид был странный, жалкий, какой-то неприятный и неопрятный. Кое-как я простился и выскочил из подъезда.

Увидел я его через пару месяцев, было начало июня. Он был одет очень неряшливо, брюки мятые, пиджак неглаженный. Его руку держала очень большая женщина, косматая, хоть с правильными чертами лица. В другой руке у нее была палка, на которую она опиралась. Шли они молча, не разговаривая, как люди, у которых нет будущего, все в прошлом.

Вечером снова увидел я его курящего у входа в квартиру. Чтобы не слушать очередного анекдота, сделал вид, что спешу, и мимоходом спросил:

— Как жизнь?

Он шумно вдохнул и ответил без анекдота, хоть и с проснувшимся вдруг еврейским акцентом:

— Разве это жизнь? Это же ужас!

Безумие, конечно. Любовь и безумие. А соперник и победитель еще и начальник. И если бы хоть человек... Но, может, ревность, как мальчику Каю, исказила Петру зрение, осколок кривого зеркала попал в глаз. Но нет, он ведь и хорошее, страстное помнил. Например, ее прошлогодний мейл вечером после секса. Она: «Привет, мой неутомимый легионер. Родной мой, счастье мое, я так рада, что ты есть и что я свалилась тебе на голову. Самочувствие прекрасное, но во всем теле такая нега разлита, что делать вообще ничего не хочется. Это не усталость даже, а просто... Я еще не вернулась, я еще там с тобой. Это было прекрасно и совершенно незабываемо. Ты изменил мою жизнь и меня вместе с ней. Я и сейчас чувствую твои руки, твои губы и все остальное... И мурашки бегут по телу. Как быстро день пролетел. И как долго теперь ждать... Сажу и думаю о тебе. Ты только не разлюбляй меня, пожалуйста. Целую, твоя девочка (я ведь твоя девочка? ты же сам говорил)». Он отвечал, стесняясь мужской грубоватости: «Мы, легионеры, всегда были работниками — на ратном поле и в любви». Она отвечала эсэмэской, но будто всем женским естеством: «О да! вчерашние бои тому подтверждение. Вот сейчас только подумала об этом — и привет, готова к новым боям».

А теперь Иринка не отходит от его начальника Глухова, огромного, всегда носящего длинные плащи. Петр был уверен, что тот прячет под плащом хвост динозавра. Конечно, так думать мог только сумасшедший. Откуда бы в наше время динозаврам взяться? Глухов любил после работы по дороге к метро давать Петру указания на завтра, словно чтобы он не уходил из-под его власти. Знал ли он о том, что Иринка была когда-то любовницей Петра? Уже был вечер, горели электрические фонари и реклама. Глухов снял темные очки. Большие его зеленоватые глаза мерцали в электрическом свете. Молча дошли до метро «Смоленская». «Ну что, любишь себя, думаешь, что лучше меня? И все женщины в тебя влюблены?» — вдруг спросил его Глухов. Петр даже ладонь протестующе

5 марта 2012

выставил: «Ты что? Если что и было, то в другой жизни». «А, может, и в этой? *Для нашей работы* — такие, как ты, не нужны. Нам надо, чтобы люди не за себя, за идею болели. Да что я тебе объясняю! Сам понимаешь». Петр подумал, что у начальника начинается приступ пещерной ярости одинокого зверя, и ему захотелось его утешить. «Димочка, дорогой мой...», — начал было он. Глухов же вдруг махнул рукой: «Ну ладно, что мне с тобой разговаривать! Все равно тебя не переделаешь». Повернулся спиной и стал спускаться по ступенькам в метро. И вдруг вернулся: «Зато у меня женщина, которой у тебя никогда не было и не будет. Она-то мне цену знает. Вот почитай, что она пишет мне». И он протянул Петру письмо своей когтистой лапой.

Петр читал письмо, которое эта женщина всего-то года два назад написала ему, именно это, почти дословно, а теперь повторила вариацию для его начальника: «Привет, мой неутомимый легионер. Родной мой, счастье мое, я так рада, что ты есть и что я свалилась тебе на голову! Я еще не вернулась, я еще там с тобой. Это было прекрасно и совершенно незабываемо. Ты изменил мою жизнь и меня вместе с ней. Ты научил меня многому. По-новому думать, по-новому чувствовать. Прочитала твои заметки о работе. Они меня потрясли. Ты человек Возрождения. Такой широкий и разносторонний. И, как всегда, меня поражает то, что ты отвечаешь на мои вопросы, которые еще толком и не сформировались в моей голове, а только носятся там в виде неоформившейся материи. Сижу и думаю о тебе. Ты только не разлюбляй меня, пожалуйста. Целую, твоя девочка (я ведь твоя девочка? ты же сам говорил)». Это был какой-то пещерный ужас. Он не знал, что сказать Глухову. Тот понял его молчание по-своему. «Понял, что я для нее? А любящие женщины не ошибаются». И пошел прочь, не давая ответить. Даже не повернулся, скрылся в метро, заполз в пещеру. А хвост, казалось Петру, стучал по ступенькам. Или так только ему казалось?

Так почему побеждают начальники? А может, дело в том, что в начальники идут уцелевшие, немного мимикрировавшие динозавры. В них сила и мощь, которая подавляет женщин. Динозавру лучше сдаться и отдаться, чем получить венки на гроб, как получила десятиклассница, отвергшая Берию.

9. Идиотизм российской жизни (дачные сценки)

Почему русская интеллигенция замечает прежде всего недочеты и недостатки, а достоинства только по приказу либо под большим страхом, как при Сталине? Мне рассказали, что чиновник из нынешнего руководства, которому поручили было работу с интеллигенцией, отказался со словами: «Работать с интеллигенцией — все равно что кошек пасти».

Вот в роли наблюдательной кошки, точнее, кота, рассказываю про недавнюю поездку с женой на дачу.

Автобус от железнодорожной станции г. Александрова в сторону деревни Афонасьево. До остановки «Сады». Над длинным и большим домом, где внизу магазин, вечная надпись аршинными буквами: «Слава народу-победителю». Привокзальная площадь, вход на вокзал размером в дачную калитку (а широкая дорога загорожена железной решеткой, опаздывающие на поезд или с поезда на автобус, продираются сквозь калитку). Толпятся мутные личности, покупают пиво в привокзальных ларьках, на ту сторону шоссе, где автобус, нет перехода, у остановки мужики и тетки с рюкзаками и сумками, посадочным материалом. Автобус с вытянутым капотом рассчитан на двадцать сидячих мест, набивается человек пятьдесят. Одно время мы хотели кого-нибудь из западных друзей прокатить на этом автобусе. А город-то с историей, и еще какой! Отсюда причина пошла, русские люди ползли к спрятавшемуся в Александровой слободе Ивану Грозному просить оказать милость и вернуться на царство. Вернулся при условии, что причину введет. Здесь и сына своего Ивана убил. Но это к слову. Если к слову, то здесь в 1918 г. сестры Цветаевы жили, спасались от столичной голодухи. Но вот подъехал автобус. Кажется, не втиснуться, но влезают все, располагаясь причудливыми сочетаниями фигур. Кто-то садится на ступеньку рядом с кондукторшей, кто-то пристраивает рюкзак на полу, на него уставляет сумки, некоторые из сидящих принимают на колени сумки стоящих. И автобус трогается. Едем в сторону садового товарищества «Железнодорожник».

Мужик, по виду слесарь, сидит на заднем сиденье (повезло!) и рассказывает соседу: «Идет сильное вытекание воды вдоль объекта, который производили строители. Теперь еду нарушить их работу». Второй отвечает: «Ты им всыпь там. Земляк земляка убьет наверняка!»

Великий и могучий...

Стою, в бок уперлась какая-то железяка, которую некто везет на дачу, признается вслух: «На стройке спер, там она все равно никому не нужна, а мне на участке пригодится». Повторяю про себя формулу дачного деда-соседа, в молодости рабочего сцены: «Русский человек только разорять может. Прикажи ему разрушить — разрушит — только держись! И бригадиром русскому человеку нельзя быть. Ничего не может. Работать может, но под чужим началом. А сами с собой справиться не можем. Бьем друг друга. Не жалеем друг друга». На душе тоска, особенно, когда видишь насколько канавы вдоль дороги завалены разнообразным мусором. А почему ему там не валяться. В их садовом товариществе председатель, поначалу коммунист, потом по выгоде коммунист, не желая нанимать машину для вывоза мусора, придумал коммунистические субботники. Раз в месяц закапывали в землю, в лесу, мусор: старые газовые плиты, сломанные холодильники, пылесосы, железные проржавевшие кровати. Помню, как промучился с закапыванием холодильника. И все время вспоминал Стругацких «Пикник на обочине», только там веселилась суперцивилизация, оставляя нечто невиданное, а здесь веселились варвары, скрывали следы разрушения. Так наводили экологическую чистоту, эту повинность называли субботником, кто не выходил, тот платил председателю за пропуск 200 руб.

Последний год все же два раза в месяц приходит машина и вывозит мусор.

А этот приезд начался с мелкого приключения — появления почти нечистой силы.

Оторвался от компьютера, вышел на крыльцо. Уж не помню, зачем. Вдруг с соседнего участка слышу громкий голос соседки, держащей в руках тяжелую чугунную подставку с газовой плиты: «А ну проваливай отсюда! Ты что, пришел сюда в кусты посрать или еще что! Ты ведь обкуранный весь». Из калитки выскочил сосед с вилами в руках, видимо, за ними и бегал. Надо добавить, что оба они пенсионеры, хотя достаточно еще крепкие. Все же без конца работают в саду, копают, пилят, что-то достраивают. Из кустов чужой голос: «Миша, ну хватит уже. Выходи. Пора ехать. Заводи машину и поехали». Я выскочил на тропинку, которая вела к участку соседей, за мной жена. Быстро пройдя несколько метров, я пожалел, что не взял монтировку, хотя мысль о ней мелькнула. Но монтировка ле-

жала в сарае, а калитка в другой стороне. Понадеялся на кулаки, жена успела подхватить с земли камень. Перед двумя нашими соседями стоял, покачиваясь, достаточно высокий, полуголый, в одних джинсах молодой парень. Стало понятно при виде его сильных рук, что потасовка может быть серьезной. Сосед, увидев, что подходит помощь, сказал, взяв поудобнее вилы: «Шел бы ты отсюда, пока цел». Парень отступил к кустам, одним глазом смотря на кусты, другим на нас, и снова немного гнусавым голосом выкрикнул: «Ну, Миша, поехали, пора уже. Заводи мотор». Потом отступил к кустам. Вмешался и я: «Ты что здесь ищешь? Если ничего, то уходи лучше». А соседка обошла парня и заглянула за кусты и вышла с тыла со словами: «Нет там никакой машины и вообще никого нет». Парень шархнул и двинулся вдоль нас, двинулся не то слово, как бы начал пробираться. И тут я разглядел его лицо с провалившимся носом, абсолютно остановившимися глазами, обведенными красной каймой. «Как сифилитик из преисподней, — сказала моя жена. — Хоть крест на него наложи». Сосед понял ее слова по-своему и взмахнул вилами. И парень вдруг испуганно обогнул соседа с вилами и, как черт мог шатнуться от креста, быстро-быстро пошел к выходу с нашей линии. Мы тоже заглянули за кусты: никакого Миши, никакой машины. «Психический, — сказала соседка. — Кого он там искал? Дом-то уже год пустой, хозяин совсем спился, сюда почти не приезжает». Парень исчез, будто в воздухе растворился. Никто его больше не видел. А может, подумал я, вся эта бандитская и прочая нечисть и есть то, что по сути дела служит своему черному господину.

На следующий день пошел в церковь в соседнем селе Афонасьево. Был вторник, я знал, что службы нет, только по воскресным и праздничным дням приезжает отец Игорь из Александрова. Но хотелось посмотреть что-то все же духовное среди деревенской грязи. Первый раз я увидел эту церковь, вернее, ее руины, в начале девяностых, когда мы купили маленький садовый домик в садовом товариществе в трех километрах от деревни. Церковь стояла полуразрушенной, а на том месте, где должен быть купол, росла довольно крепкая береза. Такой явственный символ победившего язычества. Старухи рассказывали, что разрушили церковь в 30-е годы, разрушали местные комсомольцы. «Сначала их заволола на купол забрался, с балалайкой, и сверху орал срамные слова и частушки». А потом и порушили, к куполу тросы привязали, а с другой стороны к трактору, так и свалили. В конце 90-х на общем православном подъеме выкорчевали березу и поставили купол. Начались службы. Народу приходило немного, крестились пожилые женщины, как их в детстве учили. Молодые ходили редко. Пространство вокруг

здания так и не привели в порядок: колдобины, выемки, колеи от ездивших мимо машин. В этот раз церковь была закрыта, но вокруг нее сновали восточные люди, штукатурили, белили, укладывали вокруг храма асфальт, говор был гортанный. «Фантастика, — просквозило соображение, — мусульмане приводят в порядок православный храм. Так что ли?» Я повернулся, завернул в ближайший дом, к знакомой, раньше у нее молоко покупали. Постучал в окно. Подошла к окну в ночной рубашке, полусогнувшись, чтобы прикрыть рубашкой колени. «Извини, не оделась еще. Молока не будет. У соседей тоже. Жара, слепни, не дают молока коровы. Может, к деду на краю села зайдешь. У него отелилась одна только что. Пока, правда, молозиво, наверно. Но через неделю наладится». Спрашиваю: «А кто у церкви возится? Вроде не наши». Она отмахнулась от меня, чуть не потеряв подол ночнушки: «Какие наши? Гастарбайтеры. Узбеки, вроде. А нашим что надо? Пива, вина и блядей! Ладно, пойду оденусь».

Через неделю возвращаемся в Москву. Едем в таком же набитом автобусе до Александра. К поезду. Толстые неопределенного возраста женщины с тяжеленными сумками, функции от этих сумок, набиваются в автобус. Лица как из текстов Гоголя и Щедрина. Где природа поскупилась на тонкий инструмент — тяп-ляп, черты человеческие лишь намечены. Разговоры о том, что мужики не работают, не желают, спиваются. Страна пьяных нищих, не желающих работать и горюющих лишь о том, что не умеют как следует воровать. Да и интеллигенция о том же жалеет. Рассказ уже на станции одной интеллигентной сравнительно женщины. Купила избу в деревне, участок большой, 20 соток. Скосила траву, предлагает эту траву соседке, у которой корова. Та отказывается — неохота собирать, возиться, как-нибудь так. Избу обставила на городской лад. Занавески, ковры, городская посуда — все то, кстати, что и сами деревенские иметь могут. Три месяца прожила, лето. Собрались уезжать, сели в машину, полчаса отъехали, но вспомнили, что забыли что-то. Вернулись, а эти пьяные мужики уже дверь в их дом взломали и выносят все оттуда. Так что все эти рассказы из Гражданской войны, как еще с живых товарищей сапоги сдирали себе — верны. Дело только не в Гражданской войне, а в ментальности народа, паразитарной, варварской и очень примитивно материальной. Вещь хочется иметь, но заработать не хочется, лучше украсть.

Наконец, в электричке. Александров — конечная станция, поэтому всегда есть места. Усталые, сели, 10 часов вечера. Полусонно едем. В Мытищах заходит молодой мужик в рясе, с аккуратной бороденкой и завязанными в узел волосами. В руках продолговатый ящик с прорезью. «На построение храма просить будет — все равно

какого», — сразу все понимают. На ящике, однако, наклеена бумажка, на которой: «На восстановление православия на Чукотке». «Однако, — говорю жене, — уже совсем явная липа — собирать по Ярославской железной дороге на православие в Чукотке». Она улыбается: «Все же северная дорога». Сидевший рядом со мной мужик в белой рубашке, с очень короткой стрижкой, лицом не загорелым, а обветренным, вдруг сказал: «Конечно, врет. Я сам с Чукотки. В Анадыре огромный православный храм. А жителей всего восемь тысяч. Вполне хватает. А! — голосом, как рукой, махнул, — таких много. Я как-то в Сергиевом Посаде у матушки Ирины ночевал. А к ней пришел такой же сборщик. От задней стенки бумажку отклеил, деньги высыпал, водки купил и напился». «А вы на Чукотке живете?» «Ну да, в 70 километрах от острова Врангеля. Анадырь для нас как Москва, там летом иногда даже тепло бывает. При советской власти города строили, бассейны, спортзалы. А теперь выселяют, насильственно выселяют. Скажем, электричество всю зиму не дают, с буржуйками выше плюс пять не поднимешь, и темно еще. Был до Абрамовича губернатор, так он план имел продать часть Чукотки Аляске. Уже не знал, что еще и украсть. А этот, хоть и еврей, и с «земли обетованной», получше, все же подкормил нас. Многие могли уже с голоду умереть, два с половиной года зарплаты не получали. Этот расплатился. Тоже Сибнефть у него. Конечно, он получше Черномырдина. Но все равно несправедливо. Я так считаю, что доходы с земных богатств нужно поровну между всеми русскими любой национальности поделить. Потому что мы все здесь русские. На западе вон хозяин получает в четыре раза больше, чем инженер, а у нас в миллион раз. Вот и не идут нам впрок наши богатства. А жулики, которые под христиан подделываются, расплодился сильно. Впрочем, — он махнул рукой, — может и всегда были. Бесов все же много у нас».

Почему так сильна нечисть? Но, может, человек просто неудачный проект Бога?

10. Приснится же такое!

Этот был сон. Не более, чем сон. Конечно же, сон. ...Я иду с приятелем, провожая зачем-то его на вокзал, и никак не пойму: то ли очень поздно мы вышли, то ли чересчур рано — до утренней звезды, слишком темно. Только какие-то красные сполохи в небе. Внизу же, между домами, сплошная темнота. Но мы почему-то идем очень уверенно, хотя ничего не видим: ни вокруг себя, ни под ногами. Возможно, у нас опытный вожатый. Хотя и незримый. Неясно только, как он нас ведет, раз мы его не видим.

Российская традиция с неведомым до поры до времени вожатым, выводящим из бурана (или из темноты), казалось, оправдывала себя. Но ведущего нас мы совсем не видели, совсем.

Вот мы уже и в вагоне. Я сразу об этом догадался. Только странно — не входя, очутиться внутри. Правда, и стены вагона изнутри какие-то непривычные, из досок что ли необструганных?.. Не то чтобы меня это удивило очень, но я особинку эту заметил. Показываю приятелю (которого зачем-то пошел провожать на вокзал: никогда этого раньше не делал — вот ведь что, да и приятеля не упомяну, что за человек, откуда его знаю — вижу только, что высокий и горбится, сутулится поэтому, а как на доски ему показал, то выяснил еще, что бас у него окающий). Показываю, значит, я ему на доски, а он так говорит удивленно: «А ты что, иного чего ожидал?» Окает. А я вообще ничего не ожидал, и думаю, как бы мне сойти с этого поезда и вообще подальше отсюда оказаться.

И вдруг чувствую — а поезд-то уже идет. А куда — я даже и не знаю. И вожатый куда-то сгинул, и приятеля даже не помню, как зовут. И домашних не предупредил, и на работе завтра хватятся, а главное — билета нет, если контроль пойдет. А сойти купить — так уж и не сойдешь.

«Слушай, а какая ближайшая станция?» — приятеля спрашиваю. И тут вижу, что вагон не то что не купейный, а даже не плацкартный, без перегородок и без сидений, общий пол и общий воз-

дух, в четырех углах коптилки горят тусклым красным огоньком, и на полу прямо темные группки людей сидят и, судя по жестам, в карты режутся.

И приятель мой что-то присмирел. «Не знаю, — говорит, — какая ближайшая. Надо у проводницы спросить». Помолчал и снова окает: «Эк оно, как с тобой они нехорошо поступили, безо всякого предупреждения поезд отправили». И, правда, чего уж тут хорошего!..

Идем к проводнице в купе (уверены почему-то, что у нее купе наверх есть), а она к нам из тамбура навстречу. Из тамбура грохот, лязг доносится, да мочой и псиной пахнет. А она нами возмущается, в меня пальцем тычет: «Почему в вагоне посторонний?» Я смотрю, она у себя на боку рукой шарит — а сбоку у нее, на черной форменке, на ремне, кобура висит. «Ничего себе, — думаю, — история. Нормально, однако, влип. Похоже, что ВОХРа. А чего охраняют, непонятно. Зэка везут, что ли? Но приятель-то мой тут при чем?»

Однако, не рассусоливая, всю историю мою жалобно ей так выкладываем и разясняем. Приятель окает, а я на обаяние работаю. Улыбается она, уже не сердится: «Только вот что, ребятки, я вам скажу — поезд до конечного пункта без остановок пойдет. А идти ему туда два месяца». Повернулась и исчезла, будто нарочно приходила, чтобы сообщить страшное.

В вагон возвращаемся. «Слушай, а куда ты, вообще говоря, едешь?» — приятеля спрашиваю. Призадумался он что-то, голову опустил (я всё вижу, к темноте привык, да и коптилки в четырех углах коптят, тоже какой-никакой, а свет), мотает головой. «На Колыму, — говорит, — еду».

«Зэка?!» — аж не словами, а дыханием только, еле слышно чтоб было, его спрашиваю. И холодок, холодок по спине.

«Что ты! — обижается он. — Как можно? Ни в коем случае! Просто так получилось». А что получилось и как получилось, объяснить не желает. Но мне всячески сочувствует, в щелку меж досок со мной смотрит. И любопытным рассказывает, что вот, дескать, как человек влип, вот, мол, как оно у нас бывает.

Тут замечаем мы, что у станций и на поворотах поезд наш как будто помедленнее спешит. И, наверно, недалеко еще от Москвы отъехали. Конечно, можно было бы вообразить, что путешествие это символическое, благо все шло один к одному, по анекдоту прямо (жизнь при советской власти — все равно что поезд без остановок, везет, не давая оглядеться, что по сторонам, что позади оставили). Можно было бы, конечно, повторять, символикой заняться, расшифровывать намеки и полунамеки ситуации, но меня это не устраивало — я по натуре реалист. А тут еще был я в джинсах, в кедах, в ковбойке — и чувствовал себя очень спортивно. Тем более

что и вправду, хоть я интеллигент потомственный, а значок ГТО имею, да и вообще вполне крепкий мужичок.

«Ты, знаешь ли, по делу едешь... — говорю приятелю. — А я-то тут при чем? Я тебя вообще провожать не собирался. Как-то так само получилось (а о том, что я его не узнаю — молчу: как будто все так и должно быть). — Никто ж мне не поверит, — объясняю доходчиво, — что два месяца в поезде провел: ни на работе, ни тем более жена. А тут еще к тому и от Москвы недалеко отъехали: глядишь, завтра и до дому доберусь. Короче, доску надо выламывать, — говорю, — как в кино это делается и в романах, а как ход замедлится — я и выскочу. А?»

«Что ж, — отвечает, окая, приятель, — твое право. Ты тут действительно ни к селу ни к городу. Давай помогу тебе». И любопытствующим поясняет: так-то мол и так-то. Те стоят, самокрутки из газетной бумаги садят и одобряют. Дым вонючий столбом стоит — не продохнуть, а из щели свежим воздухом тянет. Пальцы мы в щель протиснули, пытаемся доску оторвать — не поддается. Тут вдруг из дальнего угла, из темноты прямо (коптелка в том углу минуту назад запыхтела, дым густой пустила и погасла — темно там стало), — так вот, из темноты-то две фигуры возникают, с карабинами на ремнях через плечо, подходят поближе и улыбаются мне так дружески и ожидающе. Но дружелюбие это мне чего-то не по сердцу, не хочу я с ними дружить, боюсь я их, не друзья они мне вовсе. А приятель им улыбается, помощи просит, «пособите», говорит, словно не понимает, что они затем здесь и поставлены, чтобы за порядком следить. А доску выламывать — какой уж тут порядок! Но один из них ствол стальной карабина вдруг в щель просовывает, приналег и отлетела доска: как раз мне протиснуться. А он мне так пальцем погрозил и говорит: «Не надо бояться человека с ружьем». И картавит при этом. Ничего я ему не ответил — поезд ход замедлил, станция впереди.

Лезу я в щель, приятель (так его имени-отчества и не помню) меня подпихивает, выпрыгиваю, наконец. Скорее даже, вываливаюсь. Ничего, не расшибся, на какую-то крышу покатуя попал. Только озираться мне некогда — слышу (да и всем телом ощущаю), как — тра-та-та — из пулеметов по мне палят, да и — пах-пах — из карабинов тоже: с этого моего поезда, не иначе. Пригнулся, голову в плечи вжал и бегу, бегу изо всех сил. Подо мной двух- и трехэтажные дома. С крыши на крышу перепрыгиваю. А пули по кровле ударяют и мне под ноги отскакивают. Бегу и одного лишь в толк взять не могу: неужто у поезда насыпь выше второго-третьего этажа проложена? Исхитрился, примерился и соскочил наземь. Всё. Кончилась пальба. А я живой.

Соскочил я и очутился в поле. Станционные дома и крыши (думаю, что станционные были — откуда бы еще им рядом с железной дорогой взяться) пропали. Только за горизонтом где-то невидимый поезд погромыхивает. Утро уже, жаркое, небо чистое-чистое. Иду я по дороге меж полей не то ржи, не то пшеницы. А кругом, куда глаз ни положишь, поля, поля, поля. И ни души кругом, лишь птички какие-то поют. Сроду я сельским жителем не был. И хотя Достоевского изучаю (проблему «почвенничества», в частности), с «почвой» мне сталкиваться до той поры не приходилось. Мигом я растерялся. «Вот влип, — думаю. — И где станция, может, кто и знает, а я так нет. Куда идти-то, в какую сторону? Хоть кого бы найти, чтобы на правильный путь вывел...» Но что делать — иду пока себе сам. Иду, а на душе беспокойно. Вдруг те, что в поезд меня засадили, уже в бегах меня объявили и ищут.

Васильки по обочине и меж колосьев синеют. Колосья я срываю, обдираю колючую ость и зерна «молочно-восковой спелости» жую. И непонятно мне, что дальше-то делать. Хоть бы дойти куда, откуда можно домой и на работу позвонить. Авось, что прояснится тогда.

Вдруг впереди дороги пересекаются и расходятся, «богатырское распустье», думаю, а тут мне наперекрест, справа налево компания мужиков с вилами и косами валит. «На работу идут?» Наддаю ходу и догоняю их. «Мужики!» — кричу. Только голос у меня какой-то противный, с французским прононсом, а на голове — с удивлением замечаю в карманное зеркальце, откуда-то взявшееся в руке — белая панاما с широкими полями, на носу пенсне, вместо джинсов шорты надеты, на ногах носочки, сандалии, а в руках сачок для бабочек. Ничего себе видик! Даже стыдно как-то перед мужиками и отчасти жутковато, *чужой* потому что я по одежде.

Но и секунды не прошло, а я как-то среди мужиков очутился, в самой что ни на есть середине, иду и чувствую себя идиотом, совершенно незащитным идиотом. И удивляет меня немного, что никаких тебе тракторов, а также других примет «сельскохозяйственной механизации». Косы да вилы, как при царе Горохе.

«Мужики, — говорю наугад (а голосок у меня какой-то заискивающий). — Далеко ли до станции... э... Барыбино?» «Эвона! — удивляется один, — так она в другой стороне лежит, мил человек. А сам-то как сюда попал? — спрашивает. — Ребята джоже интересуются, кто ты такой есть». Молчу. Что сказать? Как объяснить? Не про побег же рассказывать. «Народу, — наставляет меня снова все тот же мужичок, — завсегда отвечать обязан. Не серди, барин, народ, ответь ему. Может, тебя в участок представить надоть...»

Ничего не понимаю. «Барин», «участок» — слова как-то без шутики, всерьез произносятся. Куда это я попал? А лица у мужиков

11. Построждественский сон

настороженные, недоверчивые, напряженные и даже, кажется мне, угрожающие. Угрюмые лица. Улыбаюсь мужику «приятельски». А сам из толпы, молча, не отвечая, выбираюсь потихонечку. До слуха уже голоса самых молчаливых и самых робких долетают: «Надоть бы личность ихнюю вызнать. Становому их представить али приставу». Тут только догадываюсь: «Эге! Да я, кажется, ненароком лет эдак на сто в прошлое угодил. К кому бы за помощью обратиться? Пускай мне только *эти* дорогу правильную в город покажут».

«Мужики! — кричу, — давай сюда станового. Объясните, к приставу как пройти!» «Ча-аво?!» — голоса раздаются. «Да небось, ребята, он ему сродственник какой. Баре, оне завсегда договорятся, а нам, мужичкам, одне слезы». И мне говорят: «Ты, мил человек, не волнуйся. Мы и сами порешим, что с тобой делать». «То есть как? — возмущаюсь. Я же ничего вам не сделал. Я же свободный человек!» «Ча-аво?! Сва-бод-ный!.. Да ето скубент, ребята. Из тех, что народ волнуют. Нигилист, прости Господи! Сука! Да мы жа и без пристава усе решить можем. Дави его, ребята!»

Тут я побежал, благо что из толпы уже выбрался. Не побежал, помчался, полетел. Бегу, а за мной толпа с криками, с воплями. У-у-у!!! У-у-у!!! Сердце сейчас остановится — понимаю, что не уйти, догонит толпа с вилами, с косами, замучает, на куски изрубит. Солнце палит, жарко, пыль в воздухе стоит. Да и раскаленный воздух-то — дышать невозможно. «Вот тебе и мужик Марей, — на бегу последние мысли мелькают (понимаю, что последние). — Вот тебе и вожатый-проводчатый! Вот тебе и народ-богоносец! Бежать надо, бежать, а то догонят!» И бегу. Но куда? Нет уже сил. Ноги слабеют. Сачок я давно уронил. Оглядываюсь — толпа уже близко. У-у-у! У-у-у!!! У-у-у!!! Сейчас настигнут.

И, разумеется, как назло, прямо передо мною вырастают (я, правда, на горизонте давно видел что-то темное) копны сена. Полукругом широким стоят, не обежать, и высокие — жуть! Нет другого выхода, вверх лезу. Ноги, руки от усталости скользят, в сене путаются. А мужики уже внизу, тяжело и жарко дышат. Я прямо на сене перед ними раскорякою, такая мишень для вил удобная. И точно. Сзади добегающие еще издали кричат: «Вилами его коли! Ви-илами!» И вот уже мой мужик Марей рукой взмахивает, а в ней трезубые вилы зажаты. Потеряв всякое достоинство и стыда уже больше за трусость не чувствуя, кричу в ужасе: «А-а-а!!!»

Просыпаюсь от сердечного приступа. В висках стучит, сердце колотится. Хорошо, что проснулся, а то так бы и закололи.

Стою на трамвайной остановке. В Москве. Конец девяностых. Что за улица, что за район — не помню. Не понимаю и то, как сюда попал. Сзади большой серый дом. Окна квартир темные, только лестничные пролеты освещены. Жду трамвай № 27. А его все нет. Вдруг подходит неожиданный № 13. А на трамвайной вывеске такого не значится.

— Куда идет? — спрашиваю.

— А куда надо? — выглядывает блондинистая вагоновожатая.

— На Бориса Галушкина.

— Доедем. Только не по прямой. Маршрут немного другой. Вначале как бы по кругу поедем, потом повернем, куда тебе надо.

Я сажусь. Действительно, метров двадцать едем по прямой, потом рельсовая развилка, сворачиваем направо. Рельсы кажутся старыми, будто в самом начале трамвайного движения положены, дореволюционные какие-то. Сажу напряженно. В окно вижу совсем незнакомые улицы, вроде даже и не московские. Какая-то заводская окраина промышленного городка. Такие окраины видел пару раз в командировках. Бетонные заборы с проломами, куски колючей проволоки валяются. Едем этим жутковатым проулком. И кажется мне, что это хорошо, что без остановок. Уж больно темные фигуры мелькают вдоль трамвайных путей. Проехав переулок, выныриваем на более или менее широкую дорогу, но тоже лишь отдаленно знакомую. Все же широкая. Ну, думаю, здесь-то на первой остановке сойду. Пешком доберусь, спрошу прохожих и доберусь. Что-то непонятно мне, куда это трамвай едет. На мой-то взгляд, надо бы к моей улице прямо двигаться, а рельсы куда-то налево ведут.

Трамвай встал. Двери как-то неуверенно приоткрылись и тут же стали закрываться, но я уже выскочил. Блондинка мне что-то вслед закричала, но я не услышал. Иду к той улице, что из окна трамвая показалась знакомой. Выхожу на нее. Нет. Не та. Не знаю, что за улица. Не знаю, где я. И понимаю, что район не мой. Но когда-то я

там бывал. Кажется, Коптево. Тоже рабочий район. Опять заборы, за ними трубы фабрик, придорожные пивнушки, где гомон и шум. Но лучше мимо них. Серые лица прохожих, даже не лица, а какие-то мятые физиономии, словно страшилки монстров из американских ужастиков. Куда идти, не понимаю. Никак не соображу, как мне из Коптева до Галушкина добраться. А спросить прохожих не решаюсь.

И опять какие-то развилки дорог.

Вдруг рядом со мной оказываются два человека с интеллигентными, но очень нехорошими лицами. Один блондин в синеватом костюме с синим галстуком. Другой носатый брюнет разбойного вида в белом плаще. Один идет справа от меня, другой слева. Как будто мы вместе и должны идти.

— Чего, друг, блуждаем? — говорит блондин.

— Мы тебя выведем, — вторит носатый брюнет.

Дальше идем молча. Один справа, другой слева. Будто я арестован и меня ведут куда-то. Иду и думаю: «Почему 27 трамвая не дождался, а сел на 13?» Понять не могу.

27. 02. 2012

Журнал «Вопросы философии»

12. Иван Фролов, или Человек-эпоха

(Выступление на круглом столе в журнале «Вопросы философии»)

Всякий человек живет в своем времени, обживает его, пристраивается к нему, сопротивляется ему, если хватает сил. Но есть люди, с которыми эпоха — рифмуется, без которых не понять ее глубинный смысл, ее пафос, направленность ее движения. К сожалению, но, как ни странно (хотя к этой странности мы привыкли), только смерть бросает яркий и окончательный свет на жизнь человеческую. Человек умер, и сразу по-другому он видится. И естественно, когда умирает большой человек, то начинаешь думать волей-неволей не только о том, что он значил в твоей жизни, но что вообще он значил в истории. Академик И.Т. Фролов как раз именно тот человек, который безусловно станет вскоре предметом исторического изучения. Это не о каждом можно сказать. Мне кажется, что Иван Тимофеевич — человек, через судьбу которого можно понять эпоху, ту большую эпоху, большую по времени, я уж не говорю — по значительности, которую мы прожили, и попытаться как-то ее определить. Сегодня наша задача (помимо сердечного соболезнования) оставить как можно больше штрихов к его жизни — для будущего историка.

Поразительно, у сколь многих людей жизнь их оказалась связанной с жизнью Фролова. Это не случайно. Мне очень многое объяснила фраза, сказанная им на его собственном семидесятилетии в Институте человека: я первый раз услышал от него так прямо выраженное кредо (хотя, казалось, общался с ним четверть века — по работе, разумеется, — и думал, что понимаю его). Фролов сказал: «Хочешь быть свободным, иди во власть — таково было мое кредо». Я был поражен афористичностью и емкостью фразы, за которой виделась продуманная собственная судьба, план и цель жизни. Ведь если определять всю постхрущёвскую эпоху как эпоху правозащитников и диссидентов, то позицию Ивана Тимофеевича Фролова можно определить как весьма своеобразную форму противостояния

дикости и варварству власти, и в этом смысле как некий тип поведения, который вел к перестройке и попытке основанной на разуме демократизации страны. Я попытаюсь обосновать свой тезис.

Начну с того факта, что, став главным редактором, он сменил редколлегию, собрав самых сильных тогда философов — от Ойзермана до Лекторского, Мамардашвили, Митрохина и Зиновьева. Иван Тимофеевич был тот человек, который защищал право на неортодоксальную мысль (причем умело и удачно), для этого он выбрал свою форму защиты, а именно такую, без которой вообще было бы невозможно развитие общества (не забудем, что страх перед плебейским бунтом был тогда в крови у каждого российского интеллигента, поэтому искали пути движения без бунта). Это был способ защиты и отстаивания своей позиции, предложенный еще Христом и работавший во все темные заидеологизированные века, спасая философов и вообще свободную мысль. На вопрос, надо ли платить подать кесарю, Богочеловек попросил показать динарий и, указав на изображенный на монете лик кесаря, «сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лк 20, 25).

По этой формуле себя вел и Фролов. Причем отстаивал он не только свою свободу, но свободу и возможность сравнительно независимого положения многих людей, а главное — дела. Поэтому столько разных людей оказались в орбите его жизни. И здесь все-таки без личного эпизода не обойтись. Я очень долго после аспирантуры ходил без работы — поскольку и *Кантор*, и *беспартийный*. О возможности работы в «Вопросах философии» мне сказал М.К. Мамардашвили, но добавил, что решает не он, а Фролов. Надо добавить, что сложность моего трудоустройства была в том, что секретарь МК по идеологии В.Н. Ягодкин дал разносную критику статьям моего отца (К.М. Кантора), опубликованным в «ВФ». Более того, Ягодкин грозился вообще журнал закрыть за эти статьи (еще попал под эту высокопартийную критику Борис Юдин). Так что, прежде чем меня приглашать для беседы, Фролов должен был принять вполне мужское и мужественное решение наплевать на критику вышестоящих инстанций, сделать вид, что и вправду у нас сын за отца не отвечает, а на самом деле ему было приятно взять на работу сына опального. Надо сказать, к этому времени уже стал работать в журнале Б.Г. Юдин. Когда я пришел в «ВФ» (это был январь 1974 г.), Иван Тимофеевич после очень короткой беседы предложил мне какую-то статью отредактировать, на какую-то дать отзыв, и еще я должен был показать свои публикации. Я все сделал — отредактировал, отрецензировал, принес свою статью о Каткове из «Вопросов литературы», сам не очень-то желая идти работать в журнал, хотелось вольной писательской жизни. Но де-

ваться некуда, семью кормить надо — и я прихожу к Фролову, а он говорит: «Все хорошо, все в порядке. Работать можете. Один важный вопрос. Вы член партии?». Я не был членом партии. Я говорю: «Н-нет». «Что же делать?» — сказал он. Я задумался — что же делать, но все-таки стало вдруг как-то обидно, вроде хотел, вроде не хотел, но это были мои колебания. А тут — некая бессмыслица, злая объективность. И тут меня осенило: «Но я член ВЛКСМ». «Слава Богу», — сказал Фролов, и меня зачислили (с 4 февраля того же года). А через два месяца я благополучно вышел из рядов ВЛКСМ по возрасту и никуда больше не вступал. Я хочу сказать, что в «Вопросах философии» — и это поразительный факт — почти половина сотрудников была беспартийной.

Л.И. Греков. Да нет. Гораздо меньше.

В.К. Кантор. Давайте посчитаем.

Л.И. Греков. Я следил за этим.

Реплика из зала. Теперь хоть знаем, кто в редакции этим занимался. Но плохо следили. Вот сидящие здесь Борис Григорьевич Юдин и Владимир Карлович Кантор не были членами партии, между прочим. Борис вступил потом. А еще Кормер не был. Анатолий Яковлевич Шаров, руководитель отдела критики, тоже не был.

Л.И. Греков. Четыре.

В.К. Кантор. Извините, беспартийным был еще старейший наш сотрудник — Армен Арзаканян. А пять человек из двенадцати научных консультантов — это совсем немало по тем временам.

Л.И. Греков. Но они работали в журнале в разное время.

В.К. Кантор. Да нет, одновременно. И это заслуга Фролова. Было пять беспартийных редакторов, которые вели весьма ответственные разделы журнала — историю зарубежной философии, философию науки, эстетику и этику, современную западную мысль, критику и библиографию. Когда кому-нибудь я говорил, что я сотрудник «Вопросов философии», мне говорили: «Ну вам, как члену партии, я могу нечто рассказать». Я делал постное лицо и слушал. Порой много интересного слышал. Этому спокойному восприятию того, что глубоко не приемлешь, меня, скажем, тоже опять-таки Фролов научил. Раз ты считаешь, что я член партии — считай. Идея была простая. Кесарю то, что кесарю принадлежит, но дальше будем делать то, что мы хотим. А хотели мы делать простые вещи, но принципиально важные. По возможности показать нашим читателям на разных примерах, что человеческая и философская мысль не умерла, не застыла в советских формах, что на Западе мысль развивается, а не остановилась на марксизме. Фролов вводил в научный и общественный оборот темы, о которых до него казалось невозможным говорить в советской философии открыто. Вот мы сделали ритуаль-

ный жест, опубликовали важного начальника, а потом, пожалуйста, глобальные проблемы, проблемы общечеловеческие, а не чисто партийные или классовые. Или вдруг круглый стол «Наука и искусство», который мне предложено было вести сразу, как только я попал в журнал (1974). Какое отношение это имело к партийности искусства, народности искусства, критике западного вырождающегося искусства, которые тогда считались важнейшими для советской эстетики темами? Но журнал вольничал, поднимал не те проблемы, которые *разрешено было* поднимать.

Мои знакомые из литературной среды восхищались независимостью Ивана Тимофеевича, говоря, что только Твардовский и Фролов осмеливаются иметь свою позицию. Некогда ученые-естественники шарахались от философов, видя в философах прежде всего партийных догматиков, мешающих движению живой мысли. Именно Иван Тимофеевич Фролов сумел привлечь на сторону пробуждавшейся философской мысли крупнейших ученых нашей страны. В журнале стали печататься и Капица, и Гинзбург, и Астауров, и Волькенштейн и др. Пришли в журнал и писатели — В. Тендряков, В. Розов, Л. Зорин и др. На мой взгляд, Фролов был из плеяды тех русских людей, которые по-настоящему, сознательно, пытались строить русскую культуру, с ненавистью к халтуре, уважением к профессионализму и с очень широким европейским кругозором. Причем этот европейский кругозор имел для них всегда приоритетное значение. Выросший в советской среде, но воспитанный на европейской науке и отечественной классике Фролов относился к тому типу людей, которых обычно именуют *русскими европейцами*.

Причем Иван Тимофеевич оставался верен себе, перестав быть главным редактором, своим творчеством иницируя новую проблематику в журнале, а через журнал делая эти темы легальными в широком научном обороте. Как пример могу напомнить одну из его статей, напечатанных еще до перестройки — «О жизни, смерти и бессмертии» («ВФ», 1983. № 1, 2), опубликованную при Семёнове. Прохождение этой статьи я хорошо помню, ибо был ее редактором. Надо сказать, В.С. Семёнов очень не хотел печатать эту статью, всячески препятствовал ее публикации, но отказать Ивану Тимофеевичу он все же не мог. Фролов говорил на редколлегии: «Оттого, что *кто-то* болен и готов умереть, мы что, не должны теперь печатать тексты». Это проглотили, а спустя зное количество времени после выхода в свет статьи — две или три недели — *этот человек* («товарищ Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев» — так, *полностью*, тогда писали в газетах и произносили

с телеэкрана) действительно умер. Дальше получился совершенно гениальный сюрреалистический анекдот (как тому и положено — выросший из реальности быта), о котором я рассказывал не раз друзьям — классическая кухонная история за рюмкой. Семенов вызывает меня к себе и говорит: «Вы слышали? Скончался Генеральный секретарь. Это вы с Фроловым виноваты». Это было и смешно, и жутковато, такое анекдотически-мистическое мышление партийного человека.

Реплика из зала. Серьезно сказал?

В.К. Кантор. Абсолютно всерьез. Это была уже настоящая мистика партийного мышления, когда причину события искали не в реальности, а в том, что кто-то смел как-то не так (т.е. самостоятельно) подумать. Партийная психология была абсолютной силой, ломавшей и данного конкретного человека и любого, этому человеку встретившегося на пути. Вот Фролов был этой силе неподвластен, был сильнее этой безличной силы.

Когда Вадим Рабинович рассуждал — высокопоэтически, конечно, и очень умно — на похоронах Ивана Тимофеевича в Институте человека о том, откуда взялось такое название института, мне показалось, что нечто важное он все же упустил. Я хотел бы добавить одно соображение. Институты человека есть в других европейских странах, но для России появление такого института было равно переосмыслению всей прежней системы ценностей. Вдруг не ВПШ, не международные отношения, не рабочее движение, а некая в глазах тогдашних партocrats абстракция — Институт человека. Что это за проблема человека такая? Откуда? Гораздо важнее для них были другие темы, связанные с политической и иной корыстью. Но почему проблема человека возникает? Это не просто человеческое в человеке. Вспомните эпоху, из которой Фролов вырос — эпоху полной бесчеловечности. И сама идея человека, каждого, не только героя, признанного страной, — каждого простого человека, который-то и есть ценность, была поворотом в общественном сознании. Вот, собственно, в чем была его борьба с вьевшимися в душу установками сталинского режима.

Иван Фролов — это резкая антитеза предшествующему режиму — не меньшая, чем Солженицын и Зиновьев. Кстати, именно он, работая у Демичева, сумел поддержать Солженицына. Да, говорили, что он отдаст кесарю кесарево. Да, он и вправду ходил в ЦК. Но это было место поселения советских кесарей, которые ожидали услышать определенные ритуальные слова, после чего отпускали на свободную работу, на оброк. Наверно, были у Фролова завистники... Как же, связи, академик, член Политбюро, главный редактор всех важнейших изданий! Впрочем, на то и существует сильный

человек, чтоб у его ног копошились всякие «недотыкомки». Но очевидно было, что и поделаться с ним ничего нельзя, ибо, как я уже говорил, он нес в себе свой план жизни. И это чувствовалось и вызывало невольное уважение у самых разных людей.

Отличие Фролова от Солженицына и Зиновьева в том, что он, как это называлось тогда, «соблюдал правила игры», для того чтобы постепенно менять эти правила. И, как он полагал, марксизм опасен не для свободы, а скорее, для партноменклатуры. Не случайно некоторые тексты Маркса оставались не опубликованными и запрещенными к цитированию в СССР. Марксистский пафос свободной личности — то, что привлекало Фролова. Разве плохо было бы утвердить в стране эту идею? Но в конце концов, чего требовали правозащитники? Они требовали соблюдения тех законов, которые имеются, они же не выступали за новые законы. Давайте исполнять те законы, которые есть. Именно это и говорил Фролов. В пределах этой системы четким и твердым исполнением тех норм, которые записаны на бумаге, мы можем многое сделать. И он, действительно, многое сделал. Повторю, это была одна из важнейших форм преодоления тоталитаризма и всех его остатков в ментальности интеллигенции.

О его работах по философии науки надо говорить обстоятельно, но это отдельная тема, и я уверен, что о них не раз еще скажут специалисты. Но вот его тексты по общеполитическим проблемам, хотя бы те уже упоминавшиеся статьи о духовном наполнении человеческого бытия в аспекте переживания жизни и смерти, безусловно сохраняют свою актуальность, глубину и, если так можно сказать, изящество в раскрытии проблемы. Считаю, что тексты Фролова — одни из интереснейших на эту тему, из тех, что у нас были. Да, строго говоря, до него эта тема в советской философии и не поднималась. И так во многом. Тем, как он руководил журналом, тем, что там печатал, просто своей позицией — широкой и раскованной — Иван Тимофеевич Фролов создавал атмосферу творчества и, если угодно, свободы. Практически создавал. Поле свободы и поле защиты этой свободы. А философия только и возможна в пространстве свободы, в рамках свободы.

Все, кто ни приходил к нам в журнал, говорили: «Ребята, да у вас оазис. У вас дышать можно, у вас говорить можно, у вас думать можно». Ибо здесь тоже работал принцип, с которым Фролов подходил к любому делу. Он отбирал в сотрудники тех, что способны были к самостоятельной оценке и работе, которые могли читать тексты незашоренно. Причем не было в нем даже малейшего признака ксенофобии — в редакции работали и тесно общались люди самых разных национальностей. Пусть без степеней, но свободнее,

раскованнее, грамотнее, чем остепененные вузовские профессора, которые забывали, входя в редакцию, о своей важности, ибо здесь вступал в дело реальный критерий ценности текста — его оригинальность, талант, знание и профессионализм автора.

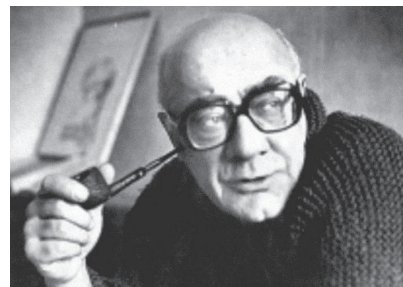
Далеко не про каждого человека скажешь, что он заслуживает искренней благодарности тех людей, с которыми сталкивался и которые, разумеется, способны на это чувство благодарности. Фролов сделал столько добра окружающим его людям, что, несмотря на все трения и возникавшие с некоторыми из них взаимонепонимания, у меня нет ни малейшего сомнения в их очистившемся сейчас от мелких недоумений чувстве благодарности к этому выдающемуся человеку. Заканчивая свое выступление, хочу сказать, что мы еще долго будем вспоминать об этой эпохе длиною в четверть века, особенно если она не дай Бог завершится, мы будем помнить, что мы пережили в нашей истории самую свободную эпоху, которая в России была, а одним из создателей этой эпохи был Иван Тимофеевич Фролов. За это и за многое другое ему спасибо.

13. Что-то вроде инициации

(Столкновение с Л.Ф. Ильичёвым)

Так получилось, что по натуре, по жизни, в советское время я воспитал в себе принципиальное аутсайдерство. Никогда никуда не избирался, не лез даже в школьную власть. Мне хватило того, что после первого класса меня назначили в пионерлагере командиром отряда. А потом и в пионерах, и в комсомоле увивали от всех возможных начальственных постов. Никаких протестных жестов, просто претило. Тут надо добавить биографическую подробность, что моя *бабушка была членом партии с 1903 г.* По тем временам — редкая птица. И, надо сказать, эта биографическая деталь меня часто выручала. Родители тоже были членами партии. В школе мне очень хотелось поверить в идеи, излагаемые от имени партии. Но уж слишком было большое расхождение между словами и тем, что я видел. Кажется, отношение интеллигенции к этому учреждению выражал анекдот начала 70-х: «Кто такие члены КПСС?» Ответ: «Согласные глухие». Шутку повторяли и партийцы. Это уже дул дух времени... Последний год в аспирантуре меня вынудили собрать документы на вступление в партию. Я собрал, но так и не отнес их в партбюро. Последний шаг не мог себя заставить сделать. И в партию не вступил. Но после аспирантуры партийность взяла меня за горло. На работу беспартийный Кантор не мог устроиться. Так пробродил я от одного учреждения до другого несколько месяцев. И вдруг оказался в главном в стране философском издании.

В журнал «Вопросы философии» в 1974 г. попал по протекции Мераба Мамардашвили, лекции которого я ходил слушать, а потом в послелекционных разговорах он узнал, что я без работы. И отправил в журнал, где сам работал заместителем главного редактора. Но решал не он, а главный, Иван Фролов. Опять же необходимо добавить, что и Мамардашвили, и Фролов учились в университете вместе с моим отцом. Прежде чем взять меня на работу, Иван Фролов предложил мне отредактировать одну статью, написать отзыв на другую



Мераб Константинович
Мамардашвили

и показать свои публикации. В журнале «Вопросы литературы» у меня была большая статья о Михаиле Каткове как трагической фигуре русской истории, совсем не ортодоксальная. Но, видимо, это ему и понравилось. Наконец, меня вызвали в журнал, пригласили в кабинет Главного. Фролов сидел за столом, в углу в кресле сидел Мераб.

Фролов сказал: «Отзыв хорошо написали, отредактировали тоже нормально, сами писать умеете. Вы нам подходите. Последний вопрос: вы член партии?» Я посмотрел вопросительно на Мераба, тот сквозь темные очки смотрел на свою трубку, вертел ее в руках, начал набивать табаком. И неожиданно я сообразил: «Но я же член ВЛКСМ». Я уже года три не платил взносов, а тут вспомнил, что там состоят до 28 лет. А мне еще 27, а потом меня оттуда никто не выгонял. Я и сказал про комсомольское членство. «Слава Богу!» — воскликнул главный редактор. И я был принят на работу.

Месяца через два случился первый намек на необходимость инициации. Ведь, если разобраться, что такое инициация? Это, когда ты становишься таким, как все, на равных правах вступаешь в стаю. Фролов вызвал меня в кабинет: «Нам разнарядку спустили, дают одно место для вступления в партию. Я хочу, чтобы ты подал бумаги». Это был караул. Получая уже два месяца зарплату, остаться опять без копейки не хотелось. Но в партию еще больше не хотелось. Попробовал отшутиться: «А в какую партию, Иван Тимофеевич?» Он поднял брови: «То есть?» Продолжая свою полшутку, я пробормотал: «Я бы предпочел кадетскую». Он оторопело посмотрел на меня, потом засмеялся: «Ладно, иди». И больше этих вопросов не было.

Но испытание было еще впереди. Назвать ли его инициацией? Не знаю. Судить читателю.

Был такой в советское время политический деятель Леонид Федорович Ильичёв. Говорят, принимал серьезное участие в разгроме выставки в Манеже в 1963 г., потом запретил фильм «Застава Ильича». Остряки хохмили, что на пути фильма встала «застава Ильичева». Человек был весьма важный. В 1958—1961 гг. заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК партии. В 1961—1965 гг. секретарь ЦК КПСС и председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС.

В конце 1974 г. он был заместителем министра иностранных дел. Тут-то мне и передал Фролов его статью о советской эстетике. Добавлю, что вроде бы в журнал он обратился по праву, почти как в

свою вотчину. Он был доктором философских наук, одно время главным редактором «Правды», с 1960 г. — академиком АН СССР по отделению философии и права, лауреатом Ленинской премии и т.п. Все это я понял много позже. Нет, то, что он академик и замминистра, я знал. Но как-то было на это наплевать. Вообще, как сейчас вспоминаю, мне чины и власть всегда были по фигу. Никогда к ним не стремился, а потому от властных людей особо не зависел. А к моменту получения статьи Ильичёва еще помнил, что несколько месяцев прожил без работы, что это возможно, хотя и трудно.



Леонид Федорович Ильичёв

Названия статьи не помню, а номера журнала за 1974 г. давно мною куда-то очень далеко засунуты. Но была она о советской эстетике, где все специалисты назывались поименно и все были объявлены чуждыми «нашей идеологии»: от Михаила Лифшица, Моисея Кагана и Леонида Столовича до Михаила Овсянникова и Константина Долгова. Проскакивало там и имя Анатолия Егорова, о котором я имел смутное представление. Правда, кто-то сказал мне, что он зять Сулова.

Честно сказать, я был в растерянности. Я понимал, что журнал, очевидно, все равно будет вынужден это напечатать. А стало быть, мне как человеку, считающему себя порядочным, придется подать заявление «по собственному желанию». Мой лучший друг и советчик был в эти годы отец. Я позвонил и рассказал ему ситуацию. На что он сказал: «Уйти ты всегда успеешь, поговори с Фроловым, объясни ему». Я так и сделал, показав самые погромные места в статье. Фролов, надо сказать, посмотрел на меня с любопытством: «И что вы предлагаете», — переходя с начальственным-отеческого «ты» в вежливо-отстраненную тональность. «Что? Не печатать». Он сидел за столом, я стоял рядом, показывая ему скверные места в статье. Он поднял на меня глаза. «Так сразу нельзя никому отказывать. Тем более заместителю министра. Надо попросить его доработать текст. Пожалуйста, напишите академику, где, на ваш взгляд, он не прав и почему вы с ним не согласны. Но подробно!..»



Иван Тимофеевич Фролов

Задача была в том, чтобы не сдаться вепрю, но избежать его кльков и в конечном счете победить, т.е. настоять на своем. Примерно я представлял, каким оружием владеет мой противник. Как потом выяснилось — очень примерно. Но этого знания мне хватило. Более того, мое непонимание субординации оказалось самым сильным оружием.

И я принялся писать: «Уважаемый Леонид Федорович! Я прочитал вашу интересную статью, но при этом имеются вопросы к тексту, которые требуют разъяснения. Также есть целый ряд недоумений и, на мой взгляд, неточностей, требующих исправления. Ваша критика, я бы сказал, критика наотмашь на-

ших ведущих эстетиков, очевидно, не может быть принята журналом. Дело в том, что, ругая советских эстетиков за их непонимание “сущности эстетического” и т.п., Вы по сути дела совпадаете с нашими идеологическим противниками, тоже объявляющими советскую эстетику жалкой и ничтожной. Тем самым льете воду на их мельницу!» Этим ходом я гордился, понимая, что чем грубее и шаблоннее, тем лучше! И так на пяти страницах, с демагогическими фокусами, которые понимал, и, к удивлению своему, сумел использовать.

Но оставалась проблема.... Чья подпись должна стоять в конце письма? Я поставил число, но подпись — на усмотрение Главного. В конце концов, он должен это решить. Первый экземпляр я отнес в кабинет Фролову, второй дал читать ребятам (т.е. коллегам по журналу). Друзья сказали, что, конечно, подписать должен Главный. Все же адресат замминистра, мне такое письмо подписывать не по чину. Наконец, летучка. Фролов вышел из своего кабинета, держа в руке эти пять листочков. Сел за стол, положил их перед собой. Паузу он умел держать не хуже актера. Посмотрел на собравшихся, потом сказал, обращаясь ко мне: «Что ж, я в вас не ошибся. Хорошее письмо написали. Я тут пару фраз в конце добавил, а остальное без изменений». Я взял листочки, в конце текста было дописано две фразы: «Редакция благодарит Вас за сотрудничество с журналом. И готова оказать посильное содействие в доработке

статьи». Я вскинул глаза, а он сказал спокойным голосом: «Будем печатать, разумеется, а вы доработаете. Отдайте Галине Францевне, чтобы перепечатала на хорошей бумаге. И отправляйте автору». Я все же спросил, почти выкрикнул: «А подпись-то чья?» Все замерли. Фролов усмехнулся: «Как чья? Ваша. Вы же редактор».

Редакция дружно, хотя и немного нервно, захихикала. Потом, кажется, Володя Кормер и Борис Юдин, а может, и каждый по очереди пояснили мне, что главный тем самым оставляет себе дорогу к отступлению. Хотя и разделяет мое отношение, раз решил Ильичёву послать такое письмо. Письмо я отдал на перепечатку, его отослали адресату, и, честно говоря, дня через три я про него забыл. Молодость, другие дела. Забыл напрочь. Прошло недели две. Я вел статью другого академика, вроде бы Маркова, не помню. Вдруг в понедельник («день тяжелый») меня позвали к телефону, который находился перед кабинетом главного редактора, в маленькой комнатке секретариата. На редакцию было два телефона — общий в секретариате и отдельный у главного редактора.

Я взял трубку, и, прикрывая ее рукой, спросил: «Кто?» Галина Францевна ответила: «Академик». «Марков?» — спросил я, почти не сомневаясь в ответе. «Нет, кто-то пострашнее», — сказала она глуховато. Тогда я приложил трубку к уху и сказал: «Алло».

Далее прошу читателя понять, как происходил этот разговор, своего рода сюрреалистическая сцена, сюрреализма которой не понимал никто (это мне ясно спустя почти сорок лет). Но ясно, что Ильичёв был в шоке, он не понимал, что происходит. Крыша, наверно, у него не поехала, но задрожала. Я же не то чтобы был очень смелым, но никогда не испытывая чинопочитания, именно поэтому не лез с начальниками в конфликт, полагая это бессмысленным.

«Здравствуйте, Владимир Карлович, — сказал важный голос, — с Вами Леонид Федорович говорит». Абсолютно не соображая, кто бы это мог быть (Ильичёва я называл только Ильичёвым, никогда по имени-отчеству), я ответил нейтральным тоном: «Здравствуйте». А сам лихорадочно пытался сообразить, кто со мной говорит. Заискивания в моем голосе не было, было вопрошание. Собеседник этого не понял и продолжил: «Прочитал я Ваше письмо. Вы слишком оптимистически смотрите на нашу эстетику». Тогда я сообразил, с кем говорю, и начал нести какую-то словесную околесицу, которую никогда бы себе не позволил в нормальной ситуации: «Ну, знаете ли, просто по долгу службы я *держу руку на пульсе нашей эстетики*. Поэтому знаю о ней все до нюансов и не могу с вами согласиться». Конечно, что ни фраза, то шедевр, но закурсивленная особенно. Просто врезалась в память. Ильичёв словно даже поперхнулся, но сказал. «Мне понравились заключительные строчки

Вашего письма, что Вы готовы помочь в доработке статьи (“Прав был Фролов”, — проскочило в голове). Но надо бы встретиться и обсудить». И тут благодаря своему политическому невежеству я нанес удар, сам не сознавая, что бью наотмашь, а может, даже и в запрещенное место: «Ну, что ж, *приезжайте*. С удовольствием побеседую с Вами». Это было абсолютное нарушение субординации. Кажется, он даже хрюкнул от неожиданности. И вдруг принялся оправдываться: «Вы знаете, я ведь очень занят. Может, Вы ко мне приедете, я машину пришлю. Скажем, сегодня». Стоявший рядом Володя Мудрагей (впоследствии заместитель главного редактора нашего журнала) крутил пальцем у лба и делал страшные глаза. Не понимая, что он хочет мне сообщить, я подумал, что до конца рабочего дня, то есть до шести вечера остается всего полчаса и куда-то тащиться мне неохота. Я совершенно не понимал, что советский (да и не только советский) чиновник работает до того времени, как ему прикажет начальник, и ответил: «Нет, сегодня я категорически не могу». Он, видимо, впал в ступор от того, что снова субординация была нарушена. Очевидно, пользуясь словом Вольтера, я был то, что французский классик именовал ПРОСТОДУШНЫЙ. «А завтра?» — спросил он не очень уверенно. *Завтра* был вторник, мне назначила свидание среди дня девушка, которой я тогда домогался. Разумеется, я ответил, что вторник мне тоже не подходит. «А что вы скажете о среде?» — еще настойчивее спрашивал замминистра. Должен пояснить, что среда была так называемым библиотечным днем, когда мы имели право не ходить в редакцию, и каждый использовал его по своему разумению. Ехать в этот день к Ильичёву мне категорически не хотелось. И я опять отказался. На уже неуверенное предложение четверга я ответил согласием, в этот день обычно проходило заседание редколлегии. Оно начиналось в три часа, и идея сорваться с заседания под благовидным предлогом показалась мне разумной.

И я согласился на четверг. «Позвоните мне в десять утра в этот день», — сказал Ильичёв. А Мудрагей сказал: «Только не вздумай явиться к нему в своих болгарских джинсах. Костюм надень, если есть». «Наверно, есть», — неуверенно ответил я. С костюмами у меня всегда были нелады. Но вторую половину дня среды и утро четверга я провел на даче, совершенно забыв о звонке Ильичёву. Домой я вернулся примерно в одиннадцать, к часу надо было быть на работе. И тут (дома!) я вспомнил про костюм, про Ильичёва и про звонок к нему в десять ноль-ноль. Судорожно порывшись в карманах джинсовой куртки, я нашел бумажку с телефоном академика. И, немного нервничая, набрал номер, ожидая какого-нибудь не очень приятного разговора. Телефон соединил меня с кем-то, голос, напоминавший голос домработниц из кинофильмов, спросил меня:

«А кто спрашивает Леонида Федоровича?». Я назвал. «Я у телефона, — ответил тот же голос, но уже тоном замминистра. — Извините, что в десять часов не мог Вам ответить. Мы министра проводжали». Я вежливо ответил, что, мол, ничего страшного, что давайте договариваться о встрече. Он немного неуверенно, похоже уже, что сомневаясь в моей послушности, ответил: «А Вы не могли бы мне позвонить примерно часа в два? Тогда точно и договоримся». «Мог бы», — ответил я. И, надев нелюбимый костюм, поехал в редакцию.

В редакции, как всегда, декорации менялись быстро. В прошлом номере вышла статья человека, которого в шутку звали «человек из Бангкока», он там работал. Так вот этот автор позвонил в редакцию и сказал, что придет к концу редколлегии с целью пропить весь свой гонорар. По тем временам и тем деньгам это получалась неплохая посиделка. Редакция готовилась к этому событию, собираясь, насколько от нее это зависело, как можно скорее завершить редколлегию. Конечно, к Ильичёву ехать мне уже расхотелось. Но помнил, что в два надо позвонить. Положение редактора обязывало, независимо от того, кто был автором. Я и позвонил, но никто не подошел.

Перед началом редколлегии рассказал друзьям, сказав, что больше звонить не буду. На что получил ответ, что время еще есть, что «человек из Бангкока» подойдет лишь к шести вечера, что все же позвонить надо. Началась редколлегия, примерно через полчаса, одурев от сидения, шепнул Фролову, что моего звонка ждет Ильичёв, вышел из комнаты и пошел в секретариат. Снова набрал номер. На этот раз трубку снял секретарь и через минуту (даже меньше) соединил меня с шефом. И состоялся разговор.

Ильичёв: «Опять был неточен. Извините. Но тут такие дела были. Чуть у нас А. (назвал он одну африканскую страну) не оттяпали, пришлось этим заниматься».

Конечно, я знал анекдот, когда на вопрос «С кем граничит Советский Союз?» ответ следовал: «С кем хочет, с тем и граничит». Но у меня хватило ума удержаться от вопроса: «А что, разве А. наша?» Хотя слова уже сыпались с языка, но сказал другое: «Понятно. Ну что же, значит, нашу встречу переносим?».

Ильичёв: «Нет-нет, я вас сегодня жду».

Я: «Я уже было решил, что вы не можете, другую встречу назначил...».

Ильичёв: «Нет-нет, я уже машину за вами послал».

Делать было нечего, я вызвал кого-то из друзей и попросил оставить мне записку, куда они пойдут пропить гонорар «человека из Бангкока». Было уже почти четыре.

Я взял портфель и вернулся в секретариат, куда был вход с улицы. Тогда-то первый раз в жизни я увидел посланца. Еще от порога до-

неслось ласково-льстивое: «Где бы я мог найти Владимира Карловича?» Голос был почти умильный. Я взглянул на вошедшего. Был он не очень низенький, но совсем не казался высоким, вроде не слабый, но и впечатления силы от него не исходило, глаза были скорее бесцветные и ждущие то ли окрика, то ли приказания. И не от кого-нибудь, а от меня. Я назвал. Он подбежал, точнее, словно по паркету протанцевал с мою сторону. «Здравствуйте, Владимир Карлович! Меня за вами Леонид Федорович прислал». Это бесконечное потом на протяжении всего дня умильно-почтительное именование меня по отчеству в сочетании с именем-отчеством начальника как бы подчеркивало весьма уважительное ко мне отношение. Он добавил вдруг: «Машину к крыльцу подогнать не удалось, придется ножками пройтись». Я, начиная вступать в новый мир, ответил: «Что поделаешь! Долго нам ехать?» «Не волнуйтесь, — ответил он, — я вас двориками домчу».

Теперь немного топографии, хотя я в ней и не силен. Институт философии, в котором размещался наш журнал, находился, и пока еще находится (хотя зубы точатся на здание в центре Москвы) по адресу Волхонка, 14. А Министерство иностранных дел на Смоленской. Пешком пройти двориками нормально, иногда в Смоленский гастроном мы ходили. Но на машине? Тем не менее какие-то проулки мы проехали и вдруг оказались во дворе МИДа. «Вы меня проводите?» — спросил я шофера. «Нет, мне туда нельзя. Пройдете мимо часового, он предупрежден, и подниметесь на шестой этаж (точно не помню, запомнилось слово “шестой”). А там уж и Леонид Федорович». Прямо как наставления добру молодцу из русской сказки, как проникнуть в какую-нибудь заколдованную гору, где ждет его не то счастье, не то дракон, не то Кощей. Как было сказано, так и оказалось. Ни о чем не спрашивая, часовой пропустил меня в холл, там сидевшие охранники, тоже не требуя документов, молча показали, где лифт. И я поехал на шестой этаж.

Тут надо представить непредставимое, вообразить невообразимое — степень моего тогдашнего политического и административного невежества. Я абсолютно не представлял, где может находиться кабинет главного, или почти главного начальника. Никому и в голову не могло прийти (ни друзьям, ни начальникам, ни холуям), что я буду идти по коридору и вертеть головой, ища по сторонам кабинет, на двери которого стояло бы имя Ильичёва. Коридор был длинный, но ни на одной двери искомой фамилии не было. Даже мелькнула мысль, что шофер ошибся и направил меня не на тот этаж. Я уже дошел почти до конца, прямо передо мной обозначилась дверь более массивная. Только я подумал, что это и есть нужный мне пункт назначения, как вдруг сбоку от этой массивной двери открылась другая и из не вышел, почти выскочил мужчина

средних лет в хорошем и дорогом костюме, в галстукe, чисто выбритый (тут я понял, насколько в этом коридоре неуместна моя борода) и, протягивая руку мне навстречу, воскликнул: «Здравствуйте, Владимир Карлович!» Я пытался быстро сообразить, не Ильичёв ли это, но человек сказал: «Пойдемте, Леонид Федорович вас ждет». И распахнул передо мной дубовую дверь.

За дверью была приемная с небольшим столом. За столом сидела секретарша, которая привстала мне навстречу. Мужчина махнул ей рукой и открыл дверь к начальнику, далее послышалось абсолютно административно-интимное: «Леонид Федорович, к вам Владимир Карлович!» Это как бы даже уравнивало меня с его начальником. Не редактор, а Владимир Карлович!

Я вошел в кабинет. Стоял стол, за столом полки с книгами, по корешкам видно, что полит- и партиздат, за столом сидел человек, на мой тогдашний взгляд, пожилой, но, видно, что крепкий и цепкий, чем-то напомнил мне барбоса из мультфильма. Первая фраза, которую он произнес, обращаясь ко мне, была несколько неожиданна, но вполне логична для крупного чиновника: «Зачем вам борода, Владимир Карлович?»

Я ответил нелепой фразой: «Знаете, бритые отнимают много времени. А дел у меня немало». Уже потом, вспоминая мое общение с Ильичёвым, я понял, что все мои фразы были нелепы и алогичны. Просто попал я совсем в другую среду, где надо было дышать жабрами, а не легкими.

Но Ильичёву мое косноязычие, видимо, понравилось. «Это хорошо, — сказал он, — когда человек ценит время. Многие этого не понимают. Я, например, так занят, что некогда заняться доработкой статьи». Я оценил предусмотрительность Фролова, но ничего не сказал, ожидая его вопросов. Он сделал жест рукой: «Присаживайтесь к столу, побеседуем». Я сел напротив него, он достал сигарету и закурил. Тут я вспомнил, что забыл сигареты в ящике своего стола на работе. И автоматически сказал, могу ли, мол, попросить у него сигарету. Я, конечно, ожидал какие-нибудь импортные сигареты, все же замминистра иностранных дел, но он протянул нашу маленькую пачку сигарет «Новость», хотя и с фильтром. Я подумал: «Вот жмот». И отказался, сказав, что такие не курю. Уже через несколько дней, когда я рассказал об этом в редакции, друзья меня обсмеяли. Оказалось, что сигареты «Новость» любил курить Леонид Ильич Брежнев, и специально для него выпускалась партия таких сигарет, набитая импортным, очень хорошим табаком. Но оставалось только посожалеть о своем промахе, сделанного не воротись.

«Ну что ж, — начал беседу Ильичёв, — расскажите мне, откуда вы такой оптимист? Что вы кончали?» Я ответил, что МГУ, а по-

том аспирантуру Института истории искусств. «Кто там сейчас директор?» — быстро спросил Ильичёв. «Владимир Семенович Кружков», — спокойно ответил я, понимая, что имя вполне партийное. И угадал. «Да мы с ним вместе Институт красной профессуры в тридцать седьмом закончили. Светлое было время», — скорее всего это была ностальгия по молодости, хотя, может, и не только. Но я, понятное дело, вздрогнул. Для меня этот год имел другую окраску.

Деталей биографии Кружкова я не знал. Знал, что в 1944—1949 гг. он был директором ИМЭЛ (Института Маркса—Энгельса—Ленина), в середине 50-х попал в дело Г. Александрова, так называемого «министра культуры и отдыха». Как шептали свободомыслы в Институте, Кружков был тогда не только членкором АН СССР и замзавотделом ЦК КПСС, но и участником «философского ансамбля ласки и пляски имени Александрова». Рассказывали, что в «Юманите» поместили фото оргии, тогда началось расследование, но Кружков отделался легче прочих, доказав, что девушек он не имел, а только мазал им соски вареньем. Его сослали вначале редактором уральской какой-то газеты, потом он стал профессором Уральского университета. И слышал я от своего директора, будучи аспирантом, всего однажды на каком-то научном совещании в Институте, где наши интеллектуалы попытались поднять проблему отчуждения, мол, что проблема эта существует и при социализме. Неожиданно Кружков поддержал прогрессистов, сказав, что проблема отчуждения при социализме, конечно, существует, но что она решается очень просто, поскольку враждебные и антисоциальные элементы отчуждаются от общества в тюрьмы и концлагеря.

«Да, — продолжил замминистра, — хорошо, что вы мне о нем напомнили. Давно не общались. Вот оно время! А ведь дружили. Одновременно свою карьеру начали. Очень образованный всегда был, член-корреспондент все же, директором не случайно стал. Вы можете передать ему привет?» Я пожал плечами: «Я уже почти год в Институте не был. Много работы». «Ну тогда ладно, — ответил он. — Но вернемся к моей статье. Так что же хорошего видите в работе названных мною ученых?» Я был рад, во-первых, он назвал тех, кого он занес в черный список, учеными, во-вторых, хотел выяснить, что в их работах хорошего. «Как что? — удивился я. — Это же очевидно. Верность коммунистической идеологии и оставление ее идеалов». Он возразил: «Однако вы оптимист». Но я был тверд: «Просто надо знать, кто курирует советскую эстетику». «И кто же?» — спросил он, будто и не подозревал этого. Но я-то и в самом деле был уверен, что он не знает, и с торжеством человека, наводящего порядок в мозгах собеседника сказал: «Как кто? Анатолий Григорьевич Егоров». Ильичёв загасил сигарету и уставился на меня сквозь очки: «И что?» Тогда, будучи политически абсолютным

невеждой и в каком-то смысле идиотом, я очень важно ответил: «Понимаете, нападая на нашу эстетику, получается, что вы нападаете на Анатолия Григорьевича Егорова, а тем самым и на Михаила Андреевича Сулова!» Он сделал вид, что слышит это в первый раз и что это никогда ему в голову не приходило, и воскликнул: «Вот, что значит, что человек на своем месте и думает о том, что мне и в голову не приходило!»

Тут я должен пояснить читателю, каковы были отношения Ильичёва и Егорова (а они были! да еще какие!), чтобы было можно оценить сюрреализм этой сцены. Уже много позже я вычитал, что Егоров долго был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, т.е. заместителем Ильичёва. Когда в 1962 г. Ильичёв был произведен в академики, Егоров как его заместитель стал членом-корреспондентом АН СССР. С 1965 г. Егоров стал главным редактором журнала «Коммунист», с 1974 г. директором Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и полным академиком. Он был бессменный председатель Научного совета по эстетике при Президиуме АН СССР, а потом и президент Российского эстетического общества. Конечно же, Ильичёв все это знал, да еще как. А передо мной валял ваньку.

Что же это было? Не знаю. То ли он хотел притопить Егорова и впрямь подзабыл в азарте, что у того слишком мощное родство, то ли испугался, что *идиот* из «Вопросов философии» может как-то дать знать Сулову о его промахе. Во всяком случае, возражать он не стал, наоборот. Очень даже вежливо попросил заняться редактурой его статьи и поинтересовался, сколько времени может занять эта редакция. А я сидел и злился, что пьянка с человеком из Бангкока уже идет, и идет без меня. И я ответил, глядя на него с иронией ничего не понимавшего юнца: «Не знаю, как пойдет». Тогда он сделал жест, который, по его представлениям, должен был меня осчастливить. «Знаете, — сказал он, — я готовлю из моих статей последних лет книгу. И непременно в конце книги выражу вам благодарность за помощь при подготовке материала к этой книге». Почти не задумавшись, я твердо отказался: «Не надо! Что вы! Это просто моя работа, моя обязанность». Слишком я высокого мнения был о себе и живо вообразил позор на всю жизнь, позор подготовки книги Ильичёва, позор, который потянется за мной навсегда. Думаю, он был поражен, но скорее всего приписал это моей скромности: «Ничего, не боги горшки обжигают. И ваш труд пригодился Ильичёву. Раньше-то вы, небось, Ильичёва только издали на трибунах видели, а теперь вот сидите за одним столом». Надо сказать, что на демонстрации я с детских лет, когда меня брали с собой родители, не ходил, и по телевизору эти действия никогда не смотрел. И искренно и просто душно ответил: «Честно говоря, я вас первый раз вижу». И этим, кажется,

обидел и оскорбил академика. Но он сдержался. «Что ж, всего доброго. Но машину я отпустил». Торопясь уйти, я не очень вежливо ответил: «Ничего, я и на городском транспорте доберусь».

Рассказ мой о визите был живописен, но Фролов поинтересовался, чем закончился разговор. Я ответил, что сошлись на том, что я редактирую текст. «Когда закончите редактуру, позвоните ему. Даже если не успеете закончить, все равно недели через три позвоните, расскажите ему, как идут дела. Так надо». Я кивнул, но, видимо, в душе сидела такая идиосинкрязия к этой истории, что я просто забыл про обещание позвонить. Через месяц Фролов напомнил мне о звонке. Не долго думая, я соврал, что звонил и не смог дозвониться: «Может, в Китай уехал?» — добавил я, прекрасно понимая, что проверить меня невозможно. Но в начале сентября мне позвонил сам Ильичёв и спросил, как его статья. Растерявшись (а я даже не прикасался к ней), я ответил опять какой-то дикой фразой: «*Проходит предварительную обдирку*». Он растерянно ответил: «Хорошо, это хорошо».

Но уже в начале октября меня вызвал к себе в кабинет Фролов и сказал: «Хватит в игрушки играть. В двенадцатом номере статья Ильичёва должна выйти». Если кто редактировал написанный казенными словами и оборотами текст, тот понимает, что править стилистически его невыносимо, можно только вычеркивать. Консистенция подобных сочинений такова, что абзацы и страницы сами сползаются, будто ничего оттуда и не было вынуто.

Статья вышла в двенадцатом номере. На последней летучке перед Новым годом Фролов произносил поздравительную речь, уделив несколько минут и моей истории со статьей Ильичёва: «Особо должен отметить работу нашего молодого сотрудника. Ильичёв передает ему персональную благодарность за тщательную работу над его текстом. А я не могу не поздравить Кантора с тем, что он сумел держать в руках, насколько это было возможно, самого Ильичёва, который, в конце концов, даже не был уверен, что Кантор пропустит его статью, — Фролов рассмеялся. — Он уже у меня спрашивал, каково происхождение Владимира Карловича и тому подобное. Я сказал, что он может не беспокоиться: очень хорошая семья, его *бабушка член партии с 1903 г.* Кажется, Ильичёв не поверил, но замолчал».

Фролов, конечно, понимал, с кем я связался и на кого насканивал, человек он был весьма опытный, прошедший школу партийного аппарата, но, видимо, его забавлял абсолютный мальчишеский задор его сотрудника, не осознающего веса и значимости своего противника. И он поддержал сотрудника, *прикрыл его*. Другого объяснения у меня нет. Уже после того, как Фролова убрали с поста главного редактора, Ильичёв печатался в журнале без проволочек, да мне и не доверяли больше вести его тексты.

14. Почти катастрофа, или «В нашей серенькой эстетике...»

Читая сегодня относительно свободную интернетную печать, со своими тараканами, конечно, а главное, мелкими укусами научных своих соперников, я даже позавидовал тому, как сегодня дело делается — почти как гуманитарная помощь. И совесть почти чиста, поскольку клевета не приводит к гибели политической и юридической соперника, может, и к научной гибели не приведет. Все это происходит в контексте развернувшейся кампании против плагиата. Удивительное дело. Ведь любая идеология не может существовать без повторов, без пересказов, а точнее — без плагиата. Но эта усиленная кампания против плагиата спущена сверху, внутри же дезавуируют за ненаучность. Друг друга не едят, только кусают, поскольку самостоятельность, т.е. по-старому «крамола», не может еще стать моментом обвинения. Но подождем...

Лет сорок назад было сложнее. Били наотмашь. Били так, чтобы противник уже не мог встать. Мне рассказывал один литературовед, руководитель моего диплома П.В. Палиевский, что в сороковые годы был знаменитый доносчик Я. Эльсберг, который так трусил, что понимал — только утопив противника, он может выиграть научный спор. Утопить — т.е. посадить. Палиевский был со мной довольно откровенен, я, похоже, был любимым дипломником. Его фраза, что «Владимир Кантор — надежда русского славянофильства», гуляла тогда по факультету. Самое удивительное, что сказано тогда это было всерьез. Палиевский все же ориентировался на ранних славянофилов и западников, мысли которых во многом пересекались, а уж идейные расхождения не мешали убеждению, что независимость мысли, как писал Хомяков о Чаадаеве, важна более всего в темные времена, напоминая игру «жив курилка». Я вырос в эпоху не очень светлую, но при том в относительно травоядное время, хотя возврат к этой травоядности сегодня почему-то

тревожит, как обратный ход поршня. От поедания травы легко можно перейти к мясоедению.

Впрочем, не хочу тонуть в сегодняшней трясине. Не потому, что боюсь. Тогда не боялся, а теперь и трясина пока мелкая. Но хочется рассказать байку из прошлого на ту же примерно тему. Тема, увы, актуальна и сегодня. Сегодня ищут в диссертациях плагиат. Находят (в основном у чиновников). В советское время искали крамолу, находили, даже когда ее не было, а был хотя бы лишь намек на нее. А крамолой была любая самостоятельность мысли. Непонятно, почему ныне удивляются плагиатам. Плагиат (смысловой) был способ выживания научного работника в те времена. Традиция не умирает, просто видоизменяется.

Мне исполнилось 29 лет. Диссертацию я написал об общественной борьбе в русской эстетике XIX в. — помимо вступительной главы там была глава о Михаиле Каткове как мыслителе, пережившем кризис либерализма, о Достоевском как выразителе религиозной эстетики в России и, наконец, о Чернышевском как радикальном постепеновце. Первая фигура была совсем непроходная по тем временам, но глава о Каткове была опубликована в «Вопросах литературы», получив знак качества. О Достоевском в «Науке и религии», о Чернышевском в ленинградской «Русской литературе». Но дело даже не в этом. Просто в трактовке каждого мыслителя был несоветский поворот мысли.

С научным руководителем мне повезло. Это был Георгий Иванович Куницын, сибиряк с реки Оби, за простоту поднятый наверх. Работавший в ЦК, но вылетевший оттуда за попытку утвердить «чистоту марксизма». Его опустили до уровня завсектором эстетики Института истории искусств. Он был занят отстаиванием марксистско-ленинской партийности как правды жизни, поэтому его абсолютно не интересовала русская эстетика XIX в., и я писал что хотел. Наконец, диссертация была написана, но даже не обсуждена на секторе, поскольку негоже беспартийному Кантору защищать диссертацию по марксистско-ленинской эстетике. И обсуждение было бессмысленно, это все понимали. В партию я так и не вступил, бродил в поисках работы и места, где можно защититься. А тут и мне удача привалила, я был взят на работу по протекции Мераба Мамардашвили в «Вопросы философии». И все предложения ехать защищать диссертацию в провинцию, где она была бы сразу угроблена на корню, отпали. Журнал был не то что креатурой Института философии, но существовал с ним в одной системе — в системе АН СССР. Сотрудник журнала мог претендовать на защиту в Институте философии. Здесь я досдал нужный экзамен по истории философии, здесь прошло обсуждение

текста, были предварительно утверждены оппоненты и назначен день защиты. Все же мир не без добрых людей, знакомый отца сумел уговорить З.В. Смирнову, специалистку по Герцену, доктора философских наук, стать первым оппонентом, вторым оппонентом Куницын уломал статью Юрия Ивановича Суровцева, главного редактора одного литературного журнала, кандидата филологических наук. Человек он был неплохой, даже грамотный, языки знал, использовал их служебно. Написал книгу «В лабиринте ревизионизма. Эрнст Фишер, его идеология и эстетика» (М., 1972) против австрийского левого философа, члена Коммунистической партии Австрии, т.е. еврокоммуниста, т.е. врага советской идеологии, за что и получил Юрий Иванович пост главного редактора. Но ко мне относился неплохо, ему нравилась моя начитанность. Да и широкий был человек, добрый. Именно он привел меня в журнал «Вопросы литературы» — как автора.

Но сразу после предварительного утверждения оппонентов меня позвал к себе второй оппонент и сказал, что он перечитал диссертацию, нашел ее по взглядам совершенно антисоветской и потому хорошо относясь ко мне, не желая навредить моей дальнейшей карьере (то, о чем я вообще никогда не думал), отказывается от оппонирования. Иначе он будет вынужден как честный человек назвать вещи своими именами, т.е. назвать мой текст враждебным нашей идеологии.

Мне ничего не оставалось, как забрать переплетенный том диссертации, поблагодарить и уйти. Том переплетал Лев Турчинский, пропивали этот переплет мы с ним и Володей Кормером, даже пролили стакан водки на диссер. Я испугался, но Кормер успокоил: «На счастье, — ухмыльнулся он своей вольтеровской ухмылкой. — Члены Ученого совета понюхают и все утвердят». Короче, пошел к ним в «стекляшку» за советом. Кормер покачал головой: «Надо к Мерабу идти, дело хреновое», — и тут же вышел из-за стола. И мы отправились к Мамардашвили. Почти никто из редакции не звал его по имени-отчеству — Мераб Константинович. Борис Юдин наклонился к нему, сказав «Володьку топят», и рассказал последние события: «Мераб, надо что-то делать». Тот сразу все понял и принял как задачу — задачу и необходимость преодоления. Покусывая трубку, он сказал: «Нужен персонаж, которого сызнова утвердил бы Ученый совет и который бы не струсил». Тут надо добавить, что в эти дни вышли как раз две статьи третьего секретаря МГК, секретаря по идеологии В.Н. Ягодкина, в которых он на разных основаниях, но критиковал за антипартийность работы моего отца и моего научного руководителя Г.И. Куницына. По всем линиям, казалось, ожидало полное поражение. И вдруг Мераб махнул трубкой: «А что

если Костю Долгова? Бывший моряк, партиец, эстетик, в ЦК работал, ему сам Егоров оппонировал, а теперь он директор издательства “Искусство”! Это то, что нужно!». Для меня Константин Михайлович Долгов был большой начальник, а для Мераба — бывший однокурсник, причем относившийся к Мерабу с пиететом. «А это реально?» — робко спросил я. «Соедини меня с ним», — кивнул Мераб на телефон. «Звони», — подтвердил Кормер. И первая фраза Мераба была безошибочной: «Костя, ведь ты не испугаешься помочь нашему другу?» И Долгов согласился.

Я сказал Мерабу, что готов написать для Долгова «рыбу» — оставалось несколько дней. «И не вздумай, — сказал тот. — Твое дело уломать Ученый совет, хотя он должен улomаться. Так я думаю». Он правильно думал. Совет согласился, «уломался», а Долгов взял текст и сказал, что будет его внимательно читать и напишет отзыв сам. День защиты назначили на четверг, для меня это было важным обстоятельством. Я рассчитывал, что редакция сможет прийти на защиту, поскольку ожидал, что зал, где собралось тогдашнее научное сообщество, да и Ученый совет после статей Ягодкина, после гулявшего по институту слуха, что один оппонент испугался крамольности моего сочинения, короче, все они приложат силы, чтобы диссертацию утопить. Минут за двадцать до защиты я все же подошел к главному редактору нашего журнала Ивану Фролову и спросил, может ли редакция пойти на защиту «поболеть» за меня. Защиту назначили на час. В час была летучка, в три редколлегия. Фролов отвел глаза в сторону и сказал, что защита — это мое частное дело, и он не может срывать из-за нее работу журнала.

Редакция располагалась на первом этаже. Зал заседаний Ученого совета — на пятом. И защита началась, зал гудел недоброжелательством. Были зачитаны мои данные. При словах «беспартийный» кто-то громко хмыкнул, а кто-то другой довольно внятно произнес: «И он еще надеется защитить кандидатскую по философии! Они что там, в “Вопросах”, с ума посходили? Они бы нам сюда еще Бердяева прислали!» Начало погрому было положено. Я минут десять, как и требовалось, рассказывал о содержании диссертации. Потом пошли вопросы к диссертанту. «Разве вы не знаете ленинского определения Каткова как махрового реакционера? Как вы можете ставить рядом фигуру религиозного фанатика Достоевского и революционного демократа Чернышевского, в котором при этом указываете стремление к европеизму, а не к крестьянскому бунту. У кого из советских ученых вы могли такое вычитать?» Все они чувствовали себя наследниками большого Дракона, который, конечно, сдох, но дракончики-то остались. Особенно один был хорош, фразу которого долго повторяли по институту. По про-

фессии этик, он работал в секторе научного коммунизма, доктор философских наук, и со свойственной советским гуманитариям определенностью говорил: «Человека в нашей стране необходимо воспитывать всеми возможными способами и средствами — вплоть до расстрела». Да, конечно, это был настоящий дракончик. В отличие от нынешних, которые как слизни просто не дают дышать, по крайней мере стараются это сделать. Сливают институты, сокращают научных работников за ненужностью, отказываются от Академии наук как независимой от государства структуры... Но это к слову, хотя слово «слизни» по отношению к этим персонажам мне нравится.

Я отвечал, понимая, что любой мой ответ приведет лишь к моей научной катастрофе, не научной, конечно, а академической. Самое обидное, что моя жена, первая моя жена, гитаристка и певунья, а также прекрасный кулинар, когда хотела, уже готовила дома стол к отмечанию удачной защиты. Впрочем, эта мысль как мелькнула, так и исчезла. Я вдруг почувствовал, что мне «шьют дело», что я вырастаю в фигуру матерого идеологического диверсанта. К тому же тут и отца припомнили, которого когда-то пытались обвинить в злостном космополитизме. Куницын, научный руководитель, хотел что-то возразить, но Каткова, конечно, он не читал, да и сам был замаран (зал знал о статье Ягодкина) в идеологической нетвердости.

Я понимал, что через минут двадцать начнется редколлегия, и никто из друзей на защиту не придет. И тут — произошло чудо. Открылась дверь и один за другим вошли одиннадцать научных консультантов журнала «Вопросы философии», я был двенадцатым. Мужики все были здоровые, усмешливые, глаз острый и умный. Мне даже показалось, что публика в зале замерла, как если бы перед купеческим обозом, который считал, что уже проехал опасные места, и купцы даже расслабились, в темном лесу неожиданно из кустов появилась шайка разбойников. Мы, конечно, использовали образ атамана Кудеяра и двенадцати разбойников в своем редакционном фольклоре. Например:

Жило двенадцать разбойников
С ними Фролов-атаман.
Много редакторы пролили
Крови честных христиан.

Сидевшие в зале знали одно: свои статьи они должны были нести этим разбойникам, редакторам самого крупного и едва ли не единственного журнала по философии в СССР. Напав на меня, они как-то расслабились, забыли об этом, а потом, поскольку от

журнала никто не пришел, они решили, что новенького решили выбросить драконьям на съедение. Редакция оглядела зал, пристально всматриваясь в каждого из сидевших, потом заняла два стола перед кафедрой. А Володя Кормер подошел ко мне и шепнул: «Все же Фролов настоящий мужик. Он просто отменил редколлегию». И вернулся к друзьям. Снова открылась дверь, вошел Мераб Мамардашвили, но сел за отдельный стол, как бы отделившись от разбойничьей засады.

Разбойники сгрудили два стола, перешептывались, время от времени поднимая головы и выхватывая отдельные имена из диссертации. Я сравнивал позицию раннего Чернышевского с Платоном, подробно говорил о Каткове, звучало имя научного руководителя диплома — Палиевского. Зинаида Васильевна Смирнова прочитала академический отзыв, похвалила, указала недочеты, но в целом произнесла необходимую фразу, что диссертант заслуживает искомую им ученую степень. При этом она, все понимая (старая школа!), приветливо улыбалась пришедшей ко мне поддержке. Пришедшие одиннадцать, чувствовавшие себя немножко разбойниками, но отчасти и не то мушкетерами, не то гвардейцами кардинала, скорее, все же мушкетерами, с интересом уставились на Долгова. Что скажет он? Мамардашвили он обещал, что поддержит, отзыв писал сам, но что в отзыве? Но Константин Михайлович Долгов не подвел, не зря его звал Мераб! Такого заковыристого панегирика я никогда раньше не слышал о своих работах. Он говорил о лучших традициях русской философии в моей диссертации, которые при этом фундированы настоящей марксистской методологией, да и сама тема, выбранная диссертантом, совпадает с последними постановлениями ЦК КПСС.

Надо сказать, я-то успокоился еще до выступления Долгова. Приход грозной когорты решил все проблемы, остальное было детали. Самое интересное, что нас нельзя было назвать стаей, стайного инстинкта не было. Мне такое понятие и в голову тогда не приходило. Стайность рождалась на моих глазах, но чуть позже, примерно в начале 80-х, причем вроде и в нашем кругу тоже. Когда я видел, как молодые интеллигентные мальчишки, особенно литературоведы, ходили определенными компаниями в сауну — не с тем чтобы погреться, водки попить, девушек потискать — а с тем чтобы завязать контакты, поддержать их и т.п. То есть стая — это вполне прагматическое образование. Волки держатся стаей, чтобы выжить. Дружба поднимается над прагматикой.

Есть замечательная пословица в России: «Не было счастья — несчастье помогло!» Защита начиналась с ощущением грядущего крушения «Титаника», все знали, что он потонет, должен по-

тонуть. Как повторяла в таких случаях мама, прошедшая войну и нахватавшаяся немецких слов: «Zum Grunde gehen». Ожидавшаяся катастрофа, однако, завершилась триумфом. В завершение своей речи, произнеся необходимые замечания, сказав, что диссертация отвечает всем необходимым требованиям, Долгов вдруг, и, кажется, неожиданно для самого себя, воскликнул: «И вообще диссертация заслуживает публикации отдельной книгой. Пусть диссертант поощит издательство, а мы на защите запишем это пожелание в стенограмму». Все замолчали. Такое определение было редкостью, тем более на защите, от которой ожидали краха, провала. Но Мераб понимал необходимость доводить дело до конца, и с места раздался его голос: «Костя, так ты директор издательства “Искусство”, диссертация по эстетике... Так почему бы тебе не заключить с автором договор?» Тут и стало понятно, что слова о книге вырвались у оппонента случайно. Он явно растерялся, ведь совсем неясно, как воспримут книгу, написанную по крамольной диссертации. Как выяснилось уже по выходе книги, понимал он все точно. Известный Михаил Трифонович Иовчук потребовал потом разбирательства книги в Академии общественных наук при ЦК КПСС, где он был хозяином. Он написал и отправил в журнал и другие инстанции двенадцать страниц инвективы, которая, может, и сохранилась в его бумагах, но я запомнил из этого текста только одну фразу: «Кантор замахивается на русскую культуру». Но сейчас речь не об этом. Надо сказать, что Долгов собрался и, как человек мужественный, спокойно ответил: «Пусть приходит завтра ко мне в издательство, составим договор». Так и появилась в результате — через три с небольшим года — моя первая книга: «Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба» (М., 1978).

Дальше была своя история, которая разворачивалась в суете, в звонках жене Миле, что все благополучно, что сейчас ловим машины и едем. Приглашены были все, но члены Ученого совета и оппоненты побоялись: тогда вышел один из очередных полубесмысленных указов, запрещающий банкеты по завершении защиты. Поэтому поехали просто на «дружеский вечер», а присутствие членов Ученого совета придало бы посиделке характер банкета. Хотя поехали не только сотрудники журнала, но немало и тех, что просто пришли, поехал мой научный руководитель Куницын, поехал Мераб. И вот уже когда сидели за столами, выпили по первой рюмке, стало понятно, над чем склонялись во время защиты головы редакционных разбойников и почему раздавались тихие, сразу притушавшиеся взрывы хохота. Поднялся один из старейших (ему было уже за сорок) сотрудников журнала Рейнгольд (Ренька) Са-

дов, вынул из кармана пиджака листок бумажки и, встряхивая редкими волосами, взалхлеб прочитал:

Сага о Канторе На защиту кандидатской диссертации

В нашей серенькой эстетике
Вдруг наметились просветики.

Обнаружил диссертант
О...уительный талант,

Про искусства назначенье
Написал он сочиненье.

Было много ...удаков:
Был Белинский, был Катков,
Чернышевский и Платон,
Палиевский и Гапон.

Радикалы, монархисты,
Нимфоманки, онанисты.

Дули все в одну дуду,
Забывая красоту,
Что искусства назначенье —
Социальное служенье,
Что искусство без приказа,
Социального заказа,
Как шампанское без газа,
Как сортир без унитаза.

Кантор-младший парень хваткий
Рассудил все по порядку,
Показал он без прикрас,
Где сортир, где унитаза.

Всех расставил он по полкам,
Всем сумел намылить холку:
Либералам. Прогрессистам,
Русофилам-мазохистам.

Кантор — подлинный эстет:
Верил в промискуитет,
Верил в русского мужчину,
В водку с пивом и общину.

Требовал убрать цензуру,
Чтоб поднять литературу.
Утверждал — всё ...уета,
Мир спасает красота!
(А идейную борьбу
Вроде он видал в гробу).

Но потом он испугался,
Как бы кто ни прие...ался.
Стал серьезно размышлять
И при этом поддавать...

* * *

...Как-то после доброй пьянки,
Пробудившись спозаранку,
Рассудил он, что спасет
Только классовый подход.

Маркс и Энгельс, Ленин, Сталин —
Всех он куда надо вставил...

Из партийного решенья
Сделал чудное введенье.

Диссертация готова...
Вот зовет Мераб Долгова.

Собрался большой хурал,
Всё приняли «на ура».

И теперь мы на банкете
Пропиваем перлы эти...

Вот и сагочке конец...
Суки! Где же холодец?!!!

*Владимир Кормер, Рейнгольд Садов,
Владимир Мудрагей, Борис Юдин*

17 октября 1974

Очевидно, до застолья он что-то пошептал моей жене. И после последнего восклицания на два конца стола поставили два больших блюда с холодцом. Произносились тосты, как и принято. Повторять их не буду. Объясню одно: я позволил себе цитирование

«Саги» без цензуры, ибо завоевание постсоветского пространства — это внедрение мата в почти официальный и уж во всяком случае в литературный язык. Здесь же все эти слова писались не для эпатажа и пижонства, а просто для разгула и веселья. Пьянка разрасталась, в голове застряли обрывки спора Мамардашвили и Куницына. Георгий Иванович выпил немало, но как здоровый сибиряк оставался в форме, Мераб как всегда почти ничего не пил. «Ну хорошо! — кричал Куницын. — Ленина я тебе отдаю. Но Маркса не отдам! Я за Маркса убить могу!» «Отдашь и Маркса», — спокойно ответил грузин. И, похоже, что победил, потому что через час Георгий Иванович сидел один и угрюмый, подливая себе в стакан и почти не закусывая. На этом ставлю точку.

У португальского драматурга Гильермо Фигейредо была пьеса «Лисы в винограднике», строившаяся на простом противопоставлении. Раб, даже совершивший преступление, не наказывался. Но если преступником сочтут свободного человека, то его по приказу власти бросают в пропасть. И баснописец Эзоп предпочел пропасть рабству.

Повторю только, что власть, желающая строить идеологическую структуру, должна перестать бороться с плагиатом. Плагиат — это дыхание власти. И расширить свою борьбу с инакомыслием до проверки науки на предмет крамолы. Когда это случится, то опыт нашего поколения тоже пригодится. Ситуация сегодня кажется несладкой, противной-то уж точно. Но если считать, что интеллектуалы, несмотря на длящиеся в течение столетий погромы, расстрелы, сжигание книг, аресты, запрещение работать, все же нужны в конечном счете даже самой злобной власти (пушки, ракеты изобретают ученые, искусство и гуманитарная наука тоже необходимы как ширма — мол, мы тоже относимся к цивилизованному человечеству). Нынешнюю глупость власти они тоже переживут. Тяжело, конечно, как говорил герой «Белого солнца пустыни». Зато перед каждым маячит пропасть, куда бросают свободных людей. Хотя, конечно, не всегда. Но любую эпоху переживает все-таки дух именно этих людей. Поэтому главное — видеть исторический контекст. И понимать преимущество разума перед дикостью.

15. Король Хуан Карлос и философ Хосе

(Из истории философского журнала)

Начну с малоизвестных широкой публике строчек:
Дверь открывается. Входит сосед.
Справа Ортега, а слева Гассет.

Они станут понятнее чуть позже. Я еще их повторю.

Разумеется, испанский король Хуан Карлос и не подозревал, какую роль он сыграл в первой публикации великого испанского мыслителя в журнале «Вопросы философии».

С 10 по 16 мая 1984 г. Советский Союз с официальным визитом посетили король Испании Хуан Карлос I и королева София. Об этом написала газета «Правда». А у меня шла, вернее, я хотел, чтобы пошла статья Хосе Ортеги-и-Гассета. Это должна была быть первая его публикация на русском. Дело в том, что замечательный испанист Инна Тертерян (1933—1986) готовила сборник Ортеги, но издательство трусило, и нужен был прецедент публикации Ортеги в солидном, почти партийном журнале. «Вопросы философии» стоял в журнально-литературном сознании как-то сразу после партийных журналов. Помню, когда в 1985 г. мою книгу прозы рубило издательство «Советский писатель» как несоветскую, мой редактор, тихо улыбаясь, иезуитски оправдывалась: «Да этого не может быть, ведь автор работает в “Вопросах философии”». С Тертерян мы обсудили возможный текст и выбрали самый нейтральный. Важен был факт публикации. Была выбрана статья «Эссе на эстетические темы в форме предисловия».

Теперь надо было поставить статью на редколлегию. Таким правом обладал только член редколлегии, каковым я тогда не был. Вообще, но об этом чуть позже, в журнале очевидно сложилось две почти антагонистические группы — редакция contra редколлегия. Как-то еще при либеральном Иване Фролове, желая протащить



Инна Тертерян

один текст, который, конечно, никогда бы не подписал мой заведующий отделом Михаил Федотович Овсянников, я сделал вид, что не нашел его, и подписал статью на редколлегию сам. Но перед ксерокопированием восемнадцати экземпляров по числу членов редколлегии, все статьи просматривал Главный. И вдруг из его кабинета раздался возмущенный возглас, который мне передали потом друзья (я в этот момент курил на улице): «Где этот Кант?! Подать сюда этого Гегеля!» Дело в том, что подпись моя была проста: «*ВКант*». Скандала не случилось. Фролов был человек отходчивый. Но в ситуации с Ортегой все было гладко. Овсянников

уже неделю грипповал. Материалов на редколлегию было мало, и главный редактор Вадим Сергеевич Семёнов велел достать из портфеля все, у кого что есть. И если заведующего отделом по тем или иным причинам нет, то на редколлегию подписывать самим.

Так что мог я безо всяких опасений отправить статью Ортеги на редколлегию. Поскольку и Семёнова в этот день вызвали в ЦК, то на редколлегию статьи пошли сами собой. Была только виза заведующей редакцией Тани. Наконец, пришел четверг, наступило три часа, началась редколлегия. Большие люди с любопытством посматривали на меня, предвкушая шикарную идеологическую порку. Редакция приготовилась к защите, распив по этому поводу перед редколлегией пару бутылок водки в местной «стекляшке». Тогда-то и произошел этот замечательный случай. Мы шли разогретые по тротуару, размахивая руками, довольно громко произнося не совсем советские речи. Шедший нам навстречу человек в костюме служащего, «мещанин», по определению Володи Кормера, вдруг отступил с тротуара, пропуская нас. Оглядевшись, оценил и произнес влух громко фразу, которую мы все запомнили навсегда: «Ну и компания! Хоть всех сразу в тюрьму можно!» И быстро прошел мимо. Что прохожий имел в виду — пьяный наш вид или речи — мы не поняли. Но гордо решили, что сам наш облик выпадает из привычного для советского режима образа.

Хочу привести здесь строфу из песни своего сына (Дмитрия Кантора), она точна по ощущению времени, точнее, безвременья:

Раз в Стране Чудес,
Там, на грани сна,
Где как гром с небес
Что ни год — война,
Где вокруг тюрьмы
Колокольный звон,
Жили-были мы
Посреди времен.

Живя «посреди времен» (слова удивительно точные, нам казалось, что время в нашем пространстве как-то не присутствует), мы не искали правды, а просто были всегда напряженно готовы к отражению любой пакости. Короче, и к редколлегии мы были готовы — к обороне и нападению. Семёнов открыл редколлегию, сказал: «Сегодня хорошо консультанты поработали. Хороший подбор статей. Одна, конечно, ошибочная. Но всего одна. Мы ее просто быстро отклоняем». «Это о твоей статье, об Ортеге», — шепнул сидевший рядом со мной Толя Шаров. Поднялся Володя Кормер, человек высокого роста, с острыми глазами (в жизни два или три раза встречал такие глаза), которые как-то иронически оглядывали собеседника, так что тому хотелось почему-то оправдываться, и спросил: «Хотелось бы понять, о какой статье речь. Вроде все наши сотрудники работают в журнале давно, все высокой квалификации». Семёнов нахмурился, и фраза вырвалась вполне простонародная: «Будто не понимаете. Пусть Кантор объяснит!» Кормер поднял брови: «Но Кантор никаких статей не отклонял. Нет, не понимаю». Уже хмельной Володя Мудрагей бросил Главному: «А вы объясните! Плядишь — пойдем». Кто-то из членов редколлегии, кажется, Владислав Жанович Келле, хоть и истматчик, но человек битый не раз, сказал как бы прошупывающим голосом: «А вы с кем-нибудь, Владимир Карлович, о возможности публиковать Ортегу-и-Гассета советовались?» Сказал вполне доброжелательно. Я поднялся: «Но Михаил Федотович (Овсянников) болен. А статья принесла очень известная латиноамериканистка, Тертерян Инна Артуровна. Она не только в ИМЛИ работает и доктор наук, но член Испанской королевской академии литературы и языка. Это уже знак качества». «Вот именно, — пробурчал Борис Юдин. — Для нас-то все ясно. Но если кто другой не понимает...» Семёнов вспыхнул: «А вы не дерзите! Речь не о Тертерян, а об испанце. Ведь не случайно его до сих пор у нас не печатали и не печатают. Почему мы должны начать?» Иван Фролов, не желая терять лица, но и не желая вступать в

эту сомнительную баталию, встал из-за стола и вышел за дверь. Мой второй шеф (надо сказать, я был своего рода «службой двух господ»: на мне висели два отдела — эстетики и этики), Титаренко Александр Иванович, заведующий отделом этики, решил выручить меня. Человек роста невысокого, занимавшийся проблемой «внеаучного предвосхищения в морали», решил смягчить ситуацию, ему показалось, что его подопечный в опасности: «Да в чем дело? При чем здесь Кантор? Ему дали статью, он ее подал на редколлегию, а о политических проблемах публикации не подумал. Давайте просто ее отклоним. Безо всяких оргвыводов. И никаких вопросов».

И это вдруг разбудило во мне все мои авантюрные инстинкты. И я почувствовал себя как Остап Бендер, организовавший «тайный союз Меча и Орала», т.е. почувствовал вдохновение, говоря словами Ильфа и Петрова, «упоительное состояние перед вышесредним шантажом». Я вспомнил правдинскую публикацию о визите к *Генеральному секретарю Центрального комитета КПСС товарищу Константину Устиновичу Черненко* испанского короля Хуана Карлоса. Образ Бендера мне всегда нравился. Его ругали как советского приспособленца наиболее ретивые прорабы перестройки. Но, на мой взгляд, Ильф с Петровым создали героя, проявлявшего максимум свободы в несвободных обстоятельствах. Вот в таких несвободных обстоятельствах я и очутился. И надо было выйти из них с победой. Я встал и сказал: «Извините, Александр Иванович, отклонять этот текст нельзя». Друзья и коллеги даже замерли, ошеломленные моей наглостью. «Дело в том, — продолжал я, — что, как все знают, испанский король Хуан Карлос сейчас в Москве, что в Москве он имел аудиенцию с Генеральным секретарем. А вот что я могу добавить к этому общеизвестному. Во время приема король поинтересовался и удивился, почему в Советском Союзе не переводят величайшего испанского философа, т.е. Ортегу-и-Гассета. И Генеральный секретарь пообещал навести порядок в этом вопросе. Поэтому наша публикация — это то, что сейчас требуется».

«Откуда вы это знаете?» — почти прошептал Семёнов.

Друзья тоже смотрели на меня, открыв рот. Нельзя было даже ухмыльнуться в этой ситуации, поэтому с полной серьезностью я ответил, что не вправе открывать источник своей информации. Члены редколлегии, притихнув, переводили взгляды то друг на друга, то на меня. Никто не мог решиться поверить мне, но и не поверить было нельзя. Такими именами и такими вещами не шутят. Пауза, конечно, повисла.

«Ну вот видите, — сверкнул глазами Кормер. — Выбора у журнала нет. Надо печатать!» Все-таки диссидентская закваска была в нем сильна. Друга всегда надо поддерживать.

Однако Семёнов колебался. Видно было, как вертятся в его мозгу мысли и соображения. И все они были направлены на то, как выпутаться из этой ситуации. И он нашелся.

«Что ж, раз такие обстоятельства, мы принимаем статью. Но — условно! Пусть Кантор объедет тех членов редколлегии, которые сегодня не смогли прийти, и получит на экземпляре статьи их подписи о согласии». «Разумеется, — ответил я. А что еще я мог ответить?! — Но кого прежде всего?» Семёнов пошевелил губами и сказал: «Конечно, Льва Николаевича Митрохина, он специалист по западной философии. Потом, нельзя вам миновать вашего заведующего отделом — Михаила Федотовича Овсянникова. Ну и Академика». Имени академика называть не буду, человек еще жив, два слова скажу о нем позже.

Короче, как писал поэт Алексей Цветков в стихотворении «Белая горячка»:

Дверь открывается. Входит сосед.
Справа Ортега, а слева Гассет.

Примерно так я себя и почувствовал. Было похоже, что я перебрал. «Держись, старик! — сказали друзья после редколлегии. — Сегодня поедешь?» Я пожал плечами: «Как в пословице — надо ковать, пока горячо». Но уже зашли в кабинет редакторов, со словами из какого-то кино «у нас с собой было». Кормер, который в этот момент писал свой роман «Крот истории» (премия Владимира Даля), полный реминисценций из «Записок сумасшедшего» Гоголя, где герой ведет дневник, обозначая каждое число, где с развитием болезни начинаются гоголевские шутки в обозначении дней (вроде «Месяца не было, день без числа»)¹, вдруг толкнул меня в бок и процитировал: «“Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я”. Старик, Гоголь тебя, кажется, предвидел. Вот и Хуан Карлос нашелся». Борис Юдин достал из портфеля бутылку водки и разлил по стаканам, протянул один мне: «Ну, Володька, на удачу». И удача пришла совсем неожиданно. К нам в комнату неожиданно зашел не присутствовавший на заседании член редколлегии Лев Николаевич Митрохин.

Человек он был сложной судьбы, работал в ЮНЕСКО, жил в Штатах, где, как говорили про него, остались его жена и дочь, а он вернулся. Его загнали в трехстепенный институт. Но есть люди, про которых знают, что удельный вес их в истеблишменте, что бы ни было с ними, весьма высок. Интересно, что на редколлегию журнала он посматривал как бы свысока, вернее, не принимая ее всерьез.

¹ Напомню у Гоголя: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое».



Лев Николаевич Митрохин

После двухлетнего моратория, который он выдержал, Митрохин вернулся в редколлегию. Позже уже получил членкора РАН, стал заведомом Института философии, потом и академиком РАН. Забавная деталь. Как-то, уже после того, как получил он звание действительного члена РАН, я столкнулся с ним у метро «Кропоткинская» на Гоголевском бульваре. Он пил пиво и махнул мне, чтобы я присоединялся. Поскольку я еще не поздравлял его с академическим титулом, я сказал, чокнувшись с ним кружкой: «Поздравляю, Лев Николаевич!» Он снова махнул рукой: «А, ладно. Просто я их переиграл! Понимаешь? Переиграл!» Я не по-

нял, как, но игровую направленность его психеи вполне оценил.

Войдя к нам, Митрохин спросил: «Куда ваше начальство подевалось? Я прогулял опять, надоела болтовня. Но, кажется, вовремя пришел. Чего пьете? Плесните в стакан на два пальца». Выпивоха он был изрядный. Он выпил, а я тут же спросил: «Лев Николаевич, а у вас статья Ортеги была?» Он спросил: «Ты подавал? Наконец-то! Давно пора!» Я вообще-то ждал, что он поддержит, все же философ и профессионал, выраставший в послевоенные годы, по Америке и Европе поездивший, и хотя пуганый, но уже без сталинского страха, занимавшийся историей религии и западной философией, должен бы поддержать. Но такого простого исхода не ожидал. Я спросил: «А вот на этом экземпляре можете написать, что вы поддерживаете статью, и расписаться?» Он кивнул, достал из бокового кармана пиджака шариковую ручку (импортную!) и написал требуемое. Итак, первый отзыв есть, подумал я. Теперь надо звонить Овсянникову. Друзья уговаривали наплевать и как следует отметить первый отзыв. Но все же чувство ответственности и стоявшая передо мной сверхзадача увели меня от пьянки. Я прошел в приемную, где сидел аппарат редакции, тогда эта была высокая, молодая и красивая женщина Таня. Она относилась ко мне с явной симпатией, даже отчасти эротической. Все же был я тогда тридцати девяти лет, глаз горел, слухи о моих романах ходили по редакции. И она даже сказала как-то, что ночью ей приснился сон, как мы предавались раз-

ным излишества любви. Но я старался не заводить отношений на работе и как бы не заметил ее слов. Она не обиделась, отношения остались хорошим.

«От тебя можно позвонить?» — спросил я.

«Кому?»

«Овсянникову».

«Давай лучше я это сделаю, он не всем отвечает, а мне отвечает».

«Давай!»

Короче, договорились, что в одиннадцать утра я буду у Овсянникова дома. Ровно без пяти одиннадцать я уже был у его подъезда на Ломоносовском проспекте. Посмотрел на часы и нажал кнопку домофона ровно



Михаил Федотович Овсянников

в срок. Домофон сработал, я поднялся на лифте и в одиннадцать вошел в квартиру. Навстречу показался в мягком домашнем халате хозяин, на ногах тапочки, сделал приглашающий жест в сторону кабинета: «Там уже чай накрыт, посидим, побеседуем». Михаил Федотович (21.11.1915—11.08.1987) был роста невысокого, волосы бобриком, ходил, как-то очень прямо переставляя ноги, словно они не гнулись. Говорили, что результат ранения. В 1941—1942 гг. был в московском ополчении. Происходил из крестьян, из села со смешным названием Пузачи Курской губернии. И выражение глаз хитрое, деревенское, хотя считался лучшим специалистом по Гегелю в те времена, кандидатскую диссертацию защитил в 1943 г. по теме «Судьба искусства в капиталистическом обществе у Гегеля и Бальзака», а уже докторскую в 1961 г. — по теме «Философия Гегеля». Стал деканом философского факультета. Его книга о Гегеле была в те годы самой обстоятельной и обязательно читаемой. Хотя, как говорили студенты философского факультета, Гегель был понятнее.

«Ну, с чем пожаловал? — спросил он, наливая мне чаю в стакан в серебряном подстаканнике. «Пустяковое, в сущности, дело. Но приказ Главного, вот и приехал. Тут принимали статью на редколлегию. Статью приняли, но поскольку она шла по отделу эстетики, требуется ваша виза». И я достал из портфеля конверт со статей Ортеги и протянул статью Овсянникову, добавив: «Вы болели, пришлось за вас на редколлегию ее посылать. Вы уж извините. Главный редактор велел подавать, что в портфеле у каждого отдела. Я и дал эту, ее подготовила

знаменитая наша испанистка Инна Тертерян». Михал Федотыч протянул руку, взял статью и тут же уронил, почти отбросил ее на стол. «Володька, но это нельзя печатать. Махровый идеалист! Да нас посадят!» Я ответил, как мог циничнее и спокойнее: «Теперь ситуация такая, когда уже статья подана на редколлегию, она должна быть напечатана. Тогда не посадят. Вышла, и значит, так и должно быть! Если же мы дрогнем и испугаемся, тогда дело приобретет совсем другой характер». Федотыч побелел весь: «Что ты наделал! Но я-то не подписывал!» Я пожал плечами: «Тем более вас не посадят! Отвечать мне». Федотыч замахал руками: «Нет, нет! Мне тебя тоже жалко!» Он и вправду ко мне хорошо относился, не раз уговаривал защищать докторскую диссертацию: «пока мы живы». А умер он и вправду через три года. Я снова принялся его успокаивать: «Михал Федотыч, сталинские времена давно прошли, за такие тексты не сажают уже». Овсянников выскочил из-за стола, в одних носках по ковру подбежал к книжной полке, стал перебирать книги: «Да о нем же пишут, что он испанский фашист!»

Я предостерегающе поднял руку: «Но вы же сами знаете, что это неправда. Он антифранкист, эмигрировал во времена Франко в Латинскую Америку. А статью какой-нибудь ваш знакомец написал, да небось в пятидесятые неопределенные годы. И вам подарил».

Он остановился, поднял на меня глаза: «Откуда ты знаешь?»

«Неужели вы сами бы сборник по испанистике купили бы? Вы же Гегелем занимались тогда».

«Ну да», — согласился он.

«И все же, — снова перешел он к спору, не желая подписывать. — Он же написал работу “Дегуманизация искусства”. Понимаешь — *дегуманизация!* А мы за гуманизм. На этом вся советская эстетика стоит! А у него тут манифест модернизма!»

Надо сказать, в самиздате я уже подначитался кое-каких текстов Ортеги, представлял, о чем речь, и был уверен, что Овсянников-то их не читал. «Он же писал в этой работе, что констатирует художественную реальность XX века, и нынешняя задача — указать искусству другую дорогу, на которой оно перестало бы быть искусством дегуманизирующим. И кто его любимые художники? Это Гёте, это Веласкес, это Сервантес, это Гойя. Какой уж он к черту модернист!» Федотыч пожевал губами и ничего не ответил. Мозги шевелились, нужен был еще толчок. И я его сделал: «А потом на редколлегии говорили, что приехавший в Москву испанский король пенял нашему Генеральному секретарю, что мы не печатаем великого испанского философа. И Генеральный обещал в этом разобраться. Так что наша публикация будет как раз то, что требуется сейчас». Словечко «говорили» — замечательное. Ведь и вправду говорили, но кто говорил, я не сказал. «Ладно, — сказал Овсянников. — Ду-

маешь, мы как раз в струю попадаем? Где моя ручка?» И он подписал. Мы допили чай, я ушел.

Академика надо было ловить в Институте философии АН СССР, в три часа дня у него начинался сектор, которым он руководил. Приходил он обычно на полчаса раньше, готовился к заседанию. Человек он был аккуратный. На эту его аккуратность я и рассчитывал. Так и получилось, я застал его в одиночестве за столом с разложенными на нем бумагами. Я рассчитывал на интуицию. Но степень проницательности у Академика превышала среднестатистическую проницательность других философов. Во время войны исполнял должность старшего политрука, был инструктором политотдела дивизии ПВО. С 1943 г. — на Воронежском фронте, затем на Украинском, был контужен на Курской дуге. Военный иконостас, который он надевал по праздникам, поражал. Среди прочих был даже орден Красной Звезды. После войны служил под Веной, немецким владел очень даже хорошо. Боевая школа была не слабая, но и жизненная не хуже. До войны и до учебы на философа он хотел стать писателем. И ко мне, кстати, уже позже стал хорошо относиться, когда узнал, что я пишу прозу. Так вот он взял за образец прозу Бабеля, возил ему свои рассказы, Бабель работал с ним как с учеником. И вот как-то в мае, 14 мая, он провел с Бабелем целый день на даче в Переделкино, засиделся. Побежал на станцию, но на электричку опоздал. Вернуться к советскому классику счел неловким, просидел всю ночь на скамейке, благо было уже тепло. А в Москве уже купил газету, где было сказано, что 15 мая у себя на даче в Переделкино был арестован враг народа Исаак Бабель по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. После этого эпизода на своей писательской карьере академик поставил крест. Тем более что доходили глухие слухи, как чудовищно пытали Бабеля, раз он оговорил Ю. Олешу, В. Катаева, И. Эренбурга, склоняя их к шпионской деятельности в пользу Франции. Уже потом мне рассказывали студенты Литинститута, как один из писательских орденосцев (уже после XXII съезда) рассказывал молодым ребятам о пытках Бабеля: «Жидок-то оказался жидок. Когда иголки под ногти стали загонять, визжал безобразно». Студенты не нашли ничего лучшего, как явиться под окна квартиры орденосца и разбомбить его окна кирпичами.

Короче, Академик прошел хорошую школу советской жизни. Поэтому я просто положил перед ним статью, где уже стояли две рекомендации на публикацию, и сказал: «Теперь, пожалуйста, подпишитесь тоже. Это простая формальность». Он поднял на меня умные глаза и произнес: «Владимир Карлович, я вовсе не сумасшедший. Академики тоже понимают, что к чему. Я такое никогда не подпишу». Тон был спокойный, и ясно, что возражений никаких быть не могло.

Но и у меня выхода не было. И я вывалил свой козырь о короле Хуане Карлосе. Академик усмехнулся: «Вы думаете, я поверю этой байке? Откуда вы это знаете. Семёнов может верить, а я стреляный воробей. Я верю бумаге, а не фантастическим рассказам». Почему-то фамилия Семёнова вызвала у меня некую важную цепочку бендеровских новых идей. Сегодня иногда думаю: какого черта я тратил силы и время на публикацию нормального, не крамольного текста. Ведь всего через пять-шесть лет выйдут сразу несколько томов Ортеги. Правда, тогда это было даже за пределами воображения. Видимо, это осуществление свободы в несвободных обстоятельствах было мне важно. Я уже чувствовал себя совершенно свободным, был автором десятка рассказов, пары повестей, романа-сказки «Победитель крыс». Про этот мой текст известный в те годы фантаст и сказочник Кир Булычёв во внутренней рецензии в издательство «Молодая гвардия» (которая началась поразительными словами: «По моему объективному мнению...») написал, что «перед нами абсолютно диссидентская сказка», которую друзья автора подобных же взглядов, очевидно, с удовольствием слушают, сидя у камина и попивая водку. Но он советует издательству как можно скорее вернуть рукопись автору и больше дел с ним не иметь. Камина у меня не было, сказку мало кто тогда читал. В 1991 г. она вышла тиражом (два завода) 225 тыс. экземпляров в издательстве им. Сабашниковых. Пока же я был абсолютно вне социальной жизни. Поэтому ко всем событиям советской действительности я относился с любопытством, чувствуя и даже отчасти понимая, что ее законы не про меня писаны. Просто интересно было, как можно сыграть в той или иной ситуации. И я сыграл: «Но я уже от лица журнала обратился в отдел ЦК и получил добро на публикацию. Так что я точно сказал, ваша подпись — это простая формальность». Академик был озадачен: «А в какой отдел?? Я позвоню туда». Дело в том, что наш журнал курировали сразу два отдела ЦК — отдел науки и идеологический отдел пропаганды. «Ну знаете, этого я вам не имею права сказать, звоните сами и выясняйте». Ситуация оказалась для академика неразрешаемой, квадратурой круга. Позвонить в отдел и спросить, звонил ли вам такой-то, было невозможно. Если бы хоть твердо знать, какой отдел. Но этого я не говорил, как бы не смел сказать.

Он достал из кармана пиджака паркеровскую ручку и начал кусывать ее колпачок. Стало понятно, что подпишет, но ищет формулировку. Наконец, фраза родилась: «Не возражаю. При условии, что статья поддержана всеми членами редколлегии». И расписался.

На следующий день все три подписи были показаны Главному, и он приказал мне готовить статью. Статья была опубликована в журнале «Вопросы философии» в 1984 г. № 11. С 145—153, с предисловием Инны Тертерян «У истоков эстетики Ортеги» (с. 139—144).

16. Магия слова в эпоху застоя

Текст странным образом связан с тридцатилетием со дня смерти Брежнева (10 ноября 1982 г.), вспомнил эпизод из истории «Вопросов философии». Некоторое (не очень большое) время до смерти Генерального секретаря я опубликовал в журнале полный текст Мих. Щербатова «О повреждении нравов в России» с предисловием Натана Эйдельмана. История публикации — это почти авантюрный роман. Было понятно, что текст с таким названием журнал не примет, во главе все же специалист по теории научного коммунизма — Вадим Сергеевич Семёнов. Тогда мы договорились с Эйдельманом, что он придет, прочтет доклад на тему русской истории и архивных находок. Надо сказать, что Натан Яковлевич был человек чрезвычайно обаятельный и потрясающий рассказчик. Редакция и часть редколлегии не ожидали, что человек может так умно и одновременно увлекательно рассказывать о русской истории, архивных находках и т.п. После доклада-лекции Эйдельман сообщил, что обнаружил полную версию знаменитого текста Щербатова и готов передать его в журнал для публикации.

Поскольку привел Эйдельмана в журнал я, мне и было поручено вести публикацию. Надо было дать правильную психологическую установку главному редактору. И я сказал, что поскольку это такой фантастический материал, мы должны поставить его в ближайший, т.е. девятый номер. «Зачем торопиться? — сказал Главный. — Я еще подумаю. В любом случае не раньше десятого номера». «Кранты твоему Щербатову, — сказали сослуживцы. — Он никогда это не напечатает». Но установка уже была сформулирована и цель обозначена иная. «Нет, девятый», — сказал я. Главный вспыхнул: «А я говорю десятый! И прошу мне не перечить!» Я нудно твердил о девятом, стараясь не переборщить. Конечно, главный настоял на своем. В чем я и не сомневался. Моя задача была простая: чтобы текст был опубликован. И журнал опубликовал Щербатова в десятом номере.

Когда номер уже вышел, меня вдруг вызвал тогдашний ответственный секретарь журнала Л.И. Греков и сказал: «Вы как-то сумели обмануть редколлегию и напечатали этот опус. Имярек прочитал и сказал, что положит номер на стол Генеральному». Не подумав, я ляпнул: «Да не волнуйтесь. Еще неизвестно, что раньше на стол ляжет: номер или Генеральный». «Что?!» Далее всем понятная немая сцена. Генеральный это соревнование выиграл.

Но история эта разветвленная. Вторая ветвь такова.

Здесь речь пойдет о советской демагогии, переходящей в советскую мистику. После публикации текста Щербатова меня вызвал еще и главный редактор (прототип главного редактора из моего романа «Крокодил») и сказал: «Вот вы печатаете незнамо что, а меня на ковер вызвали и выговаривали, что в тексте Щербатова очевидные аллюзии на современную действительность». К демагогии мы были тогда приучены: это была палка как для нападения на нас, так и наша защита. И я ответил: «Кому это могло прийти в голову сравнивать действительность самодержавной России XVIII в. с действительностью страны развитого социализма?» Главный задумался: «Вы мне хорошую мысль подсказали».

Чтобы понять до конца, что произошло дальше, прошу у читателей несколько минут внимания, чтобы историю поставить в контекст некоего историко-философского размышления. В 1909 г. П.А. Флоренский сделал доклад «Общечеловеческие корни идеализма». Доклад был в том же году опубликован. Флоренский доказывал, что внутри любой религиозной доктрины, пока она влиятельна и действует на широкую публику, лежит магическая основа, когда слово наполняется невероятной духовной энергией. Он писал: «Слово кудесника само по себе есть новое творение, мощное, дробящее скалы, ввергающее смоковницу в море идвигающее горой, низводящее луну на землю, останавливающее облака, меняющее все человеческие отношения, все могущее. <...> Слово кудесника сильнее воды, тяжелее золота, выше горы, крепче железа и горячего камня алатыря. <...> Веще заклятие это судьба мира, рок мира. Да и что такое рок, как не приговор, как не изречение, как не слово, как не заклятие? <...> Слово кудесника вечно. Оно — сама вещь. Оно, поэтому, всегда есть имя. Магия действия есть магия слов; магия слов — магия имен»¹. Именно в контексте этого рассуждения стоит прочесть текст Степуна из его «Мыслей о России» (1927 г.): «Конечно, никакой пролетариат в России не властвует, но все же большевики властвуют его именем! А разве имя отделимо от нарекаемой им реальности? Разве оно не составляет од-

¹ Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма // Философские науки. 1999. № 1. С. 111–112.

ной из наиболее существенных частей ее?»¹. Вслушаемся: *имя как существенная часть реальности*, не отделимая от нее. Флоренский рассуждал вроде бы о корнях идеализма Платона, но, разумеется, замах был шире и позволял применить эту методологию и к историческим явлениям и событиям. Именно это и проделал Степун, показав, что весь большевизм — это магия слов. Флоренский по сути взывает к дохристианской магической структуре сознания², он же говорит, что для русского народа христианство плотно соседствует с магизмом, более того, воспринимается как род магизма. Именно опора на этот магизм и была у большевиков. Уже самоназвание «большевики», получившееся случайно, было замечательно использовано в борьбе с оппонентами: большевики — это те, которых больше, у которых ума и власти больше. Это отметил как-то Андрей Синявский. Он также помянул о «советах», которые воспринимались как нечто привычно-общинное, вспомогательное, и в этом смысле тоже эксплуатировались большевиками, хотя были органом диктатуры. Ленин опирался на лозунги, меняя их соответственно политическому моменту. А лозунги есть не что иное как заклинание: «Да будет!» Да и все высказывания Ленина — заклинательны. Вот знаменитая формула: «Учение Маркса всесильно, потому что верно». Логически высказывание бессодержательно, даже тавтологично. Но заклинательно — полно мощи. Для простолюдина такое высказывание вполне убедительно. Вроде есть внутри фразы объяснение посылки («потому что»), хотя это объяснение ничего не объясняет. Не объясняет, но совершает магическое действие: «Да будет!» Это магическое восприятие слова сохранялось на всем протяжении коммунистической власти. Хотя можно и повернуть его: «Учение Маркса верно, потому что всесильно!»

Историю продолжаю. Параллельно с щербатовским текстом шла статья Ивана Фролова «О жизни, смерти и бессмертии». Я был редактором и фроловской статьи. Редколлегия трусила пропустить ее, поскольку Генеральный секретарь дышал на ладан. В эти дни ему стало хуже, как знало наше начальство. Потом стало лучше, Фролов был человек влиятельный, статью пропустили. И только она вышла, как

Генеральный умер. Главный редактор Семёнов, когда играли траурную музыку, велел редакции встать и стоять минуту, сказав: «Чтобы стояли, как вся страна!» А дальше — советская мистика. Когда редакция отстояла положенное время, он вызвал меня в кабинет и как-то растерянно, но вместе с тем убежденно сказал: «Это вы с Фроловым виноваты». В том смысле, что мы виноваты в смерти генсека. Вот она магия, о которой говорил Флоренский. Осуществилась вполне. Ведь ничто не говорится просто так. И как надо было верить в силу слова!

Но магизм был не только советским. Существовал и антисоветский магизм.

¹ *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк VIII (Национально-религиозные основы большевизма: Пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция) // *Степун Ф.А.* Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 315.

² Не случайно почти сразу это заметил Бердяев. Вообще, Бердяев считал, что Флоренский отрекся от тайны Христа, от христианского учения как пути к свободе личности: «Самое мучительное и неприятное в книге свящ. Флоренского (“Столп и утверждение истины”. — В.К.) — его нелюбовь к свободе, равнодушие к свободе, непонимание христианской свободы, свободы в Духе. Даже слово свобода почти нигде не употребляется. <...> Его религия — не религия свободы, ему чужд пафос свободы» (*Бердяев Н.А.* Стилизованное православие (о. Павел Флоренский) // *Н.А. Бердяев о русской философии.* Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 152).

17. Могила Чаадаева

Все мы знаем о радостях и нелепостях любви. Но если это любовь не к человеку, не к собаке, не к коту, а к чужой культуре? Скажем, к России... По роду своих собственных интересов я общался много с русистами. В советское время я был невыездной, поэтому если с кем и общался, то это были приезжавшие сюда специалисты. Да и было это всего дважды. Как-то приехали польские философы, я встречал их в аэропорту от журнала «Вопросы философии». Кажется, это был 1978 год. Один (Юзеф Боргош), профессор, был автором переведенной у нас книги о Фоме Аквинском, второй, доцент, писал, разумеется, о европейском любимце — Льве Толстом, который изображал, на его взгляд, реальную Россию — с балами, псовой охотой, сплошными графьями и князьями. И, конечно, Платонами Каратаевыми. Желая быть любезным с гостями, я по дороге, повернувшись к ним, заметил как бы между прочим о славянских корнях Ницше, о том, что Гофман был женат на полячке и прекрасно знал польский фольклор. Они с польской вежливостью слушали, хотя не очень одобрительно что-то ворчали. Чтобы расположить их к себе — все же я был принимающей стороной — я стал усердно именовать их на польский лад панами: «Пан профессор, — говорил я, — и вы, пан доцент». И вдруг профессор меня прервал довольно недружелюбно, сказав: «Не пан профессор, не пан доцент, а товажищ генерал и товажищ полковник». Так я впервые понял, какая реальная профессия у этих славистов. Потом, правда, мне удалось устроить их в отель, где администрация перепутала номера и не хотела даже кормить приехавших. Но потом и накормила, и напоила. Они были благодарны и не напоминали мне больше о своих званиях. Уже позже, когда я начал ездить на Запад, то убедился, что отлично знавшие русский язык, *без акцента*, знавшие даже пословицы и поговорки, в том числе современные, учились, конечно, в специальных заведениях. Кстати, реальные слависты, тоже влюбленные в Россию, говорили всегда с очень заметным акцентом. Как пра-

вило, у каждого из «отлично знавших» была кафедра и по одной книге, не больше. Но здесь я буду рассказывать не о блистательно говорящих на русском специалистах, я о них ничего не знаю. Просто один эпизод из столкновения реальной славистики с российскими реалиями.

Дело в том, что наш журнал состоял в коллегиальных отношениях с философами из Польши, Венгрии и ГДР. Осенью, кажется, 1984 г. (дату могу перепутать — потом объясню) по обмену к нам приехала венгерская славистка. Главный редактор, В.С. Семёнов, конечно, меня не послал бы на встречу. Наверно, *польские товажищи* все же что-то наклепали о моей нелояльности. Да Главный и сам не послал бы меня, подозревая во мне *вольномыслие*, но, как потом выяснилось, мое имя как желательного встречающего назвала венгерская славистка. Что-то она почерпнула из моих редко тогда публиковавшихся статей. Звали ее Эржибет.. Фамилии называть не буду. Не из скромности, а потому, что все время встречи я звал ее Эржибет, она меня Владимиром. А ее письма и книга, которую она мне прислала, в результате разнообразных семейных пертурбаций, пропали и проверить ее фамилию не могу. А придумывать не хочется.

Это была красивая, черноволосая и черноглазая женщина лет около сорока. У нее было три просьбы, которые она высказала прямо в аэропорту. Она просила, чтобы я, во-первых, устроил ей встречу с Владимиром Кантором, во-вторых, с Натаном Эйдельманом, а в-третьих, проводил ее к могиле Петра Чаадаева. Она не знала меня в лицо, поэтому обрадовалась, что ее первую просьбу я так легко исполнил. Я отвез ее в отель, и мы проговорили несколько часов за бутылкой красного венгерского вина. Она, несмотря на типичные иллюзии иностранцев о поголовной духовности русского народа, все же нечто готова была воспринять, все-таки писала о Чаадаеве, которого, однако, понимала как предшественника славянофилов. Вечером я дозвонился до Эйдельмана. Он назначил встречу у себя дома. На следующий день мы приехали к нему. Об обаянии Натана говорить невозможно, надо было его пережить.

Самое для меня было сложное — это визит на Донское кладбище, на могилу Чаадаева. К своему стыду должен сознаться, что до той поры я ни разу не был на могиле Чаадаева. Хотя тексты его любил. Более того, уговорил в 1983 г. английского на тот момент (ныне американского) исследователя Ричарда Темпеста подготовить публикацию архивных писем Чаадаева (о его работе в архивах рассказывали коллеги). Он принес тексты с блестящими комментариями, предисловие написал В.Г. Хорос. Казалось бы, подарок для журнала. Но редколлегия встала наотрез: «Зачем нам этот полузабытый мыслитель? Опубликовать эти письма можно в каком-нибудь сбор-



Могила П.Я. Чаадаева

нике для аспирантов, тиражом примерно 300 экземпляров. Все же у «Вопросов философии» тираж несколько тысяч. Кому это надо?» Я злился, апеллировал к тому, что Чаадаев, *как и декабристы, стоял у истоков русского «освободительного движения»* (Чаадаев был вне всяких движений, но так называли борьбу с самодержавием, которой в те годы уже и в помине не было).

От меня отмахивались как от слабоумного демагога, который хочет провести на мякине опытных идеологических мужей, твердо знающих, кого можно печатать, а кого нельзя. Убедил только тем, что неудобно будет отказать английскому ученому, который положительно пишет о России. Опубликовали в двенадцатом номере, который почему-то традиционно считается менее читаемым.

Но венгерка, похоже, прочитала. Более того, узнала, кто был редактором этой публикации. У меня для нее была еще история, которая тогда не была записана. Известно, что Чаадаев жил на Басманной у Е.Г. Левашёвой. Об этом и Темпест написал. Приведу отрывок из его статьи: «Еще в 1839 г. умерла Е.Г. Левашёва, близкий друг мыслителя, во флигеле дома которой на Старой Басманной Чаадаев поселился в конце 1833 г. Он продолжал жить на той же квартире, теперь постепенно разрушавшейся. Здоровье его начало сдавать, нервы расстроились. Его стали тревожить предчувствия близкой и внезапной смерти»¹. Несмотря на успех в салонах, такое душевное состояние — глубокого, глухого одиночества — длилось практически до конца жизни. Не случайны его слова брату в письме 1852 г.: «Чем буду жить потом, не твое дело: жизнь моя и без того давно загадка»². Так вот, летом 1983 г., путешествуя со своим другом Александром Косицыным по Поветлужью, обмеряя полуразрушенные церкви и записывая их истории, наблюдая сохранившуюся послереволюционную разруху, мы зашли в селе Воскресенском в местный клуб, где я обнаружил неожиданно письмо сына Екатерины Левашёвой П.Я. Чаадаеву.

Позднее я не удержался и вставил это письмо в свой рассказ «Историческая справка» (1986), опасаясь, что иначе оно пропадет³. Рассказ был написан от третьего лица: «Он встал из-за стола и при-

нялся листать книги, стоявшие на стеллажах. Взял в руки «Записки краеведов». Место издания — Горький, год издания — 1980. И тут вспомнил, что, похоже, об этом сборнике говорила благолепная старушка, дочь страхового агента. Быстро открыл оглавление. Оно! Статья Н.Ю. Сергутиной «Валерий Николаевич Левашёв». Лихорадочно нашел нужную страницу, сел за стол, вытащил из кармана куртки мятый блокнот, шариковую ручку. Наткнулся глазами на строчки: «В левашёвском архиве на Ветлуге имелись чаадаевские рукописи, которые, возможно, еще отыщутся в горьковских архивных, музейных, библиотечных фондах». И несколькими строчками ниже в подтверждение своих слов автор статьи приводила в собственном переводе с французского письмо В. Н. Левашёва П.Я. Чаадаеву.

Тимашев замер. Хотя и не он открыл, но все равно, все равно! Неизвестные штрихи и факты из жизни великого мыслителя, родоначальника русской философии, друга Пушкина и тому подобное!

Он читал и записывал, дрожа от восторга, понятного только историкам и библиофилам:

«Только вчера, дорогой Петр Яковлевич, я прочел Ваше столь любезное письмо — Дельвиг забыл передать мне его. Спешу поблагодарить Вас за память; я никогда не забуду, что Вы были другом моей матери, и это главный источник моего уважения и любви к Вам. Я оставил службу, весьма мне досаждавшую, чтобы обосноваться в деревне и оставаться там до полной выплаты всех наших частных долгов... В бумагах отца я нашел несколько Ваших рукописей, дорогой Петр Яковлевич, и прочел их с несказанным удовольствием. Они напомнили мне счастливые и спокойные дни, проведенные в кругу семьи. Эти письма, прочитанные мною со всем вниманием, на какое я только способен, вызвали во мне горячее, но почти несбыточное желание — я хотел бы получить все Ваши рукописи, так как желал бы посвятить свою жизнь чтению и наукам. Прощайте, дражайший Петр Яковлевич, будьте здоровы и не забывайте того, кто Вас искренне любит. Валерий».

Все это было еще для меня свежим событием, и я рассказал Эржибет об этом письме и даже прочитал слова Валерия из своего блокнота. После чего ее решение посетить могилу Чаадаева, разумеется, окрепло. Читатель спросит, в чем проблема? Повторю, я никогда не был на его могиле, не знал, где она, а позориться перед зарубежной слависткой не хотелось. Поспрашивал друзей. Но самое точное указание было, что все же на Донском кладбище, которое находится на территории Донского монастыря. Правда, добавил приятель-искусствовед, там есть музей, в Донском, там должны знать, где могила. И прежде, чем вести венгерку искать могилу, надо под каким-нибудь предлогом заглянуть в музей.

¹ Темпест Р. Письма П.Я. Чаадаева // Вопросы философии. 1983. № 12. С. 181.

² Там же. С. 132.

³ См. о судьбе Левашёвых мою новеллу «Историческая справка»: Кантор В. Историческая справка. Повести и рассказы. М.: Сов. писатель, 1990. С. 327—362.

Так я и сделал. Доехав на такси до монастыря, зайдя со спутницей внутрь, я все же сказал Эржибет, что хочу заглянуть в музей, чтобы нам дали там план. Тогда не придется плутать меж могил (а я-де давно был и точное местоположение чаадаевской не помню). Заодно посмотрим и другие захоронения. Она согласно кивнула головой и осталась дожидаться меня у входа в музей под высоким деревом. Поднявшись на второй этаж, я зашел в рабочую комнату, где стояли столы и сидели за бумагами сотрудники. Поздоровавшись, я сразу признался: «Ребята, я обещал иностранной славистке показать могилу Чаадаева, а где она — не знаю. Да заодно хотел бы купить план Донского кладбища». В ответ услышал растерянное мычание, что, во-первых, плана кладбища на данный момент у них нет, а тот сотрудник, который знает все про могилу Чаадаева, придет на работу только после обеда. Но, скорее всего, могила в дальнем углу.

И я спустился к Эржибет в некоторой растерянности. И мы отправились на поиски в указанную сторону. Блуждая среди могил, могилу Чаадаева мы никак найти не могли. Эржибет начала злиться и стала ворчать со своим европейским акцентом: «Почему эти русские ничего не знают про историю своих великих людей, не знают даже, где они захоронены». Я понимал, что это обращено и ко мне. Эржибет догадалась, о чем я подумал, смутилась и очень по-женски попыталась меня утешить. Погладив меня по плечу, она сказала: «Владимир, прости, я не о тебе, я о тех людях, которые здесь работают. Они же за это деньги получают. Может, еще раз к ним сходить. Вдруг пришел человек, который знает про могилу». Но я понимал, что будет новый позор. Послеобеденное время еще не наступило, знаток не пришел, а эти ни хрена не знали.

И тут я увидел пару мужиков, длинного с большими залысынами и толстого коротышку, которые прислонились к ограде. На ограде стояла бутылка водки и пара стаканов, была расстелена бумажка, на которой лежал кусок *растительной ливерной колбасы* (может, кто из советских людей может вспомнить этот пищевой ужас!). В стакане была налита светлая жидкость, похоже, что уже по второму разу. Я подошел и спросил, понимая нелепость своего вопроса: «Мужики, может, знаете или просто видели... Короче, меня и вот эту иностранную даму интересует могила Петра Чаадаева. Может, подскажете?» Длинный спокойно допил свою порцию и сказал: «А что? Знаем! Плоская такая. На ней еще распивать удобно. И посуду поставить, и самим присесть». Он махнул рукой куда-то вбок. «А не покажешь?» — спросил я, чувствуя, что пошел фарт. «Хряк, проводи», — сказал высокий. Толстяк обиделся, но повел. Правда, до самой могилы не довел, просто подвел на расстояние, с которого плоская могила была видна. Я побежал к Эржибет.

И она была потрясена: «Простой народ, простые русские люди знают про могилу Чаадаева! Потрясающе!» Объяснять ей причину этого знания простыми мужиками я не стал. И мы быстро пошли к могиле. Все верно, это была она. Но тут уже был потрясен я. Плоская могила, сообщение, что здесь захоронен П.Я. Чаадаев, — все верно. Потрясло меня другое. Это был шок! На могиле лежало два свежих цветка: справа красная роза, слева красная гвоздика. У меня крыша поехала! Что уж говорить об Эржибет! Она достала свою импортную мыльницу и фотографировала могилу со всех сторон, время от времени восклицая: «Простой народ! Цветы! Роза! Цветы! Простой народ!» Потом меня на фоне этих цветов, потом просила, чтобы я и ее запечатлел на том же фоне.

Не могу не сознаться, что я был воодушевлен не меньше ее. Посмотрев на часы, увидел, что специалист по Чаадаеву уже должен прийти. И предложил Эржибет пойти снова в музей. Мы поднялись вместе. И Эржибет всё восклицала: «У Чаадаева на могиле цветы!» Специалист поднялся ей навстречу. И широко улыбаясь, сказал: «Да, появился тут неподалеку уже два месяца какой-то чудик! Цветы кладет, но мы его ни разу не застукали».

Потом Эржибет говорила мне и писала в письмах, что очень благодарна мне. Благодарна, что я показал ей близость русского народа великим русским мыслителям, что она об этом пишет книгу. Книгу она написала и прислала мне. В книге было несколько фотографий могилы Чаадаева с цветами, и она на фоне этой могилы.

К сожалению, через год я получил письмо из Венгрии, что Эржибет неожиданно скончалась.

Но чаадаевская история (с моим участием) на этом не закончилась. Из крупных работ начала перестройки можно назвать прежде других книгу Б. Тарасова (Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1986). В 1987 г., спустя 151 год после первой публикации, отечественный читатель получил и сравнительно полный состав сочинений Чаадаева, собранных Б.Н. Тарасовым. Журнал «Вопросы литературы» попросил меня сделать рецензию на эту книгу. Рецензия выросла в статью, которую журнал все же опубликовал: «Имя роковое» (Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская культура) // Вопросы литературы. 1988. № 3. Этот текст казался многим почти свободным, во всяком случае, перестроечным. Смешно сказать, но никто не говорил о Чаадаеве, все говорили о том, как журнал это пропустил. Но все же о Чаадаеве, точнее о его восприятии, я вскоре услышал неожиданное, и все благодаря этой статье.

Как-то в «Вопросах философии» появился мужик, что-то среднее между полярником, сибиряком и лагерником. Большие красные руки, выглядевшие опасным оружием, очень обветренное

лицо, красное, почти задубелое. Ростом где-то больше 180 см. «Мне бы с Владимиром Кантором поговорить», — хриплым голосом сказал он, обращаясь к нашей даме, заведующей редакцией. Та вздрогнула, посмотрела на него, потом на меня, глазами спросив, готов ли я говорить или *уже ушел*. «Это я», — сказал я. Он пожал мне руку, которая утонула в его ладони: «Где здесь поговорить можно, чтобы никто не помешал». Я повел его на площадку черной лестницы. «Эй, — крикнул растерянно Мудрагей, немного напуганный размерами и суровостью голоса моего спутника, — у нас летучка через десять минут, не забывай». Это было вранье, но оно означало, что через десять минут друзья придут мне на выручку, хотя тот же Мудрагей едва доставал мужику до плеча. И все же стало мне как-то спокойнее. Присев на подоконник на лестничной площадке, незнакомец представился, назвав фамилию, прозвучавшую знакомо. Увидев в моих глазах проблеск узнавания, он добавил: «Про меня Володя Высоцкий песню написал». Посмертное амикошонство мне никогда не нравилось, но тут я вдруг поверил, что он имеет на это право. И песню вспомнил. «Ну а я-то при чем?» — спросил я. Он сразу ответил: «Да я прочитал твою статью о Чаадаеве и пришел сказать спасибо!..» И снова я пожал плечами: «Какая связь?»

Он схватил меня за плечо. «Мы с ним на Магадане познакомились. Там он и песню про меня написал. Марина привезла ему года за три до его смерти из Парижа двухтомник Чаадаева. Володя прочитал и очень его полюбил. Ведь последние песни Володи как чефир, они пропитаны Чаадаевым. Он заказал его портрет и повесил к себе на стену кабинета. Я прочитал твою статью и нашел тебя. Хотел тебе это рассказать, чтобы ты это знал. Не знаю, зачем, но захотел». Он также резко встал, снова сжал мою руку и вышел, прошел сквозь редакцию и скрылся. Редакционные друзья перевели дух, расправили плечи. Хотя если что, он бы нас всех раскидал.

Больше я его никогда не видел. Но почему-то поверил его рассказу. Ведь подлинное в культуре не умирает, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» (Тютчев). Но оно отзывается. Запретный бард воспринял слова запретного мыслителя. Я вспомнил фразу Тютчева о портрете Чаадаева, «что есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...». Эту цитату я приводел в своей статье. Впрочем, лицо Высоцкого тоже такого же типа.

8—9 апреля 2013

18. Фагот

(Маленькая модель советской коррупции)

В редакции наше поколение было как бы на вторых ролях, точнее, наверно, сказать, второсортным, все выдающиеся прошли, а пришли молодые, которые не хотели заниматься советской философией. У кого-то было нечто свое тайное, но помимо коллектива. Время ведь предполагает некое коллективное единство, единое дело, какое? Редактура полупартийных статей? Редактура занимала немало времени, но немало и оставалось.

С этого надо начать, наверно. Мы приходили к 11, через пару часов работа была выполнена. Что делать? Шли обедать в кафе-«стекляшку» с заходом в магазин за бутылкой. Вокруг редакции крутились авторы, кто подлизывался, кто хотел к чему-то приблизиться. Хотелось единства.

Мне упрек был один: «Ты пьешь с нами, но ты вроде и не наш».

В «стекляшку», когда там обедали (с водкой, разумеется) «вопросники», набивалась публика, мечтавшая напечататься в «Вопросах философии», или уже печатавшаяся. Был там такой Володя Черняк, ходивший немного вразвалку, черноволосый драчун, у которого выпячивалась нижняя часть живота. Раз в год непременно печатал статью в журнале, доставая всех вопросами о судьбе своей статьи как важнейшем мировом событии. Он всегда устраивал после публикации пьянку, говорил громко и как свой, хотел выглядеть значительным. Рассуждал при этом о сотрудниках журнала немного свысока. Он был как бы творец, а мы вроде журнальная обслуга. Скажем, он понимал, что Володя Кормер реальный неформальный лидер редакции. Но не понимал, почему. «Подведет вас как-нибудь Кормер. Чует мое сердце. Есть у него что-то свое за душой. Он не отдаст всего себя журналу». «Да, — подхватил Ренька (Рейнгольд, Рене) Садов, прототип главного героя моего романа «Крокодил», — **надо всего себя отдавать журналу**. Надо жить для журнала. Мы служим большому делу. Даже когда печатаем членов ЦК. Это защищает приличные статьи».

Меня что-то смущало в такой постановке вопроса. Я понимал необходимость профессионализма, понимал, что журнал — это детище, к судьбе которого мы причастны и должны его холить и лелеять, но как-то идея «отдать всего себя» мне была чужда. Я писал прозу, которая никуда не шла, но тут точкой опоры для меня стал Володя Кормер. Он был старше меня на шесть лет, но опыта жизненного у него было много больше, да и круг общения шире. Жена — замечательный скульптор Лена Мунц, уже после смерти Володи создавшая скульптуру Мандельштама, ее друзья по цеху — Андрей Красулин и Дмитрий Шаховской. Дружил Кормер и с Димой Борисовым, автором сборника «Из-под глыб» и крестником Солженицына. Я выросал все же в профессорском, книжном слое, да и сам был книжным мальчиком, пропитанным Достоевским. Поэтому мне чрезвычайно был интересен круг Кормера, куда он спокойно пускал всех, кого считал своими друзьями. И это очень помогало, что есть еще кто-то, талантливый и сильный, который не стремится влезть в советский писательский мирок. Володя Кормер писал тогда самый большой свой роман «Наследство» о демократическом движении, но с огромным временным пространством — от первой послереволюционной эмиграции до эпохи Красина, Якира и Солженицына. И тут снова я получил жизненный урок: никакого пиетета и поклонения к великим именам у Володи не было. Был, однако, некий цинизм, как защитная реакция тонко чувствующего человека. Если признаться, то поначалу я смотрел на него снизу вверх, признавая его первенство и опытность. Впрочем, элемент цинизма был необходим, чтобы существовать в подцензурном советском журнале, сочиняя при этом несоветские тексты. Вот на определении этих текстов мы с Кормером не сошлись, но, пожалуй, только на этом. Он говорил, что необходимо создавать *нетленку* (так тогда говорилось), которая взорвала бы этот мир изнутри. Я, как человек более спокойного нрава, спорил и говорил, что текст должен быть неполитическим, называл это (используя советский термин, но с другим содержанием) *объективкой*, то есть историей человеческого сердца, не замешанной на политике. Но советской власти не нужны были ни нетленки, ни объективки. И поэтому доза цинизма помогала выживать, не обращая внимания на подозрительные взгляды, и работать так, будто мы и вправду «живем для журнала».

На почве этой «жизни для журнала» случались истории, которые можно было бы назвать комическими, если бы в них не было изрядной дозы макабра. Чтобы было понятнее начало сюжета, должен сообщить читателю, что по правилам редакции отвечать на статьи самотека мы должны были в течение месяца. Эти правила печатались в каждом номере на последней странице журнала. Но поскольку

самотек в советское время состоял по большей части из статей графоманов и открывателей нового понимания мира на основе учебника диамата, то тянули с прочтением и ответом как можно дольше. Правда, у графоманов было прибежище и защита. Трудно сейчас вообразить, но в те времена любой псих на почве философии, особенно если он был уверен в партийности своих взглядов, мог написать жалобу в ЦК КПСС, что редакция маринует его статью больше месяца. И мы получали из ЦК нагоняй, что нужно тщательнее работать с «текстами трудящихся». Мне как-то пришла статья некоего автора из Белоруссии по фамилии Громыко под названием «Красота, кто понимает!» Я долго не отвечал, потом ответил дежурной фразой, рожденной коллективным редакторским разумом, бессмысленной, а потому и действенной: «К сожалению, Ваша статья не отвечает требованиям нашего журнала, предъявляемым к публикациям подобного рода». Какие требования, какого такого рода — вряд ли кто-нибудь мог объяснить. Но задача была — не отвечать подробно, чтобы не вступать в бессмысленную и очень долгую переписку. У психов всегда много аргументов. Чтобы закончить эпизод с Громыко, скажу только, что буквально накануне отпуска в редакцию вернулась статья «Красота, кто понимает!» с сопроводительной инструкцией из ЦК, который требовал разобраться подробно и ответить не отпиской, а по существу. Главный редактор сказал, что пока я не отвечу, могу об отпуске забыть. В отпуск я хотел, поэтому с перепугу я за час написал подробнейший разбор статьи, отдал Главному на просмотр. Тот поглядел и разрешил отправить по двум адресам — автору и инструктору ЦК. И я уехал в отпуск.

Так вот, в один прекрасный день (так обычно начинаются сказания) в редакцию позвонил автор, узнал, кто редактор его статьи, позвал меня к телефону и поинтересовался, как его дела, добавив, что послал свою статью уже больше месяца назад. Голос его звучал приятно, без обычного скандального оттенка, который частенько бывал у долго ждавших ответа авторов. Но и подхалимской интонации не было. Звонил человек, ощущавший себя на равных. «Назовите вашу фамилию», — попросил я. «Рамишвили», — ответил он. Фамилия мне ничего не говорила. Но я все же с фальшивым энтузиазмом воскликнул: «Ах да, я прочитал. Сейчас собираюсь заняться редактированием, позвоните мне через пару дней. И извините за задержку ответа». «Ну что вы, — ответил мне приятный голос, — да я неподалеку от редакции. Если не возражаете, я зайду, и вы мне покажете ваши замечания». Оторопело я ответил: «Ну, разумеется». И бросился к своему столу. Статьи, пришедшие самотеком, лежали у меня в правом углу. Стопка текстов уже была изрядная. Как назло, я не мог вспомнить фамилию Рамишвили среди авторов. Я нервно начал снимать статью

за статьей, на всех статьях фамилии авторов выделялись крупными буквами, мелкими шло названия. Фамилии Рамишвили найти не мог. Осталось две статьи, где не было фамилий. Иногда ведь авторы пишут свои фамилии в конце статьи. Отлистнув последние страницы, я, наконец, с облегчением увидел подпись: Г.З. Рамишвили. Я взглянул на после этого на заглавие статьи и понял, что сразу по получении текста я должен был бы отправить его обратно с нашей классической формулировкой: «К сожалению, Ваша статья не отвечает требованиям нашего журнала, предъявляемым к публикациям подобного рода». Но я этого не сделал. Теперь надо было расплачиваться, что-то придумывая на скорую руку. Дело в том, что статья называлась «Ленинская теория отражения в балетном искусстве». На дворе стоял 1978 год. Власть казалась прочнее некуда. Как пишет Google: «В 1978-м советские граждане празднуют 60-летие ВЛКСМ, знаменательные события на орбите, как то: запуск космического корабля “Союз-28” с первым международным экипажем в рамках программы “Интеркосмос”, готовятся к Олимпиаде, поют песни Окуджавы и Визбора, слушают Высоцкого и Пугачеву». Ну и т.д. В общем, массовых посадок и расстрелов нет, пражские события позади. СССР срочно монтирует и у своего социализма человеческое лицо. Хотя впереди польская «Солидарность». Поэтому тема насчет ленинской теории отражения в балете на фоне Визбора и Высоцкого звучала диковато. Еще в памяти звучали слова о возвращении к ленинским нормам партийной жизни, но уже было ясно, что это за нормы! А уж к балету применялись лишь строчки бардовской песни, что «в отношении балета мы впереди планеты всей». Но фокус-то был в том, что я и возразить ничего не мог, огульно откинуть текст из-за слов о Ленине я не мог, ибо ни строчки не прочитал в его статье.

Я принялся быстро перелистывать страницы, стараясь ухватить недочеты и промахи, но ничего другого сказать я не мог, только одно, что ленинская теория отражения не может служить каждой бочке затычкой, как бы защищая Ленина, хотя каждая строчка автора и каждая цитата из Ленина раздражали меня неимоверно. И, конечно, как и бывает в водевилях и в жизни, за дверью послышался громкий, немного разбитной, но приятный баритон: «Скажите, где я могу найти Владимира Карловича?» Видимо, ему показали дверь в нашу комнату, поскольку она открылась, просунулась сначала крупная голова с горбатым носом, а потом вошел и ее хозяин — во фраке, белой манишке, черных брюках в обтяжку, оглядел комнату и почему-то сразу направился ко мне, будто почувствовал или кто-то ему нашептал. Протянул обе руки: «Меня зовут Герман Зиновьевич Рамишвили. Мне сказали, что моя статья попала к Вам. Хотелось поговорить с человеком, который своими мудрыми советами помо-

жет мне». Я озадаченно смотрел на его фрак и белую манишку. Он схватывал все моментально: «У меня сегодня вечером в Большом театре опера, я там играю. Это моя производственная одежда. Я же фаготист, первый фагот Большого. Кстати, — воскликнул он, улыбаясь, будто эта идея только что пришла ему в голову, — я слышал, что Ваш сын — музыкально одаренный мальчик. Могу поспособствовать, чтобы его приняли в школу фаготистов, прямо без экзаменов. Мое слово там много значит, а у него будет всегда неплохой кусок хлеба с маслом». Подкуп был прямолинейен и очевиден. «Не надо об этом, давайте лучше перейдем к вашему тексту».

Человек улыбнулся, как ему, очевидно, казалось, обаятельной улыбкой: «Хорошо, давайте не связывать школу фаготистов и статью. Я все же представляю школу Большого театра». Я сумрачно ответил, что моя жена кончала Гнесинку и училась вместе с тогдашней первой виолончелью Большого — Димой Миллером и, если надо будет, найдет сыну учителей. «Понял, все понял, — отозвался Фагот. — Но могу ли я проводить Вас до метро и побеседовать по дороге? Как мне видится, моя статья Вам не понравилась. Хочу понять, что надо сделать, как ее доработать. А Вам могу предложить на завтра два билета в Большой — на балет, причем бесплатно». Но, глянув в мое очевидно что-то неприязненное выразившее лицо, снова воскликнул: «Понял! Не предлагаю». Я, помню, даже обрадовался, что он понимает хотя бы что-то. Но он не понимал. Вдруг он наклонился и с интонацией заговорщика шепнул: «Может, выйдем во двор, там поговорим».

В те годы редакция располагалась на первом этаже небольшого особнячка (Смоленский бульвар, 20), который впоследствии у нас оттяпала одна финансовая структура: деловых людей в редакции не было и противостоять грабителям мы не сумели. А структура занималась распределением путевок. Вначале мы выделили им по просьбе начальства, стоявшего над журналом (имен называть пока не буду), одну комнату, но начальство получало бесплатно шикарные путевки в шикарные места отдыха. И вот уже мы (целая редакция, двенадцать человек) остались в одной комнате, а потом нас и оттуда выкинули. Как в сказке про лису и зайца. У зайца была избушка лубяная, у лисы ледяная. Попросилась лиса к зайцу погреться. Чем это все кончилось, думаю, все помнят. Но это уже в перестройку. Пока же даже двор, куда мы вышли, принадлежал нам. Была поздняя осень, едва ли не конец ноября, а то и декабрь, но было тепло, что-то вроде неожиданного бабьего лета.

Рамишвили оглянулся, будто опасался подслушивания, потом сказал полупшепотом: «Понимаю, Вы не любите Ленина, и Вам не понравилась ленинская тема в моей статье». Я пожал плечами: «Да у вас другой и нет. А статья вроде бы о балете». Надо сказать, ленин-

ская тема в интеллигентских полудиссидентских кругах давно стала предметом макабрических шуток: говорили о духах «Запах Ильича», пудре «Прах Ленина», трехспальной супружеской постели «Ленин с нами», ну и венцом была игрушка для интеллигентов — маленький Мавзолей, из которого при нажатии кнопки выбрасывалась фигурка с надписью «Сталин». И я продолжил: «Вы же музыкант, который решил написать статью о музыке в философский журнал. Так и пишите о музыке, о творчестве исполнителя. Надо посмотреть тексты великих композиторов и исполнителей, и вполне философические тексты. Почитайте хотя бы Вагнера, Листа, нашего Скрябина, а в XX в. Шёнберга, Теодора Адорно. Их тексты изданы и вполне доступны. О музыке и музыкантах писали и великие писатели — Гофман, Лев Толстой, Ромен Роллан. Почитайте для начала их». Он погрузился, даже нос опустил: «И все это надо прочесть, чтобы написать в ваш журнал маленькую статью?» Я ответил довольно резко, разговор представлялся мне вполне бессмысленным: «Не хотите — не пишите. Никто вас не заставляет». Он выставил вперед ладонь, не соглашаясь, как бы возражая. «Нет, нет, — сказал он, — писать я буду, мне надо. Но хотел бы совета профессионала». Я снова пожал плечами: «Видите ли, тут нужен музыковед, но у нас не бывает музыковедческих статей, нужна философия музыки». Он как-то не то хрюкнул, не то гмыкнул, короче, издал какой-то горловой звук, взял меня за локоть: «Может, пойдем куда-нибудь посидим, я приглашаю». Это была европейская формула, которой я тогда не знал: типа все за мой счет. Но смысл я понял, к тому же с детства не терпел, когда меня брали за локоть, обнимали за плечи и т.п. Это нарушало мое пространство. И я снял его руку со своего локтя, тем более что пахло типичным алкогольным подкупом. «Спасибо, — ответил я твердо, — извините, но с авторами, особенно до публикации текста, не хожу в кафе и не выпиваю никогда». Он склонил голову над папкой, которую прислонил к перилам лестницы, которая вела в особнячок, и сказал: «Кажется, запомнил. Вагнер, Лист, Скрябин, а что именно Гофмана и Толстого? Но вот, может, понравится, вашей жене — два куса очень хорошего мыла». Мы, конечно, жили бедно, но нам хватало и на еду, а порой и на выпивку, квартира была родительская, а про хорошее мыло я вообще никогда не слышал, даже не понимал, что такое — хорошее мыло. Было туалетное мыло — «Красная Москва», «Кармен», «Ландыш», «Гвоздика», «Детское». Других я не знал. Он вытащил из папки два странных бруска, завернутых в цветные бумажки. Теперь, вспоминая, полагаю, что это было что-то вроде «Fa», «Palmolive» или «Safeguard». Но это показалось мне чудовищно унижительным. Как известно, «у советских собственная гордость...». А несмотря на неприятие режима, по мироощущению были

мы вполне советскими людьми. Я почти отпихнул его руку: «Да Вы что!» Он смутился, но руку не отдернул: «Да Вашей жене понравится». «И разговора быть не может», — я отвернулся и пошел к крыльцу. Потом все же повернулся (вежливый все же): «Читайте, пишите, приносите черновики». Он постоял, крутя головой, потом все же вернулся в редакцию. Не заходя к нам, зашел к ответственному секретарю и подарил ему два билета в Большой театр на балет. Об этом Леонид Иванович Греков, наш ответственный секретарь, сообщил нам, зайдя в нашу комнату: «Интересного автора Владимир Карлович нашел. Или он вас нашел, а, Владимир Карлович? Вот два билета в Большой подарил. Редкость большая. Вы уж помогите ему в работе над статьей. Хорошим людям надо помогать».

Вечером дома жена сказала, что звонил некто и предлагал сына Митьку устроить в школу фаготистов. «И ты?» Она тряхнула черными волосами, поглядела на меня иронически: «Отказалась, конечно. А зачем ты даешь домашний телефон непонятно кому. А кто это был?» Что я мог ответить? «Придурочный какой-то. Пытается статью пробить. Он из Большого! Первый фагот». Жена подняла палец: «О! — воскликнула она. — Надо Димлеру (Димке Миллеру, ее соученику по Гнесинке) как-нибудь позвонить. Спросить, что это вдруг фагот в “Вопросы философии” полез. Прямо Коровьев какой-то!» В те годы «Мастер и Маргарита» стал настольной книгой советской интеллигенции, а три демона (Коровьев-Фагот, Бегемот и Азazelло), не говоря уж о Воланде, наиболее цитируемыми литературными персонажами. «Тот тоже был большим пронырой», — заметила жена. На этом разговор о Фаготе-Рашишвили завершился. Потом были суббота и воскресенье, и я забыл о нем.

В понедельник — снова редакция, где я получил задание ехать в Литву, мол, сегодня в понедельник едут замглавного Андрей Филиппович Полторацкий и Рейнгольд Владимирович Садов, они просили, чтобы и ты поехал. Так что, Владимир Карлович, поезжайте за билетами. Во вторник я уехал в Вильнюс (это особый рассказ). Выпито водки там было столько, сколько я не пил никогда — ни до, ни после. Это была дешевая покупка литовскими товарищами старших братьев из Москвы. А русский человек на халыву, как известно, пьет без меры. Но не буду прерываться. Короче, в редакции я оказался через неделю. И вдруг с удивлением узнал, что Рашишвили без меня повадился заходить в журнал. Вначале он заходил и спрашивал Владимира Карловича, по дороге заглядывал к ответственному секретарю Грекову, здоровался с ним, здоровался с женщинами редакции, принося каждой какую-нибудь мелкую безделушку. Как подойти к мужикам редакции, он не знал, не умел. А женщины уже встречали его улыбками.

«Какой у вас хороший и обходительный автор», — сказали мне дамы из технического отдела. Почему-то я сразу понял, кто это. Да и он тут же появился. Он шел ко мне навстречу не то протягивая руку для рукопожатия, не то примериваясь к объятию. Я невольно отстранился, и он просто протянул мне руку: «Владимир Карлович, дорогой, вот вы и вернулись. Я прямо соскучился. Очень не хватало ваших советов. Я, конечно, читаю те книги, что вы мне посоветовали, но моим мозгам непривычно воспринимать такую информацию. Теперь вы вернулись, и я рассчитываю на вашу помощь». Я вздохнул, но это была моя работа, за которую я получал деньги. «Что же вас так смутило в этих текстах?» Он улыбнулся мне как общнику, который все должен понимать: «Ни слова из них запомнить не могу. Ни одной цитаты до сих пор не выбрал». Что было сказать? Я сказал: «Вы только начали, работайте, читайте дальше».

Но, разумеется, ему надо было сейчас или, в крайнем случае, завтра. «Я тут затеял дело продовольственной помощи вашему журналу, Леонид Иванович меня поддержал. Вас мы тоже включаем, конечно», — он подмигнул мне. Я опять настороженно отодвинулся: «Что это значит?». Что-то откровенно нечистое было в тоне и ухватках первого фаготиста Большого театра. «Как что? — удивился Фагот. — А продуктовые заказы?» Надо напомнить читателю, что хотя перестроечного продуктового дефицита, когда магазины стояли вообще пустые, заваленные приправой «хмели-сунели», еще не было, но я тогда придумал создать «Красную книгу исчезающих пищевых продуктов». Идею со смехом поддержали. Но дальше клюквы в сахаре мы не пошли. Потому что другие продукты время от времени еще появлялись. А клюква в сахаре, казалось, исчезла навсегда. В больших учреждениях существовала система заказов, когда раз в неделю можно было подобрать по нормальной цене те продукты, которых уже не было в магазинах. Но редакция была мелкой структурной единицей, и заказов у нас не было. Так что Рамишвили как бы восстанавливал по личной инициативе справедливость. «Пожалуйста, только без меня. Я в это не играю». Фагот все чуял, как зверь: «Не хотите быть мне должным. Да и я не хочу вас ни к чему приневоливать. А книги я буду потихоньку читать. До Нового года все прочитаю, обещаю».

Я вернулся в редакцию. Он, в задумчивости покрутив головой, отправился по своим делам. Шли дни, Рамишвили шнырял временами в редакцию, каждую пятницу какие-то люди принесли свертки — продуктовые заказы прямо в кабинет Главного — Вадима Сергеевича, кабинет его заместителя Андрея Филипповича и кабинет ответственного секретаря Леонида Ивановича. Все догадывались, кто творец этого изобилия и смеялись: «Твой автор, а ты не получаешь ничего». Со мной Рамишвили иногда тоже об этом позволял

себе говорить: «Владимир Карлович, ха-ха, завтра у нас операция “Стендаль”, ведь праздники приближаются. Вас не включить?» Стендаль был когда-то моим любимым писателем. Но я не понял, что имелось в виду. «Как что? — удивился Фагот. — “Красное и черное” ведь его роман? Вот в заказах предновогодних будет красная и черная икра». Честно сказать, соблазн был поставить на новогодний стол икру. Но принятый стиль поведения требовал строгости, да и как-то несимпатично было — получать то, что другие не имели. И я опять отказался. Все равно Новый год был веселый и без икры.

Стоял январь, снег счищался с мостовых и тротуаров, и уже по обочинам расчищенных дорог и дорожек высились огромные сугробы. И вдруг 14 числа, когда я пришел в редакцию, секретарь Таня передала мне конверт. А в нем два билета в Большой театр на «Князя Игоря» на 16-е января — с запиской, осторожно-лаконичной: «Это не совсем подарок. Стоимость билетов 80 рублей. Отдадите мне на спектакле, я там играю». Даже моя щепетильная жена сказала, что это можно принять, что деньги мы найдем. Добавлю, что моя месячная зарплата составляла 120 рублей. Так что на подкуп это не тянуло. 16-го я, правда, работал, но спектакль был вечерний, я успевал, и мы договорились с женой Милой встретиться перед входом в Большой. И все бы хорошо, но в этот день, как часто бывало, мне друзья передали на пару суток тамиздат — несколько номеров «Континента» и, как помнится, маленькую книжонку Андрея Амальрика «Просуществовал ли Советский Союз до 1984 г.?', еще первое, амстердамское издание 1969 г. Поскольку нигде портфель сдавать было не надо, я уложил туда книги и отправился в театр. У входа жена Милка сказала, что она созвонилась со своим приятелем, первой виолончелью театра, Димкой Миллером, и после окончания оперы он ждет нас в буфете, мол, есть, что отметить. «Смотри, не напейся, все же Большой театр», — сурово сказала жена, обычно в домашних условиях не очень контролировавшая меня. «Не в театре дело», — ответил я. Я открыл портфель, попросил ее заглянуть туда и посмотреть, что за книги. А потому, добавил я, надо, чтоб она следила за тем, как я выпиваю — не потерять бы портфель. Мы сидели, кажется, в партере. Во всяком случае, на хороших местах. Голоса были чистые, но, если честно, то не помню, кто пел. Князь Игорь был удачен, не переигрывал. Ария Кончака мне понравилась, как всегда, как и половецкие пляски. И дружбу Кончак обещал, и девушек.

В перерыве появился и двинулся к нам по проходу мой Кончак, мечтавший о дружбе со мной. Фагот подошел с широкой улыбкой на горбоносом лице. Я представил ему жену, а потом сразу же протянул восемьдесят рублей. «Ну, зачем же так сразу! — воскликнул Фагот. — Тогда я приглашаю вас в буфет, чаю возьмем, по бутербро-

ду, с чем захотите». Мы пошли. «Только плачу сейчас я, — сказал Рамишвили. — Я вас пригласил. А потому это мое право — право первой ночи. Да и потом я могу без очереди». Он посадил нас за столик, сам побежал к прилавку, и через пять минут принес два стакана чаю и тарелку с четырьмя бутербродами — два с бужениной, два с красной икрой. «А я не буду сейчас, мне нельзя, еще играть». Но за столик все же присел и сказал жене: «Вот уговорите мужа заказы получать. А то он привел меня в редакцию, редакция пользуется, а он отказывается». Все было неправдой. Я его в журнал не приводил, редакция не пользовалась, пользовалось заказами только начальство. Возразить я не успел, к нашему столику подошел бывший соученик жены по Гнесинке — первая виолончель Большого — Дима Миллер. Он пожал мне руку, поцеловал в щеку мою жену и сказал, что после оперы ждет нас в буфете. Вторая виолончель ставит ему бутылку за протекцию в Большой. Рамишвили встал: «Ну, я пошел, — и добавил, обращаясь ко мне. — Я вам позвоню, понравилось ли вам...» Кивнул Миллеру, первой виолончели, и ушел. «Вы что, в ссоре?» — спросила Милка. «Вроде нет, — ответил Миллер, — но чего-то в нем не то, а что — не пойму».

После окончания действия мы спустились в буфет. Буфет уже был закрыт. Какой-то белобрысый молодой человек (потом выяснилось, что это и была вторая виолончель) выпрашивал у буфетчиц стаканы и две бутылки фруктовой воды. Вернулся к столу, расставил стаканы. Четыре штуки, вынул из наплечной сумки бутылку, как оказалось питьевого спирта, 96%, довольно свободно поставил бутылку на стол, достал из сумки какой-то сверток из промасленной бумаги, развернул его, там было три куска хлеба, намазанные маслом, а сверху на каждом по две шпротины. Димка потер руки и сказал: «У него боевое крещение в Сибири было, оттуда бутылка. Он только вчера прилетел». Как помню, белобрысый все время молчал, только действовал. Разлил спирт по стаканам, открыл бутылки с водой, чтобы было чем запивать, разрезал каждый бутерброд перочинным ножиком на четыре части и посмотрел на кучерявого остроглазого Миллера. Тот поднял стакан: «За вторую виолончель!» Мы выпили, тут же запили пенящейся фруктовой водой и проглотили по кусочку бутерброда. Милка спросила: «А чего-нибудь более существенного для закуски достать нельзя?» Ее соученик по Гнесинке ответил, улыбаясь легкой улыбкой: «Нет, не сообразили вовремя купить. Придется так пить. Ну, будем!» И мы снова выпили. «Послушай, — спросил я, чувствуя некую развязанность языка после пары глотков спирта, — а что ты не поделил с Рамишвили? Вы, кажется, очень отчуждены друг от друга». Димка ответил: «Потому что моя виолончель важнее его фагота. А если серьезно, то многого не понимаю. Зачем хороше-

му музыканту (а он классный) становиться председателем профкома, зачем подавать заявление о приеме в партию, зачем писать статью в *Вопросы философии*? К его музыкальному статусу это ничего не прибавит. Ты сам-то как думаешь?» Я пожал плечами: «Я об этом не думал. Мы привыкли, что к нам в журнал все стремятся». Димка ответил: «То-то и оно, что непонятно. Ладно, продолжим выпивание». Бутылка опустела на треть, а допить ее надо было до конца, как требовал джентльменский кодекс. Димка Миллер встал и произнес голосом конференсье: «Объявляю. Ча-айковский! Оперетта Кальмана “Марица”!» Я знал, что это шутка еще гнесинских времен. И все это знали. Тем не менее выпили. Закуску смели всю. А спирт еще оставался. «Может, оставим здесь?» — спросила жена. Миллер отрицательно помотал головой: «Нельзя. Вторую виолончель обидим. Все же из Сибири бутылку вез». И тут к нам подошел местный охранник, он же привратник, здоровенный мужик с лопатообразными руками, взял меня за плечо (своих музыкантов он тронуть не решился): «Шли бы вы отсюда. Театр закрывать пора!» Если бы он меня не тронул, я бы смолчал, но тут, проспиритованный в буквальном смысле слова, я оскорбился и взорвался: «Да как вы смеете! Лапу убери с плеча!» Он ответил: «Сейчас выкину!» Я привстал: «А ну попробуй! Зверюга!» Он вдруг смягчил тон: «Ладно, пройдемте в комнату, где мы принимаем таких посетителей!» Я встал, меня покачивало: «Пойдем». Вдруг Милка потянула меня за руку вниз: «Присядь, товарищ прав, пора идти!» Я взорвался, вырвал руку: «Ты что?! Обалдела?» Но она так глянула на меня, что я понял — что-то не то происходит. Вместе с музыкантами она вытащила меня из театра и подвела к сугробу: «Сунь туда голову, сунь, сунь! И вспомни, что у тебя в портфеле!» Я был настолько пьян, что позволил собой управлять и сунул голову в сугроб. Снег освежил, я протер лицо мокрыми холодными руками. И вспомнил. Лихорадочно открыл портфель. Книги были на месте. «Спасибо, — только и прошептал я. — Даже вообразить страшно». И мы поехали домой. Фагот, конечно, был не виноват в этой истории, но почему-то, вспоминая его, я всегда вспоминал наш поход в Большой, чуть не кончившийся печально.

На следующей неделе Фагот появился в редакции: «Как вам “Князь Игорь”?» Понравился?» Разумеется, я поблагодарил его, как мог сердечнее. И спросил: «А как у вас статья? Идет?» Он ответил, улыбаясь тоже вполне сердечно, но слишком сердечно: «Стараюсь, дорогой маэстро! Вы ведь в своей области маэстро! Леонид Иванович вас очень хвалит». Леонид Иванович Греков, ответственный секретарь журнала, относился ко мне по-разному, все время подзревая во мне некую советскую неортодоксальность. Но, похоже, профессиональные качества ценил. Рамишвили вдруг раскрыл

портфель, достал бутылку армянского коньяка три звездочки, коробку шоколадных конфет и сказал: «Могу ли я сделать скромный взнос в общую копилку журнала?» Я бы и отпихнул его руку, но бутылку увидели друзья-коллеги, а у нас оставалось еще несколько дней до получки, денег ни у кого не было, а выпить хотелось. И сразу раздался голоса: «Володька, ты что прячешь от нас такого замечательного автора! Как вас зовут? Герман Зиновьевич? Вы сами-то к нам присоединитесь, Герман Зиновьевич?» Фагот присел на стул, именно присел, а не сел, пригубил коньяк из рюмки и добавил: «Может, я схожу еще за одной. Я пошел». Никто не возразил. Минут через пятнадцать он вернулся с парой бутылок, большим куском нарезанного сыра «Советский». Тогда этот сорт был из приличных. С этого дня он стал своим человеком в редакции, называл всех на ты, меня тоже (и не возразишь, когда всех так называет!). Да еще и по имени: «Володенька». Но заказы он по-прежнему поставлял только руководству журналу. Операция «Стендаль» шла своим чередом.

Примерно за неделю до майских праздников меня вызвал к себе ответственный секретарь Греков. «А почему, Владимир Карлович, вы отказываетесь от продуктовых заказов, которые присылает наш друг Рамишвили? Давно хотел спросить». Я ответил честно, как и думал: «Не хочу быть обязанным. Не хочу, чтобы он имел право нечто попросить меня». Греков вздохнул, сел за стол, полистал бумаги, поднял наконец десяток страниц, напечатанных на машинке: «Это статья нашего друга Рамишвили. Он сделал ее по вашим советам, но вам показать не решился...» Я посмотрел вопросительно: «Ну и?..» Он опять вздохнул: «Не получается у него. Придется Вам, Владимир Карлович, помочь ему...» «То есть?» Греков улыбнулся, протягивая мне странички: «Вот полистайте. Но, думаю, много здесь не найдете. Надо сесть и написать заново. Это просьба руководства. Впереди у вас майские праздники, десять дней. Это же искусство, тема вам близкая. Вот и поработайте. За это, скажем, можете прибавить лишних три дня к своему отпуску. Главный согласен. Это вам вознаграждение от руководства журнала».

Просьба руководства — это все равно что приказ. Особенно когда уйти некуда, а семью кормить надо. В конце концов это была не партийная статья, хотя в музыке я смыслил мало. Но зато вдруг возник интерес, а смогу ли я врубиться в незнакомую тему, чтобы текст получился достойный центрального философского журнала. И на партийности тут выезжать нельзя, ленинскую теорию отражения в балетном искусстве я забраковал. Я, конечно, не принимал тезис Садова, что *для журнала надо жить*, да и начальство не есть журнал, но чтобы не вылететь из журнала, чтобы не потерять жур-

нальную команду, как матросу команду корабля, с которой за годы работы сроднился, надо написать.

Редакционные друзья смеялись, советовали запастись выпивкой, чтобы дело пошло скорее. «И проверь, кстати, — серьезно сказал Мудрагей, — нет ли у твоего Фагота копыт. Уж больно быстро он обвел все наше начальство». Но я проверять не стал (да и как проверишь!), водки тоже не купил, а запаса текстами Вагнера, Листа, Скрябина и тому подобных гениев. У соседки оказался том Асафьева. Обложившись книгами и придумав название статьи, которое задало бы сюжет изложения, под это название я подбирал цитаты классиков, связывая их посильными своими рассуждениями, стараясь не выбиваться из стилистики и идей композиторов и музыковедов. Что касается философии, то одного Вагнера хватило бы на толстую книгу, но у меня было не исследование, а некоторый элегантный пробег по текстам внутри моей темы. Вообще, еще тогда я заметил, что писать за другого человека гораздо легче, чем писать свое. Меньше ответственности перед высшими силами. Потому что когда пишешь свое, то стараешься добиться, пробыться к какой-то сути. А тут ты не обязан искать сути. Назвать это журналистской работой? Можно и так.

Короче говоря, после майских праздников я принес в журнал готовую статью, и Греков сказал: «Ведь можете, если вас поприжать...» И хихикнул довольным. На что я довольно злобно ответил, что его слова напоминают мне тезис товарища Сталина о возможности построения социализма в одной отдельно взятой за горло стране. «Ну вы не очень-то давайте волю языку, а то никакие ваши таланты не помогут». Он прочитал вслух заглавие: «Философия музыки и творчество исполнителя». Подумал минуту, та ли это плата за еженедельные подношения и осторожно спросил: «Но вроде наш друг хотел, чтобы текст был связан с ленинской теорией отражения... Не так ли?» Я немного обозлился: «Но вы же философ и должны понимать, что эта теория к музыке никакого отношения не имеет. Я написал о философии музыки и творчестве исполнителя. Считаю, что это немало. Ведь даже самая красивая французская девушка, — ухмыльнулся я, уходя в шуточный регистр, — не может дать своему кавалеру больше того, что имеет». Греков засмеялся: «Ну ладно, подаем на редколлегию!» Тут открылась дверь и в проеме показалась голова Рамишвили. Меня он не заметил и спросил Грекова? «Ну как?» Тот ответил: «Можете благодарить Владимира Карловича, статья готова. Сдаем завтра на редколлегию, сам подпишу на ксерокопию». Фагот шагнул в кабинет, широко раскрывая объятия: «Володенька, но я всегда говорил, что ты гений! Леонид Иванович, ведь я это говорил?! Надо его как-то поощрить», — говорил он как имеющий доступ в начальственные

секреты и раскладки, — Хорошо поработал!» Мы вместе вышли из кабинета. «Операция “Стендаль” расширяется... Сколько у вас членов редколлегии? Ты по-прежнему не участвуешь?» Я твердо ответил, может, даже зло: «Нет. Не участвую». Рамишвили хмыкнул: «Ох, зря! Ведь икру не обязательно в праздники лопать...» «Давай подождем, что скажет редколлегия, — ответил я. — Не надо забегать вперед!» Он ухмыльнулся, нос его словно даже еще потолстел и вытянулся, обозначив отчетливо горбинку, глаза заискрились, и он внезапно хлопнул меня по плечу: «“Стендаль” никогда не подводил. Увидишь!» Я вдруг спросил: «А сам-то ты “Красное и черное” читал?» «А зачем мне. Мне друг Володька перескажет, если что», — хихикнул Рамишвили. Я махнул рукой и пошел в комнату, где сидели редакторы. Ребята, видя мое расстроенное лицо, только спросили: «Принял Греков статью?» Я кивнул. Больше на эту тему не говорили. Только с интересом наблюдали, как практически на каждую редколлегию поступали заказы для наших именитых ученых. И ведь никто не отказывался. Статью, разумеется, приняли.

Сейчас, читая о постсоветской коррупции, вспоминаю эту историю. И понимаю, что невысокого ранга начальство в советские времена стоило много дешевле. И не только начальство. В начале перестройки ходила история, как из Грузии везли два вагона левой продукции в Москву. Стрелочнику, чтобы он пропустил вагоны, предложили десять тысяч долларов. Он так перепугался, что тут же донес на коммерсантов. Потом говорил приятелям-собутыльникам: «Дали бы на пару бутылок, я бы их, конечно, пропустил. А тут уже чем-то страшным пахло». Фагот это прекрасно понимал. Денег ни коем случае не предлагал, а организовывал услуги, в которых нуждались даже начальники. Вариант коррупции, хотя и мелкой.

И вот наступил август, и вышел номер, где стояло: *Рамишвили Г.З.* Философия музыки и творчество исполнителя // Вопросы философии. 1979. № 8. С. 143.

Друзья предложили мне отметить избавление от египетского рабства. И выпить по этому поводу. Я и вправду себя чувствовал, будто достроил пирамиду какого-то безвестного фараона. Кто-то из ребят сбегал за бутылкой, поставили ее под стол за тумбу, стакан в ящик стола, туда же и порезанную колбаску. Едва успели выпить каждый по чуть-чуть, как в дверь заглянул длинноносый Рамишвили, констатировал: «Отмечаете!» И тут же добавил: «Я вам еще принес, чтобы за Володьку как следует выпили! Такого редактора у меня еще не было!» Оставил бутылку водки и скрылся в коридоре. Мудрагей, любивший все договаривать, буркнул: «Вот гад! Так ты, оказывается, редактор, а статью он писал, что ли?» Я отмахнулся: «Скинул и слава Богу!» И снова открылась дверь, вошел Греков,

повел носом, как всегда делал, когда хотел показать, что догадывается о нашей пьянке. Кто-то судорожно начал прятать бутылку, принесенную Рамишвили, но Греков вздохнул: «Да уж не прячьте. Думаю, Владимир Карлович заслужил небольшой сабантуй за блестящую работу. Только, Владимир Карлович, хочу вам передать официальное приглашение от Германа Зиновьевича, сам он не решился в присутствии такого количества народа. Короче, в следующий четверг он приглашает всю редколлегию и вас в “Славянский базар” на обмывание его статьи. Ждет он нас в три часа». И Греков немного вперевалочку покинул нашу комнату.

Вот и наступил следующий четверг. Начальство покинуло редакцию около часа, и мужики потащили меня в «стекляшку». Выпили, потом снова выпили, потом еще раз выпили. «Только смотри, не наклюкайся, — сказал Кормер, — а то честь философского мундира опозоришь. Помни, что Гегель умер от пьянства. Умереть от пьянства имеешь право, но рухнуть мордой в салат нельзя!» Орешин поправил: «От холеры». «Что от холеры?» — переспросил Кормер. Орешин твердо сказал: «От холеры помер Гегель». Кормер ухмыльнулся длинной улыбкой: «Это так в учебниках пишут. Но мы-то знаем». Орешин поправил очки, посмотрел поверх очков на Кормера и сказал: «Ну-ну! — повернувшись ко мне, сказал: — Шел бы ты, Володька, отсюда подальше, в этот, как его, “Славянский базар”. А то еще полчаса с Кормером, и ты никуда не дойдешь».

Я собрался с силами, вышел, надеясь, что по дороге хмель хоть отчасти уйдет. Действительно, к «Славянскому базару» я подошел уже на сравнительно твердых ногах. Войдя, спросил привратника, где заказана комната на «Вопросы философии», заказывал Рамишвили. Меня он понял и проводил в зал, где уже сидела наша редколлегия.

Во главе стола сидел главный редактор, даже у сидящего живот его явно выдавался вперед. Рядом полупривстав и разливая по бокалам алкоголь, улыбался всем Рамишвили. Увидев меня, он всплеснул руками и воскликнул: «Давайте поприветствуем моего любимого редактора, самого лучшего в мире редактора! Володечка, иди, садись рядом с Леонидом Ивановичем, мы специально тебе место сберегли». Сам Рамишвили сидел между Семёновым и Грековым, я сел рядом с другой стороны от ответственного секретаря. Напротив Рамишвили сидела блондинка того типа женщин, которых обычно определяют как «миловидная блондинка», женщина лет тридцати. «Жена», — кратко представил ее мне Фагот. Имени не назвал. Перегнувшись через стол, будучи уже навеселе и немного развязан, я поцеловал ей руку. Она мне улыбнулась. Интересно, что еще двум пришедшим членам редколлегии он представил ее точно так же: «Жена». Эта манера выражения почему-то напомнила мне гениаль-

ную повесть Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Написав эту строчку, я нашел в гоголевской повести вспомнившуюся сцену, чтобы точнее процитировать: «Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него всё шумит, вертится. А он бежит, бежит, не чувствует под собою ног... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. “Ай! кто это?” — “Это я, твоя жена!” — с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что всё в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею; и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена». Но Рамишвили в отличие от Шпоньки отнюдь не робел, а представлял жену, как хозяин представляет свою служанку. «Что ж, — подумал я тогда, — всякие отношения бывают».

Вошел еще Владислав Жанович Келле. «Жена», — представил Рамишвили. Келле тоже поцеловал руку жене, а потом так же Фагот представил женщину и Михаилу Федотовичу Овсянникову, ему уже было за семьдесят, и он только помахал даме рукой. Гости заняли свои места. Теперь все были в сборе. Но здравицу юбиляру, конечно, должен был начать Главный. Семёнов приподнялся из-за стола с рюмкой водки в руке и сказал: «Наш журнал всегда рад притоку свежих сил, будь то художник, литератор, музыкант, особенно если человек искусства так замечательно разбирается в философии, как наш дорогой Герман Зиновьевич! Мне было приятно читать текст музыканта, не только профессионала в своей области, но и рассужденчески понимающего философию. Я ведь тоже немного к музыке имею отношение. В школе занимался в балетной студии. Поэтому мне поначалу так и понравилась первое заглавие статьи “Ленинская теория отражения в балетном искусстве”. Но и новое заглавие неплохое. Размышленчески-философское. Предлагаю тост за нового и многообещающего автора нашего журнала». Рамишвили подскочил: «Это аванс, который я постараюсь оправдать». И пригубил рюмку, а главный выпил целиком. И добавил: «Ну, а Владимир Карлович Вам поможет!» Эта продажа меня в рабство вызвала, есте-

ственно, мое резкое неприятие. Я вообще-то человек, не очень умеющий злиться, но моим главным достоянием, моим богатством я всегда считал время. Как писал Сенека: «Только времени не возвратит даже знающий благодарность». Этот его афоризм я распечатал и прикрепил над своим письменным столом. Поэтому, запасмурнев, я сказал: «Уверен, что Герман Зиновьевич, уже и без помощи редактора справится. Редактор ведь не автор». Семёнов нахмурился, но ничего не сказал. «Вадим Сергеевич, мы разберемся с Володечкой», — сказал Герман, и попытался потрепать меня по плечу. «Уже разобрались!» — ответил я, снимая его руку с плеча.

Но Фагот ловко сменил тему разговора, обратившись к Главному редактору: «Вадим Сергеевич, а скажите, какие-нибудь балеты, где вы участвовали, ваша студия ставила? Какой-нибудь вам запомнился?». Вдруг вполне серьезно Семёнов ответил: «Да, это было “Лебединое озеро”. Я был в группе мальчиков, исполнявших танец маленьких лебедей. У нас очень хорошо получалось. И нас пригласили в Большой театр, где мы выступали перед самим Сталиным». И вдруг он вышел из-за стола. Бывают в жизни моменты, когда необходим приятель, которого можно было бы толкнуть локтем, чтобы он вместе с тобой оценил комизм ситуации. Но лица у членов редколлегии были вполне постные. А Главный редактор, выпятив живот, вдруг сделал несколько па, припомнив свое сталинское детство. Никто не знал, как реагировать! Нашелся Рамишвили: «Браво, Вадим Сергеевич! — выкрикнул он и зааплодировал. — Сразу можно представить, как эффектно выступала ваша группа! — Он выскочил из-за стола и подхватил Семёнова под локоть. — Садитесь, а то устанете». Я опустил глаза, чтобы не видеть этого бреда. Но выпивать продолжал.

Поднимались тосты. На халяву в советское время тоже любили выпить. А может, даже больше, чем ныне. Ведь это была не взятка, за это в милицию не поведут, хотя, разумеется, взятки в СССР были, не в масштабах министра Сердюкова, но брали все, которые связаны были с материальными благами. Особенно свирепствовали чиновники, от которых зависело жильё. Правда, об этом как-нибудь в другой раз. По сравнению с этими взятками банкет в ресторане был невинным событием, просто советские философы покупались на фу-фу.

Герман пригласил оркестр, заиграли танго. В те годы принятый алкоголь сразу пробуждал во мне донжуанские инстинкты. Как шутили тогда: «Не бывает плохих женщин, бывает мало водки». Но женщина за столом была одна, «жена», т.е. жена Фагота. Поэтому, поднявшись и слегка пошатываясь, я попросил разрешения у Рамишвили потанцевать с его женой. «Володечка, тебе все разреша-

ется, — воскликнул длинноносый разбойник с прохиндейским выражением на лице. — На этот вечер я тебе ее уступаю, даже дарю!» Женщина покраснела, но встала из-за стола и пошла мне навстречу. Послушная как кукла-автомат из гофмановских фантазмагорий, вроде куклы «Песочного человека». Невольно я вспомнил слова Мудрагея: «Посмотри, нет ли у него копыт?»

Копыт, конечно, у него не было. Обычные башмаки. Копыта в такие не засунешь. Музыка стихла. Я улыбнулся и полуобнял ее за талию, ожидая следующего танца, и в тишине шепнул, слегка прижав ее: «А как жену-то у Рамишвили зовут? Не могу же я вас женой называть!» Она хмыкнула: «Женой? Смешно. Таня меня зовут». Заиграла музыка. Танцевать я всегда был не мастер, но танго казалось мне даже для меня доступным танцем: обнять, прижать и топтаться на пятачке, поворачивая время от времени партнершу вокруг себя, прижимая тесно, так что ее груди прижимались к моему телу, что меня весьма сильно возбуждало. Она, не стесняясь, тоже прижималась, чувствуя, что возбуждает партнера, и сама возбуждаясь от этого. В какой-то момент я не выдержал и, целуя ее за ушко, прошептал: «Танечка, послушай! А что если я тебя уведу отсюда? Что муж скажет?» Она вдруг коротко рассмеялась: «А ты что, не понял? Не муж он мне. За двадцать пять рублей меня на сегодня нанял. Мы с тобой свободны!»

«Хорошо», — сказал я. Вернулся к столу. Взял свой портфель, и мы ушли. Как уж объяснил наш уход Рамишвили, я не знаю и знать не хотел. Примерно недели через две он заявился в редакцию, вызвал меня на черную лестницу и предложил написать за него кандидатскую диссертацию — за три тысячи рублей. Такое некоторые из моих коллег делали, но я был сыт. Я посмотрел на него и сказал: «Не жирно было б, не стошнило б». Он сказал: «Хм, а тебе Танька понравилась? Хочешь, я ее за тобой закреплю?» И я ответил, как тогда говорили, — *уклончиво*: «А не пошел бы ты на х...»

И он отстал. Все же чувство неловкости у него было. Все же факт. Интеллигент в какой-то мере. Одного не понимаю, зачем ему это было нужно. И статья, и Философское общество, в которое он вступил. Так и остался музыкантом. Ни философской, ни партийной карьеры не сделал.

19. Тамиздат и Старая площадь

(О феномене случайного)

Какую роль играет в человеческой жизни случайность? Многие на случайность жалуются. Мол, если бы все шло по плану, то все сложилось бы хорошо, а случайность все испортила. Случайно начальник услышал брань в свой адрес и отношения испортились, а потом и работу потерял. Случайно вазу в богатом доме разбил, потом туда приглашать перестали. Раз разбил, значит — не твой уровень, не твоя страта, случайности не было, была закономерность. Да и начальника, видно, вы очень не любили, раз вслух высказались. А может, просто глупость, стоило сдержать раздражение? К добру раздражение никогда не приводит.

Но я о настоящей случайности, как законе человеческой жизни, противостоящей предопределенности. На каком основании возникло в море Азии вдруг маленькое европейское пространство, именуемое ныне античной Грецией? Причин называют много, но как они вдруг сошлись воедино, чтобы случилась подобная мутация? А Петр Великий? Московская Русь должна была развалиться, цари были беспомощны перед народом, перед воющими толпами, бунташный век, как называют это время историки. Пушкин в своих заметках о Петре писал, что человек «видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая* — мощного, мгновенного орудия провидения». Именно Петр стал тем *случаем*, тем *орудием провидения*, тем перводвигателем, «кем наша двинулась земля», кто удержал Россию «над самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, явился Петр»), которого никто, никакой ум предвидеть не мог, ибо было это — *явление*, т.е. *случай*, для России случай спасительный. Отрицать дело Петра — отрицать христианский шанс России,

вновь, после татарского погрома, стать христианской, т.е. европейской страной.

Напротив, убийство Столыпина не было случайностью. Все хотели, чтобы Столыпина не стало — большевики и эсеры, охранка и кадеты, Распутин и русская бюрократия, Ленин и Лев Толстой¹. Случайно как раз то, что он так долго продержался и показал возможность европейского развития станы. Зло всегда детерминировано.

Сошлюсь на свой личный опыт, опыт случайностей, выводивших меня из смертельных (без преувеличения) опасностей. Хотя бы такой момент, что я оказался единственным выжившим ребенком в поголовно вымершем московском роддоме в 1945 г.

Были и другие истории-случаи. Думаю, каждый человек считает их в своей жизни немало. Лет пять назад поехали мы с женой на экскурсию из Кисловодска в Чегем. И автобус был старый, даже без кондиционера на той сумасшедшей жаре, за каждый заезд к новой достопримечательности с нас собирали деньги. Ущелье и водопады были красоты неимоверной, но их не люди придумали. На обратном пути, когда мы уже выехали из ущелья, дорога все еще шла вверх, вдруг автобус развернуло боком. Сверху неслись две легковые машины, они сумели притормозить, снизу шел такой же тяжелый автобус. И хорошо, что ехал снизу, тоже притормозил. И вдруг наш автобус понесло в боковой ров у дороги, сквозь стекло водителя я увидел крест, чья-то могила. Все шло к концу. И вдруг автобус остановился. Шофер заорал, что он не понимает, почему машина встала, но чтобы все как можно быстрее выбирались сквозь наполовину открывшуюся переднюю дверь. Удивительно, что пассажиры пропустили вперед и помогли выйти детям, старикам. Мужчины вышли последние. Водитель, конечно, уже был на воле. Тут автобус вдруг дернулся, рванул ко рву, правое заднее колесо сорвало и с искрами оно полетело в сторону, а автобус въехал в ров и перевернулся. Ведь это была абсолютная случайность, что мы уже выехали из ущелья, а потому не рухнули в пропасть. Вскоре появились гайшники, водитель сунул какую-то бумажку, полный и улыбчивый гайшник бумажку прочитал и сказал с кавказским акцентом: «Техосмотр проходить надо, а не справку покупать».

Но весь рассказ я веду о самой невероятной и по сути смешной случайности (теперь — смешной, тогда — страшноватой), которая случилась со мной на Старой площади, когда с портфелем, набитым тамиздатом, я шел к одному из чиновников аппарата ЦК КПСС.

Нынешнее поколение покупает русские книги, *изданные там*, т.е. тамиздат, не очень вдумываясь, что сие значит для людей старшего поколения. Я смотрю на эту возможность с легким и уже почти привычным радостным изумлением. В мое время тамиздат не покупали в магазинах, его доставали, давали почитать друзья или верные люди, хранение и чтение тамиздата означало риск тюрьмы. За эти книги «давали срок», порой немалый. Спрашивается, какого черта я поперся с этими книгами на Старую площадь? Но надо сказать, что уже с университета немало книг тамиздата перебивало в моем портфеле. Обычно я старался скорее доехать до дома. Но бывали ситуации, когда приходилось идти в библиотеку (я любил больше других Историчку), а там сумки и портфели надо было сдавать. Вначале, сдав портфель, в котором лежал мой тюремный срок, я сидел за книгами и время от времени утешал себя: «Там десятки портфелей, почему должны открыть именно твой?» Речь могла идти, разумеется, не о проверке, а о мелком воровстве, во время которого могла обнаружиться и запрещенная книга. Но библиотека это одно, а аппарат ЦК КПСС — совсем, совсем другое.

Выхода, однако, не было. Мне один из друзей принес в редакцию «Вопросы философии» завернутые в газету три книги: Авторханова, «Жатву скорби» Конквеста и «Колымские рассказы» Шаламова, я спрятал их в портфель. «На три дня», — предупредил приятель. Проблемы нечтения или малого чтения в те годы среди российской интеллигенции не было. Читали не переставая. Я собирался было уже идти с коллегами на обед, где всегда немного выпивали. Разумеется, взяв с собой портфель, чтобы уже не возвращаться. И тут меня позвали к телефону, звонил Квасов, сотрудник аппарата ЦК, автор, статью которого мне поручили вести. Был он мужик бытово очень добродушный, приветливый, чинами и связями не щеголял.

«Я вычитал верстку, — сказал он, — хотел бы кое-что с Вами обсудить, а завтра я на две недели должен уехать. Так что я Вас жду у себя». Уходившие друзья призадержались, глядя на меня с вполне понятным вопросом на лицах. Прикрыв ладонью мембрану, я шепнул: «Квасов». И махнул рукой, мол, не ждите. Друзья ушли, а Квасов в завершение разговора добавил: «Если поторопитесь, то еще в буфет успеете, сегодня четверг, рыбный день¹, к нам шикарного судака завезли». Цены в цековском буфете, как известно было тем, кто сумел там отовариться, были копеечные. Сами цековцы

¹ В те годы мудрые головы из Политбюро, не зная, как еще решить продуктовую проблему, придумали, что день в неделю — четверг — будет рыбным днем. Значит, мяса потребуется меньше.

¹ См. мою статью: *Кантор В.* Петр Столыпин в контексте русской культуры. Феномен длящейся истории // Вопросы литературы. 2013. № 3. С 9—41.

привыкли к этому, хотя иногда готовы были пособить с продуктами тем, кто так или иначе был связан с ними и попадал на Старую площадь. Напомню, что это была эпоха заказов, начало восьмидесятых. Магазины были почти пусты и только в продуктовых заказах люди получали какие-то продукты. Заказы составлялись так: на полкило колбасы и триста грамм сыра прибавляли вещи совсем не нужные — три пачки соли, набор спичек и штуки три просроченных консервов, скажем, бычков в томате. Их все равно ели — под водку.

Не могу удержаться от одного отступления. Рассказывали байку, как член Политбюро товарищ Михаил Андреевич Суслов посетил Казахскую ССР. Повозили его, показали достижения казахского народного хозяйства. Когда речь зашла об обеде, Суслов поинтересовался, что приготовили они ему на обед. В ответ услышал, что закололи несколько барашков и будет много блюд из баранины: «Шашлык, например, какого не пробовали никогда, Михаил Андреевич». И тут Михаил Андреевич строго сказал: «Какой шашлык? Сегодня же четверг, рыбный день. Нет, мне тоже рыбу. Хочу есть, что ест вся страна». Понимаете, Казахстан!.. Какая уж тут рыба! Но стараются изо всех сил: «А какую рыбу вы предпочитаете, Михаил Андреевич». И тот так скромно отвечает: «Знаете, я к форели привык. Желательно, конечно, свежую». Вопрос: где лучшая форель? Ответ — в Армении, на озере Севан. И что же вы думаете: снарядили самолет правительственный в Ереван за форелью, куда уже дали телеграмму. К обеду успели. Приготовили, как он любил. И это выяснили. Поковырял Михаил Андреевич рыбку вилкой, из двух, лежавших на тарелке, отъел половину от одной. Он же старался выглядеть аскетом. Потом отодвинул тарелку: «Спасибо. Сколько с меня?» Принимавший партиец воскликнул: «Да что вы, Михаил Андреевич! Вы же гость! С вас ничего». Суслов поднял руку, останавливая холуя: «У нас исключений быть не должно. Хорошо, что я знаю цену. По четвергам в столовой ЦК всегда беру форель. Не думаю, что у вас дешевле». Вытащил из портфеля портмоне, открыл его и отсчитал 37 (тридцать семь!) копеек. И положил на стол, поднял палец и сказал наставительно: «Всякий труд должен быть правильно оплачен. Мы еще не при коммунизме, когда все бесплатно будет».

Такая вот ходила байка. Правда или нет, не знаю. Но похоже на правду. Во всяком случае такими мы и представляли деятелей «высшего звена».

До сих пор мне ни разу не приходилось бывать в цеховских столовых. И было очень любопытно. Но книги! Куда девать книги? Оставить в столе? Но тогда уборщицы у нас работали тщательно. Друзья ушли. И я оставил книги в портфеле, завернув их в газету «Известия». И направился на Старую площадь. О ней написано не-

мало. Чтобы не повторяться приведу свидетельство А.С. Бузгалина, человека, там работавшего: «“Старая площадь” — так полууважительно, полустеснительно называли аппарат ЦК КПСС между собой “посвященные” (партийная и хозяйственная номенклатура и обслуживающая их обществоведческая братия). И, действительно, на Старой площади (точнее, в огромном квадрате между этой площадью и подступами к Кремлю) были расположены то ли 5, то ли 6, а может быть и 10, зданий аппарата ЦК (я написал, то ли 5, то ли 10, так как за год так и не научился ориентироваться в лабиринтах этих помещений, регулярно терялся и блуждал едва ли не часами в поисках нужного кабинета)».

В аппарат ЦК на Старой площади можно было проходить по партийному билету. Партийцы доверяли друг другу. Но поскольку членом партии я не был и партбилета у меня не было, мне пришлось идти в бюро пропусков. В отличие от нынешних структур, перенявших повадки секретных служб и требующих везде паспорт при входе, бюро пропусков ЦК без возражений приняло мое удостоверение «Вопросов философии». И получив пропуск, я совершенно спокойно отправился к входу на закрытую от обычных людей территорию и спокойно протянул лейтенанту пропуск и журнальное удостоверение. Он мелком глянул на пропуск, а удостоверение вдруг начал рассматривать очень внимательно, поворачивая в разные стороны, то приближал к глазам, то отдалял. Потом обратился ко мне, указывая на деревянную будку рядом с воротами: «Пройдите туда. Я вынужден вас задержать». Я ошарашен. И первая мысль, что откуда-то он знает о содержимом моего портфеля. Но знал одно, нельзя показывать растерянность, надо о правах говорить. «На каком основании?!» Он издали показал мое удостоверение: «Документ подделан». И слава Богу, речь не о портфеле, не потребовал, чтобы я его открыл и показал содержимое... Ведь от Старой площади до Лубянки, — вдруг подумал я, — здесь совсем недалеко. «Почему это подделан?! — почти выкрикнул я. — Можете позвонить в редакцию, там секретарь редакции еще работает, она допоздна сидит. Ее зовут Ольга Яковлевна». Он довольно резко прервал меня: «Я не спрашиваю вас, кто где сидит, пройдите, куда было указано. И сядьте за стол».

Я вошел в будку, сел за стол, постаравшись наивно запихнуть портфель подальше под стол, будто у меня его и вовсе нет. А с улицы слышал: «Товарищ капитан! Задержал гражданина. Пытался проникнуть на территорию по подложному документу». В будку вошел капитан. Был он пониже ростом и постарше: «Так, покажите мне документ. Так. Вы уверяете, что являетесь сотрудником журнала “Вопросы философии”. Я правильно понял?» Стараясь не

довести дело до обыска портфеля, я воскликнул: «Не утверждаю, а и в самом деле являюсь. А почему, собственно, вы сомневаетесь?» В отличие от лейтенанта, капитан оказался любезнее, показал мне раскрытый пропуск и ткнул пальцем в мою фотографию, на которой отчетливо виднелись две печати. И я вспомнил, что Ольга Яковлевна, когда услышала, что я забыл новую фотографию для продления пропуска, махнула рукой и шлепнула печать на старую, сказав: «Сойдет. Кому надо это проверять?». Но не сошло. Я все время держал в голове, что дело может дойти до обыска, а тогда удостоверение — пустяк. И все-таки повторил: «Можете позвонить в редакцию. Там как раз наша секретарь Ольга Яковлевна, которая печать ставила». Капитан отрицательно покачал головой: «Никуда я звонить не буду. Вы садитесь за стол и пишите... А ты, — обратился он к лейтенанту, — дай бумагу и ручку». Передо мной было положено штук пять канцелярских чистых листов бумаги размером А4 и шариковая ручка. «Пишите, — сказал капитан, — вначале слово “Заявление”, а потом — я такой-то, проживающий по такому-то адресу, работающий там-то, пытался сегодня, такого-то числа проникнуть на территорию аппарата ЦК КПСС...» Я подскочил: «Я не буду этого писать! Я не пытался проникнуть, я шел к сотруднику аппарата, я же не враг, не шпион...» А внутри что-то засосало: «Если откроют портфель, то вот и враг!...». Капитан вежливо показал мне снова на стул: «Пишите, что вам сказано».

«...проникнуть на территорию ЦК КПСС, объясняя это необходимостью посетить сотрудника аппарата. Подпись и число». Бесмыслица этого заявления была очевидна, но я подписался и протянул листок капитану: «А теперь что?». Ожидая, понятное дело, что далее последует обыск. Капитан улыбнулся: «Теперь? Берите свой портфель и идите, куда шли. Как глубоко вы его засунули!..» Я вытащил портфель, все еще ожидая вопроса: «А давайте посмотрим, что у вас там!». Но никаких подобных слов произнесено не было. И на не очень твердых ногах я отправился к зданию, путь к которому указал мне капитан. «Почему они меня не обыскали? Ведь незнакомца, «пытающегося проникнуть» на охраняемую территорию, полагается обыскать. Наверняка, есть такое правило. Забыли. Или уж очень я производил впечатление невинного ягненка? Что у такого может быть? А попусту пугать дальше не хотели. Видели, что и без того я напуган. То есть случайность? Они должны были меня остановить, проявить бдительность. Это не случайно. А случайность, что меня не арестовали, хотя должны бы были. «Но ведь я еще назад пойду, — вдруг снова испугался, как и положено советскому интеллигенту, — тут меня и обыщут. Им просто шума не хотелось поднимать, пока я к какому-то чину по делу шел. Да, так

и будет». И мне казалось, пока я шел по территории Старой площади, что за мной, конечно, следят. Миф о всевидящем Оке Органов, который был создан в советское время, работал безошибочно. Они ведь знают все. И про книги в моем портфеле тоже. Это было чужое, магическое пространство, где случайностей не должно быть, где живут по другим законам существа, похожие на людей, куда обычный человек может попасть по необходимости, но где он должен быть все время настороже.

Когда я поднялся на третий этаж к своему автору, я взял себя в руки, стараясь держаться солидно, как и положено редактору важного журнала. «Ну что, пойдём в буфет?» — обнял меня за плечи высокий человек. «Нет, нет, сначала статья», — возразил я. «Ну смотри, опоздать можем». Мне было не до буфета. Они, эти похожие на людей, жили уже при коммунизме. Только для них. Ни один утопист (или антиутопист — что, на мой взгляд, одно и то же, *das Gleiche*) такого не придумал, ни Платон, ни Замятин, ни Оруэлл. Все по-домашнему. Просто они жили в другом пространстве. Это то, что почувствовал и показал Достоевский в проекте Шигалева. Особые законы, а главное — особый быт для высших. Поначалу их отстреливали, но я рассказываю о периоде, когда новая структура сложилась и уже не боялась за жизнь. Я очень хотел как-то вдруг очутиться вне этого пространства, где жила нежить по шигалевской программе. Они всё! А мы никто. Заколдованное место. Оно неуничтожимо. Уйдет аппарат ЦК, придет другой начальственный аппарат, так организовано это пространство. Скорее уйти! Я себя здесь чувствовал абсолютно чужим. С текстом статьи мы разобрались быстро. Но буфет как раз закрылся. «Ну ладно, — сказал мне автор по-отечески “на ты”, — давай свой пропуск, подпишу на выход. Печать моя секретарша поставит. Отдашь охране у ворот».

Я вышел, стараясь не смотреть по сторонам, не оглядываться. Подошел к воротам, вертя в руках подписанный пропуск. Но здесь уже была другая пара охранников. Другой лейтенант взял молча мой пропуск, посмотрел подпись и печать и кивнул, мол, проходи. Значит, предыдущие ничего не сказали этой смене. «Всего доброго», — неожиданно сказал я, обращаясь скорее к себе, чем к ним.

«Ну, ты экстремал», — сказали коллеги, когда я рассказал им эту историю. «Случайность», — пожал плечами тогдашний парторг редакции. — Мог загреть на всю катушку». На что самый из нас мудрый сказал: «Что ж, случай есть псевдоним Бога».

20. Едва не прервавшийся отпуск

Почему-то человек самым важным, более того, данным почти навсегда, считает сегодняшнюю жизнь. А те начальственно-знаковые фигуры, которые эту жизнь выражают, кажутся определяющими едва ли не все смыслы культуры. Я помню, как еще в советское время я спросил на даче соседского мальчика Виталика, приятеля моего сына: «Виталик, а ты хотел бы жить вечно?» Ответ был поразительным. Он почти не задумался и ответил: «Но это же невозможно. Что я, дело Ленина, что ли?!» Да, дело Ленина казалось народу вечным, об этом постоянно писали в газетах, говорили по радио, твердили по телевизору. Драматург Шатров доказывал в своих пьесах, что Ленин был добрый и мудрый, что его дело попытались исказить. Но оно пробивается сквозь все пласты, наслоения зла и ошибок и сияет нетленным светом.

Прошло по историческим понятиям не так много времени — лет двадцать, и вот уже дело Ленина было названо преступным, а еще через двадцать лет помнят о нем в основном историки. А ведь сколько он крови пролил, миллионы людей уничтожил. Бунин писал: «Это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание, они увеличили число русских трупов в сотни тысяч раз, они превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым погостом, юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; это они затопили весь этот погост тысячами “подавляющих оппозицию” чрезвычайцаек, гаже, кровавее которых мир еще не знал институтов, это они <...> целых три года дробят черепа русской интеллигенции»¹. И вот все это забыто, как горы черепов после Тамерлана. Вспом-

ним картину Верещагина. И черепа уже неизвестно чьи, и кто превратил этих бывших людей в черепа — не помнит никто. Какое же дело живет вечно? Наверно то, создатель которого не ждал вечной жизни на этом свете.

Поразительно, что наследники тиранов, визири, баскаки, партийные боссы тоже относилась к своим делам и словам как к вечным, которые надо лелеять и хранить. Они были продолжатели и как бы хранители вечной жизни лидера. Строились мавзолеи, книги печатались на пергаменте, собрания сочинений выходили миллионными тиражами... Все остальные воспринимались как обслуга этих продолжателей. В журнале «Вопросы философии» время от времени эти баскаки печатались, это воспринималось общественностью как предпоследнее слово марксистско-ленинской мысли. Предпоследнее, поскольку последнее слово на каждый важный текущий момент формулировал съезд согласных глухих (КПСС) или изрекал Генеральный секретарь.

Каждый редактор за время своей работы хоть раз должен был пройти этой гадской дорожкой и вести статью баскака. Причем совершенно непонятно, зачем был нужен редактор, поскольку в присланном и вылизанном помощниками и секретарями баскака, лично одобренном тексте нельзя было поменять даже запятую. Но шла игра в демократию или в серьезность нашей работы, назначался редактор, который принимал статью, якобы читал ее, сдавал в набор, потом вычитывал верстку (это надо было делать, набор был ручной). Так, мне досталась статья Первого секретаря компартии Казахстана Кунаева. Шел 1982 год. Перестройкой даже не пахло. Со звериной серьезностью главный редактор Семёнов говорил о большой чести, которую оказал нашему журналу сам Кунаев, о том, какая это гордость для философии, что ею занимаются деятели такого масштаба.

Думаю, что сегодняшний читатель не очень помнит имя этого вечно живого, члена Политбюро, Героя Социалистического Труда, академика, чье имя было увековечено в названиях улиц, чьи бюсты поставлены в нужных местах и т.п. Во всяком случае могу сказать, что такой белизны и толщины бумаги, такой отчетливой машинописи я до той поры не встречал. В редакцию пришло два экземпляра статьи, один главному редактору, другой достался мне. Свой экземпляр Главный сразу отправил в курировавший нас отдел ЦК, чтобы там видели, какие люди — авторы журнала!

Все же несколько строк о Кунаеве, чтобы читатель увидел и осознал облик героя этого мемуара. Особых розысков не устраивал, просто открыл Википедию.

¹ Бунин И. Несколько слов английскому писателю // Бунин И. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 69—70.

Динмухамед (Димаш) Ахмедович Кунаев (12 января 1912, Верный, Российская империя — 22 августа 1993, Алма-Ата, Казахстан) — советский государственный и общественный деятель, Первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР с 1960 по 1962 и с 1964 по 1986 гг., член Политбюро ЦК КПСС (9 апреля 1971 г. — 28 января 1987 г.), Трижды Герой Социалистического Труда (1972 г., 1976 г., 1982 г.). Автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР (1952). Член КПСС с 1939 г. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 4—11 созывов (1954—1989) от Алма-Атинской области.

16 декабря 1986 г. в ходе рекордно короткого пленума ЦК КП Казахстана, длившегося всего 18 минут, обвинявшийся в широкомасштабной коррупции Динмухамед Кунаев был снят с поста Первого секретаря ЦК КП Казахстана. На его место был избран присланный по рекомендации Генерального секретаря ЦК КПСС первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Геннадий Колбин. Смена руководителя республики привела к уличным беспорядкам, вошедшим в казахстанскую историю под названием Желтоқсан.

Мы этого не знали, узнавали потом. Но ни веры, ни уважения к этим баловням партийной судьбы у нас не было. Просто не было. Через несколько лет выяснилось, что интуиция оказалась верна. Кроме Кунаева всплыли дела секретаря Президиума Верховного Совета СССР Михаила Порфирьевича Георгадзе (1912—1982), у которого после смерти нашли в сейфе на работе драгоценностей на миллионы рублей и сотни тысяч долларов. Потом был генерал-полковник, заместитель министра внутренних дел Юрий Михайлович Чурбанов, зять Брежнева, в 1987 г. за коррупцию приговоренный к двенадцати годам лишения свободы. А затем и бриллиантовый любовник Галины Брежневой цыган Борис Буряце, убитый в тюрьме. Конечно, назвать можно еще с десяток имен. Итальянская мафия пасовала перед советской номенклатурой. Возможно, чтобы понятнее было сегодняшнему читателю, это были своего рода протоварианты министра Сердюкова и других подобных персонажей. Ленин начал, как писал Бунин, с грабежа страны, с дикого лозунга «Грабь награбленное», и эта установка стала определять жизнь руководства Советской России. Недаром блатных, воров и грабителей в концлагерях по слову Сталина называли «социально близкими».

Но тогда никто из философов и помыслить не мог, что будет подвизка, что воров хотя бы на время начнут сажать, что советская власть превратится в страшилку. Советологи предвещали еще на много сотен лет советскую жизнь, самый крупный философ-диссидент Александр Зиновьев писал, что в советском строе челове-



Динмухамед Ахмедович Кунаев

ство нашло идеальный вариант стагнирующего существования. А потому это общество вечно. А мы существовали внутри этого общества, стараясь жить так, будто его и не было. И это было самым разумным способом выживания. Как-то Лев Копелев, прочитав мою прозу, сказал: «Вы пишете просто о людских заботах и трагедиях, будто советской власти нет. А мы все силы клали на борьбу с ней». Пришлось ответить: «Вы это уже сделали, повторять неинтересно. И советская власть нам не интересна. Она данность, внутри которой мы живем, но

которую не принимаем».

Но вернусь к сюжету. Поясняя дальнейшее развитие событий, должен сказать об одном обычае нашего печатного органа (а может, не только нашего). Каждый уходящий в отпуск сотрудник «ставил журналу». То есть поил друзей-сотрудников, примерно треть отпускных тратя на эту пьянку. И все пили и гуляли, словно на волю вырвались, начальство это знало, но всегда разрешало этот маленький «чертогон». Поставил и я, пили далеко за полночь, уборщицы, как обычно, пришли в девять, но мы их вежливо выпроводили, сказав, что обязуемся «не превращать помещение редакции в хлев». Друзья и коллеги смеялись и поднимали за меня стаканы: «Ну, Володька, вот и тебе оказано большое партийное доверие. Статья самого Кунаева! Хотя ты и беспартийная прослойка! Смотри не подведи партийный журнал!» И чокались, и пили — закуси было не так много. В двенадцать я ушел. Меня вызвонила жена, напомнив, что самолет в десять утра, а мы еще не собраны. Мы летели до Адлера, а потом ехали в дом отдыха издательства «Правда», которому принадлежал наш журнал. Это была своего рода плата за несопротивление режиму.

В десять утра мы взлетели, примерно в двенадцать приземлились, но прежде чем ехать в дом отдыха, прямо из Адлера я решил позвонить в редакцию. К двенадцати народ уже собирался. На мое счастье трубку снял мой друг Александр Разумов: «Как вчера закончилось?» — спросил я. «Закончилось нормально. А ты где? Дуй немедленно в редакцию. Семёнов тебя увольнять собирается».

Я оторопел даже: «За что это?» Сашка хмыкнул: «Есть за что. Ты куда дел статью Кунаева? Ее нигде найти не могут». Я облегченно вздохнул: «Ах это! Так можно написать Кунаеву, у него этих копий наверняка с десяток! Пусть другую пришлет». Сашка охнул: «Володька, ты что, белены объелся? Ты вообрази, может ли главный редактор сказать Первому секретарю компартии Казахстана и члену Политбюро, что он потерял его статью? Да он скорее прикажет тебя на дрянных воротах из самопалов расстрелять. Короче, хватит болтать, бери такси и езжай в редакцию. Статью надо найти!» Я замолчал. «Чего молчишь?! — спросил осторожно Разумов, — как следует поищешь, может и вспомнишь, куда ее засунул. Сами руки вспомнят». Тогда я произнес довольно растерянно: «Ты что, все забыл? Я же утром на юг улетел с семейством. А сейчас из Адлера звоню». Сашка хмыкнул: «Вот и хорошо. Раз еще в аэропорту, бери билет на ближайший самолет. Твои как-нибудь доберутся до места. Я Милку (так звали мою первую жену) знаю: сильная женщина. Справится!» Надо сказать, мой друг был из другой страты, поэтому лишние деньги у него время от времени водились. Но я и вообразить не мог, откуда я возьму деньги на билет. Я сказал: «Пойми меня правильно. Мне было бы не в лом слетать туда и обратно, чтобы не лишиться работы. Но мои отпускные разошлись строго — на путевки, билеты туда и обратно, да на отпускную пьянку. Больше нет, и в аэропорту я их не заработаю». Похоже, что Разумов задумался, потом сказал: «Ладно, ты прав, нечего горячку пороть. Давай каждый из нас попробует в деталях восстановить вчерашний вечер. А ты не мог ее с собой захватить, чтобы перечитывать на досуге. Ха-ха! Шучу. Искать надо умом. И перезвони мне через час».

Тщетно я проворачивал в голове вчерашний вечер. Попытка сообразить, куда мог положить статью, кроме как на стол или в стол. Жена с сыном нервничали. Милка злилась: «Ты что, совсем стал верноподданным? Пусть увольняет». «А жить на что будем?» — отвечал я, начиная нервничать. Легко сказать «уходи», а кто беспартийного Кантора на работу снова возьмет. «Обожди», — сказал я. И снова встал в очередь в телефон-автомат. Снял трубку кто-то другой. «Мне бы Разумова», — сказал я. «Это Клоков, — отозвался взявший трубку. — К тебе Александр Евгеньевич много претензий имеет». «Каких это?» — спросил я, ожидая всяческих неприятностей. Дальше послышался веселый и довольный голос Разумова. «Володька, никаких претензий. Но по возвращении — бутылка. Нашел я Кунаева. Бродил по редакции, из комнаты в комнату и в столе твоим посмотрел. А потом вспомнил, как ты уборщиц выпроваживал...» Я поперхнулся, начиная что-то судорожно вспоминать: «И что?» «Что, что!.. — рассмеялся Сашка. — Только они ушли, ты

поднял вверх статью первого секретаря, потряс ею и произнес патетическую речь, что стыдно философскому журналу печатать такие тексты. А потом взмахнул рукой, но не швырнул, а аккуратно опустил рукопись товарища Кунаева в мусорную корзину, сказав, что именно здесь ей самое место. Короче, гражданин хороший, не оправдал ты доверия партии. Я, как вспомнил твой взмах рукой, сразу понесся к корзине. Там она и лежала, никто ее еще и пивом облить не успел. Хорошо, что уборщицы по утрам не ходят и хорошо, что Главный сам не занялся поиском. А он уже собирался. Тебя по наивности ждал. Но теперь все в ажуре. Можешь отдыхать спокойно!»

И мы поехали в дом отдыха. А я пытался понять, зачем я такое сделал. Разумеется, это не было диссидентским протестом. Просто жест этот был фигурой речи. Но вполне мог обернуться фигурой действия. С соответствующими последствиями...

21. Синагога, или Машина с мацой

Скорее всего, была середина семидесятых. В эту историю попали мои друзья тех лет — Борис Орешин, Юра Сенокосов, Лена Немировская, ну и я. Кажется, сплетню эту как раз я и принес в редакцию «Вопросов философии», что в синагогу в Армянском переулке привезли *Тору*. Надо напомнить, что все священные книги — и христианские, и иудейские, и мусульманские — в нашей жизни отсутствовали, но поэтому все и тянулись их приобрести. Как пошутил уже позже один мой ученик (Женя Иванов), когда мы с ним увидели какую-то чудовищную очередь то ли за мясом, то ли еще за чем-то. «Дожили, — мрачно сказал я. — Почти ничего не осталось». Женя усмехнулся: «Зато, Владимир Карлович, какая тяга ко всему, чего нет». Тяга и вправду была большая. Борис Орешин, человек ученый и книжный (не зря, наверно, стал позже директором книжного издательства, которое сам и организовал, когда началась некая свобода), тут же сказал: «Я тоже хочу». Мне как-то легче было ехать не одному, и я быстро ответил: «Поехали, сразу после работы». В этот день в редакции была Лена Немировская, у нас шла ее статья, и она сказала: «Ребята, сейчас позвоню Юрке, вместе поедem». Она говорила о своем муже Юре Сенокосове, который раньше был сотрудником «Вопросов философии», но в тот момент работал в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма», журнале международном и идеологически очень значимом. Но любопытно, что через этот журнал прошли многие инакомыслы — Юрий Карякин, Мераб Мамардашвили, Иван Фролов. Думаю теперь, что Юра туда попал с подачи Мераба. Но тогда он был в положении особом — европеец среди нас, никогда даже вообразить не умевших, что сумеют пересечь границы нашей бескрайней Родины. Тем более в европейском направлении. А Прага, конечно, была настоящей Европой, хотя и существовала в социалистическом лагере. Надо добавить, чтобы понятнее стало дальнейшее, что Орешин в ту пору был секретарем парторганизации журнала, а я помимо отдела эстетики вел еще и отдел научного атеизма.

Юра и Лена были ближайшими друзьями Мераба. Когда его вынудили уехать из Москвы, то, приезжая в столицу, он всегда останавливался в их квартире, которая находилась недалеко от гостиницы «Украина». Там Мераб принимал своих западных друзей и знакомых, а Юра все свое время отдавал расшифровке лекций Мамардашвили. Сегодняшние молодые люди даже не подозревают, что в XX веке был возможен Сократ, мало писавший, но без конца читавший свои полузапрещенные лекции не очень большому кругу слушателей в разных институтах, где удавалось ему получить площадку для бесед-лекций. Каждая его лекция была не пересказом чьих-то текстов, а рождением новых смыслов. Читая, трудно понять, представить тот фантастический процесс мысли, который протекал на наших глазах. Наверно, это воспринимали только слушатели Сократа. Платон придумал форму диалога для передачи мыслей учителя, но *майевтика* означала, видимо, не только родовспоможение мыслительному процессу слушателей, но наверно, как и Мераб, Сократ помогал и самому себе, чтобы родить мысль и сформулировать ее внятно и понятно. Первые книги Мераба после его смерти были изданы Юрой Сенокосовым. А Лена Немировская после перестройки организовала Московскую школу политических исследований, которой они до сих пор руководят вместе с Юрой. Проводят семинары, конференции, издают книги. Но вернусь в это давнее, а впрочем, и не такое давнее время.

Сенокосов приехал, в редакции он был свой, даже больше, чем свой, из очень важного журнала, и под его прикрытием мы слиняли часа на полтора раньше окончания рабочего дня. Перед синагогой стоял задумчивый пожилой еврей в кипе, маленькой круглой шапочке, сидевшей на макушке, головной убор, который носили тогда только благочестивые евреи и только в окрестностях синагоги. После перестройки люди в кипах стали появляться просто на улицах. Впрочем, покрытая голова у евреев — знак уважения к окружающим. Орешин поправил очки и решительно подошел к задумчивому еврею, слегка склонился к нему и очень серьезно поинтересовался, продается ли сегодня в синагоге Тора. Тот посмотрел с интересом на Бориса и сказал: «Сегодня, молодой человек, Торы нет. Но скоро она будет. И я могу вам помочь ее приобрести». Посмотрел на нас и добавил: «И вашим друзьям». Борис почти автоматически ответил, будто говорил с театральным администратором, выпрашивая контрамарку: «Будем очень признательны». И сунул руку в карман, имитируя, что сейчас достанет деньги. «Ах, молодой человек! — еврей в кипе протянул руку, останавливая его. — Вы что хотите предложить мне денег? Денег ваших мне не надо. Но что-то нужно». Ленка махнула рукой, мол, пойдём. Но Борис уже вежливо ответил:

«Что именно? Чем-то помочь?» Еврей откинул голову и посмотрел на Орешина очень внимательно: «Вы понимаете, как раз не приехали помощники. А я один и мой кантор вдвоем не справимся». Борис повернулся ко мне и пошутил: «У нас свой Кантор есть. Володька, это к тебе. А два кантора — это сила». Раввин повернулся ко мне: «Молодой человек, ваш друг сказал правду? Вы настоящий кантор?» Я пожал плечами: «Это шутка. Я сотрудник философского журнала. А Кантор — моя фамилия». Он взял вдруг меня одной рукой под локоть: «Тоже неплохо!» Подвел к Борису, взял другой рукой и его под локоть: «Раз так, вы должны мне помочь. И ваш друг тоже». Он кивнул в сторону Сенокосова. «Что надо сделать?» — невольно спросил я. Он повернулся ко мне. Я посмотрел поверх его головы в сторону Юры и Лены, которая крутила у виска пальцем, показывая, что я рехнулся. Но я почему-то был уверен, что еще пару слов, и мы выкрутимся, уйдем. Но раввин подвел нас к боковой дверце в синагоге и поманил к нам Сенокосова, и тот подошел. Раввин открыл дверь, и мы очутились в большой, вместительной комнате, типа складского помещения. Лена осталась снаружи. Обращаясь к нам троим, он сказал: «Вы же помните, что через два дня праздник?» Мы переглянулись вопросительно. «Наступает Песах, — сказал раввин. — И мы с минуты на минуту ждем машину мацы. Вы же знаете, что со времен Исхода из Египта в этот день евреи должны есть мацу. В пустыне мы пекли пресные лепешки, так это и осталось. Так вот машина придет, а разгружать некому».

Лена заглянула к нам: «Но мы должны ехать. У нас еще дела сегодня». Раввин ответил: «Уважаемая дама, я же очень немного прошу. Свертки с мацой не тяжелые, машина всего одна. Она с минуты на минуту подойдет. Просто для удобства и скорости надо устроить живой конвейер. И в десять минут все закончим. Я влезу в кузов, буду вам передавать, вы по цепочке дальше, а кантор Самуил будет укладывать, как надо». Слова «уважаемая дама» на Лену подействовали, и она снова вернулась на улицу. «Я, пожалуй, пока зайду в киоск, посмотрю книги», — сказал я. «Идите, молодой человек, — сказал еврей в кипе. — Хорошая книга несет в себе много пользы». Я вышел на улицу из комнаты-склада, посмотрел приглашающе на Лену, но она отрицательно покачала головой, мол, иди сам, и я поднялся по ступенькам и вошел в помещение. Я бывал здесь как-то, тоже в поисках книги, поэтому сразу повернул направо, прошел в маленькую прихожую, в которой было окошко в киоск. Книги стояли так, что все можно было видеть. «Вы чем-нибудь интересуетесь?» — спросил бородатый продавец, сидевший за маленьким столиком, на котором лежали бумаги, коробка с мелочью и счета. Я сказал: «Только посмотреть. Мы с друзьями приехали за Торой.

Но ваш раввин сказал, что ее пока нет». Продавец кивнул: «Смотрите, кто же возражает? Я — нет».

Вдруг в прихожую вошла маленькая, вихляющаяся как обезьянка, очень стройненькая старушка, а может, и не совсем старушка, во всяком случае, себя она старушкой не считала. Лицо было накрашено, насурьмлено, набелено, так что выглядела она, если не вглядываться, лет на пятьдесят. Подойдя к окошку киоска, спросила кокетливо:

«*Мужчинка*, в вашем киоске есть *Tora*?»

Старый бородатый еврей, не вставая со стула, пристально посмотрел на нее и сказал как бы с вопросом, но в котором уже содержался ответ:

«Зачем тебе *Tora*, старая шансонетка!?»

Обезьянка повернулась ко мне: «Вы послушайте, мужчина, как этот еврей говорит с дамой!»

О Бабель! И выдумывать не надо. Только слушать и слышать. Что ей ответить, я не мог придумать. На мою удачу с улицы послышался шум подъехавшего грузовика и крик друзей: «Володька, выходи!» И я торопливо выскочил наружу.

Грузовик уже развернулся, заднюю стенку откинули, но близко к входу шофер побоялся подъехать. Раввин расставил нас, отведя мне место в комнате: «Один кантор будет укладывать, другой ему передавать». И вскарабкался в кузов грузовика. И начался конвейер. Он передавал Борису, Борис — Юре, Юра — мне, а уж я — кантору. Маленького роста кантор уже почтенного возраста, как тогда мне показалось, с клочковато стриженной бородкой, глаза с короткими ресницами, а физиономия, конечно же, в веснушках, все смотрел на меня, принимая у меня из рук пачки мацы и складывая их вдоль стены. В минуту перерыва он спросил: «Молодой человек, а вы на Песах придете к нам?» Я ответил неопределенно: «Может быть». Он снова глянул: «Вы себя чувствуете евреем?» Я пожал плечами: «Может быть». Он продолжил: «Кен зайн, кен зайн! Может быть, может быть! Какой интересный молодой человек! Папа у вас, конечно, еврей, раз вы Кантор... Или я ошибся?» Не любил я таких разговоров, привыкнув с детства, что за выяснением моей национальности следуют всяческие неприятности, но ответил: «Нет, не ошиблись». Он похлопал меня по руке: «Ну, ничего, не расстраивайтесь. Вы тоже почти экс нострис. Придете к нам на Песах? Приходите!» «Может быть», — опять, но уже угрюмее ответил я. «Кен зайн», — усмехнулся он, но почувствовав, что мне не очень симпатичен этот разговор, замолчал. И разгрузка пошла дальше в тишине. Действительно, времени эта разгрузка заняла немного. Я вышел на улицу. Ленка смотрела на нас и хихикала.

Когда уже мы спускались к метро «Площадь Ногина» (ныне «Китай-город»), она, уже смеясь громко, сказала: «Жаль, что у меня не было фотоаппарата! Это же снимки как раз для “Нью-Йорк Таймс”. С соответствующей подписью: советские люди — сотрудник политического журнала “Проблемы мира и социализма”, секретарь парторганизации важного идеологического журнала “Вопросы и философии” и заведующий отделом научного атеизма того же журнала дружно разгружают мацу у синагоги. Это же бомба была бы!». Мы оторопело посмотрели друг на друга, вообразили все это, холодный пот было прошиб, но тут же исчез, и мы принялись смеяться. И смеялись потом, сидя в гостях у Лены и Юры и выпивая, весь вечер.

Да, это была бы не слабая история!

22. Возможность дышать, или Лекарство от официоза

(О словаре «У нас и у них»)

Предисловие
Владимир Кантор

Даже сейчас, вспоминая ту систему слов, выражений, клише, штампов, обязательных сочетаний внутри предложений, тавтологические формулы партийных текстов, длинные наименования «руководителей партии и народа», которые заполняли воздух «информационного поля» (нынешний мусор постмодерна) советской жизни, чувствуешь, как перехватывает горло и нечем становится дышать. А уж в журнале, который по принятой модели тогдашней пропаганды должен был обеспечивать теоретическую основу советской идеологии (ибо считалось, что именно философия составляет духовный центр марксистско-ленинского учения), воздух мог бы быть, казалось, таким душным и вязким, что живому слову здесь вроде бы ничего другого не оставалось, как взять да помереть. Начиная от передовых статей к каждому юбилею или съезду и почти к каждому постановлению ЦК, писавшихся сотрудниками журнала, и кончая *«стандартными братскими приветствиями»*, которые рассылались в *«дружественные журналы»* стран *«победившего социализма»*, все создавало такую атмосферу, которая и нас, и наших читателей должна была бы лишить нормального воздуха. Но воздух оставался, и слово выживало. Почему? Об этом и речь.

Причем нам-то было хуже. Читатель мог не читать этих передовых и всяческого официоза, а мы не могли всего этого не писать и не редактировать. Один из моих ригористических друзей тогдашних лет (Андрей Кистяковский, прекрасный переводчик с английского, который вел одно время солженицынский фонд помощи политзаключенным) говорил, что жить в двоемыслии постыдно, что надо с этим рвать и пр. Разумеется, был такой путь, диссидентский, героический, им пошел сам Андрей, пошел сотрудник журнала и

наш друг Владимир Кормер, издавший свой роман на Западе. Сегодня, в общем-то, видно, что дракон тоталитаризма уже терял тогда силы, зубы его тупились, он пускал отравляющую слюну, но уже ничего не мог поделать с частной жизнью, которая существовала сама по себе, воспринимая идеологическую жизнь как некий ритуал, который ни к чему не обязывал. Может, где-то дракон и высиживал змеиное яйцо будущего драконыша, но в те годы про это никто ничего не знал и не подозревал. Было понятно, что дракон еще может сожрать, но также понятно и то, что его уже можно обвести вокруг пальца, делая вид, что выполняешь требуемые им ритуалы.

Там, наверху, были правила, почти игровые: уже потерявшая жизненность большевистская мистерия сохраняла, однако, подобие страшных обрядов, но уже без кровавых жертвоприношений. Редакция и часть редколлегии тоже играли в эту игру, большей частью выигрывая, потому что наверху играли всерьез, не подозревая, что играют, а мы и впрямь играли. И журнал все же был из тех журналов, которые свободомыслящая (как говорилось в старину) интеллигенция выписывала и читала.

Но все равно было противно. И хотя читался тамиздат и самиздат, оставалась повседневная журнальная жизнь, где требовали *«переломить ситуацию на позитивные рельсы»* и сообщали, что *«развитой социализм имеет все черты настоящей теории»*. Комично, но и тоскливо. Водка была спасением, и все же плохим, ненадежным спасением: «Не помогли мне ни Верка, ни водка, — как пел Высоцкий. — С водки похмелье, а с Верки что взять!» Конечно, этим спасеньем пользовались многие интеллектуалы, достаточно вспомнить Веничку Ерофеева и его поэму «Москва — Петушки».

Тема пьянства философских людей, переплетавшегося с пьянством людей из других кругов, в знаменитых «стекляшках» и «деревяшках» вокруг Волхонки и Смоленской потом попала в литературу (см., к примеру, «Зияющие высоты» А. Зиновьева). Столкновения были там полны шуток, хохм, словесных и на уровне жестов. Помнится, такая двойная жизнь (с одной стороны, центральный философский журнал, почти идеологический, с другой — московская низовая культура, алкаши, менты, полууголовники) даже бодрила, создавала чувство раскрепощенности.

Разумеется, были и другие защитные механизмы, сохранявшие психику. Надо при этом сказать, что именно потому, что редакция в основном состояла из людей духовно свободных, журнал казался, да и был одним из весьма малого количества оазисов, где, как говорили приходившие снаружи люди, можно было дышать. Это нам было душно, это мы искали воздуха, но окружающие находили его, поскольку одна-две статьи на номер всегда поднимались

над казенным уровнем (мы печатали таких, например, авторов, которые не могли публиковаться в других местах и которые сегодня широко известны не только у нас, но и за рубежом: Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили и ряд других). По застойным временам это было совсем не мало. А первые (*впервые за многие годы*) публикации в нашем журнале Чаадаева, Щербатова, Ортеги-и-Гассета и впрямь становились заметными событиями.

Секрет выживания был секретом получения воздуха в безвоздушной атмосфере. Прежде всего, была внутренняя установка не принимать официальную бодягу всерьез. *А потом — была игра в слова*. Игра ведь она сродни свободе — сочинение слов и выражений, доводивших до абсурда привычные официальные клише. Причем делалось это не для создания высокой литературы, а просто для жизни. Клишированные выражения официоза, вроде *«акулы пещерного антикоммунизма»* или *«инвалиды холодной войны»*, мы старались в передовых статьях вставить в такой контекст, чтобы любому читателю (внимательному, разумеется) стал понятен их запредельный абсурд. Своего рода бесконечное говорение на своеобразном варианте эзопова языка.

Как-то произошла такая история. Писали мы передовую статью. А в каждой такой статье полагалось сказать и показать, как наши идеологические противники клеветают на марксизм-ленинизм и советскую систему. И тогда пришла нам в голову замечательная мысль написать самим, что мы думаем об этой системе. И написавши обязательную фразу: «Наши идеологические противники пытаются оклеветать Советский Союз, заявляя, что...» — далее мы выложили все, что за долгие годы накопилось и накипело. Ссылки в передовых не требовалось, поэтому все сошло с рук. Но думаю, что предложенный нами взгляд изнутри был много жестче и точнее, чем высокооплаченные игры советологов. Заметил *шуточку* только один философ (обойдемся без фамилии), который сказал: «Ну и где это вы такое вычитать могли! Да им на Западе и не снилось так написать!»

А уж всяческие шарady, шутки, игра в «чепуху» на политические темы длелись на протяжении рабочего дня.

Но, повторю, главным у журналистов, даже философских, была все же в свободное время игра в слова. И одним из «игроков» был сотрудник редакции А.Я. Шаров, чьи тексты тех далеких лет мы предлагаем сегодняшнему читателю. Это словарь эпитетов и шуточный ремейк чеховских рассказов. Зачем это сегодня? Во-первых, это было смешно, смешно и сейчас. Во-вторых, это своего рода исторический документ, рассказывающий *о способах духовного выживания в тех условиях, которые были направлены против*

духа, о том противоядии, которым мы пользовались. А в-третьих, пособие для будущих наших потомков, если они, не дай бог, попадут в аналогичную ситуацию.

Меня всегда интересовало, каков на самом деле механизм возникновения фольклора, как появляются сказки, шутки, поговорки. Написано об этом много от Проппа до структуралистов. Но одно дело — читать о таком возникновении, другое дело — наблюдать из дня в день, как фольклор этот возникает. И, разумеется, коллективного творчества в таком деле нет, коллектив принимает или не принимает сочиненное кем-то, коллектив создает атмосферу некоего свободомыслия. Именно тем, кто задавал уровень нашим шуткам, меланхолически замечавшим время от времени, когда шел уж совсем дикий официоз, что пора переделать знаменитую формулу Протагора, которая-де ныне должна звучать так: «Советский человек есть мера всех вещей», — стал Толя Шаров. На идеологические заклинания и цитаты из классиков он также вполголоса важно произносил, перефразируя известный лозунг: «Без царя в голове, а правительство рабочее». Шуток такого рода могу привести множество, они, к сожалению, не все запомнились, но они как раз и были тем впускаемым в душную комнату кислородом, который позволял дышать.

У нас и у них.

Словарь-пособие для пишущих передовые, юбилейные, предсъездовские, послесъездовские и прочие статьи

Анатолий Шаров

	у нас	у них
Авантюра	у нас нет	грязная, агрессивная, военная, вьетнамская
Ажиотаж. См. также: Возня, Шумиха	у нас нет	нездоровый, искусственный
Атаки. См. также: Нападки	у нас нет	ожесточенные, непрерывные, яростные
Борьба	упорная, мужественная, героическая	конкурентная, ожесточенная
Взаимопонимание	полное	настойчивая
Взгляд	резвый	у них нет
Влияние	благодарное, огромное	у них нет
Возня. См. также: Шумиха	у нас нет	тлетворное
Вой. См. также: Вопли	у нас нет	грязная, подозрительная, недостойная, провокационная
Вопли. См. также: Вой	у нас нет	истощные, дикие
Вопрос	коренной, животрепещущий, главный	провокационный
Вояж	у нас нет	провокационный, очередной, предвыборный
Вымысел	у нас нет	чудовищный, грязный, досужий, убогий
Гнев	справедливый, всенародный	бессильный

Гордость	законная	у них нет
Горизонты	необъятные, широкие, новые	у них нет
Действия	решительные, успешные	подрывные, провокационные, незаконные, неприглядные, наглые, циничные и т.д.
Дела. См. также: Свершения	славные, величественные, кровное (дело)	бесславные, черные, грязные, темные (делишки)
Демонстрация	наглядная, внушительная, яркая	у них нет
Завеса	у нас нет	пропагандистская
Завоевания	исторические, великие	у них нет
Злоба	у нас нет	бессильная
Значение	всемирно-историческое, огромное	у них нет
Игра	у нас нет	недостойная, грязная, закулисная, двойная
Идеализм	у нас нет	махровый, утонченный
Идеи	бессмертные, ленинские	бредовые, обветшалые, ложные, порочные
Идейка	у нас нет	тошная, низкопробная
Идеология	жизнеутверждающая, научная	враждебная, растленная, глубоко чуждая народу
Инсинуация	у нас нет	грязная, подлая
Итоги	величественные	мрачные, печальные
Клевета	у нас нет	черная, подлая, чудовищная, бессовестная, злонамеренная, грязная
Конец	у нас нет	бесславный, неизбежный, закономерный
Крах. См. также: Провал, Поражение	у нас нет	сокрушительный, полный, неизбежный, окончательный
Курс	испытанный, верный, ленинский	авантюристический, антинародный, ошибочный
Ложь. См. также: Вымысел, Клевета	у нас нет	низкопробная, убогая, наглая, беспардонная
Машина	у нас нет	пропагандистская, м. голосования
Мнение	единодушное	предвзятое
Молодчики	у нас нет	фашиствующие
Мораль	коммунистическая, гуманистическая	прогневшая, растленная, грязная, частнособственническая, ханжеская, лицемерная
Нажим	у нас нет	грубый
Нападки	у нас нет	злые, враждебные
Народ	свободолюбивый, миролюбивый, трудолюбивый, талантливый, советский, весь	у них нет
Наследники	законные	см. Поражение
Наступление	генеральное, стратегическое	лютая, звериная, зоологическая
Ненависть	священная	у них нет
Образец	классический, лучший, немеркнувший	у них нет
Обсуждение	всенародное, плодотворное, полезное	у них нет

Опыт	исторический, богатейший, практический, жизненный	печальный
Основа	надежная, прочная, солидная	шаткая
Отпор	должный, гневный, дружный, достойный, единоклассников, нарастающий	у них нет
Отравление	у нас нет	идеологическая фашистское
Отчет. См. также: Расчет	отчетливый	у них нет
Отхождение. См. также: Отхождение	у нас нет	эмигрантское
Памятник	вечный	у них нет
Пачкотня	у нас нет	грязная
Перспективы	грандиозные	у них нет
Планы	величественные, грандиозные	несбыточные, обреченные на провал, п. Пентагона
Победа	всемирно-историческая, блистательная, полная и окончательная	Пиррова
Подвиг	беспримерный, немеркнущий, героический	у них нет
Подготовка	активная	лихорадочная
Подъем. См. также: Рост	крутой, всенародный, политический и трудовой, решительный, закономерный, быстрый, всемерный, невиданный, новый	у них нет
Поиск	творческий, настойчивый, постоянный	у них нет
Политика	научно обоснованная, мудрая, миролюбивая, внутренняя и внешняя	авантюристическая, антинародная, лицемерная, двурушническая, реакционная
Попытка	плодотворная	неудавшаяся, тщетная, с негодными средствами
Поражение. См.: Крах	временное	полное и окончательное, неизбежное
Поступить. См. также: Шаги	твердая, уверенная, могучая, п. пятилетки	у них нет
Потуги. См. также: Происки	у нас нет	тщетные, жалкие, бесплодные, бессильные
Почва	твердая, благодатная	зЫбка, скользкая
Практика	социалистического и коммунистического строительства, повседневная	порочная
Преданность	беззаветная	собачья
Преднамерения	исторические, гениальные	у них нет
Пресса	у нас нет	желтая, продажная, бульварная
Прибыли или барыши	у нас нет	баснословные
Принципы	проверенные жизнью, твердые, незыблемые, ленинские	у них нет
Провал. См. также: Крах	у нас нет	полный, позорный, окончательный, неизбежный
Происки. См. также: Потуги	у нас нет	злые, реакционные, враждебные, грязные
Просчет	у нас нет	неизбежный
Протест	гневный	необоснованный

Психоз. См. также: Угар	у нас нет	массовый, милитаристский, военный
Развитие	дальнейшее, последовательное, полное	катастрофическое, медленное, уродливое, однобокое
Расчет	трезвый, верный, дальновидный, хозяйственный	см.: Просчет
Реакция	у нас нет	махровая, черная, оголтелая, по всей линии
Резервы	неиспользованные, неисчерпаемые, могучие, неисчислимы	у них нет
Результат	см.: Итоги	плачевный, ничтожный
Родник	неиссякаемый, живой, живительный	у них нет
Роль	возрастающая, историческая, гигантская, заметная, крупная	зловещая, ничтожная, незаметная
Рост	непрерывный, быстрый, р. неуклонный, крутой	преступности
Свет	немеркнущий	у них нет
Свершения. См. также: Дела, исторические		у них нет
Победа		
Свистопляска. См. также:	у нас нет	реваншистская, дикая
Шабаш		
Связь	тесная	преступная
Слава	боевая, трудовая, неуываемая	недобрая, печальная, скандальная
Соки	живительные	последние (которые они высасывают)
Стряпня. См. также: Пачкотня	у нас нет	неуклюжая, низкопробная, грязная
Труд	созидательный, вдохновенный, упорный, героический	подневольный, тяжкий, рабский, каторжный, изнурительный, унижительный, низкооплачиваемый
Трудности	временные, отдельные, т. роста, некоторые, известные	постоянные, непреодолимые, огромные, неразрешимые
Угар. См. также: Психоз	у нас нет	шовинистический, реваншистский, националистический, милитаристский, военный
Удовлетворение	глубокое, полное, моральное	у них нет
Усилия	титанические, дружные, героические	тщетные, все. см. также
Утверждения	см. Принципы	Потуги
Фальшивка	у нас нет	необоснованные, лживые, наглые, клеветнические
Чутье	классовое	гнусная, низкопробная, убогая
Шабаш. См. также: Свистопляска	у нас нет	у них нет
Шаги	семимильные, гигантские, сажени, ш. пятилетки	реваншистский, антикоммунистический
Шумиха. См. также: Ажиотаж, Возня	у нас нет	неверные, неуверенные, робкие
Энергия	творческая, невиданная, растущая, удвоенная, утренная	пропагандистская, провокационная, подозрительная
Энтузиазм	трудовой, огромный, невиданный	у них нет

ПРИЛОЖЕНИЕ

Хамелеон (почти по Чехову)

Анатолий Шаров

Через Старую площадь идет главный редактор Очумелов в новой дубленке и с кипой условных принятых за основу статей. За ним шагает ответственный секретарь Туркин с портфелем, доверху наполненным стенограммами редколлегий. Кругом тишина... На площади ни души... Закрытые двери подъездов ЦК и МГК глядят на свет Божий уныло, как сытые пасти; около них нет даже милиции.

— Опять зарубил, окаянный! — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, помогите! Нынче не велено рубить все статьи подряд! Держите статью Аллена! А-а-а-а!

Слышен визг цеховских работников. Очумелов глядит в сторону и видит: из подъезда отдела науки и учебных заведений, прыгая на одной ноге и оглядываясь, бежит человек. Слышен повторный визг и крик: «Не пропускать статью!» Из окон ЦК высовываются сонные физиономии, и скоро около подъезда отдела науки и учебных заведений, словно из-под земли выросши, собирается толпа ответственных работников.

— Никак беспорядок, Семен Петрович! — говорит ответственный секретарь.

Очумелов делает полуоборот направо и шагает к сборищу. Около самого подъезда, видит он, стоит человек в расстегнутом пиджаке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе какую-то статью. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, Гришка!» Да и сама рука имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает консультанта отдела эстетики Кантора. Он стоит в центре толпы, растопырив ноги и дрожа всем телом, как борзой щенок. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому случаю тут? — спрашивает его Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем статью?... Кто кричал?

— Иду я, Семен Петрович, никого не трогаю... — начинает Кантор, кашляя в кулак, — насчет статьи Аллена к Николаю Варфоломеичу. И вдруг этот подлый ни с того ни с сяго за руку... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая... Пушай мне заплатят, потому я после этой статьи, может, еще год пальцем не пошевелию. Этого, Семен Петрович, и в постановлениях съезда нет, чтобы от всякого Гришки терпеть... Ежели каждый будет рубить мои статьи, то лучше и не жить на свете.

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья статья, говоришь? Я этого так не остав-

лю! Я покажу ему, как хорошие статьи рубить! Пора обратить внимание на подобных товарищей, не желающих подчиняться историческим решениям! Туркин, — обращается главный редактор к ответственному секретарю, — узнай точнее, кто автор статьи! Кто этот Аллен, спрашиваю?

— Это, кажись, из «новых философов», — говорит кто-то из Отдела пропаганды. — Они наемни на эту тему, почитай, цельный сборник выпустили.

— Из «новых философов»? Гм!.. Достань-ка, Туркин, стенограмму обсуждений... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед внеочередным пленумом... Одного только я не понимаю: как ты мог ее пропустить? — обращается Очумелов к Кантору. — Нешто она дотягивает до нашего уровня? Статья маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, сам переделал ее на свой манер, а потом пришла в твою голову идея, чтобы дать на редколлегию. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей.

— Он, Семен Петрович, статьей мне в харю для смеха, а я, не будь дурак, статью и зарубил... Вздорный человек Кантор, Семен Петрович!

— Врешь, Гришка! Не видал статьи, стало быть, зачем врать? Главный редактор умный человек и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Леонидом Ильичом. А ежели я вру, то пушай меня новая Конституция рассудит... Там прямо сказано... Нынче все равны... У меня у самого бабка с Ильичом разговаривала, ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, этот не «новый философ»... — глубокомысленно замечает кто-то из Международного отдела. — У «новых философов» таких статей нет. У них все больше про «онтологию власти», про разные там репрессалии...

— Вы это верно знаете?

— Верно, Семен Петрович.

— Я и сам знаю... «Новые философы» — авторы солидные, породистые, а этот Аллен — черт знает что! Ни вида, ни концепции... Подлость одна только. И этакого автора поддерживать!? Где же, Кантор, у вас ум? Да попадись этакая статейка в «Коммунист» или в «Политсамообразование», то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы ни на какие постановления, а моментально — не дыши!

— А может быть, это французский марксист... — думает вслух ответственный секретарь. — В нашей картотеке данных на него нет. Намедни в «Философских науках» похожую статью видел.

— Вестимо, марксист! — говорит голос из Отдела пропаганды.

— Гм!.. Возьми-ка, брат Туркин, стенограмму обратно. Что-то ветром подуло... Знобит. Ты отнесешь статью в Отдел культуры и спро-

Шок Запада

сишь там. Скажешь, что статья пришла, мол, самотеком. И скажи, что мы ее еще раз посмотрим, повнимательнее. Она, может быть, ценная, а ежели каждый инструктор ЦК вроде Гришки будет нам в нос тыкать, то долго ли испортить? Статья — нежное создание... А ты, Кантор, опусти руку, нечего ее выставлять, сам виноват!..

— А вот как раз идет Пысин из сектора печати, его спросим. Эй, Марат Абдурахманович, поди-ка, милый, сюда! Погляди-ка на статью. Марксистская?

— Выдумали! Эдаких у них отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего! Я должен прямо сказать: она антимарксистская! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что антимарксистская, стало быть и антимарксистская... Зарубить статью, вот и все.

— Это не марксистская... — продолжает Пысин. — Это одного прогрессивного деятеля, члена общества «Франция — СССР», что намерен в Москву приехал. Марксисты не охочи до этих проблем, а этот деятель охоч.

— Да разве они приехали? Мосье Аллен? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, Господи! А я и не знал. Погостить приехали?

— В гости, по приглашению Союза обществ дружбы с зарубежными странами.

— Ишь ты, Господи... Соскучились по реальному социализму.. А я ведь и не знал! Так это ихняя статейка? Очень рад... Возьми ее, Туркин. Статеечка ничего себе... Живая такая... Гришку смутила... Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь, Кантор? Сердишься, шельма... Цуцык этакий...

Туркин забирает статью и кладет в портфель. Толпа хохочет над Кантором.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в дубленку, продолжает свой путь по Старой площади.

23. Проклятие советолога

Написав пару недель назад в Фейсбуке о советской мистике (о главном редакторе ВФ и смерти Брежнева), я невольно подумал и о мистике антисоветской. Вот об этом сейчас расскажу. Длинновато, но иначе не объяснить ситуации. Этот текст я бы назвал «Проклятие советолога». Антагонисты большевиков тоже несли в себе мистическое начало, веру в силу слова. Я впервые надолго попал в Западную Европу в 1992 г., получив стипендию фонда Генриха Бёлля. Самое смешное, что присланных мне денег хватило только на авиабилет в одну сторону. Удивительно, что его продали. Но продали. И пограничный немецкий контроль пропустил, хотя теперь требуется показать обратный билет. Но тогда еще продолжалась постсоветская неразбериха. Дружбам, смеясь, говорил, что исполнил давнюю мечту советского интеллигента: получил билет на Запад в одну сторону. Я всегда был далек от партийных кругов, коммунистическая идеология вызывала брезгливость и неприязнь. А тут и советская власть кончилась. Ушла демагогия коммунистического образа жизни, вернее, не ушла, но перестала определять жизнь. Я пришел в некую гармонию с самим собой. По логике от противного западные философы — противники коммунистической идеологии казались носителями не то чтобы света, но кем-то вроде «рыцаря с Запада» Арагорна или Гэндальфа. Роман Толкиена перевел мой друг тех лет Андрей Кистяковский, подарил мне третий экземпляр машинописи, который переплел другой мой друг Лев Турчинский. Книгой-рукописью зачитывался не только я, но и мой сын, и его друзья. Сын даже выпилил из обломка рельса железный меч, чтобы походить на Арагорна. Когда книга вышла, я написал на нее рецензию. В результате журнал, опубликовавший рецензию, попал в поле зрения органов, получив письмо от якобы специалиста, писавшего о «хулиганском переводе» и обещавшего автора и рецензента пригласить «погостить» на Игарку. Редакция просила меня ответить на это письмо. Я ответил. Но это, впрочем, другая история.

И вот в октябре или ноябре 1992 г. я получил приглашение в Швейцарию, во Фрибург, на конференцию. Приглашение было несколько неожиданным. Я уже собрался в Москву, упаковывал вещи. Но три дня на эту конференцию у меня еще было. И вправду, практически с поезда я успел только захватить домой за вещами и вернуться на Кёльнский вокзал (домой ехал поездом). Конечно, я был еще вполне советским человеком, не понимал, что Швейцария требует (особенно конференция) костюма и галстука. То есть понимал. Но мне неохота было распаковывать чемодан, куда кое-как уложил костюм, и



Юзеф Мария Бохеньский

я поехал в грубошерстном свитере. На конференции делал доклад о европейском смысле России, чем вызвал, как теперь понимаю, очевидное изумление многолетних борцов с советским режимом, привыкших считать Россию если и не империей зла, то уж (так тогда говорили) «Верхней Вольтой с ракетами». Но никак не Европой. В какой-то момент я это понял, но смутиться не успел. На помощь мне пришел патриарх антисоветизма Юзеф Бохеньский (1902—1995), основатель советологии, как о нем теперь говорят. Нет, он не поддержал меня, но повел себя так, что я понял условность разделения на правое и левое и, более того, вдруг с ужасом шока увидел *варварство* «рыцаря Запада».

Там я увидел, что антисоветчик Бохеньский вполне по безумию равен партийно-коммунистическому функционеру. Надо сказать, что из западных ученых, тоже борцов с коммунистической идеологией, у меня были и друзья. Во Фрибург приехали на ту конференцию двое — Карл Граф Баллестрем из Католического университета города Айхштетт (Бавария), пригласивший меня как-то в свой университет на два месяца, и ставший мне близким другом Асен Игнатов, эмигрант из Болгарии, блестящий знаток русской до- и пореволюционной философии, автор книг и статей на немецком языке. В Германии он оказался после разных сложностей судьбы. Скажу пока одно: жена донесла на него в болгарские репрессивные органы, что он против коммунистических идей. Как честная партия

она сказала ему об этом. В этот момент Асен улетал на конференцию в Бельгию. Ему позволили улететь, ожидая, что (что уже не раз бывало) он вернется к своему удаву как кролик. А он вдруг попросил политического убежища в Бельгии. Потом перебрался в Германию. Но о нем как-нибудь отдельно, в другой раз. Он-то и предложил Эдуарду Свидерскому, организатору конференции, пригласить меня в Швейцарию. Теперь надо ввести еще одного персонажа. Это был философ из Польши, имя и фамилию которого, к своему стыду, я запомнил. Кажется, не то имя, не то фамилия звучали как Марек¹. Он мне подарил даже свою статью о Фихте, но мой немецкий тогда был очень даже швах, и я кому-то передарил этот текст. Так что не могу назвать одного из главных действующих лиц. Зато самого главного персонажа назвать могу, лицо более чем известное. Повторяю: это известный философ католического толка, тоже поляк Юзеф Мария Бохеньский. Эмигрант, осевший в Швейцарии.

И вот во время одного из заседаний конференции открылась дверь, и вошел высокий в белой мантии (какое-то белое одеяние с развевающимися полами) человек с оттопыренными ушами (вроде нашего Победоносцева) в сопровождении мужчины в черном пасторском костюме (помощник, служка? — не знаю). Прямо Гэндальф Белый! Через секунду я и не думал о своих вопросах. Сидевший рядом со мной Асен Игнатов шепнул: «Смотри, это сам Бохеньский. Ведь ты никогда не видел его, бедный мой друг из империи зла». Не успел я на это отшутиться, как вошедший в белом одеянии красиво и страстно воздел руки к небу и обратился к ведущему конференции: «Свидерский, ты почему пригласил сына этого негодяя из Польши?! Он был номенклатурным работником и травил меня в свое время!! Пусть покинет этот зал». Все посмотрели на философа Марека из Польши. «Он хороший специалист», — ответил, оправдываясь, подтянутый и спортивный Свидерский, у которого, возможно, были свои основания пригласить сына номенклатурного работника. Шло массовое приручение людей из соцлагеря, хоть мало-мальски проявивших себя в чем-то. Свидерский опекал философов. Марек побледнел, даже задрожал, растерянно встал, пожал плечами и хотел было выйти. Философский форум робко молчал. Ведь сам Бохеньский сказал! И тут вдруг под-

¹ Когда я опубликовал этот текст в интернет-журнале «Гефтер», то получил письмо от Марии Кортуновой, напомнившей мне имя этого философа: «Профессор Марек Зимек, он считается самым крупным специалистом в Польше по Фихте, Канту, Гегелю и Марксу». Это был настоящий подарок. Сам бы я вряд ли вспомнил. А спустя неделю мой варшавский друг Эдвард Холда прислал и статью из Википедии о Зимеке, откуда я беру даты его жизни (ur. 27 listopada 1942 w Krakowie, zm. 30 maja 2011 w Warszawie) и его фотографию.

нялся высокий, сухой, как положено родовитому аристократу (Бохеньский, несмотря на рост, был полноват), Карл Граф Баллестрем. Свой титул он сделал своим вторым именем. Поднявшись, он обратился к Бохеньскому. Голос его, надо сказать, был абсолютно тверд: «Дорогой профессор Бохеньский, я ваш ученик, смею думать, что хороший ученик, поэтому хочу повторить вам ваши же уроки. Вы учили меня, как бороться с коммунистической идеологией, но вы же учили меня и основам этики. Вы всегда говорили, что сын за отца не отвечает и что человека надо судить по его делам. Дела интеллектуала — это его тексты. Тексты господина Зимека отличные». Поступок в той ситуации, что и говорить, был достойный и смелый.



Марек Зимек

И наступила тишина. Честное слово, все замолкли. Бохеньский, слушая Баллестрема, даже руки свои воздетые опустил. Но тут снова их вскинул и выкрикнул: «Баллестрем, проклиная тебя и твое потомство!» Он был оскорблен, вел себя, как оскорбленный самодур, забыв в тот момент, что он еще и священник. И вышел быстро за дверь сопровождаемый помощником в черном.

День завершился как-то скованно и тоскливо. Никто об этом случае ничего не говорил.

Через день я вернулся в Кёльн. А на следующий день поездом отправился в Москву. Было много других забот (например, как избежать грабежей во время железнодорожного путешествия по России). И об эпизоде с Бохеньским я забыл. Дома тоже случилось немало проблем, надо было выживать в постперестроечное время. Но через месяц позвонил мне Асен Игнатов, с которым мы сдружились за время моего четырехмесячного житья в Германии. «Знаешь, — сказал он мне тревожным голосом, — проклятие Бохеньского подействовало. У Баллестрема заболел младший сын Томас. Тяжело заболел. Рак. Проклятие не даст ему выздороветь». Томаса Баллестрема я несколько раз видел. Необычайно красивый молодой человек с вьющимися светлыми волосами. «Наверно, надо позвонить профессору Баллестрему?» — спросил я. «Думаю, он переживает, — сказал по-прежнему тревожно и немного суеверно Асен, — не

надо». Но так получилось, что у меня через полгода была двухмесячная стипендия в Айхштетт, где как всегда Баллестрем позвал (и привез на машине: вилла его была под городом) меня с женой и дочкой в гости. За столом был и Томас, бледный, почти без волос, но живой и выздоравливающий. Немецкая медицина, молодость и сила воли родителей справились с болезнью.

Вот такая странная история о том, как заклинательное проклятие западного начальника подействовало лишь частично. У нас расправлялись круче. Но все же это кусочек истории философской жизни XX в. Бохеньский умер девяноста трех лет от роду в 1995 г. Карл Граф Баллестрем пережил его на двенадцать лет.

24. Как мы открывали Западную Европу

Польское вступление (*Warszawa*)

Степень нашей дикости, не скажу простодушия (хотя и оно в составе этой дикости присутствовало), я смог оценить, только попав на Запад. Быв невыездным в течение всей тогдашней жизни, я не сомневался, что в Европу не попаду никогда. Да и утешение какое-то виделось в том, что Советский Союз так огромен, что поездка в любую его часть — это как путешествие в другую страну. Армения, Крым, Абхазия, Дагестан, Поветлужье, но чаще всего Прибалтика (Эстония, Литва и Латвия), которая была кусочком Европы в нашем евразийском пространстве. Особенно часто — Эстония, поскольку там жил один из самых близких моих друзей — Эдуард Тинн.

В 1979 г. случилось совершенно неожиданное. Журнал «Вопросы философии» и варшавский журнал «Człowiek i Światopogląd» («Человек и мировоззрение») заключили соглашение об обмене сотрудниками. И вот летом в Варшаву поехали Володя Мудрагей и я. В польском журнале готовилась к выходу моя статья, нам выдали синие служебные паспорта и какую-то весьма небольшую сумму денег (не помню цифру), знакомые сказали, что в Варшаве можно поменять на золотые и советские десятки, а я втайне рассчитывал на гонорар, который мне выдадут вперед.

Разумеется, я читал шпенглеровский «Закат Европы», но странным образом не принимал книгу всерьез, признавая ее гениальность. Все мы знали о впадении европейских стран в тридцатые годы в варварские стихии, о диком антисемитизме во всех европейски ориентированных странах: от Польши и Франции до Германии — с ее ужасами концлагерей. Краем уха слышали и о том, как топили англичане евреев, пытавшихся добраться до Палестины с жестокостью, им свойственной. Читали тамиздат, как они сдали русских казаков сталинским энкавэдэшникам, прямо под пулеметы, о том, как казаки бросались в горные пропасти, лишь бы не по-

пасть в лапы советских соотечественников. Но все это было в прошлом, они все это преодолели, и теперь свет мы ждали с Запада. Ждали совершенно искренно.

И вправду потом я собственными глазами видел в Германии музей Второй мировой войны (особенно поразил меня музей в Кёльне), где немцы обвиняли себя во всех смертных грехах на фоне трупов из концлагерей. А дочка моей немецкой приятельницы как-то сказала: «Владимир, мы самый плохой народ на свете». На мое удивление «Почему?» она ответила: «Потому что у нас был Гитлер». Я возразил: «Но было много великих немцев, да и России нечем похвалиться. Она подняла наверх Сталина. Но я предпочитаю русского поэта Пушкина». Мы не спорили, но было ощущение, что девочка точно передает свое мироощущение. Но это лет через пятнадцать после моей поездки в Польшу, потом. Но даже и без этого разговора мы были уверены в способности Запада к самоочищению, к тому, что он несет свет свободы и демократии. Книга Амальрика была уже прочтена, Советский Союз казался продолжением сталинской структуры, структурой, не способной к самопреодолению, способной только к внутреннему изживанию и гибели. Не случайно в этот период родилось количество политических анекдотов, которое превышало анекдоты за все годы существования государства в России. Один польский анекдот я прихватил с собой в польскую поездку, не для поляков, конечно, а для своих русских друзей. Подруга моей первой жены Милы — Таня Никольская вышла замуж за обаятельного польского астрофизика Романа Юшкевича, напоминавшего елочного медвежонка, вполне обрусевшего. Вокруг них в Варшаве образовался русскоязычный круг друзей. Таня просила прихватить с собой селедку, поскольку в Польше на тот момент селедка, которая так хороша под водку, исчезла. А люди это были выпивающие. Поэтому я прихватил с собой две банки сельдей, ну и анекдот. Анекдот такой: приходит поляк в польский провинциальный банк и хочет открыть счет на пять тысяч злотых (цифра, разумеется, условная), но все нервничает, а не может ли банк разориться. Служитель отвечает, что за их банк отвечает губернский банк. Посетитель не отстает и спрашивает, не может ли и губернский разориться. «Может, — отвечает снисходительно банковский клерк, — но за него отвечает главный банк Польской Народной Республики». Принесший деньги вроде успокоился, протягивает их кассиру, но вдруг отдергивает руку с деньгами: «А если и наш центральный банк разорится?» Служитель передергивает плечами: «За него отвечает Центробанк Советского Союза, а он может лопнуть только, если развалится Советский Союз». Мол, невозможно. Посетитель округляет в страхе глаза: «А если Советский

Союз все же развалится?» Клерк посмотрел на него, как на идиота: «И что? Вам жалко на это пяти тысяч злотых?!»

Поехали мы с Володей Мудрагеем, который вел в журнале отдел диалектического материализма, а физически чем-то напоминал мне Ромку Юшкевича. Мы с ним как-то встречали двух поляков, философов в штатском, оказавшихся «товажищем генералом» и «товажищем полковником». За эту заслугу послали в обмен нас, причем без особой проверки. Было две проблемы. Первая — что привезти женам, ибо денег было уж очень мало. Вторая — сколько брать с собой бутылок водки. Выяснилось, что больше двух польская таможня не пропускает. Ехали мы на неделю, стало быть, на двоих — четыре бутылки. Мы сразу договорились, что помимо принимающего журнала мы пойдем в гости к Татьяне и Роману. А туда без водки нельзя. Потом сообразили, что и на прием в дружественный журнал (а нас предупредили, что вечером в день приезда мы приглашены к дружескому столу) без водки не явишься. Приносить одну на двоих? Как-то неловко. Иными словами, из четырех бутылок две сразу вылетали. Ну да ладно! А потом было столкновение культур.

Короче, мы пришли, сели за длинный стол, уставленный едой и бутылками, произносились тосты в основном по-польски. Мудрагей сказал мне твердо, что если до него дойдет очередь, он тост пропустит и выставит меня. Другим казалось, что я удачно произносил *na polckou towę* (по-польски) гусарский тост. Кроме этого тоста я знал еще пять-шесть слов, но не считая «спасибо» (*dziękuję*) и *bardzo proszę* (очень пожалуйста), выражения были не самые приличные. И вот тост дошел на нас, Мудрагей указал на меня: «Он скажет». Я встал и произнес гордо: «*Za zdrowie pięknych pań porazpershi!*» (что означало: «За здоровье прекрасных дам по первому разу»). Мужчины встали и, не чокаясь, выпили свои рюмки, оставив, как и положено, локоть. Успокоившись, я сел, рассчитывая, что второй раз очередь до меня не дойдет. Но поляки пили вдумчиво и много, не меньше, чем друзья в Москве. И очередь снова дошла до меня. На всякий случай у меня был запасной вариант, который я нахально и выкрикнул: «*Za zdrowie pięknych pań porazdrugi!*», то есть — «За здоровье прекрасных дам по второму разу!» И вдруг все хозяева-мужчины демонстративно поставили свои рюмки на стол, не отпив ни капли. Я растерянно посмотрел на них и тоже поставил свой стопарик. Женщины молчали, с непонятным мне интересом поглядывая на меня. Сидевший визави невысокий польский философ примерно моего возраста вдруг встал и сказал, как мы говорили в школе: «Владимир, выйдем поговорить на коридор». Это было как бы приглашение к драке по моим старым мальчишеским понятиям. Я оценил наши физические возможности и решил (как и положе-

но дикарю с Востока), что державу не посрамлю. И мы вышли в коридор. Поляк, имени не помню, взял меня за локоть (рука у меня сразу напряглась) и сказал: «Владимир, ты всех у нас оскорбил!» Я уставился на него: «То есть как? Чем? И сразу всех?» Поляк серьезно ответил: «Да, ты предложил выпить за здоровье женщин по второму разу». «Ну и что? По первому разу уже пили», — возразил я. Он ответил просто, но ясно: «В Польше за женщин всегда пьют только по первому разу. Сколько бы раз ты ни поднимал тост, — за женщин всегда по первому разу». И добавил, вразумляя: «Женщина всегда по первому разу». Это была польская куртуазность, шляхетский гонор, польская честь. Да уж, такой прямой урок иной культуры.

Время вымывает подробности жизни, но иногда случайная встреча их воссоздает хотя бы контурно. После вечера в редакции журнала «Человек и мировоззрение» на следующий день мы гуляли по Варшаве, нас сопровождала одна из сотрудниц журнала, показала канализационный люк недалеко от своего дома, в который спустились ее отец и брат, чтобы продолжить подземную войну с немцами. Об этом мы видели фильм Анджея Вайды «Канал», но тут и в самом деле был рассказ о реальном. Отец и брат не вернулись. Как-то холодом повеяло. А Варшава была веселой в тот год (или в тот месяц). Когда я сказал о радостных и веселых и довольных лицах варшавян Тане Никольской (хотя и помнят о страшном прошлом), совсем не похожих на безулыбчивые лица москвичей, если улыбка не рождалась выпивкой, Татьяна посмотрела на меня, перехватила сумку с двумя коробками сельдей, и махнула рукой: «Все равно лагерь социалистический, все равно барак, но барак повеселее». Она повела нас к себе в гости. Мне казалось, что я почти забыл эти посиделки в течение целой недели, помнил только, что пили и смеялись много. Но спустя двадцать семь лет (в 2006), я уже был выездной, меня пригласили в Гданьск на конференцию «Поляки — русские: взаимоотношения (Polacy — Rosjanie: wzajemne relacje)». Я сделал доклад «Российские и польские европейцы: близость и различие», получил несколько упреков в российском шовинизме, в чем на протяжении всей своей жизни ни разу не был замечен. Более того, рассказав о трагическом сближении русских и польских интеллектуалов в разные эпохи, я закончил доклад словами: «Русские образованные люди, чувствующие себя европейцами по культуре, в условиях русской несвободы увидели в образованных поляках родные души, людей, томящихся от дикости и варварства окружающей среды, с тех пор это чувство надконфессионального родства и противостояния толпе независимо от ее национальности и противостоянию политическим играм наших правительств стало, на мой взгляд, тем фактором, который может показать дорогу на



Презентация романа «Крокодил» в Варшаве. Иоанна Гиль-Шеминска, директор издательства «Диалог», Владимир Кантор, Людмила Луцевич, профессор филологии

мостик, соединяющий наши две культуры»¹. Но из восемнадцати докладчиков шестнадцать были поляки, а из России было только два человека, один известный полонист Юрий Борисёнок, другой я, автор статей о российской империи. Так что вечную неприязнь к России можно было на мне выместить. В варшавском издательстве «Dialog» на подходе был перевод моего романа «Крокодил» на польский (2007), но роман еще не вышел. И участникам было не очень понятно, что меня связывает с Польшей.

Кстати, роман выглядел замечательно, перевод очень удачный, слова найдены точные, художник просто блистательный, приведу издательские данные: *Z języka rosyjskiego przełożyła Walentina Mikołajczyk-Trzcinska. Graphic design by Bohdan Butenko*. И презентация прошла замечательно. И с дизайнерской выдумкой.

Короче, отбредавшись кое-как, я вышел на улицу покурить. Когда я нервно закуривал вторую сигарету, из дверей вышел один из участников конференции, очень rispetабельно одетый, спро-

¹ Кантор В. Российские и польские европейцы: Близость и различие // *Polacy — Rosjanie: Wzajemne relacje*. Поляки — русские: Взаимоотношения. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury. 2007. S. 247—255.



Стефан Меллер, министр иностранных дел Польши

сил у меня зажигалку (потом я увидел, что у него зажигалки были), видимо, чтобы начать разговор. «Не обращайтесь внимания, — сказал он. — На кого не нападали, тот не мужчина, — говорил он чисто, но все же легкий акцент я почувствовал. — Ведь вы Владимир Кантор? Я не ошибся?» Я кивнул. Он продолжил: «Надо и мне представиться, я Стефан Меллер». Я что-то очень неотчетливое помнил, что он был польским послом в России, а моя издательница, когда возникли проблемы с романом, сказала, что надо бы пойти к министру иностранных дел. Это тоже был Стефан Меллер. Но тогда он не понадобился. И познакомился я с ним, слава Богу, не как проситель.

А respectable мужчина продолжил, улыбнувшись, поскольку заметил, что я напряженно пытаюсь сообразить, с кем говорю: «Да-да, министр иностранных дел до недавнего времени. Но я к вам подошел, чтобы передать вам привет от Адама Михника. Он вас помнит. Вы ведь в трудное время с ним познакомились. Помнит и считает своим другом». Это было поразительно, я уже давно не вспоминал Адама. И тут стали вдруг проступать забытые черты, жесты и картинки. Проступила картинка Ромкиной квартиры, большая, с дорогой обитой бархатом мебелью, кажется, пяти- или шестикомнатная. Его отец не принадлежал к господствующей партии, но все же был каким-то министром (это в Польше разрешалось). Пили мы в гостинной. Гостей было много, много все вечера. Днем мы гуляли с Татьяной по Варшаве, она помогала нам с покупками для жен, потом относили покупки в гостиницу, а вечером, купив на остатки денег бутылку водки, шли в гости. Почему-то всплывают два эпизода.

Денег совсем не осталось, я в тоске рылся в чемодане в поисках свежего белья и рубашки, и мы с Мудрагеем вяло переругивались, ругая себя, что так неэкономно живем. Он предложил рискнуть поменять советские десятирублевки, но времени на поиск клиентуры не было. И вдруг моя рука ощутила твердое и холодное горлышко бутылки водки. Я вытащил ее, Мудрагей воскликнул: «Ты чего же таил?»

«Не таил я, сам не понимаю, откуда взялась». Но приятель оказался сообразительнее меня: «Твоя жена Милка умная женщина. Поняла, что ты будешь нервничать, когда пойдут таможенники, и ничего тебе не сказала. Поищи еще!» Я пошарил среди вещей и вытащил вторую бутылку. Это было шикарно! Мы спокойно отправились в гости.

Второй эпизод был пожестче. Мы с Татьяной заходим в универмаг, она ищет что-то из шмоток для моей жены, они были примерно одной комплекции. У прилавка она сталкивается с поляком примерно нашего возраста, может, чуть помоложе, приятелем Ромки, как стало понятно. Ромка был моложе Татьяны на четыре года. Они поздоровались. Я немного понимал по-польски, но говорить не мог. Указав на меня, приятель ее мужа спросил, не из России ли я. «Муж моей близкой подруги», — сказала она. «Ненавижу русских», — сказал он. — Ты уж больше в Россию не ездь, или не возвращайся». Надо понимать, что такое русская женщина! Танька вспыхнула: «Вернусь и примете меня, как миленькие, потому что приеду на танке. Как говорят у нас в России, если ночью при-снились танки, утром жди друзей! Дождетесь!» Поляк растерялся, но грубить пани не посмел: «Ты только опознавательный знак на танке повесь, на каком поедешь, чтобы мы его ненароком не подорвали». Татьяна повернулась ко мне, будто его не было: «Надоел. Давай смотреть шмотки дальше!»

Вечером мы снова отправились с Володией Мудрагеем к Тане и Роману в гости. Теперь два слова об их постоянных гостях. Это была, выражаясь советским языком, вполне диссидентская компания. Кто-то только что вышел из тюрьмы, кого-то каждый день таскали к следователю. Разговоры были самые антисоветские (поскольку власть в Польше этими ребятами воспринималась тоже как советская). Были с ними подруги, именно подруги, не жены, красивые и не очень польки, будущие декабристки, готовые идти за своими мужчинами хоть в русскую Сибирь. Один из них, который мне понравился больше прочих живостью реакций, солидной исторической фундированностью, был почти мой ровесник (на год младше), звали его, как читатель уже догадался, Адам Михник.

Адам рассказывал о созданном им (или при его участии) «передвижном университете» как школе свободной мысли, о подпольных издательствах, маленьких журналах, которые он издавал, — «Информационный бюллетень», «Критика». Мы, несмотря на все свои протестные настроения, жили как бы вполне конформистски. Правда, друзья, Роман с Таней, и рассказывали, что я пишу совершенно не приемлемую официозом прозу, но ведь ни разу не решился я опубликовать хоть какую свою повесть на Западе. И не по слабости духа, просто я тогда был уверен, что русский писатель



Адам Михник

должен печататься (либо не печататься) в России. Это мое credo насмешило и насторожило немного польских диссидентов, что я слишком привязан к России. Хотя я и рассказал анекдот о польском сквалыге, которому провинциальный польский банк рекомендовал положить туда пять тысяч злотых, чтобы рухнул Советский Союз, но для них Россия была равна Советскому Союзу. Для всех, кроме Михника, который уже тогда называл себя *антисоветским русофилом*. Но водка кончается, кончается и время застолий, кончилось и наше пребывание в Польше, и мы вернулись в Москву. Рассказывали о пьянках, имена не называли, поскольку москов-

ским друзьям они не были известны. Но в следующем — 1980 — году вдруг в Польше случилась «Солидарность», где Адам Михник оказался на первых ролях. Приятели шутили, что «Солидарность» возникла не без нашего с Мудрагеем влияния. Мы хихикали в ответ. События шли своим чередом. А Михник звучал — с 1981 г. по 1984 он был в тюрьме после введения военного положения в Польше. Имя его наши свободомыслы повторяли с почтением. Когда же я говорил, что провел с ним вполне дружески целую неделю накануне «Солидарности», друзья недоверчиво морщились и говорили «Разогни!» Мол, не заливай. Меня не очень слушали, **но кто-то, может, слушал очень хорошо**. С этого года до 1991 г. я стал классическим невыездным, даже заикаться смысла не было. Прошли годы, были перемены в жизни. Я развелся, снова женился, долго скитался без жилья. И забыл напрочь об этой встрече. Потом меня все же выпустили из клетки, но случилось столько впечатлений, что о первом своем выезде за границу я и позабыл. И вот случайный разговор за сигаретой с бывшим министром иностранных дел вдруг восстановил этот кусочек памяти. Стефан Меллер дал мне и мобильный Михника. Карта моей памяти пополнилась новым пространством.

Чтобы закончить с этим сюжетом... После выхода на польском моего «Крокодила» издательница Joanna Sieminska попросила, чтобы я попытался связаться с Михником, а его газета «Gazeta



Конференция по Герцену в Москве, 2012 г. (Марина Киселева, Адам Михник, Владимир Кантор)

Wyborcza» откликнулась бы на выход книги. Он там стал главным редактором. Уже не помню результата своего разговора. Потом были перезвоны, даже как-то полчаса в варшавском кафе. 20 июня 2012 г. я прилетел из Германии в Москву и 21 июня выступил с докладом на второй части международной конференции в Институте философии по Герцену. Там я снова увидел Адама, уже не на ходу. Мы поговорили, как могли. Он захотел сфотографироваться со мной и моей женой.

А в Польшу я после этого ездил много раз. Но уже после поездок в Германию. Начиная с 90-х годов.

Но начну с первой поездки к немцам. Первая поездка, в отличие от госта за женщин, меня смущала. Я ни в чем не был уверен. А главное привык — *не ездить*.

Германия «по первому разу» (Köln)

В 1991 г. я оказался в Кёльне, где выступил с докладом в университете у профессора Вольфганга Казака.

Это был мой первый выезд на Запад после Польши. Визу получить было трудно, уже не было выездной визы, но и немцы дава-



Вольфганг Казак

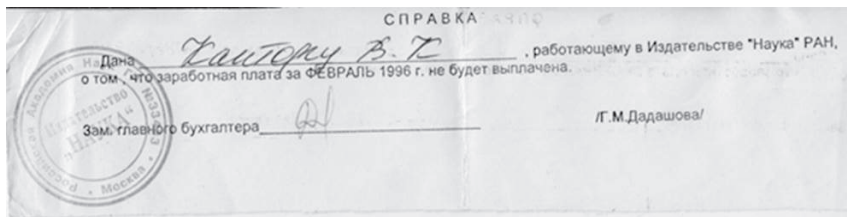
ли неохотно. Помог младший брат, ставший к тому времени очень успешным и популярным в Германии художником. И тут снова проблема. Вдруг ровно в десять раз повысили цены на билеты. Полторы тысячи у меня было, но пятнадцати не было. И я решил, что не судьба, что ни к чему русскому писателю и философу ехать на Запад, и в России много есть чего посмотреть. Надо сказать, что именно отец просил брата устроить мне вызов в Германию, чтобы я по-настоящему увидел и почувствовал Запад. Несмотря на марксистско-ленинскую коммунистическую установку, у отца где-то внутри него было

твердое понимание реальных человеческих ценностей. Тогда я этого не понимал и думал, что он обрадуется моему решению отказаться от поездки в Германию. Отец, однако, отнесся к моему решению не ехать плохо. «Ты должен поехать!» — сказал он твердо. «Чего я там не видел!» — воскликнул я. Отец усмехнулся: «Ничего не видел». И это была правда.

И тут мне повезло. Я первый и единственный раз оформлял билеты через Союз писателей. И дама, которая занималась билетами, вдруг мне позвонила: «С вас коробка конфет! Я успела купить билеты по старой цене!» Конечно, коробка конфет и цветы. Золотой занавес, которым меня отгородили от Европы, вдруг порвался. В щель эту я и проскользнул.

Надо сказать, что Казак возник отчасти случайно. С моей второй женой мы по путевке от Союза писателей (за копейки) отдыхали в Пицунде. И там познакомились с немецкой семейной парой, у которой дочка была на год старше нашей. Хильда (Хильдегард) Хайдер-Зан была слависткой, замужем за поляком Ричардом, очень красивой женщиной с черными кудрями до плеч. Она была когда-то студенткой знаменитого слависта Вольфганга Казака и очень этим гордилась. Мы вместе провели несколько вечеров. Отношения сложились вполне милые. Им очень нравилась природа России, к которой они относили и абхазские красоты. Мы же рассказывали о своих проблемах, которые становились все острее.

Начинались 90-е годы. Кто-то богател, кто-то нищал. Магазины были пусты. Ходили разные шутки на этот счет. Продавец спрашивает покупателя: «Чего хотите?» Тот отвечает: «Мне, пожалуйста, полкило еды». Или еще больший макабр: «Простите, у вас нет мяса?» — спрашивает в магазине покупатель. Продавец: «Нет, у нас нет рыбы. А мяса нет в соседнем отделе». Журнал «Вопросы философии» выгнали из издательства «Правда», другого издательства мы поначалу найти не могли. Мы готовили номера, но везти их было некуда, и мы складывали полностью подготовленные номера в шкаф. Кажется, так три или четыре номера подготовили. Зарплаты нам не платили; впрочем, не только нам. Бюджетников посадили на голодный паек. Причем все знали, идет воровство всего, в том числе и зарплата, так сказать, в государственном масштабе. Но казалось, что это цена, которую мы должны заплатить за демократизацию страны. Ни один ведь переворот не проходит без жертв, а в сравнении с Октябрьской революцией, просто с ходу уничтожившей сотни тысяч людей, нынешний переворот казался гуманным. Зато в журнале всем сотрудникам выдали справку, с подписью и печатью, что такой-то не получает несколько месяцев зарплаты, и эта справка дает ему право бесплатного проезда на городском транспорте. Так длилось почти все 90-е. Скажем, в 1996 г. в феврале мы все получили справки, что за этот месяц нам не будет выплачена зарплата. У меня сохранилась эта справка.



Хильда слушала, делала большие глаза, а ее семилетняя дочка произнесла нечто, что ее мама тотчас перевела нам на русский: «У русских есть все, кроме того, что им нужно», — изрекла их маленькая дочка. Есть природа, разные красоты, но нет необходимых вещей и продуктов. Когда я устал перечислять наши несуразичьи и рассказывать про бедность, которая в тот момент казалась нам на грани нищеты, я все же, как вежливый человек, поинтересовался, какие проблемы мучают Германию. Хильда быстро ответила: «Проблема парковки». И сама смутилась. Теперь такая проблема появилась и у нас, а тогда она виделась верхом нелепости. Тем, что называлась престолярно: «От сытости бесятся».



Обложка романа-сказки «Победитель крыс»

И именно Хильда рассказала обо мне Казаку и написала, что на пару дней она готова принять меня у себя. И что с Казаком она обо мне непременно поговорит. Поэтому, получив визу, я купил билеты на Кёльн. В те годы, если не говорить о черном рынке, про который я знал только, что он существует, недалеко от метро «Белорусская» существовал официальный пункт обмена, где советские (в 1991 г. еще советские) граждане имели право обменять русские рубли на нужную им валюту, предъявив паспорт с визой и билет в страну назначения. Мне было что менять. Как раз в начале года вышел в издательстве Сабашниковых мой роман-сказка «Победитель крыс», который выдержал практически сразу тираж в 225 000 экземпляров. Выходила книга в дни ГКЧП, а поскольку герой, победивший крыс, носил имя Борис, ассоциация с Ельциным возникала автоматически. Хотя роман писался в 1982—1983 гг. и про Ельцина я и понятия тогда не имел, но до типографии роман добрался только в 1991 г., а потому работали «неуправляемые ассоциации». И типографшики написали издателю, что рисковать не собираются и рассыпают набор, тогда он был не компьютерный. Я решил, что в очередной раз моя писательская судьба перечеркнута каким-то жирным черным крестом **несудьбы**. Но на мою удачу ГКЧП продержался всего три дня. Типографшики рассыпать набор не успели, а специально для себя сделали неучтенных 300 экземпляров. Кстати, на развалах «Победитель крыс» продавался с анонсом: «Книга о трудном детстве и победе Бориса Ельцина». Повторю: к Ельцину эта сказка отношения не имела.

В книге было 14 печатных листов. Обычно в советские времена автору платили по 300 рублей за лист. Издательство Сабашниковых заплатило по 400 руб. На руки я получил 5600 рублей. Голова пошла кругом. Это было больше моей годовой зарплаты. Но в обменном пункте я получил за эти деньги (исключая 500 рублей, которые я оставил жене Марине) 320 дойчмарок. Мне казалось, что это целое состояние. Как же! Моя годовая зарплата! И я позвонил Хильде, что мне удалось поменять советские рубли на немецкие деньги,

так что пару недель я не буду стоять им ни копейки, и спросил, что они хотят, чтобы я привез из Москвы. Напоминаю, что прилавки были пустые. Моя пятилетняя дочка Маша задала тогда очень сложный экономический вопрос, на который мне нечего было ответить: «Папа, — спросила она, — а если у человека есть деньги, но он все равно не может ничего купить, значит, он бедный?» Наверно, она была права, но не хотелось говорить дочке, что мы бедные, и я промолчал. С тревогой я ждал просьбы Хильды. Она сказала: «Ты мог бы мне привезти хмели-сунели?» Это такая закавказская приправа, смесь специй, которую Хильда открыла для себя в Абхазии. Я обрадовался больше, чем можно вообразить. Все витрины и прилавки магазинов, где раньше были продукты, были заставлены пакетиками «хмели-сунели». Я даже вскрикнул: «Сколько пакетов?! Десять? Двадцать?» Хильда даже оторопела от моего энтузиазма: «Ну что ты, Владимир! Два-три, ну, четыре пакетика, не больше!» Так я и поступил, купил на всякий случай десяток пакетиков, уложил их в чемодан. А через день уже летел в Кёльн.

Из аэропорта я доехал до центральной площади, где находится великий Кёльнский собор. На картинках и фотках я видел его не раз, тут я стоял перед ним и не мог поверить, что я и в самом деле добрался до Кёльнского собора, что могу подойти, потрогать камни, зайти внутрь, и все это не во сне. На вокзале украинская проститутка ссорилась по телефону, очевидно, со своей напарницей, которая не то увела клиента, не то прижала от него деньги, переданные говорившей. Ходили негры, китайцы, и чувствовали себя в Кёльне как дома. У фонтана сидели на каких-то подстилках крашенные хиппи с кольцами в ноздре и в губах. Почему-то стало мне обидно, ведь я именно себя считал европейцем по образованию, по взглядам, но в Европе я чужой и дикий, а они здесь у себя дома, в норме. Перед вокзалом была небольшая стоянка такси. Я сел рядом с шофером и произнес заранее приготовленную фразу: «I'd like to get...». И назвал адрес Хильды. Хильда мне еще по телефону сказала, что такси мне оплатит, но я ответил, что денег у меня много, поэтому прошу ее не беспокоиться. Однако, когда мы доехали до Herderstrasse, я увидел, что счетчик показывает двадцать дойчмарок. Это немного напрягло меня, показалось, что многовато. Правда, я тут же сказал себе, что транспорт в Европе дорог, тем более такси, но больше я на такси ездить не буду. И я был рад, когда увидел Хильду, встречавшую меня. Она заплатила по счету, взяла квитанцию и объяснила мне, что эту дорогу оплатит университет. Потом мы занесли вещи в ее трехкомнатную квартиру, и она меня пригласила в китайский ресторан, где тоже, оплатив счет, попросила квитанцию. Это входило в систему приглашения. Такси и ресторан. Вечером она собрала друзей-сла-

вистов. Я там был главным блюдом. Я уже принял душ, переоделся и был готов отвечать на вопросы. С собой я привез «Победителя крыс» и пару вышедших к тому моменту литературоведческих книг. Книги, открытый взгляд и немало денег (как мне казалось). То есть я чувствовал себя вполне уверенно.

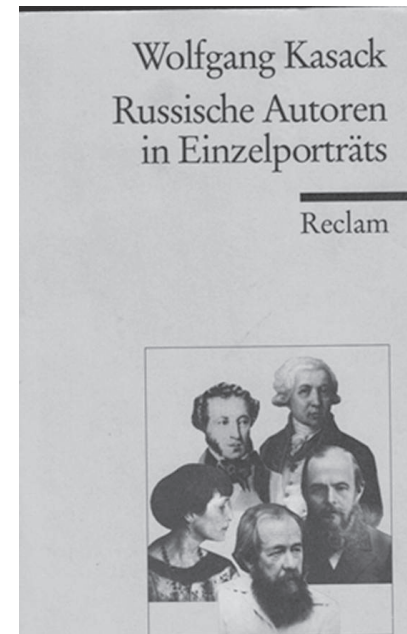
Разговор, который случился, был ужасен, но потом я сказал себе, что в этом виноват не я, а моя держава. Я же сам по себе вполне нормальный, умный, хорошо образованный (gut gebildet) человек. Не помню уже последовательности разговора, но в какой-то момент Хильда показала гостям мою последнюю книгу и сказала, что в России — книга эта бестселлер. На меня посмотрели с уважением. А я добавил, что эта книга принесла мне практически мою годовую зарплату. Тут они поняли, что у автора бестселлера речь идет не о миллионах, но все же!.. Я же подлил масла в огонь, заметив, что все эти русские деньги я обменял на немецкие. И потому могу здесь себе ни в чем не отказывать. На меня смотрели с уважением, а я пушил петушиный хвост. Но все же кто-то спросил, сколько я получил дойчмарок, поскольку они не могут оценить мой гонорар в рублях, а в немецких деньгах смогут. И я не смог удержаться от хвастовства. «Триста двадцать марок!» — сказал я как бы небрежно, но в этой небрежности сквозил оттенок моей финансовой значительности. Но и Хильда, и ее Ричард, и все гости вдруг замолчали. А Ричард приподнялся, сунул руку в карман брюк и протянул мне маленькую книжечку сброшюрованных билетов. «Владимир, здесь тебе на десять поездок хватит!» — сказал он. А один из гостей, сосед Хильды по подъезду, встал и сказал, что он может принести сумку вполне съедобных консервов. Кто-то пообещал привезти завтра упаковку бутылок питьевой воды. Одна дама сказала, что Кёльн не очень большой город, и красивый, что его можно пешком исходить. А Хильда сказала: «Не огорчайся. У Казака тебя ждет гонорар в двести пятьдесят марок». Я все-таки растерялся, но, положив себе за правило в незнакомых ситуациях не делать вид, что я все понимаю, а честно просить объяснить, я и спросил: «Это маленькая сумма у меня?» Хильда ответила: «Владимир, только не обижайся. Я учительница в гимназии и получаю ежемесячно три тысячи триста марок».

Я понимал, что страна наша находится в финансовой и экономической пропасти, но глубину этой пропасти я вдруг почувствовал реально, так что внутренности заледенели.

Чтобы не изображать человека, охваченного малороссийским чувством стыда, перехожу к своей лекции.

Читал я на тему «Западничество как проблема “русского пути”». Надо сказать, что люди с Запада, слависты и неслависты, просто интеллектуалы, до сих пор считают, что именно славянофильство вы-

разило смысл русской культуры. Так что тема прозвучала несколько вызывающе. Надо сказать, что рассматривал я эту тему не литературоведчески и даже не философски, а скорее историсофски, показывая положение России между Степью и Западной Европой. Причем писал, что до монгольского нашествия христианская Русь, не очень разбираясь в конфессиональных спорах (да и крестившаяся до реальной Схизмы), выполняла своего рода роль экуменического мостика между Западом и Византией («путь из варяг в греки»). И выбор западной ориентации у русских людей, начиная с XVI в. — от царей и вельмож до интеллектуалов XIX в. — не был движением на Запад, а был попыткой вырваться из цепких степных лап, что удавалось и не удавалось. Блок, скажем, помнил о поле Куликовом, но он же воспел «ханской сабли сталь». А большевики восстановили монгольское право на землю. Короче, охват фигур и тем был весьма широким. Я, конечно, нервничал. Это было мое первое выступление на Западе перед западными коллегами, а мы привыкли их во всем полагать выше нас. Перед лекцией я спросил у Казака, каков будет уровень слушателей. Он посмотрел на меня иронически-высокомерно и почти вскричал (интонация была, как, наверно, у Суворова, когда генералиссимус кричал петухом, и голос пронзительный): «Да профессора вроде меня и доценты. Устраивает ли московского гостя такой уровень?!» Я смутился и ответил, что это для меня большая честь. Передо мной сидело человек пятнадцать. Из них немцев, как я мог понять, было человек восемь, Сколько из них профессоров, я не понял. Пришли Хильда с Ричардом. Были также молодые русские женщины, которые (это понял я позже) имитировали перед своими профессорами глубокую заинтересованность в русистике, но говорили, старясь угадать настроение босса и его отношение к докладу. Первым выступил Казак: «Скажите, как вы можете сопрягать в одном тексте и исторические темы, и философские, и литературные?» Мой ответ, видимо, его поразил: «Я этому у вас научился». Он опешил: «У меня?» Я впервые въявь столкнулся с этой чудовищной узостью европейской специализации последнего полувека. Я-то сказал правду, имея в виду тексты Гёте, Шпенглера, Томаса Манна и прочих немецких гениев. И я пояснил: «Не лично у вас, у немецкой науки». Русские ученицы, видя оторопь профессора, бросились на меня в атаку: «Не кажется ли вам, что при таком разбросе вы не сможете прийти к конкретному выводу». Не желая спорить, я только улыбнулся по возможности обаятельно и как мог вежливее ответил: «Однако пришел». Соотечественницы, выслужившись, презрительно скривились: «Это вам так кажется». Их оборвал Казак, сказавший задумчиво: «Да, это интересно — то, что вы рассказали». Спустя года два я снова был в Кёльне, и Казак предложил приехать к нему домой



(под Кёльном, городок Муха) и прочитать доклад о Достоевском. Я согласился, тем более что Казак, понимавший стесненность средств русских гостей, всегда за доклады платил. В этот день была, однако, забастовка на транспорте, и я опоздал почти на час. Вошел я на том, что участники семинара спорили, почему в «Антоновских яблоках» Бунина не просматривается тема Октябрьской революции. Невольно я встрял: «Она не может там просматриваться, поскольку этот рассказ был написан задолго до революции, в начале века. Можете проверить». Кто-то из слушателей повернулся ко мне: «Вы специалист по Бунину?». Понимая, что опять я что-то не то сле-

лал, я все же ответил: «Нет, не специалист, просто читал Бунина и о нем». Тогда-то я понял, что бояться никого не надо.

Впрочем, я благодарен Казаку, поскольку он невольно ввел меня в немецкий университетский круг. Спустя несколько лет Казак оказался в Москве (бывал и раньше), на сей раз у меня дома, и подарил свой знаменитый Лексикон, свою главную книгу.

А потом эта поездка принесла мне неожиданное, уж совсем неожиданное знакомство с Корнелией Герстенмайер, главным редактором немецкого журнала «Kontinent»¹. Ее отец Евгений (Ойген)

¹ Думаю, что читателю может быть интересно узнать подробнее об этой женщине, поэтому привожу ее интервью на радио «Свобода» от 26 сентября 2009 г. Андрею Трушану: *Корнелия Герстенмайер*. Я из смешанной семьи. Папа был немецким, лютеранским теологом, философом и юристом. После Второй мировой войны он стал политиком, стал депутатом первого бундестага в 1949 г., потом президентом того же бундестага с 1954-го по 1969 г. При Гитлере он был в Сопротивлении, был репрессирован и пережил все чудом и в связи с тем, что война закончилась вовремя. Мама была российской подданной. В 1919 г., будучи ребенком, она покинула Россию, как это делали тогда многие так называемые белые и классовые враги. Но этот факт, что мама из России, наверное, меня связал с Россией навсегда. Для меня Россия стала с момента смерти Сталина некоей, я бы сказала, самоидентификацией. Тогда мне было 10 лет. И с тех пор я всю жизнь мечтала о возвращении России как страны, о том, чтобы она стала свободной, и это, конечно, самое главное, и о том, что когда это случится, я хотела ей служить, как это сделали мои предки со стороны матери. И вот в начале 90-х годов я стала гражданкой России и стараюсь себя вести как ответственный гражданин.

Герстенмайер, как я узнал позже, был председателем бундестага и творцом немецкого экономического чуда. Знакомство с Корнелией, правда, было только телефонное, но разговоры длились каждый вечер по паре часов. Чем я ее заинтересовал, не знаю. Мне же чрезвычайно был интересен ее разговор, разговор прогрессивной, политизированной славистки, ее соображения о России. Она с интересом расспрашивала и меня, среди прочего попросила рассказать, что я говорил в своем докладе. А потом спросила, не мог бы я послать ей текст этого доклада. Я возразил, что это рукопись, даже не машинопись. «Ничего, — сказала она, — главное, чтобы слова можно было разобрать». Я сложил листочки в конверт и отправил ей. А через год (в 1992 г.) я получил на свой московский адрес журнал «Kontinent». Это был номер, в котором я с некоторым удивлением увидел опубликованным мой доклад, переведенный на немецкий¹.

В России эта же статья вышла в «Вопросах философии» ровно через год.

И еще должен нечто сказать, поскольку без благодарности тут не обойтись. За два дня до моего отлета Корнелия узнала, что я люблю Степуна, но у меня нет его мемуаров, собственно, главной его книги. «Будет, — сказала она. — Успею». Она послала лондонское издание «Бывшего и несбывшегося» экспресс-почтой, и я получил книгу накануне моего рейса в Москву.

С городом Кёльном связано еще открытие — **немецкой христианской щедрости и открытости**. Я был тогда как переходящее красное знамя, кочуя из одной немецкой квартиры в другую. Последние два дня я провел у сотрудницы Льва Копелева Дагмар Франц (Херрманн), высокой, очень красивой женщины, которая повела себя, как не всегда поведет и близкий друг. Все русские эмигранты передавали мне презенты для своих московских друзей. Подарков скопилось столько, что пришлось купить еще одну сумку для самолета. Увидев две сумки, Дагмар сказала: «Владимир, у Вас перевес!» Она принесла напольные весы. Действительно, перевес был в аккурат в 20 кг. «Придется платить за перевес. Восемнадцать марок за килограмм. То есть триста шестьдесят марок. У вас есть такие деньги?» У меня оставалось марок пятнадцать. Я покачал головой. Лицо у меня, видимо, было здорово расстроенное.

«Не волнуйтесь, — сказала Дагмар. — Я отвезу вас в аэропорт и заплачу». Я растерянно посмотрел на нее: «Но я не смогу вам вернуть этих денег. Во-первых, я столько никогда не заработаю. Во-вторых, я не уверен, что еще когда-нибудь попаду на Запад.



Дагмар Херрманн

гласилась. И утром мы поехали. Попросив ее постоять в стороне, я взвалил одну из сумок на плечо, будто она ничего не весила и подошел к стойке. Но девушка молча показала рукой, чтобы я эту сумку тоже поставил на весы. И сразу обозначились 40 кг. Она посмотрела на меня, а я жалобно забормотал: «These are some presents from German friends to Russian friends. I can't give their back!» А это было еще время, когда немцы изо всех сил посылали в Россию гуманитарную помощь. И чиновница погрозила мне пальцем и произнесла: «Next time be careful!». И, нажав кнопку, отправила обе мои сумки в багаж. «Владимир, вы ей понравились», — сказала Дагмар потом. Я так не думаю.

Дома пятилетняя дочка Маша спросила: «Папа, ты говоришь, что у тебя оказалось мало денег. А чем же ты там все это время питался?» Я ответил, что в Германии очень дешевые бананы, их в основном и ел. «Эх, — сказала Маша, — а мне ни одного не привез. В Москве у нас их нет». Да уж! Ответить было нечего!

Через день я отправил свои книги на адрес фонда Генриха Бёлля. Наша почта, как потом я не раз убеждался, и в этом случае сработала из рук вон плохо. Во всяком случае, ответа из фонда я не дождался.

¹ Wladimir Kantor. Westlertum und Rußlands Weg // Kontinent. 1992. N 4.

Германия по второму разу (*Bamberg*)

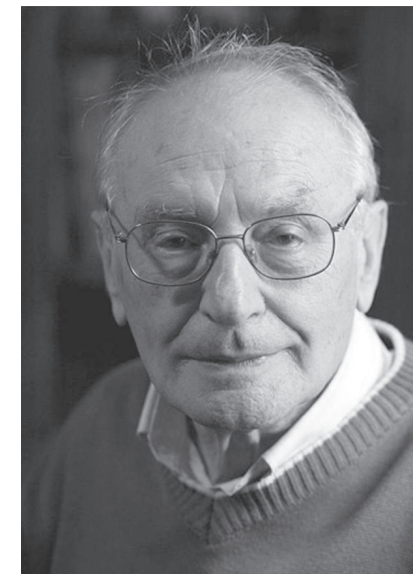
Но самая классическая и смешная была моя вторая поездка в Германию, в город Бамберг на конференцию, посвященную творчеству Гончарова. Конференцию проводил крупнейший немецкий «гончаровед» (извините за такое уж очень зануаченное слово) Петер Тирген. Получилась эта поездка более чем случайно. Один из немецких славистов после моего доклада у Казака подошел ко мне и спросил, знаю ли я, что осенью будет в Бамберге конференция по Гончарову. «Вас это интересует?» Еще бы не интересовало! За два года до поездки в Кёльн у меня в Москве вышла статья: Долгий навек к сну (Размышления о романе И.А. Гончарова «Обломов») // Вопросы литературы. 1989. № 1. И я ответил, что очень интересует. Славист дал мне телефон Тиргена. И, не раздумывая, я этим же вечером (вечером разговор стоил дешевле) ему позвонил. Я собирался рассказать, что я автор такой-то статьи о Гончарове, опубликованной в престижном московском журнале «Вопросы литературы». Но, к своему удивлению, услышал, что Тирген ее читал, более того, когда он был в Москве, то спрашивал у московских филологов мои координаты. Но все прикинулись шлангами (а может, кто и был таковым) и сказали, что они ничего про меня не знают. Тогда шла борьба (а может, и сейчас идет?) за знакомство с западными коллегами. Вдруг позовут на Запад не тебя, а того, с кем ты иностранца познакомил. Довольно противное и холопское состояние душ у соотечественников.

Тирген тут же послал мне приглашение, добавив, что дорогу и пребывание Бамбергский университет берет на себя, но для начала я должен послать тезисы. Я спросил, могу ли написать их от руки. Тирген не возражал, и я послал строк двадцать под названием «Обломов как трагический герой». Через пару дней я получил запечатанный конверт с приглашением и стал полноправным участником конференции. На самолет билетов не было, и русская группа поехала поездом до Нюрнберга, а там пересадка до Бамберга. Это было и дешевле. Назову тех, кого запомнил из спутников, с кем мы и там держались вместе. Это Юрий Владимирович Манн, мой бывший профессор в МГУ, Наталья Давидовна Старосельская (тогда для меня Наташа) и человек, которого я называю профессор Икс (по имени Витя, тоже филолог). Потом, уже в Бамберге, к нашей компании присоединилась Лена Краснощекова, уже с десятков лет жившая в Штатах.

Поразительно, что столетие со дня смерти великого русского писателя отмечала Германия, а не Россия. Но российские филологи были рады, что их хотя бы в знании текстов признали равно-



Профессор Петер Тирген



Юрий Владимирович Манн

правными партнерами. До Нюрнберга мы ехали русским поездом. Все было нормально, шутили, смеялись, смеялся и профессор Икс. В Нюрнберге надо было пересесть на немецкий поезд, чтобы ехать до Бамберга. «Как! — воскликнул Икс. — Я не хочу ехать на немецком поезде. Я привык только на советских или хотя бы русских поездах ездить. Да и чем за билеты платить?» Немецкие деньги были только у Манна и у меня. Но мы еще в вагоне договорились, что заплатим за всех, а когда Тирген даст деньги за билеты, коллеги нам вернут. «Я не хочу одалживаться!» — мрачно сказал Икс, но все же пошел со всеми вместе в кассу. Начинались удивления для нас и потрясения для эсхатологически настроенного Икса, который попал, видимо, по рассеянности, на заколдованную землю, где за каждым поворотом его ожидало что-то злокозненное. И началось все с немецкого поезда, который вовсе не походил на наши поезда дальнего следования, где в каждом вагоне находились лежащие места, грязные туалеты (зато свои!) и проводники. Тут был поезд, выполнявший функцию нашей электрички, ибо шел всего два-три часа, с удобными сиденьями, а вовсе не скамьями как в России, да еще были выделены и маленькие купе на шестерых. Мы сели, поезд тронулся, проследовал контролер, проверивший наши билеты, и Манн тут же вышел из нашего купе и минут на десять исчез. Икс, хорошо знавший только Юрия Владимировича, нервничал и слегка дрожал,

пока того не было. «Ты куда ходил? Почему мне не сказал?» — почти накинулся он на Манна. «Ну, Витя, — усмехнулся Манн, — включаясь в иронический контекст ситуации. — Нельзя же так нервничать. Сходи лучше сейчас, на вокзале придется деньги платить, чтобы в туалет сходить. Сходи хотя бы для интереса. Это познавательно. Вообрази, что в музей идешь». Пока Манн уговаривал Икса, я решил, что и вправду время не надо упускать. На вокзале еще искать придется, а здесь только до конца вагона дойти. Действительно, ничего похожего в русских поездах не было. И порошковое мыло с пряным запахом, казалось, отмывавшее все, что могло тебе не понравиться. Когда я вышел, перед дверью туалета стояли Манн и Икс: «Ну иди, Витя, я у двери подежурю», — продолжал уговаривать Юрий Владимирович. «Хорошо, — согласился Икс, — ты все же немецкий знаешь. Если что, сумеешь позвать кого-нибудь на помощь». «Ну, конечно, — смеялся Манн. — Не волнуйся».

Через некоторое время они вернулись в наше маленькое купе, а еще через полчаса голос объявил, что следующая станция — Hauptbahnhof Bamberg. Все же мы были запуганные русские. Стоило сравнить, как мы лихорадочно схватили свои чемоданы и заторопились к выходу и поведение двух немецких молодых людей, которые пару часов от Нюрнберга до Бамберга перекинулись всего парой слов, потом читали свои немецкие газеты, потом, также не торопясь, встали, засунули свои газеты в газетное отделение своих чемоданов и двинулись на своих длинных ногах к выходу. Они встали за нами, суетливо толпившимися у двери. Поезд начал замедлять ход. Профессор Икс несколько раз судорожно задергал ручку у двери, чуть не сорвал ее. Немец повыше что-то сказал. Манн понял и попросил коллегу: «Витя, не торопись. Поезд должен окончательно остановиться. Они предохраняются от таких нетерпеливых, чтобы никто на ходу не прыгал и не дай Бог не вывалился». Икс что-то фыркнул презрительное, но ручку дергать перестал. Поезд встал. Икс снова дернул — безрезультатно и повернул к нам испуганное лицо человека, попавшего, очевидно, в немецкую тюрьму. Мне тоже, если честно, на момент стало не по себе. В таких поездах я еще не ездил. Но тут длинный немец перегнулся через нас и нажал не замеченную нами кнопку, она налилась красным светом и дверь отъехала в сторону, давая нам выход. Икс почти вывалился на землю, вышла следом Наташа, потом Манн, потом я. Из соседнего вагона вышел светловолосый, бородатый мужчина с благородным горбоносим лицом, но вида славянского — не спрячешься. В руках у него был небольшой сак. Потом мне стало понятно, что европейцы, переезжая из города в город, не везут с собой все необходимое, включая консервы. Спустившийся вдруг замахал рукой,

крикнул: «Привет, Юрий!» и подошел к нам. Он пожал руку Манну, а тот представил каждого из нас, потом и подошедшего: «Это знаменитый русист Анджей де Лазари. Он из Польши, а еще точнее — из Лодзи». Они принялись вспоминать конференции, на которых встречались. Мы стояли и слушали. Потом Икс не выдержал и спросил нервно: «А почему нас никто не встречает?» Анджей развел руками: «Здесь так не принято. Считается, что человек должен опираться на себя и собственную сообразительность. Разве они вам не прислали с программой карту-план, как дойти до университета? Мне прислали». Я открыл портфель, где лежала программа, вспомнив, что карта была, но я не обратил на нее внимания. «Не надо, — остановил меня поляк, — я уже посмотрел, вот она. И маршрут наметил. Если пойдем вместе, готов быть вашим проводником». Я позволил себе шутку дурного толка: «Как Сусанин?» Де Лазари усмехнулся неожиданно весело: «Я не буду мстить за ту давнюю историю».

И мы пошли. Мой вопрос тем не менее подействовал на самого опасливого. Икс всё оглядывался по сторонам, опасаясь, не заведет ли нас поляк в какую-нибудь чащобу. Но город был небольшой и чистый, по краям дороги росли высокие деревья, среди них кусты, но на лесную чащу это не походило. «Старый университет?» — спросил Манн. «Скорее да, — ответил Анджей. — Да что же вы в программе не посмотрели, там же и дата стоит — 1647 год», — отвечая, он глядел в программу. Мы смутились и замолчали. И дошли уже довольно быстро. Перед нами появилось здание университета. Мы вошли во внутренний двор. Там толпились молодые и не очень люди. К нам двинулся невысокий юноша армянского типа, армянином он и оказался. Это был доцент славистики и помощник Тиргена, покинувший родину и уехавший в Германию после страшного Ленинанского (Спитакского) землетрясения 1988 г., когда погибло более ста тысяч человек. Молодой человек приветствовал нас и сказал: «Профессор Тирген просил проводить вас в гостиницу, где вы оставите вещи, переоденетесь, отдохнете немного, а через пару часов я зайду за вами и поведу на небольшой дружеский ужин для участников конференции». И мы вышли с зеленого двора университета.

Прошли вдоль реки Регниц, которая была совсем рядом с университетом, и дошли до отеля. У каждого был свой номер, мы записали на рецепции свои паспортные данные, сдали паспорта и присели в холле, пока администратор подбирала для нас ключи. И вдруг в комнату влетел вихрь, это была женщина в красной куртке и черных брюках, очень американистая. «Юра! Витя! — воскликнула она. — Господи, сколько лет прошло! Да ты, Витя, не шарайся от меня, с эмигрантами уже можно общаться. Тебя за это не

накажут. Слушайте, а Кантор приехал? Я хотела бы с ним познакомиться!» Манн молча указал на меня. Это была Лена Краснощекова, как я догадался сразу. Ей было далеко за пятьдесят, но выглядела она лет на сорок. Американский воздух и хорошие продукты, ну и наверно, как в Штатах положено, пробежки по утрам. Мне был понятен и ее интерес ко мне. В своей статье об «Обломове» я несколько раз сослался на нее, назвав ее лучшей специалисткой по Гончарову. Теперь еще понятнее, на Западе к индексу цитируемости уже тогда относились трепетно. «Чудно! — сказала она и протянула руку. — Давайте знакомиться! Лена!» Лена жила уже больше десяти лет в штате Джорджия, где преподавала в университете. «Слушайте, Володя, — а вы не подавали на американские гранты? Американцы легко их дают. Я вам советую Фулбрайт. Мощная структура. Они сами говорят, что стипендия Фулбрайт — маленькая Нобелевка. Я вот на восемь месяцев в Японию съездила, университет меня отпустил. А японцы позвали, потому что мой отец воевал с ними на Дальнем Востоке. Теперь они стараются мириться. Под примирение я и попала». Я, чувствуя свое немыслимое невежество, все же спросил: «Лена, извините, не знаю о вашем отце». Она махнула рукой: «Понятно. Дела давно минувших дней. А вы же не историк. Он там был командармом. А в конце тридцатых его расстреляли. Такая вот судьба. Так я и росла — без отца, боялась упоминать его. А потом, видите, его имя вывезло меня в Японию. Разумеется, тема, которую я предложила, была по Гончарову, по “Фрегату Палладе”. Японцам это подошло».

Нам выдали ключи и мы пошли к лифту. «Давайте, ребята, поскорее. Жду вас внизу», — сказала Лена, села в кресло и взяла английскую газету. В лифте я спросил Манна: «Давно она уехала?» Он ответил, сгустив брови, соображая: «Да уж больше десяти лет. В ИМЛИ жуткий был скандал». Мы быстро, оставив вещи, собрались и спустились вниз. Ждать армянского помощника Тиргена не стали, повела нас к университету Лена Краснощекова, понимавшая, куда идти, да и опытная в передвижении по чужим странам. В университете нас провели в помещение студенческой столовой, где было накрыто больше десяти столов. На первый взгляд, там было человек сорок. Тирген встал, приветствовал собравшихся, сказал, что конференция рассчитана на три дня. Но что на второй день, т.е. послезавтра, он хочет свозить участников в Байройт, к дому Вагнера и его могиле. И вправду съездили, меня поразило, что могила Вагнера, как и могила Льва Толстого, просто среди деревьев в аллее усадьбы. Лев Толстой Вагнера не любил, но его предсмертный жест повторил: могила без креста, просто Толстой и природа. А на четвертый день, сказал профессор, будет большой банкет.



Елена Краснощекова

На следующий день началась конференция. Мой доклад, как помню, был в первый день, хотя и во второй половине дня. Мне хотелось разрушить представление о Гончарове как писателе *натуральной школы*, поэтому среди прочего было два тезиса: «Современники за способом изображения (жизнь в формах самой жизни) не увидели, что, как и Достоевский, Гончаров был продолжателем великого реализма, пытавшегося представить в своих образах не просто стенографию действительности, а символы человеческого бытия». А потому, сравнивая героя романа с Гамлетом, я написал: «Илья Обломов далеко не одномерен: мне он представляется *трагическим* героем, изобра-

женным *иронически*, хотя и с горькой иронией, возможно, даже с любовью». Доклад вроде бы понравился. Я был рад, что в первый же день я отделался, дальше можно было просто слушать и гулять по городу, где когда-то жил мой любимый Гофман. После моего доклада ко мне подошел пожилой немец и сказал, что ему понравился мой доклад, и он хотел бы мне подарить свою книгу: «Сон Обломова» с параллельными текстами по-русски и по-немецки в его переводе. Лица его я не запомнил, слишком дикий я был тогда и был уверен, что никогда больше в Германию не попаду. Поэтому, сказав «спасибо», просто сунул книжку в портфель. Но книжка у меня сохранилась, удобно для изучения немецкого: Iwan Gontscharow. Oblomows Traum. Russisch / Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Hans Rothe. 1987. Philipp Reclam. Stuttgart. А на первой странице он написал: «В. Кантору благодарно. Издатель. Bamberg. 9.X.91». Во всяком случае, по этой надписи могу восстановить точную дату бамбергской конференции. Вечером собралась в номере Лены Краснощековой, она купила бутылку франконского вина. Сидели, потихоньку прихлебывая из бокалов (в каждом номере были бокалы), и трепались о преимуществах жизни на родине или в эмиграции. Разошлись, ни до чего не договорившись. Когда выходили, Наташа Старосельская спросила: «Володя, после Байрой-

та сбежим с конференции на пару часов. Мне что-то надо купить сыну, а вам, наверно, дано задание купить что-нибудь для дочки». Я невольно почесал правый висок (жест орангутанга), потом сообразил, что мне надо купить и сказал: «Нет, задания не было, но я знаю, что надо дочке». И мы разошлись по номерам. Утром от университета на автобусе мы поехали в Байройт, провели там день, было странное чувство приобщения к тому, о чем слышал и читал, а тут вдруг можешь прикоснуться. Хотя Вагнер и не был одним из моих любимых культурных героев, я относился к нему опосредованно — через Ницше и Томаса Манна, ну и Толстого, разумеется, но все равно значительность поездки старался ощутить. Лена не поехала: «Не люблю я его». «Кого?» «Да Вагнера вашего».

На следующий день ко мне вдруг подошел профессор Тирген и сказал, протягивая конверт: «Вам письмо от Дагмар Франц». Дагмар я вынужден представлять под двумя фамилиями. Когда мы познакомились, ее фамилия была Франц. Теперь — Херрманн. Я раскрыл конверт и достал записку: «Дорогой Владимир, я узнавала в фонде Бёлля. Ваши книги не дошли. Но пока Вы в Германии, Вы можете послать их на мой адрес. А я их передам в фонд. Ваша Дагмар». В конце письма был ее почтовый адрес. К счастью, у меня хватило сообразительности взять с собой пару своих книг — культурфилософскую и книгу прозы. Проблема была — где почта и как упаковать и отправить книги (немецкий мой был тогда совсем швах). Я спросил тем не менее Тиргена, не может ли кто-либо из его студентов проводить меня до почты. Но он сказал, что мне не надо идти, надо только дать его магистрантке мои книги и адрес, она отправит и принесет квитанцию. Так и вышло. Девушка принесла мне квитанцию, а я отдал ей требуемые марки. Тирген не только оплатил нам дорогу, но и выдал каждому русскому участнику конференции по четыреста марок, так что деньги у меня были. Более того, возникла неожиданная проблема, как их потратить. В России еще не было пунктов обмена, а черный рынок мы не очень понимали. Во время обеда мы с Наташей отправились в огромный Kaufhof. А Юрий Владимирович Манн повел куда-то Икса. В магазине Наташа выбирала детские вещички, а я просто сопровождал ее. На ее вопрос, почему я не покупаю ничего, я ответил, что мне надо в продуктовый отдел. Этот отдел был в подвальном этаже, по эскалатору мы спустились вниз, и я купил связку бананов. Денег я тратить не хотел, поскольку тупо рассчитывал, что получу стипендию от фонда и снова приеду в Германию, так что деньги будут нужны.

На конференцию мы уже не вернулись, неудобно было с покупками, а пошли в наш отель. Там в холле разворачивалась трагикомическая сцена.

Юрий Владимирович Манн сидел вальяжно в кресле, рядом, прикрывая ладонью смеющийся рот, сидела Лена Краснощекова, а перед ними нервно вздрагивал, шагая взад-вперед, профессор Икс в шикарном, немного приталенном кожаном пиджаке черного цвета. «Откуда такая роскошь?» — спросила Наташа, указывая на пиджак. «Он мне купил!» — довольно злобно ответил Икс, ткнув пальцем в Манна. «Но, Витя, — возразил Манн, — это же ты меня просил помочь тебе потратить твои четыреста марок. Уложились идеально, даже четыре марки сдачи получили». «На, возьми их себе! — зло ответил Икс, — Мне они не нужны!» Видимо, уже зная в чем дело, а потому еле сдерживая смех, Лена все же спросила: «Не понимаю, Витя, чем ты недоволен. Точно скажу: в Москве ты такого качества кожаный пиджак не найдешь». Икс огрызнулся: «Вот именно! В этом и беда». Наташа вступила в разговор: «Какая же беда, Икс Иксович? На вас на улице оглядываться будут». Он глянул на нее, словно затравленная мышь, и спросил: «Наташа, вы это нарочно?» Она искренно удивилась: «Почему?» Тут встал Манн и сказал: «Я должен перед Витей извиниться. Но я просто вслух размышлял. Он таким шеголем до гостиницы шел, что я посоветовал ему в Москве быть осторожнее, поскольку в Москве за такую куртку могут и зарезать!» Икс почти закричал: «Вот-вот! Только ты сказал определеннее: не слово “могут” использовал, а просто сказал, что меня непременно зарежут. А куртку ты, ты мне посоветовал купить! Зачем, спрашивается?!» «Ну, натурально, чтобы тебя зарезали! Ты что, с ума сошел! Нельзя же так труситься!! — отвечал Манн, но при этом что-то гейнеобразное было в выражении его лица. Вошел Анджей де Лазари и спросил: «А что это русские коллеги так быстро ушли?» Манн объяснил: «Вот надо было куртку Вите купить, другого ведь времени не будет». Анджей со свободой европейского человека подошел, пощупал куртку и сказал: «Да, хорошая, настоящая кожа. Такой пиджак вряд ли в России купишь. Ходи аккуратнее, смотри, чтобы не украли. У вас в России это запросто. Да и завтра я в нем на банкет бы тоже не ходил». «А где, где я должен его носить?!» — почти закричал Икс. Усмешка на лице Манна исчезла, лицо стало очень серьезным, только под очками сверкали глаза как у кота Базилио, если верить Алексею Толстому. И он участливо спросил: «Витя, у тебя же двухкомнатная квартира?» «Ну да», — удивленный вопросом ответил носитель кожаного пиджака. «Чудесно! — воскликнул Манн. — Наденешь пиджак и будешь из комнат в комнату гулять, по временам взглядывая на себя в зеркало. Класс!» Лена уже захихикала в голос. «Не хочу с вами общаться!» — и профессор Икс убежал в свой номер. Мы тоже разошлись по номерам.

Следующий день был днем круглых столов и подведения итогов конференции. Тирген пообещал издать том всех выступлений, что и сделал. В списке моих публикаций это отмечено¹. Но самым впечатляющим оказался банкет, настоящий франконо-баварский банкет, с франконским вином, жареным мясом и т.п. В большой зале стояли длинные деревянные столы, вдоль них лавки. Вина было много, было много незнакомых яств, но больше всего мне запомнился маленький зеленый мохнатый фрукт, размером с большое яйцо. Я повертел фрукт в руках, потом положил к себе на тарелку. Что делать? Укусить? Откусить? Но я поставил себе за правило — не стесняться своего незнания, а, напротив, спрашивать знающих. Напротив меня сидел немецкий славист, и я спросил у него, что это за фрукт. Он улыбнулся и удивленно спросил, разве в России киви не продаются. Я ответил, что нет. «Да вы разрежьте киви на две части, а потом чайной ложкой можно будет достать содержимое и съесть». Так я и сделал. А потом довольно глупо спросил: «Но разве киви растет в Германии? Это же южный плод». Славист мне ответил: «Но мы ведь торгуем со всем миром». Дальше я повел себя как вежливый дикарь. Взял в руки киви, подошел к Тиргену и спросил, могу ли я взять этот плод в Москву и показать маленькой дочке. Завтра утром мы рано уезжаем и в магазин я зайти не успею. Тирген несколько ошалело посмотрел на меня, но кивнул: «Конечно».

Я вернулся к столу, краем глаза увидел, что профессор Икс все подливает себе в стакан то белого, то красного вина, заедая вино мясом и сыром. И снова наливая. Я беседовал со своим немецким визави о сложности поэтического перевода с немецкого на русский и с русского на немецкий. Немец уверял, что возможен абсолютно адекватный перевод, такой, что на чужом языке стихотворение зазвучит как на родном. Я тогда еще был не в состоянии сравнить русские и немецкие тексты, но слушал внимательно. Ошибки в построении русских фраз, немецкий акцент настроили меня скептически относительно его уверенности в возможности овладения иным культурным кодом. Потом, пошатываясь слегка, Икс пошел к выходу, попрощался с Тиргеном. Каждому уходящему немецкий профессор вручал в подарок бутылку франконского вина. Получил ее и Икс. И вышел из дверей в сгущающийся темнотой вечер. Тут ко мне быстрыми шагами подошла Лена Краснощекова: «Володя, Витя ушел? Я все за ним следила, но в последний момент упустила. Может, он с Манном пошел? Или с Анджеем? Тот надежный пан

поляк». Я привстал, выбираясь из-за стола: «Кажется, он один ушел». Лена закусила губу: «Плохо! Зовем Манна и идем в отель, посмотрим, добрался ли он...»

Надо сказать, Юрий Владимирович тоже заволновался. Мы подошли к Тиргену, попрощались, поблагодарили, тоже получили в подарок по бутылке франконского вина и быстро двинулись к гостинице. Подойдя к двери Икса, постучали, дверь никто не открыл. «Может, он гуляет? — спросил я. — Подождем, пока вернется...» Краснощекова отрицательно покачала головой. Что-то командармовское было в ее ухватках. «Нет, пойдем искать, — твердо сказала она. — Я ничего плохого не хочу сказать о Бамберге, но всякое бывает». К нам подошел Анджей и тоже занервничал: «Я его видел, когда он уходил. Его всякий обидеть может». И мы пошли искать Икса. До сих пор помню, хотя не очень отчетливо, что мы искали в Бамберге задворки, закоулки, темные места и канавы, в которые тоже заглядывали и внимательно их исследовали. В одну из них я, как самый молодой, даже прыгнул. Но нигде не было нашего коллеги. Кажется, мне первому надоело бродить по закоулкам, тем более что это были вполне ухоженные немецкие закоулки и, по моим представлениям, ничего дурного там произойти не могло. Мы вернулись. И тут, видимо, от некоторого раздражения на бесплодную прогулку, я снова стукнул в дверь номера Икса, но не интеллигентно, а кулаком, и сильно. И вдруг послышались за дверью тяжелые шаги, я поднял палец, все замерли. Дверь отворилась, в проеме стоял смурной Икс, протирая глаза: «Вы чего меня разбудили?» Манн пристально посмотрел на него: «Ну, Витя, я тебе это попомню в Москве!»

Но попомнил он раньше, по дороге в Москву. Простившись с Леной и Анджеем, мы сели в поезд. Из Бамберга мы ехали немецким поездом до Праги, а дальше надо было пересесть на русский поезд. Получилось это не сразу. Проводник нашего вагона был смертельно пьян. Посмотрев в сопроводительный лист и сравнив то, что там было написано, с нашими билетами, он тяжело сказал: «Вы не те, за кого себя выдаете!» Икс почти закричал: «Этого не может быть. Мы свои!» Проводник сверху вниз посмотрел на нас (хотя был ниже ростом) и произнес нагло: «Пожалуйста, идите к начальнику поезда и доказывайте ему, что вы свои». Манн вздохнул и сказал, указывая на Икса: «Мы пойдем, но осталось пять минут. Мы оставляем тут нашего коллегу. Вы уж отвезите его в Москву. Он человек большой». «А мне плевать!» — ответил развязно проводник. «Ну, ничего, Витя, — сказал Манн. — Поживем немного в Праге». А Наташа Старосельская простодушно добавила: «Очень красивый город». Тогда Икс как-то сник и жалобно сказал: «Не хочу я в Праге, я домой к жене хочу». Губы его дрожали. На ступеньках вагона

¹ Кантор В. Обломов как трагический герой // Ivan A. Goncarov. Leben, Werk und Wirkung. Herausgegeben von Peter Thiergen (*Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen*). Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1994.

стоял спортивного вида мужчина в штатском. Послушав наш разговор, он спросил: «Вы на конференции были?» Я ответил довольно резко: «Да! И все это более чем странно!» Мужчина, нагнувшись похлопал проводника по плечу, чтобы тот передал ему сопроводительный лист и сказал: «Не волнуйтесь, товарищи ученые. Все будет в порядке». И проводнику: «Пропусти ученых». Тот послушно отошел в сторону. Икс первым влетел в вагон, опасаясь, что поезд уйдет без него. Наконец, мы разместились в купе, заказали чай. Я вышел в тамбур покурить. Там курил человек в штатском. Я не выдержал и спросил: «А вы здесь начальник? Как он быстро вас послушался!» «Что вы! — ответил мужчина. — Такой же пассажир, как и все вы. Но часто этим поездом езжу». Утром он был уже в форме и только улыбнулся мне. Ну а я ему.

* * *

Когда я выложил связку бананов в кухне на стол, дочка спросила: «Папа, а тебе долго пришлось стоять в очереди за бананами?» Радуюсь, что угодил дочери, я ответил: «Совсем нет. Подошел и купил». Жена, чтоб не приуменьшилась отцовская заслуга, добавила: «Но папе пришлось больше суток ехать на поезде, чтобы купить бананы без очереди».

Она была права, больше суток. Можно ведь и не в километрах расстояние считать, а в единицах времени. Но тогда получалось, что не сутками надо мерить, а может, годами, а то и десятилетиями. Как писал Пушкин,

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

Неужели пятьсот лет?..

25. Тот свет, или Простодушие

(Мой американский опыт: первый визит в Штаты)

Начну с пустяка, но оказавшегося символическим. На мое пятидесятилетие (30.03.1995) Александр Косицын, друг моего детства и при этом архитектор, подарил мне около десятка столлларовых купюр США, с тем отличием от настоящих, помимо всяческих защит, что вместо портрета Франклина было мое фото, не из очень удачных. Но все же!.. Косицын был всегда мастер подобных шуток. Мы посмеялись, даже устроили какой-то шуточный аукцион, где я расплачивался этими купюрами.



США тогда мне нравились, я обожал Фолкнера, мне нравился Хемингуэй, как всё мое поколение, пережил безумную влюбленность в роман Сэлинджера, некоторое время вживаясь в стилистику речи Холдена Колфилда. А в юности были Эдгар По и великий Джек Лондон, немного раньше и долго потом Марк Твен, в школе класса до шестого читал роман за романом Майн Рида и Фенимора Купера, которого моя полудеревенская бабушка называла *Филимоном* Купером. Ну а там, где Купер и индейцы, были, конечно,

и книги о Войне за независимость. Почему-то мне очень нравилась история Поля Ревира, который, узнав о движении английских войск, двое суток скакал, предупреждая американских поселенцев, что на них идут регулярные войска. И как потом из американских фермеров-ополченцев выросла грозная армия, и как после победы Вашингтон отказался короноваться, предложив попробовать новый тип гражданского устройства. Но, возможно, причина симпатии к Полю Ревире была литературная — моя любовь к Лонгфелло, написавшему стих об этой скачке.

Запомните, дети, — слышал весь мир,
Как в полночь глухую скакал Поль Ревир...
То было в семьдесят пятом году,
В восемнадцатый день апреля, — в живых
Уж нет свидетелей лет былых.

Собираясь в последних классах школы поступать в университет на биофизику, прочитал «Кибернетику» Норберта Винера и чуть позже его же «Я — математик». Несколько моих друзей в начале семидесятых эмигрировали в Штаты. Шутка «от хижины дяди Тома до барака Обамы» тогда привела бы меня в ступор и вызвала бы неприязнь к человеку, который бы так пошутил. Да и мама постоянно помнила и мне говорила, что я выбрался из послеродового заражения крови, когда вымер весь роддом, потому что молодые матери испугались англо-американского лекарства, изобретенного англичанином доктором Флемингом, испугались пенициллина, как нерусского лекарства. Почему-то тогда для людей простых все шедшее со Второго фронта было американским. Мать была биолог-селекционер, в ее комнате, как я помню, висел литографированный портрет американского селекционера Лютера Бёрбанка вместо обязательного в те годы Мичурина, и она приняла это средство. В результате я выжил. А в девяностые выживала вся страна благодаря «ножкам Буша», как называли тогда куриные окорочка, присылаемые из Штатов, которые забоялись голодной страны с ядерными ракетами. Хотя много рухнуло в результате знаменитой «Горбуши», встречи Горбачёва и Буша. Сельский механизатор, несмотря на юридический факультет МГУ, не сумел переиграть мэтра ЦРУ. Но тогда США вовремя спохватились. Идея Верхней Вольты с ракетами их напугала. И посыпались на Россию разные блага. От фонда Сороса до Фулбрайта (это для элиты, а о «ножках Буша» я уже упомянул).

Конечно, как человек, занимающийся русской культурой XIX в. и веком Серебряным, я очень хорошо помнил отношение русских классиков к Североамериканским Соединенным Штатам (так тог-

да называли США) как к *тому свету*. А позже рассказывал об этом и студентам. Роман «Что делать?» начинается с самоубийства *нового человека* Дмитрия Лопухова, как потом выясняется, обманного. Герой на самом деле уезжает в Штаты и возвращается оттуда преуспевшим фабрикантом. Причем пережив это превращение, он словно бы перерождается, никто его вроде бы даже не узнает. Волшебная страна! Роман Чернышевского буквально пронизан евангельскими реминисценциями. Услышав рассказ Катерины Полозовой о Чарльзе Бьюмонте и сообразив, что это Лопухов, вернувшийся с *того света*, Вера Павловна кричит Кирсанову: «Ныне Пасха, Саша; говори же Катеньке: воистину воскресе». Именно в Североамериканские Штаты собирается ехать «особенный человек» Рахметов и там завершить свою жизнь, тот самый Рахметов, которого советская критика упорно числила по ведомству революционеров. Но у него в замысле была не революция, а Северная Америка. В ответ Чернышевскому Достоевский тоже трактует Америку как тот свет. В «Преступлении и наказании» — тот свет в буквальном смысле. Свидригайлов, сообщив полицейскому, что собирается «в Америку», вытаскивает пистолет и застреливается, отправляя себя на тот свет. Герои «Бесов» — Шатов и Кириллов — доводят свои идеи до русского гротеска и безумия именно в Соединенных Штатах, «в Америке», как говорит Шатов. То есть Америка оказывается как бы возгонной пробиркой безумия. Почему? Этот вопрос я задавал себе, не предполагая даже, что смогу на него ответить. Но жизнь развернулась так, что ответ пришел сам собой. Это, наверно, то отсутствие всяких препон, которое усиливает как добро, так и зло. Как писали наши американисты, опираясь на английский опыт, что в Америке даже простая английская собака начинает бегать в три раза скорее. Усиление, ускорение, отсутствие препон и пр. Все так. Но где основа всего этого? Психологическая основа. Ответ я тоже на этот вопрос нашел. Но о нем в процессе рассказа.

Теперь небольшое отступление. В мае 1993 г. ко мне в редакции журнала обратился мой приятель Рубен Апресян. И спросил, не хочу ли я в 1995 г. недели на три съездить в Штаты. У меня в этот год намечался месяц в Вене, два месяца германского Бохума, о Штатах я и не думал. Поэтому, полуотказываясь, спросил, на какой месяц падает эта поездка и в чем, собственно, дело. Но два слова о Рубене, поскольку именно он оказался мотором этого путешествия (как уже догадался читатель, оно состоялось-таки). Рубен был однокурсником моей жены по философскому факультету, были и другие житейские пересечения, стал автором журнала «Вопросы философии». Мы постепенно заприятельствовались. При встречах не просто здоровались, но и болтали.

Он знал, что я пишу статьи о русской философии и даже выпустил к тому времени пару книг. Сам он писал статьи по этике, превращая эту почти умершую в Советском Союзе область философии в нечто живое. И самое важное в этом сюжете — он блестяще знал английский и уже дважды ездил в Штаты. Он сказал, что в конце августа 1993 г. намечается совместно с американцами политологическая конференция в Москве и Плесе по проблемам демократии, которая в конце июня 1995 г. получит продолжение в Америке в штате Огайо.



Рубен Апресян, недавнее фото

Вена у меня планировалась с семьей на октябрь, а в Бохум я должен был ехать в ноябре и декабре. В декабре еще десять дней падали на Неаполь. Но июнь был свободен. Все-таки я по-прежнему возразил: «Рубен, ты же знаешь, что я не политолог. Что мне там делать?» Он улыбнулся: «Ничего сверх того, что ты делаешь. Нам как раз не хватает на конференции русской краски. Вот и напиши доклад о возможности демократии в России». Я выставил ладонь, отказываясь: «Я об этом никогда не писал». Рубен был настойчив: «Вот и напишешь. Самому будет интересно — повернуть свой материал немного в другую плоскость». Надо сказать, я до сих пор благодарен ему за то, что пришлось взглянуть на мой материал сквозь эту проблему. Не говорю уж о том, что этот доклад был переведен на три языка. «Хорошо», — сказал я. К августу текст «Демократия как историческая проблема России» я написал и сдал в оргбюро конференции. А потом приехал десант американцев. Перечислю имена, чтобы не казалось все из области невероятного: Эндрю Олденквист, Томас Траут, Джеймс Харф, Лоуренс Хорсен. Один из них был весьма спортивного вида (кто — сегодня не помню), даже неплохо знал русский, но по-русски с нами никогда не говорил.

Конференция проводилась в рамках школы по моральной и политической философии «Этика гражданского общества» и называлась «Основы гражданского общества. Западные демократические традиции и российский опыт». Кроме Института философии организаторами были Центр им. Мершана (Mershon Center, OSU) и Шуйский педагогический институт. Но началось все в Институте

философии, где собрался тогдашний цвет российской философии — академики и доктора наук (Вячеслав Стёпин, Абдусалам Гусейнов, Вадим Межуев, Эрих Соловьёв, Игорь Пантин, Валентин Толстых, Татьяна Алексеева, Рубен Апресян и пр.). Подробностей всех выступлений не помню, помню только общий мотив всех американских пионеров (не иронизирую, просто интонации были простые и героические, как у героев Фенимора Купера, героев, пробивающихся сквозь необжитые земли в постоянных схватках с индейцами). Они ставили церкви и знали, чему учить диких белых и краснокожих, и учили. Так вот, основной упрек (именно упрек!) российским участникам конференции был, что российские интеллектуалы не сообщали своему народу основные понятия демократии.

Наконец, кажется, Эндрю Олденквист задал неожиданный вопрос голосом отличника (хотя, как уже в Штатах мы узнали, больше всего он гордился своими успехами в бейсболе): «Хотел бы спросить российских коллег, читали они Джона Локка или нет?» Смысл вопроса был понятен (Локк — великий английский философ, один из отцов современной западной демократии, на чьих идеях воспитывались отцы-основатели Североамериканских Штатов), но ошеломляюще обиден. Как известно, Локк входит в обязательный курс истории философии в российских университетах. И, конечно же, философская профессура Локка не только читала, но и преподавала студентам, излагая его идеи. Что и было сообщено американцам. На что Олденквист простодушно возразил: «Почему же вы не научили его идеям свой народ? Я имею в виду, чтобы весь народ проникся ими и следовал им?» Это был тоже классический школьный вопрос первого ученика в историческом бытии: всех всему можно научить. Тут невольно все (наши все) посмотрели на специалиста по русской философии, т.е. на меня. Мое возражение было очень простым. Я сказал, что любая идея действует в определенном историческом контексте, что любая национальная идея есть результирующая определенного исторического процесса. Россия же несколько столетий существовала под чужеземным, неевропейским игом, потом национальные правители переняли жестокие принципы управления чужеземцев, и установилось правление, которое я называю *легитимным, но не правовым*. И такому правлению тоже несколько столетий. Большевики победили именно потому, что быстро умудрились стать легитимными, но неправовую структуру развили до совершенства. Потом ее позаимствовали германские нацисты! Какой уж тут Локк!

Неожиданно на американцев все это произвело впечатление. Исхожу из того, что в Штатах именно мой доклад открыл конференцию. Демократия всегда была *idée fixe* (идефикс) американской



Владимир Кантор. Пленарный доклад в университете Огайо, 1995

культуры. После того, как за пределы становящегося гражданского общества были выведены индейцы и негры, сложилась жестко стратифицированная социальная структура, куда потом потихоньку, уже в XX в., были допущены индейцы и негры, особенно негры — их было слишком много, надо было искать компромисс. В итоге в Штатах на базе жесткого либерализма Локка, который предложил имущественный ценз для людей, которых допускали к голосованию (не меньше 30 акров земли или денежный эквивалент этих акров: белые бедняки по-прежнему главные злодеи американской литературы), возникла первая в мире демократия, если не считать древнегреческой, уничтожившей Сократа. Но об изгнании индейцев и негров говорить было нельзя, ведь американцы придумали еще и понятие «политкорректность», которое не позволяло критику американизма. Тем более что уже с десятков лет это было исправлено. Поэтому о достоинствах американской демократии говорили сами американцы. Остальные говорили об идеях демократии в разных философских системах. Своим простодушием я, наверно, был похож на американцев. В моем тексте не было промежуточных фигур: были Россия и демократия. Похож-то похож, однако направленность была иная — никакого упоения своим опытом. Теперь я понимаю, что так заинтересовало американцев в моем докладе: мощная самокритика русской культуры. Это было для них непривычно. Все говорили, что Россия стала демократией. А я говорил, что демократия в России привела к победе большевиков.

Но необходимо вернуться в Россию, в 1993 год. Ибо мое понимание Америки началось все же не с литературы, а с реального соприкосновения с реальными людьми. Итак, после пилотного за-

седания в Институте философии мы поехали в Плётс. Автобус был обыкновенный, рейсовый, даже кресел, которые стоят в самолетах и межгородских автобусах — и тех не было. Были сиденья на двоих, но вот туалет в автобусе отсутствовал, а ехать, кажется, предстояло часов шесть или семь. Поначалу американцы искали за окнами простых русских людей, которым можно было бы сообщить идеи Локка посредством своих русских коллег. Но с течением времени лица их становились все растерянее, ибо за окнами, говоря словами Гоголя, как обычно, виделась лишь «чушь и дичь по обеим сторонам дороги», пустые леса, перелески, незасеянные поля, дальние деревушки, даже бабу с коромыслом увидели. А потом возникла простая человеческая потребность. Самый спортивный американец поднялся и обошел автобус, внимательно исследуя, но нужного (нужника) не обнаружил. Рубен внимательно следил за его передвижениями, но молчал, поскольку сообщить американцам было нечего. Но только Томас Траут сел, пожимая плечами, а американцы начали оживленно шептаться, Рубен подошел к шоферу и тихо задал ему вопрос. Тот также тихо ему что-то ответил. Рубен поднял руку, призывая всех прислушаться, и сказал: «Уважаемые коллеги! То, в чем все мы нуждаемся, будет через сорок минут. Но если очень нужно, шофер может остановиться у ближайшего леска». Американцы не сразу поняли, зачем им лесок. Потом закивали отрицательно головами, сказав, что они цивилизованные люди и подождут. Я наклонился к Вадиму Межуеву и шепнул: «А как же они были пионерами и преодолевали степи, скалы, пустыни и лесные заросли?» Он ответил: «Героический период прошел, не говорю уж об эпохе богов и титанов». Американцы вдруг разговорились, английский понимали не все, но постоянно поминавшееся имя Джона Локка, как догадались даже не знавшие языка, означало, что они снова вернулись к своему посылу о необходимости преподавать русскому народу идеи англо-американского либерализма. Таня Алексеева перевела: «Они говорят, что раз народ так разбросан, тем легче каждой отдельной деревне преподавать основы демократии. Надо только найти добровольцев, вроде тех, которые из Штатов ездят в черную Африку, Вьетнам и Таиланд и несут туда основы демократии. Создать какой-нибудь христианский союз молодежи». Ученый секретарь Института по имени Борис, человек грубоватый и не толерантный, выкрикнул: «А! Вроде нашего комсомола! Так это у нас недавно было!» Толерантный Рубен остановил его, сказав укоризненно: «Это другое». А начитанный и артистичный Межуев сказал: «По-моему, у Грэма Грина есть роман о таком добровольце во Вьетнаме. Кажется, “Тихий американец” называется. С его легкой руки там куча людей погубило». Это было совсем не политкоррек-

тно. Русские участники поездки потупили глаза. Вадим и сам понял свой промах. И запомнил, видимо. Поскольку, когда через пару лет стали собирать группу в Америку, он под каким-то предлогом отказался от поездки.

За разговорами незаметно дотерпели до нужного места. Автобус остановился, двери открылись, шофер вышел и предложил идти за ним. Пошли по тропинке гуськом. Вдали вдруг показалось на возвышении сооружение, напоминавшее резной деревянный дом до-революционной эпохи модерна *а ля рюс*. Ступеньки вели к резным дверям. Издали были видны какие-то навороты на дверях. Когда мы приблизились, то аж дух захватило: двери были забиты крестнакрест досками — символической буквой Х. Замдиректора растерянно обратился к шоферу: «Больше нет вариантов?» Шофер повел рукой: «Здесь много кустов, а то терпеть до гостиницы в Плэсе». Да уж! Какой тут Локк! Конференция разбрелась среди кустов. Выходили американцы к автобусу с видом покорителей дикого американского леса: мол, ничто им оказалось не страшно. Российские участники испытывали то, что называлось малороссийским чувством смущения, то есть смущения за непоправимую ошибку. Интересно, сохранилось ли у малороссов это чувство? Потом был Плэс, где вполне академически выслушали доклады друг друга. Очевидно, что американцы слушали, впрочем, как и мы, вполне автоматически: все оставались при своих ощущениях и пониманиях. А потом участников конференции повезли напоследок в ресторан. И тут снова я увидел простодушие людей с другого континента. На сцене ресторана была реальная музыкальная группа, певшая не под фанеру. Пели шлягеры из последних кинофильмов. В одной из песен был припев:

Не валяй дурака, Америка,
отдавай-ка Алясочку взад!

Американцы смущенно и тревожно переглянулись. Затем оживленно стали перекидываться репликами. Наконец, Томас Траут спросил руководителя московской группы: «Мы хотели бы знать... это мнение русского народа? Это серьезное требование. А что на это говорит ваше правительство? Надо же поставить в известность наши власти». С трудом удалось им объяснить, что это шлягер, массовая культура, которая позволяет себе говорить всякие глупости безо всякой цензуры. «У нас массовая культура, — возразил американец, — несет государственную идеологию. И по-другому не бывает. Наш Рэмбо всегда защищает звездно-полосатый флаг». Рубен смущенно ответил, что у нас раньше тоже так было, но теперь полный разброд. «Да, — согласился Траут, — у вас, русских, то

анархия, то тоталитаризм. У нас устоявшаяся система демократии, где все знают, что разрешено, а что не разрешено».

Да, их простодушие было, как мне тогда показалось, очень законопослушным. В Штатах я углубил свое понимание их простодушия. Оно не было внешним.

* * *

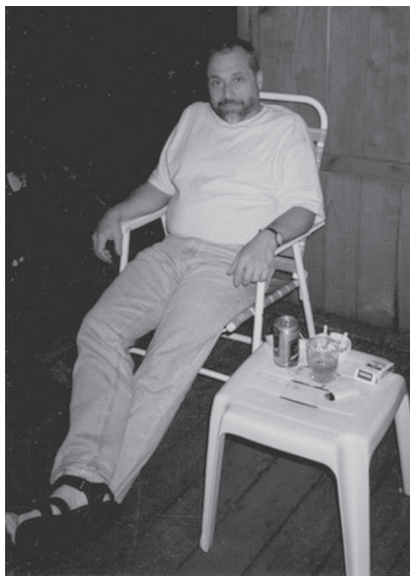
В 1995 г. в Огайо полетело человек десять из России. Я тоже, очень на самом деле хотелось поглядеть на демократического лидера человечества. С детства был влюблен в Вашингтона, а стихи о скачке Поля Ревира, как я уже написал, знал наизусть. Мы прилетели в Нью-Йорк (десять часов лёта), там нас встретили ребята из Коламбуса (центральный город Огайо, где находился университет). Часа три ждали самолет на Коламбус. И еще три или четыре часа лёта на маленьком самолете, размером почти с наш «кукурузник», но все же побольше и много удобнее. Нас сопровождали молодые ребята, магистранты-политологи, они достали из рюкзаков пиво в банках и предложили нам. Мне кажется, что до этого полета баночного пива я не пил. Магистранты были веселые и улыбчивые. Но все же в кампусе, куда они нас довели на микроавтобусе, пришлось еще оформлять себя, как в гостинице. Хотя жизнь была простая, небольшая комнатка с двухэтажной койкой. Но без верхнего соседа. И душ в каждой комнатке, что при такой жаре было очень даже важно. Под душем мы стояли, по крайней мере, три-четыре раза в день, а движение было — перебежки от здания к зданию, в каждом был кондиционер. Перед отъездом в Штаты наша семейная приятельница сказала, что ее бывшая однокурсница Таня Смородинская вышла замуж в Америку, живет в этом самом Огайо и работает в университете в Коламбусе. Я сказал, что сразу по приезде постараюсь ее найти. Но после прописки в кампусе (уже был поздний вечер, и без сна прошли почти сутки) мы рухнули в койки и проспали положенные восемь часов, вписавшись тем самым в американское время. Следующий день был день знакомства. Нас повели в столовую кампуса, где еды было столько, что хватало бы на два шведских стола. Выдали по билету на каждый день, всего двадцать два билета. Утром давали билетик и весь день питались «от пуза». Там все было вкусно, но мучили бесконечные гамбургеры, когда нечто вкусное запечатывали между двух кусков хлеба. А отдельно этого вкусного не было. Повели в зал заседаний, где Эндрю Олденквист рассказал нам о том, как будет проходить конференция. Переводила русская девушка Марина. Я спросил ее, слышала ли она о Тани Смородинской и не знает ли, где она и зайдет ли на конференцию. Она сказала, что Таня возвращается с бостонской славистской конференции через пару дней.

На следующее утро был мой доклад, им было очень интересно, почему это демократические принципы не работают в России. Накануне я отдал печатный вариант доклада в переводческое бюро. Переводили меня две барышни, обе хорошенькие, каждая на свой лад. По правую руку сидела американка (назову ее Грета), по левую — уже упомянутая мною русская девушка Марина. Далее сидел руководитель этого проекта профессор Эндрю Олденквист. Все было как обычно, вопросы задавали вежливые, хотя понять, почему поддержанная всем народом революция привела к тоталитаризму и как мог революционный народ попасть в такое чудовищное рабство, они не могли. Эти два и два не складывались никак. От народовластия ждали только плюсов. На меня смотрели как на человека, загадавшего загадку, которая не имеет разгадки. Но потому и интересную. Олденквист сказал в заключение, что к проблеме, которую я поставил, конференция непременно вернется на заключительном круглом столе. Пока же — перерыв до следующего дня. Все до обеда разбрелись по интересам и по группкам. Меня увлекла с собой американская переводчица, сказав, что ей очень понравился доклад, что она переводила его всю ночь, но после моего выступления стала понимать его больше. Фотография ее у меня есть, но публиковать ее не решаюсь по причине, которую читатель сейчас поймет. Мы вышли на солнце, девушка в солнечном свете вся прямо засветилась, а светлые ее волосы даже засияли. Возможно, мои глаза тоже засияли. И тут я снова столкнулся с американским простодушием, хотя немного обидным для меня. Девушка взяла меня за руку. Остановив наше бесцельное движение, сказала: «Ты мне понравился. Я хотела бы с тобой переспать». Несколько ошеломленный, я все же, как всякий мужчина, чувствующий себя вполне в форме, ответил: «За чем же дело стало? Пойдем ко мне в кампус. У меня отдельная комната». И вдруг простодушный облом: «Но я с тобой спать не буду. У меня парень есть. Пойдем вместо этого в бассейн». Я настолько растерялся, что безропотно отправился в бассейн. Это не было страхом перед внешним осуждением. Это работал внутренний цензор. Но зачем тогда она говорила о своем желании? Поплавав и тем успокоив свой несостоявшийся сексуальный интерес, я отправился на обед. Но в свою коллекцию американского простодушия не мог я этот эпизод не добавить.

Через два дня приехала Таня Смородинская. Я ей передал презенты от московской подруги, а она сказала, что уже обо мне слышала, что профессора озадачены, а девушки очарованы, что она меня познакомит с самой красивой здесь слависткой Анжелой Бритлингер, а пока приглашает к себе домой. В Коламбусе без машины делать нечего. Татьяна посадила меня в машину, довезла до

какого-то супермаркета, оставила там, а сама укатила к какому-то врачу (через несколько лет снова попав в Штаты, я понял, что врач стал ее новым мужем). Побродив по супермаркету, что-то купив (денег было не очень много), я вышел на улицу. Татьяны не было, автобусов тоже. Добраться до своего кампуса без нее я не мог. Я сел на край тротуара и с российским терпением принялся ждать. Подкатила машина. «Извини, — сказала Татьяна, — я понимаю, что сорвала твой обед в кампусе, но я позвонила Томасу. Мы приглашаем тебя на обед к нам. Впрочем, я уже это говорила». И мы поехали к ней домой. Это и вправду был дом, а не какая-нибудь там московская квартира. Томас был милый радушный хозяин. Из уважения к русскому гостю произносил фразы медленно и отчетливо. Если я что не понимал, Татьяна тут же переводила. Для знакомства он поначалу устроил экскурсию по дому. Все комнаты, все закоулки, даже джакузи для интимных игр, о чем он простодушно поведал. А Татьяна усмехнулась: «На технику надеется». Потом мне налили стакан виски. Вывели на веранду, посадили в кресло, рядом поставили еще банку пива, положили пачку сигарет и пожелали полюбоваться их полем, которое простиралось перед верандой. Если честно, то, читая Фолкнера, я воображал временами, как вдруг такое случится и я сяду на американскую веранду со стаканом виски и, может, пойму лучше исток фолкнеровского писательства (идиотская идея). Татьяна, увидев мою медитативную физиономию, попросила меня не менять выражения лица и сфоткала. Из квартиры вдруг донесся запах жарящегося мяса, вкусного, как чудилось. За несколько дней я успел устать от бесконечных гамбургеров, когда между двумя ломтями хлеба засовывается все, что угодно — мясо, колбаса, сосиска, сыр, все это с зеленью. И вот наконец вкусно жаренное мясо, виски, какой-нибудь салат, можно дух перевести от культуры гамбургеров, все же Татьяна в России выростала, приучила небось мужа к нормальному столу. Вот и к столу пригласили. Я с недопитым стаканом виски вошел в комнату, поглядел, что лежит на тарелках, и погрустнел. На тарелках лежали по помидору на каждой и по гамбургеру (кусочек свежеподжаренного мяса между двумя кусками горбушки. В глубокой тарелке посредине стола лежали еще три гамбургера — по штуке на каждого. Несмотря на грусть от этого зрелища, я за стол сел. Татьяна дернула плечиком, мол, его не перевоспитаешь. Мы пили хороший виски, а я старался не подавиться гамбургером. Но разговор затеялся интересный. Я спросил Томаса, кем он работает. Он ответил, что руководит типографией при университете, что заказов много, но последние два года были трудности, хотя теперь он нашел решение проблемы, оформив фиктивно свою бывшую секретаршу директором типографии. На-

чальство университета ее кандидатуру утвердило, но при этом понимает, кто типографией руководит, и все переговоры ведет со мной. «А зачем нужна была такая странная комбинация?» — не понял я. Томас в свою очередь удивленно посмотрел на меня, не понимая моего непонимания: «Как зачем? Да ведь она негритянка». Опять я не понял хитростей американской действительности: «Ну и что?» Он посмотрел снисходительно на дикого человека из России: «Но ведь теперь мы должны доказать сами себе, что равенство рас у нас и в самом деле существует. Поэтому негритянке легче дают работу, чем белому, хотя бы он в отличие от нее специалист. Но это никого не интересует, в бумагах должно быть не как в реальности, а как требуется».



На американской веранде, почти как Фолкнер

Да уж, Фолкнер, который всю жизнь пытался решить проблему взаимоотношений черных и белых, видел ее как трагически неразрешимую, такого и вообразить, наверно, не мог. Американцы, почитав Фолкнера, поняли, что трагедий им не надо. Ну и трагедии в жизни их тоже напрягали. Поразительное качество американцев: поскольку они оптимисты, то у них все должно быть хорошо и без тяжелых проблем. Разумеется, было запрещено слово «негр», вместо него ввели такое странное и, на мой взгляд, даже обидное — «афроамериканец», будто остальное население родилось на территории США. И уж если решать расовую проблему, то опираясь на демократическую законопослушность народных масс. Мас-сы, конечно, позволяли себе анекдоты, вроде как мы в советское время не обходили сарказмом ни один жест высшего руководства. Татьяна это понимала лучше и, желая добавить краску к рассказу мужа, сказала: «Томас, расскажи Володе анекдот, как один белый американец добрался до Бога». Это был немного крамольный для американца анекдот вроде наших советских — о Брежневле, политбюро и т.п. Чтобы не передавать этот довольно длинный и запутанный анекдот полностью, изложу его своими словами. Три американца решили узнать, как на самом деле выглядит Господь Бог, и



В доме Татьяны Смородинской: Татьяна Смородинская, Владимир Кантор, муж Татьяны Томас, Анжела Бритлингер

отправили депутата на небо. Прошло некоторое время, оставшиеся на Земле собеседники уже начали нервничать. Через десять дней посыльный является к друзьям. «Ну как, — кричат они, — как он выглядит? Чго ест? Как одет?» Посыльный отдувается, выпивает кружку пива и произносит: «First of all she is black!»

Мы примолкли, и Татьяна предложила съездить к местному Ниагарскому водопаду. «В США есть все, — рассмеялась она. — даже рыцарские замки скупают. Но водопад не купленный, настоящий». Она села за руль, и мы поехали по шоссе с хорошим покрытием. Сначала шоссе шло вдоль густого леса, потом сквозь лес, и все так же без щербин и выбоин. При этом водопад был настоящий, метров десять или пятнадцать. Но прирученный какой-то. Потом вернулись домой, где нас уже ждала Танина приятельница, красавица-славистка Анжела Бритлингер. И мы славно провели вечер.

Я был поручен попечению Анжелы, чему, разумеется, не противился, а даже обрадовался: девушка была очень даже хороша. Она тоже с удовольствием, как я видел, приняла на себя эту обязанность. Симпатия была обоюдная. Читатель может ожидать каких-то эротических намеков и полупризнаний. Но ничего меж нами не случилось. Возможно, времени было мало, возможно, дома был магнит сильнее, но дальше нежного приятельства дело не пошло.

Однако для мужчины постоянное общение с красивой девушкой, даже без романа, все равно удовольствие. После наших заседаний я выходил на стоянку машин, где меня уже ждала Анжела. Она несколько раз принимала меня дома, где мы болтали о русской литературе, о разнице жизни в России и США. Она сказала, что с ней в квартире живет ее однокурсник. Я как раз был у нее в гостях, но никого не увидел. Она слегка смутилась: «Я попросила его не приходить пару часов. Но это не друг, не бой-френд. Просто нам удобнее вместе. Он любит готовить, а на одного себя скучно». Я ответил: «Понятно. А готовить для красивой девушки приятно. Вы же понимаете, что вы красивы». Она посмотрела на себя в зеркало: «Не знаю. Но знаю, что мне в моем теле удобно». Она помолчала: «Хочу перейти с тобой “на ты”. Мне так легче говорить. У меня есть приятель в Питере, мы с ним переписываемся через Интернет, так мы на ты». Я согласился: «Конечно. Как пожелаешь. Но позволь тогда вопрос. А ты не боишься, что твой сосед по квартире заведется от твоей красоты, и всякое может случиться». Она удивилась и отрицательно покачала головой: «Это невозможно. Мы же договорились». Она была столь же простодушна, как переводчица моего доклада, но без всяких скоромных желаний, с полной уверенностью в незыблемости своей чистоты. Во всяком случае, если эти желания и посещали ее, предметом рефлексии не становились. Она была из немцев, хотя американизирована до самой глубины. Сюда переехали ее деды и бабушки с обеих сторон. Родители уже познакомились в Штатах, здесь и поженились. Наверно, о таких девочках мечтают педагоги и родители. Спортивная, умная, красивая и чистая.

Примерно на пятый или шестой день в кампусе, где мы жили, случилось ЧП — загорелась проводка в одной из комнат. Комнату моментально обесточили, но не сами студенты, хотя умельцев было много. Один даже в армии получил специальность электрика. Но по закону такие неполадки должны были исправлять пожарные, которые, как уверяют американцы, могут все, даже роды принять. Пожарные примчались в течение нескольких минут. Я вспомнил, как однажды у меня загорелась газовая горелка в ванной комнате, нагревавшая воду. Как положено, мы вызвали пожарных и срочную помощь Мосгаза — 04. Поскольку никто не ехал, а пламя начало подниматься по трубе вверх, я выгнал из квартиры жену и сына, бабушка спала в своей комнате, влез на табуретку и из обычной железной кружки залил пожар. Позднее мне говорили, что так было делать нельзя, что мог бы вспыхнуть весь дом. Но не залей я очаг огня, он бы тоже вспыхнул, так что вариантов у меня не было. Через час после того как пожар был потушен и мы, пообсуждав безобразие наших спасателей, собирались спать, в дверь позвонили. Это приехала милиция, которую мы не вы-

зывали. Вошел веселый лейтенант с тяжелой кобурой, десятилетний сын с интересом начал к ней приглядываться, потом притащил и показал лейтенанту свой деревянный пистолет, совсем как настоящий. Тот усмехнулся, вытащил из кобуры свой (в системах револьверов не разбираюсь, но явно подлинный) и сказал: «Махнемся, не глядя?» Митька спрятал свой за спину и отступил из коридора в комнату. Слишком невероятной была мена, уж лучше сохранить свой. Меж тем мент спросил у жены: «Кто ответственный квартиросъемщик?» Жена назвала фамилию и имя-отчество спавшей бабушки. Тот кивнул и записал, полагая, что жена назвала себя, и продолжил вопросы: «Год рождения?» Жена спокойно ответила, хотя эффект предвидела: «Одна тысяча восемьсот восемьдесят шестой». На дворе шел тысяча девятьсот семьдесят восьмой. Но моя тридцатилетняя жена никак не тянула на девятинодцатилетнюю старуху. Мент опешил: «Что за шутки?!» Тогда жена Мила добавила: «И вообще-то член КПСС с одна тысяча девятьсот третьего года». И замерла, любясь эффектом своих слов, вызвавших ступор и оторопь лейтенанта. Тот снова повторил: «Все-таки странная шутка». Мила перешла в наступление: «А мне кажется дурной шуткой поведение наших коммунальных служб. Мы вовсе не милицию вызывали, а пожарную команду и службу Мосгаза. Прошло уже больше часа, а их все нет. Нужны-то нам были они, а вовсе не вы. Вы-то зачем приехали?» Он смутился: «А вдруг какое преступление! Мы должны знать». Жена наступала: «Вы бы лучше следили за работой коммунальных служб, больше пользы было бы!» И тут раздался грохот сапог по лестнице, потом стук кулаком или обухом топора в дверь — это приехали пожарные.

Как писал когда-то Эдуард Успенский:

У пожарных дел полно —
Книжки, шашки, домино!
Но когда опасность рядом,
Их упрашивать не надо.
Два часа на сбор дружине,
И пожарные в машине.

В этот раз им понадобилось немножко меньше двух часов. Двое пробежали по квартире, заглядывая по углам. От грохота их сапог проснулась бабушка и вышла из своей комнаты. Седые редкие волосы были взлохмачены. «Что происходит? — крикнула она. — Будто война началась». Жена показала лейтенанту на нее: «Вот это и есть ответственный квартиросъемщик». От грохота сапог пожарных пооткрывались квартиры соседей. А пожарные взломали дверь на чердак, чтобы проверить, не поднялось ли туда пламя. Наконец



Владимир Кантор и американский пожарный в кампусе университета Огайо (Коламбус)

часам к четырем утра все стихло. Мосгаз приехал и ворвался к нам в шесть утра! Это было уже слишком даже для нас, привыкших к нелепостям советской жизни. Вспомнив все это, я спросил у одного из молодых американских парней, почему они сами не начали обесточивать загоревшуюся проводку. Он честно и простодушно ответил: «Это нельзя. У нас каждый делает свою работу. Да и потом, как ты видел, пожарные прибыли через три минуты. Мы и взяться бы не успели за провода, а взялись бы, что-нибудь напортили бы». После этого я подошел к пожарному и попросил у него разрешения сфотографироваться рядом. Он не возражал.

Действительно, это был тот свет. На нашем свете такого я не встречал ни разу. Да и пожарный больше был похож на космонавта, как и должно быть на том свете.

Очень поучительно было для меня общение с русской девушкой-слависткой (назову ее Настей), которая пришла послушать нашу конференцию, мало что поняла, но все же успела с каждым поговорить, особенно долго со мной, когда узнала, что по базовому образованию я филолог. Настя эмигрировала года два назад, выйдя в Воронеже замуж за еврея-одноклассника, с ним уехала, но в Штатах тут же развелась и стала искать, чем может заняться. Но поскольку одну свою природную возможность (красоту) она один раз использовала, да и красивых девушек в округе было немало, даже блондинок, надо было обратиться к другому природному дару — к родному русскому языку и стать слависткой. Мы сидели на скамейке недалеко от здания, где проходила конференция среди сумасшедше цветущих

растений, каждое из которых было прекрасно по-своему. Мы выбрали относительно тенистое местечко, хотя все равно было жарко. И Настя рассказывала, ее рассказ показался мне занятным, и я его запомнил. «Поначалу я тут очень болела, — говорила Настя, — ведь все непривычно, даже воздух, но особенно флора. У меня были бесконечные лихорадки, отекали пальцы на руках и ногах. Хотя сейчас, — она вытянула ногу, демонстрируя ее чистые линии, — я опять в полном порядке. А к врачу пойдешь, он сразу направляет тебя в аптеку, где хозяином его приятель. Аптекарь продает заказанное лекарство, но советует уточнить диагноз, поскольку у них появилось новое более мощное средство. Я иду к врачу, уточняю диагноз, а за каждый визит надо платить, снова к аптекарю. Там новые советы, снова врач. Просто заколдованный круг». В ответ на этот рассказ я не стал поминать о пенициллине и американском докторе Флеминге, понимая, что здесь эта история неуместна. «И тогда я, — продолжала Настя, — поняла, что в Америке все простые, чаще всего и с открытыми душами, которые делают зло, потому что не понимают тебя. И я принялась подходить к каждому цветку, к каждому дереву, каждой травинке (я даже атлас флоры американской составила), подходить и говорить: “Я девочка Настя, я приехала из России, я хорошая, я хочу с тобой дружить, не обижай меня”. И это подействовало. Я ведь и себя тем самым почти гипнотизировала. И вот уже год я не болею». Это мне понравилось, как-то сказочно, но правдиво. Потом плавно разговор перешел на ее научную работу. И отсюда я тоже кое-что извлек. У нее в голове сидела американская славистика, которая не видит текста и контекста. Она писала диплом по «Барышне-крестьянке» Пушкина. Подсчитала число гласных и согласных в тексте, по этой системе получалось почему-то, что это очень женский текст, что у Пушкина была тайная склонность к трансвестии. «Только, — пожаловалась она, — никак это с сюжетом не вяжется, ведь девушка хочет замуж за этого Алексея. И это уже нечто маскулинное. Ведь девушка должна быть независимой от мужчины». Я спросил: «Настя, а вы не задумывались, вообще-то, о чем повесть? Кому Пушкин здесь отвечал и возражал? Ведь он очень литературный человек был». Она ответила, что ей трудно на это ответить, поскольку принцип американской филологии — не выходить за пределы изучаемого произведения. Впрочем, последнее время таков стал принцип и более мне известной немецкой филологии. Я ответил, что таким образом филология, на мой взгляд, сама себя убивает. «Посмотрите, — сказал я, — у кого из предшественников Пушкина говорилось о любви крестьянки к знатному кавалеру, у кого родилась фраза “и крестьянки любить умеют”. Вспомните, постарайтесь». К моей радости она произнесла: «У Карамзина». И я

попытался рассказать о своем примитивно-несемиотическом взгляде на повесть: «Пушкин возражает Карамзину, что лишь в том случае крестьянка любить умеет, если она переодетая барышня, если ее чувства воспитаны. Ведь любовь это не просто секс, на который так охотно идут реальные крестьянки с красивым баричем, а некая возгонка чувственности в духовность». Она простодушно ответила, что это интересно, что она подумает. Она и вправду подумала. Через несколько лет мне попался в руки сборник аспирантов-славистов, где я увидел статью этой русско-американской девушки о «Барышне-крестьянке», где она сумела вполне грамотно подобрать к рассказанной ей идее сравнения пушкинского текста с карамзинской повестью цитаты и пр. Это простодушие вполне интернациональное. У нас и похлеще бывает. Как-то с женой мы читали лекции в Самаре от фонда Сороса. Там к жене подошел некий доцент и сказал, что вот он тоже занимается проблемой книжности и даже написал статью на похожую тему и рад ее презентовать. Уже в самолете жена раскрыла этот сборник: статья доцента была слово в слово списана с ее статьи из «Вопросов философии». Почему он подарил свой плагиат автору, у которого спланировал, до сих пор понять не могу. Разве что гипертрофированное авторское тщеславие: чтобы заметили... Так что претензий к девушке у меня нет.

Но еще одну историю не могу не включить в рассуждение об американском простодушии. Пусть не сердятся на меня читатели, что так много внимания уделяю женской теме. Это не дань феминизму. Просто для меня и для человечества женщина — это жизнь. Так вот опять женщина... Профессор по межличностным отношениям, лет тридцати пяти, поджарая и симпатичная, долго рассказывала нам о том, как надо опасаться служебного сексуального принуждения, когда профессор или начальник пользуется своим служебным положением. И девушки невольно уступают, забывая, что феминизм сегодня — сила, что могут они пожаловаться в полицию. Говорила она как по учебнику для малоразвитых. «Есть вопросы?» — сказала она, закончив свою пропедевтическую речь. Вдруг Эрих Соловьёв встал и с невинным выражением на лице обратился к американской даме: «А ведь и мужчин нужно защищать. Как вам кажется? Ведь начальником может быть и женщина». Она растерялась. И все же напора в ней было немало. И она сориентировалась довольно быстро. «Может быть, что женщина-начальница тоже потребует симпатичного мужчину к себе в кабинет. Он тоже должен понимать свои права и не дать совершить над собой сексуальное насилие. Ну вот вообразим, что я начальница и приглашаю кого-нибудь из русских гостей к себе в кабинет. Ну, например вас!» И она указала рукой на меня: «Что вы должны сказать в ответ?» Такая вот школьная училка! Я встал и ответил подчеркнуто просто-

душно: «Никаких проблем. Прямо сейчас и пойдем» («No problem! Let us go. Let me help you now»). Она вздрогнула и почти вскрикнула: «Вы не поняли. Я для примера». Я, по-прежнему играя роль простодушного, недалекого, но брутального мужчины, ответил: «Какие примеры! Просто пойдем!» Дама смутилась и сказала, что надеется, что в целом мы поняли ее мысль, и поспешно удалилась. Эрих Соловьёв и Рубен Апресян весело заулыбались. А академическое российское начальство поглядело на меня довольно косо. Мое поведение показалось им, пожалуй, предосудительным. Но я не был академическим человеком, сотрудник журнала, хоть и философского, все же журналист, а журналисту некоторые вольности позволительны.

Было еще немало разных разностей. Мы пережили День независимости, толпы народа, салют, расставленные меж домов столы с яствами, все угощали друг друга, соседей и просто прохожих, с почти деревенским радушием. Праздничный карнавал, шествие ряженных, продавались за центы и просто дарились государственные флажки. Потом на маленьком древке я увидел надпись «Made in China». И все же это были американские флажки, поскольку весь мир работал на Америку.

А незадолго до окончания конференции всех ее участников пригласил в свой дом профессор Эндрю Олденквист. Нас привезли на длинном пикапе. Дом был большой, двухэтажный, из восьми комнат, свой дом, с лужайкой и беседкой с обратной стороны дома, вдоль которой шла грунтовая почти шоссе́йная дорога. По ней нас и привезли. Российские ученые и вообразить в отношении себя не могли, хотя был среди нас академик, директор и замдиректора центрального российского института. Директор, правда, сказал, что он в подобных домах бывал, что беседа будет во время еды. Мы уже в кампусе виски пили, причем не раз, хотя первый раз по ошибке купили всего двенадцатиградусное. Решили, что фальшак нам продали, но, присмотревшись, Рубен Апресян сказал, что на этикетке градусы честно стоят. Но у профессора Олденквиста было только пиво — на столе, в тазу с холодной водой, в холодильнике стояли и лежали банки с пивом. На стене висели дипломы и грамоты за его спортивные победы, главным образом за бейсбол, где он долго был капитаном университетской команды. Книг, как и у других западных ученых (позже я увидел), в доме не было. Профессор сказал, что крепкого алкоголя он не пьет, как бывший спортсмен. По очереди съехались и американские участники конференции. Я же смотрел на часы, подгоняя мысленно время, чтобы скорее начался вечер и беседа. Просто Анжела и Татьяна сказали, что это мой предпоследний день в городе и что они хотят мне показать ночной Коламбус. Я спросил, бывали они у Олденквиста, знают ли адрес. Они ответили, что не бывали,

но узнают его координаты из адресной книги. «Только, — сказала мудрая Татьяна, — ты должен хоть пару часов там посидеть, а то неудобно будет уйти». Анжела, подумав, кивнула, хотя и пробормотала, что лучше бы сразу договориться об уходе: «Мы, американцы, — сказала она, — должны все решать договорно». Договариваться я не стал, положившись на естественное течение событий.

Наконец, мы сели на улице под большим деревом за длинный стол. Был очень теплый, почти жаркий ранний вечер. На столе в трех местах три большие тарелки с лазаньей, блюда с сэндвичами и три или четыре блюда с разнообразной пищей, разрезанной на ломти. Перед каждым из нас тарелка, вилка и нож, а также банка пива и стакан для пива. Сзади два огромных таза с пивными банками. Сорта пива уже не помню. Но пили, благодарили друг друга за взаимное участие в конференции, а российские участники и за гостеприимство. Немного морщась, американские коллеги поблагодарили и нас за московское гостеприимство, потом переглянулись и захохотали, сквозь смех вспоминая самое сильное потрясение — забитый досками крест-накрест туалет по дороге в Плёс и окрестные кусты. Показывая на кусты вокруг дома Олденквиста, они смеялись и говорили, что и здесь можно бы так же, как по дороге в Плёс, но нельзя, поскольку здесь цивилизация. Потом стали говорить, что роль носителя цивилизации и демократии от Европы перешла к Штатам, даже в Европе им пришлось спасти демократию, скажем, в Германии и Италии. Теперь в мире будет порядок, США за этим следят. Скоро все деспотические режимы Ближнего Востока, все эти Ираки и Ливии станут такими же демократиями, как ими стали Германия и Япония. Раньше Америка чувствовала себя в стороне, Вторая мировая война втянула ее в мировую политику. И у нашей демократии все получается. Спросили меня о перспективах демократии в России. Я ответил, что жду авторитаризма. В лучшем случае такого же, как в США, где правительство решает все помимо народа, президент обладает полной властью, но имеются как бы оппозиционные газеты, ругающие президента и власть для выпуска интеллигентского пара, возможны выражения недовольства, свободное книгоиздательство, цензурированный Голливуд. Но при этом имеются все демократические институты. Американские коллеги немного напряглись. «У нас настоящая демократия, — сказал Томас Траут, самый спортивный американский профессор, понимавший русский язык, очевидно, эксперт по России. — В том числе в университете. Мы самостоятельно решаем свои проблемы. Даже ЦРУ не имеет права вмешиваться во внутренние дела университета». Но когда надо, армия в состоянии задавить любое антидемократическое движение, как, скажем, расстреляли в XIX в. с океа-

на нью-йоркские банды. Но, по счастью, спора не получилось. Основным оппонентом, по их пониманию, был я, не веривший в торжество демократии в России, или веривший, но как-то странно. Однако ничего резкого я не сказал, не успел.

Неожиданно перед домом на дороге, как раз у заднего двора, остановилась машина и из нее выскочили две красивые девушки (Татьяна и Анжела) и, замахав мне рукой, подошли к сидящим за столом и спросили, кто хозяин. Эндрю Олденквист встал из-за стола и довольно чопорно осведомился, с кем имеет честь говорить. Почти как английский джентльмен. Отвечала Анжела на своем чистом литературном американском языке. Она сказала, что они доценты славистского отделения университета, назвала себя и Таню, что они давно обещали профессору Владимиру Кантору показать ночной Коламбус, но боятся, что другого времени не представится. Олденквист растерялся и сказал, что возразить не может. «Ну ты силен!» — воскликнул немного завистливо Рубен. А Валентин Иванович Толстых, высокий и немного разбитной профессор, писавший на социальные темы, но по базовому образованию журналист, бросил как бы в воздух, но тоже с оттенком зависти: «Во даёт! Когда это ты успел?!» Его реплика сразу притушила ворчание институтского начальства о неприличии моего поведения в чужой стране. И мы поехали. Ночь эту помню смутно. Они возили меня из одного питейного заведения в другое, где гремел рок, разрисованные парни и девички, черные, желтые, белые и прочих мастей, пили, танцевали, орали, потели. Пот катился по их физиономиям, хотя в каждом кабаке был кондиционер, что спасало от уличной жары. «Ты только не встревай в разговоры», — сказала Татьяна Анжеле, сохранявшей прямо утреннюю свежесть. «Мы же не одни, мы с мужчиной», — ответила она неожиданно сентенцией русской женщины. Почему нас не убили, не побили, не изнасиловали? До сих пор не понимаю. Может, и вправду все крими, где герои ломают в таких кабаках челюсти, стулья и столы — *чисто конкретно* (использую придуманный якобы блатной жаргон) художественный вымысел. Разумеется, в какой-то момент мы тоже с Анжелой принялись танцевать и даже целоваться. Но вполне невинно. Под утро мы оказались в доме Татьяны Смородинской. Немного поспали. А часам к одиннадцати Таня отвезла меня в кампус, поцеловала на прощанье, сказав, что должна скорее домой, чтобы выспаться после бессонной ночи. На взгляды и вопросы коллег у меня не было сил даже отвечать. К концу дня нас отвезли в аэропорт, откуда самолет должен был отвезти нас в Нью-Йорк.

Как видно на фотографии, я улегся на составленные пару кресел и полуспал. Наш народ деликатно меня не трогал. Ожидание было



Аэропорт в Огайо, перед вылетом в Нью-Йорк. Сзади лежащего и полуспящего Владимира Кантора — Абдусалам Гусейнов, Эрих Соловьёв, Татьяна Алексеева

недолгим. Примерно через час прибыл наш самолет. И еще через четыре часа лёту мы оказались в нью-йоркском аэропорту, где до нашего аэрофлотовского самолета было часа три. Тогда Эрих Соловьёв предложил на пару часов смотаться в Нью-Йорк и посмотреть великий город. Человек пять решились пойти с ним. Я же, не чувствуя ни желания, ни сил, ответил, что я уверен, что еще буду в Нью-Йорке, и не пару часов, а поживу там. Но такова сила страны «великих возможностей» (на том свете ведь все желания исполняются), что через девять лет я и в самом деле по программе Фулбрайта приехал сюда и жил несколько месяцев. Пока же в полудремоте я попытался подвести шуточный поэтический итог нашей поездки. Весь стих приводить не буду. Приведу только те строки, где разыгрывалась дамская тема.

Была тут местная Марина
Сладка на вид — ну, как малина.
Крутился вокруг нее Толстых,
Желая оттеснить других.
Но должен был он удалиться,
Услышав каверзный вопрос:
«Что, если дева согласится?
Что, если примет все всерьез?».
А Кантор? Мы молчим в печали —
Средь баб он днями и ночами.



На фоне дома на Лонг-Айленде.

американскому простодушному решению. И первые двадцать человек деньги получили, затем наступила заминка, и чиновник объявил, что Аэрофлот вылетает через два часа, а потому выдача денег прекращена. Мы с Рубеном оказались в числе двадцати счастливцев и пошли в одно из кафе, попили кофе с сэндвичем, по-русски радуясь не еде (очень невкусной), а неожиданной халяве. Десять часов полета, и мы в Москве. Кстати, никакого печатного результата нашей конференции так и не последовало. Или просто я не помню.

На этой ноте можно было бы и закончить сюжет. Но все же не могу хотя бы вскользь не рассказать об одном эпизоде из моего следующего, уже нью-йоркского путешествия. Там было немало и забавного, и интересного, но случилось такое, что бывает только во сне или на том свете. Мне удалось снять студию (с трудом нашел: Фулбрайт жилище не дает) на Лонг-Айленде в огромном, почти тридцатиэтажном доме с большим подъездом, с консьержами, проверявшими всех входящих.

Работал я в Бахметьевском архиве, лекций не читал, хотя доклады делал, поэтому решил деньги экономить. При тогдашней весьма небольшой зарплате стипендия Фулбрайта была серьезной дотацией. Поэтому — решил я — никаких излишеств. Сам готовил,

в кафе ходил по необходимости. В какой-то день мне очень нужно было достать двадцать два доллара. Норма денежная на ту неделю закончилась. Но я ждал гостей, еды хватало, а бутылка виски, который мне нравился, стоила ровно эту сумму. Разумеется, вариантов не было, и я пошел в банк. Я вышел из дома и решил немного прогуляться, обогнуть вокруг дома и сходить на лонг-айлендскую пристань. Только я завернул за угол, как увидел на земле четыре денежные купюры. Я наклонился и поднял их: две бумажки по десять и две по доллару. Как раз нужная мне сумма. Но деньги не мои, может, кто обронил. Я поднял их и крикнул: «Who is lost money?!» Никто не отозвался. С тем же криком я обошел вокруг дома, крича и размахивая деньгами. Хозяин не находился. Я сбегал и на длинный искусственный настил, уходивший далеко в залив. Там обычно гужевались местные алкаши. На сей раз вообще никого. Я снова вернулся к дому. Безрезультатно. Тогда я поднял голову к небу и простодушно спросил: «Господи, это мне?!» В ответ послышалось божественное молчание, а молчание, как известно, знак согласия. Я отправился в местный магазинчик и купил желанную бутылку виски.

Вот я и думаю, результат ли это пребывания в стране, где, как говорит легенда, разбогатеть может каждый? Или просто Господь решил позаботиться о неприкаянном, хотя и с простодушным вопросом, человеку из России, который не умеет зарабатывать, как натурализованный американец? Но, повторю, такое волшебство может быть только на том свете.

Август 2014 г.

Литературные дела

26. Выживание в системе неподлинности («Два дома»)

I.

Записки

О писательских мытарствах (и попутные соображения)

Когда писатель публикует за свои деньги уже издававшуюся повесть, да ещё спустя двадцать четыре года после ее написания, — на то должны быть причины. Причина первая: в типографии у меня оказались друзья, которые вошли в мое положение и обещали издать дорогое для меня за самую малую плату, по нынешним временам просто-таки недорого. А вторая еще проще: давно хотелось, ибо при первом издании повесть была изуродована чудовищно. Написанная в 1975 г., она вышла спустя десять лет почти чудом — вместе с повестью «Я другой». Контрольный редактор (так именовалась должность внутрииздательского цензора) *Г.Н. Иванов* хотел ее вообще выкинуть, говоря, что таким текстам нельзя существовать в советской литературе. Но мир не без добрых и умных людей. И мой основной редактор — *Марина Владимировна Иванова* сумела отстоять текст, хотя бы частично. Было выкинуто много страниц, две главы целиком, целый персонаж и все религиозные рассуждения. Как — это отдельная новелла. Я хотел отказаться от публикации. Но конца советской власти не предвиделось. И мой брат убедил меня странным доводом: «Представь, что ты публикуешь главы из повести. Когда-нибудь переиздашь целиком». Пришлось вписать новый персонаж и новые эпизоды, чтоб не было зияющих провалов. Что-то удалось. Но уже в момент выхода по книге еще проехала очередная — антиалкогольная — идиотская советская компания: писателям *запретили* упоминать в своих сочинениях спиртные напитки сильнее пива — всякий иной алкоголь издательства из книг вычеркивали. Снова пошла *правка*. Так и возник для меня самого вопрос: какой же текст аутентичный? Прошли, однако, годы, я писал другие тексты, иногда их печатал, но никто так и

не предложил мне переиздать «Два дома». Взяться просто так — времени не было. Но, тяжело заболев, полежав в реанимации, кое-как выправившись и, не имея пока сил на новое писание, я вернулся к своему любимому тексту. Словно пошла жизнь после смерти, так во всяком случае я себя сейчас ощущаю. К тому же у нас по сути дела снова возник самиздат, хотя и типографский — вариант Радищева (сам свою книгу издал, сам и ответил) или «вольной типографии» Герцена. Появилась возможность печатать в типографии небольшое количество экземпляров (но в сто раз большее, чем самиздатовская машинопись) и пускать по рукам свои тексты, не изуродованные ни редактурой, ни цензурой. Надолго ли такая возможность? Не знаю. Однако не воспользоваться подобной ситуацией — грех.

При этом не могу не приложить те тексты, которые — для истории бытования литературы в советское время — быть может, окажутся полезными. То есть те рецензии, которые должны бы были проложить автору прямой путь в самые значительные журналы. Но... текст повести вызвал столько подозрений, что ни один журнал — в течение десятилетних блужданий рукописи по редакциям — не решился ее опубликовать. Достаточно сказать, что число отзывов по страницному объему почти приблизилось к размеру повести.

Что же происходило? Два примера.

Виктор Розов написал предисловие к повести — для «Нового мира»: там вроде бы хотели печатать (восторженная рецензия *Симона Соловейчика!*), но требовалось напутствие современного классика. Из классиков я случайно (хоть и плохо) знал одного Виктора Сергеевича Розова. Попросил его прочитать повесть, она ему вроде понравилась. Но он в сомнении спросил, а правда ли редакция хочет повесть печатать. Сам позвонил в «Новый мир». Ему подтвердили, что такое желание есть. Напутствие я получил, однако текст так и не прошёл. Уж почему — не знаю, хотя могу догадаться, что не последнюю роль сыграла моя нерусская фамилия. (В скобках замечу, что мне не раз предлагали доброхоты взять псевдоним, де, тогда легче пойдет.) В «Дружбе народов» главный редактор *Сергей Баруздин* (после рецензии *Вацлава Михальского*) сказал, держа автора за отворот рубашки: «Вас нельзя печатать, вы мрачный писатель. Михальский сравнивает вас с Камю. А вы хуже. Прямо как Достоевский. Я грустный писатель, а вы мрачный. Но Россия — светлая страна. Уж если кто нам нужен, то Солженицын. Но и его печатать пока нельзя». Конечно же, после такой характеристики, несмотря на польстившее мне сравнение с Достоевским, журнал повесть отверг. Кстати, потом в тот же журнал пришла рецензия *А.С. Берзер*, которой послали мои тексты на всякий случай. Рецензия оказалась в высшей степени положительна. Тогда из пяти рассказов отобрали для печати три, один из них руководство (*Л.А. Теракопан,*

самый главный перестраховщик) отвергло сразу, два подготовили для набора, но *г-н Александр Руденко-Десняк* снял их по чьему-то наущению (догадываюсь спустя годы, но обойдемся без сплетен), сказав, что он моей прозы не понимает, а значит, и печатать не будет. Что он там не понял — не знаю. Непонятно, видно, было одно, *какого я цвета*.

Вроде и не красный, и не белый, и не черно-коричневый. Но к боевой раскраске я относился хорошо только в романах про индейцев. Уважая оппонентов режима, относиться к нему всерьез я уже не мог. Поэтому и не диссидентствовал. Более того, нормальная (т.е. трудная, тяжелая, всякая) человеческая жизнь казалась более важным предметом для размышления и изображения, нежели власть имущие и их приспешники (разве что на факультативных правах). Я режима побаивался, но сущностного смысла в нем не находил. Выдохся за годы этот смысл, ничего не осталось. Гораздо важнее, мне думалось, понять сущность той нашей жизни, в которой мы жили, расплачиваясь душами за свое время. И я писал о том, что видел и чувствовал. Ведь жизнь пробивалась сквозь прогнившие прутья советской клетки. Но существовала, конечно, в ее терминах и стилистике. Эту метафизическую стилистику тех лет, вырастающую из быта, я и хотел уловить.

Основная художественная и научная задача, которую я себе ставил — объяснить современность историей: так построены мои книги «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации» (1997) и «Феномен русского европейца» (1999). Но это же в романе «Крокодил» (1986), романе «Крепость» (1991), в рассказах, особенно ясно в новелле «Историческая справка» (1986), даже в сказках — «Победитель крыс» (1982) и «Чур» (1997).

Зато рассказывая о прошлом, — смотреть на него сегодняшним моим взглядом. Я, взрослый, понимаю-де себя и свой тогдашний мир так-то. Началось это с «Двух домов». Тогда это удивляло первых читателей (Л.С. Осповат). Зачем, мол, такое усложняющее бинокулярное зрение в повести о детстве. А меня меньше всего интересовало описать просто детство. Хотелось понять его, не скрывая, что я пытаюсь понять через свое детство более общие законы бытия, до которых я додумался, став постарше. Что детство — это просто модель, которая позволяет мне что-то рассказать о том, как я понимаю российское мироустройство. Да и не только российское.

* * *

Я сопровождаю эту публикацию заметками — без всяких правил, со странным и запоздалым чувством возможности рассказывать что хочется, осуществляя тем самым свое давнее желание, никому не обидное и не связанное никакими журнальными и стилистическими ус-

ловностями. Прежде всего о том времени, когда пускался на дебют. Зачем я это делал, с какими целями, стремлениями, установками. Расскажу, «реализовав тем самым свою писательскую свободу».

Писатель — должность независимая. Никто не назначит, никто не уволит.

Европейцы и американцы пишут, чтоб прославиться, а в результате заработать денег. Пафос Мартина Идена и, наверно, самого Джека Лондона. Мечтал ли я о славе? Честно говоря, не очень. Может, к старости заметят, определяют твой масштаб. Но хотелось так, чтоб миновать всяческие литературные кухни. Думал ли о деньгах? Тоже нет. Может, поэтому никогда мое писательство не принесло ощутимого заработка. На литературные доходы жить не пришлось ни разу.

Я писал в никуда. Зачем и почему? Не для политики, не для славы в богеме (никто кроме родственников не читал, да двое-трое друзей). Может, во имя какого-то Высшего? Но какого Высшего?.. Вряд ли тогда конкретного христианского или иудейского Бога. Хотя при этом верил, что если не на Земле, то уж на Небесах отметят мою искренность, оценят подлинность и правду. А потом небесная оценка отзовется и на Земле. То есть какая-то надежда на посмертную славу, так, что ли?.. Но установка на непризнание не означала нежелание напечатать свой текст. Хотя помню свой испуг, когда эта возможность возникла. Я ж не для того писал! Но согласился. Вдруг найдется еще десяток близких по умонастроению.

Но — к повести. Это первая, как мне показалось, получившаяся вещь, где впервые осмелился писать так и то, что думал и чувствовал, ни на кого не оглядываясь. Это потому самая моя вещь, что не сочинялась, а как-то сама написалась. Я был в тяжелой депрессии, пытался из нее выйти, слушал (романс на слова Есенина) один раз и сотый раз словно про меня сочиненные строчки: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». Мне уже тридцать лет. Все, что писал раньше, не то. Занялся наукой, защитил кандидатскую, и вдруг: а зачем? А что дальше? А какое отношение имеет это к моей сущности?

Ответ один — *posce te ipsum* (латинская фраза, вынесенная мной с первого курса филологического) — «познай самого себя». То есть надо понять свои истоки, которые привели к той психологической сущности, которая реагирует на мир только ей одной свойственным образом. Вся моя проза писалась затем, чтоб решить мучавшие меня житейские (т.е. — особенно поначалу — семейные), душевные, духовные, общественные проблемы. Безо всякого расчета, тем более безо всякой надежды на публикацию. И уж совсем я не надеялся на процветание, каким процветали официальные писатели. Такого (*публикации*) просто не может быть — вот и всё. То, что я пишу, это не то, что печатается в советской и диссидентской литературе. Все старались

создать «нетленку». К этой цели стремились помыслы всех мне известных пишущих. Нет, не хотел, да и не очень-то надеялся. Надеялся на что-то, быть может, более важное. Было желание, как я сказал однажды *В. Кормеру*, написать «объективку» — ровно то, что чувствую, думаю, понимаю, без игры в стиль, слова, и уж, конечно, без политической актуальности. Злободневности не должно быть. Позднее, уже во второй половине 80-х, Амлинский (журнал «Юность») испугался, что я перебил у него *актуальную тему* — о гонении на генетику, — и *потерял* рукопись повести. Опубликовав свою о своем отце. Я в обиде не был. Воспринимал как должное. И не должны были меня печатать. Я ж для себя писал. А такого не бывает, чтоб написанное для себя воспринималось в общем ряду печатаемого, нужного тогдашнему литературному процессу. Хотя втайне я, конечно, был уверен, что написанное абсолютно для себя важно как раз всем.

Но было одно, исполненное тогда решение (а тогда это было не просто, ибо мы не знали ни Пруста, ни Томаса Вулфа), — писать о себе, себя сделать предметом исследования. *Создать свою субъективную эпопею*. Зачем? Затем, что здесь я могу не врать, я пишу только то, что знаю о человеческих переживаниях, не романизируя их, но помня, что каждый написанный писательским пером эпизод несет тяжесть — символы человеческого бытия. Научился такому подходу к литературному сочинительству, конечно же, у Толстого и Достоевского, которых читал и перечитывал, начиная класса с седьмого, а из западных — у Стендаля и Бальзака. И, кажется, у Льва Толстого вычитал, что если сумеешь открыть себя, познать себя, то тем самым это будет интересно и другим людям, ибо на самой большой глубине у всех душ общий исток. Не случайно же я читаю про переживания дворянского мальчика Николеньки Иртеньева как будто про самого себя. Если же говорить о символике, то само заглавие говорило о *двудомности человеческого бытия*, а потому к каждому относится, да и себе напроорочил: две жены, две профессии. Причем писательство дороже мне так же, как и мое философствование по поводу русской культуры.

А теперь к реальностям советского мироощущения. Сам факт писания *неангажированного текста* был крамолен. Разумеется, многие, т.е. почти все честные, писали в стол. Но сами относились к своему писательству как к почти преступному деянию. Мой приятель *Николай Голуб*, военный топограф, тогда уже капитан, боялся поехать на совещание молодых (*за тридцать!*) писателей, ибо надо было отпрашиваться на несколько дней с работы, а если бы его военное начальство не дай Бог узнало, что он написал роман, т.е. «работает на себя и не по профилю», тем более *пишет прозу*, то всё — *каюк*. Можно было лишиться работы. А при всем том начальники (начиная с генсека) выпускали свои мемуары и романы.

Писательское слово по-прежнему ценилось. Просто существовало убеждение, что не начальник способен лишь на крамолу. Нельзя было писать прозу, не санкционированную свыше хотя бы пребыванием твоим в Союзе писателей. Редактор журнала «Знамя» спросила (1979 год!), а знает ли главный редактор журнала «Вопросы философии», где я тогда работал и теперь еще работаю, что его сотрудник пишет прозу, добавив как бы между прочим, что они с *И.Т. Фроловым* соседи по даче. Я испугался, но она не донесла, ограничившись посылкой повести должному рецензенту (*А. Прийме*), чтоб отвадить меня от хождения по журналам. Она была так искренно удивлена и недоуменно спрашивала: «А разве философы пишут прозу?» Вряд ли она не знала о Толстом, Достоевском, Сартре, Камю и пр., но советская литература приучала писателей, что ум от лукавого, что он только помеха природному *почвенному* таланту, что истинный писатель «пишет нутром».

Сочинял рассказы, начиная лет с тринадцати-четырнадцати. Написал очень плохой роман в двадцать лет. И тогда прозу бросил, занялся наукой.

Писать (повесть) начал до дантовской середины жизни (30 лет).

Писал весну и начало лета. Наконец, написано. Прочитали отец, брат, жена. Понравилось отцу и брату, интересно и вспоминательно. Разумеется, волновался. Что получилось? «Не исторический анализ, а поиск сути происходящего в клетке, в ячейке, в душевной концентрации того, что всем важно, что на самом деле и происходит в мире». Это мне сказал отец, и это совпадало с тем, как я сам понимал свою писанину. Он сказал еще: «Ты сделал нечто более важное, чем разоблачение культа личности, обличение кошмаров сталинизма. Ты рассказал о душе, сказал тем самым, что несмотря ни на что личность не погибла, что росло поколение, которое сызнова хотело чувствовать, думать, ощущать свою особенность. Рассказал о душе, о чем вообще перестали писать, а тем самым показал, что душа сохранилась, или возродилась — уж кто как поймет, если поймут, ибо заглушен слух политической и этнографической злободневностью». Для меня это было важно, хотя тогда я не очень ему поверил, когда отец, прочитав рукопись «Двух домов», сказал: «Это совершенно не похоже на то, что делают у нас. Ты сумел шагнуть в другую область, которая нынешней литературой забыта. Пусть не печатают, но ты можешь гордиться, потому что сумел в себя заглянуть и не соврать. Они пока этого не умеют. Даже певцы оттепели вроде Аксёнова и Вознесенского. Только лозунги о свободе личности. А настоящая свобода — в самопознании». Мама прочитала позже и сказала, что всё так оно и было, как я написал. Я возразил. И мы с ней, разбирая эпизод за эпизодом, увидели, что

фактически все эпизоды придуманы, да и персонажи тоже. Что-то было, однако, точным... Что же? Отец назвал это верностью изображения системы человеческих отношений, точностью передачи душевных переживаний и атмосферы эпохи. Отцу я хотел верить, но, казалось, что он просто ищет в том, что сделал сын, нечто хорошее, чтоб его поддержать. А как другие?..

Потом прочитали два тогдашних литературных приятеля — *Владимир Кормер* и *Андрей Кистяковский*. Кормер по-писательски сказал, что завидует «белой завистью». Это и впрямь означало, что *получилось*. Кистяковский предложил отправить рукопись в максимовский «Континент». Я отказался. Во-первых, не верил, что напечатают, во-вторых, не хотел быть писателем для заграницы (это казалось какой-то нечестностью — я ведь не борюсь с политическим строем, просто писатель, вот и надо печататься там, где будут понятны коллизии, характеры и обстановка). Русский писатель пишет ведь (если уж я писатель) прежде всего для соотечественников. В-третьих, мне претила роль борца с режимом, не чувствовал я в себе для этого ни сил, ни желания. К тому же был пример Мих. Булгакова и А. Платонова, которые дождались быть услышанными на Родине, пусть и посмертно.

Не выходило у меня рассказывать об общеинтересном — о войне, о сталинизме, о тюрьмах, о чернушной советской жизни. А писали тогда писатели, хорошие писатели, лишь (как звери) о нанесенных ударах, реагируя только на внешнюю боль, на войну, на лагерь, на массовые репрессии, и это естественно, это без осуждения. Разумеется, от удара палкой вначале боль — и лишь потом чувство психологической униженности, но без достоевских переживаний, почему и за что меня бьют. А потом интерес сопротивления, борьбы, т.е. диссидентство. А душа человека в этой общественной сумятице оказывалась без присмотра, да и неинтересна. Интереснее сатирически изобразить политбюро или кошмары быта — отсюда чернушная литература, где внешняя обстановка не просто фон нашей жизни, а смысл произведения, хорошая пожива для литературно-общественной публицистики. Поэтому «Два дома» не знали, куда отнести, по какой рубрике. А это был вполне реалистический текст о душе и ее мытарствах. Ведь несмотря ни на что жизнь продолжалась, люди любили друг друга, рождались дети, росли и, слава Богу, читали книги, которые строили их душу. Ведь подлинный реализм рожден интуицией христианства, которое говорит нам, что рая на Земле не бывает, что «сей мир» подвластен злу, но человек всё равно должен учиться сохранять спокойное достоинство, ибо награда человеку (и художнику в том числе) будет дана в мире ином.

Быть услышанным посмертно стало главной установкой моего писания, моего творческого сознания. Тем более что, к счастью, меня

все время как-то боком проносило мимо литературной среды — с литературной кухней, сплетнями, общими женами и любовницами, знанием тайных ходов, интриг и т.п. Ничего этого я не знал. Был у меня только один приятель оттуда — Саша Осповат. Он, конечно, заслуживает особого рассказа, но — в другой раз. У него я встретил критика *Сергея Чупринина*, к которому чуть позже понес вышедшую книгу. Ему принадлежат замечательно циничные слова: «Вы написали классический текст. Возможно, ваша книга со временем, после нашей с вами смерти, будет изучаться в школе, но она находится вне литературного процесса. Поэтому в газетах ее не отрецензируют, попробуйте в журналах, где вы сотрудничали как литературовед и ученый, отнесите туда». Я последовал совету. И у книги появилась «литературная жизнь». Жизнь после настоящей жизни — писания.

Может, мстила за себя исходная установка — догутенберговского существования (о экранной культуре мы даже вообразить не могли), **установка на непризнание**. Очень романтическая. Но только отчасти. Было понимание, что если не играешь в политические игры, а пишешь вещи сущностные, то это никому ни у нас, ни на Западе сиюминутно не нужно и не интересно. Но и у борцов с режимом рано или поздно возникает растерянность от прожитой жизни и нынешней ситуации. Ибо достигнутая обществом свобода лишает всякой ценности бывшую борьбу за нее.

Уже позднее, в 1992 г., в Германии, *Лев Зиновьевич Копелев*, прочитавший оба моих сборника — «Два дома» и «Историческая справка», — сказал мне: «Мне понравилось. Но для меня странно одно. Вы пишете так, как будто советской власти не существует. Мы видели смысл нашего писания в борьбе. А вы?.. Вы словно вне политики». Но я и в самом деле жил вне политики. Советская власть была данность, но не была она уже проблемой нашей внутренней жизни. Да если вдуматься: мне было абсолютно плевать, что Бальзак был легитимистом, а Стендаль поклонником Наполеона. Были тексты о жизни, понимание человека и превратностей его судьбы.

Что же вечно? Человек и его душа. Ориентация не на сегодняшнее, а на классику, на вечное. А материал? Материал, разумеется, сегодняшний.

Что же касается публикации, то всегда есть шанс найти понимающих, хороших и отзывчивых людей, которые не только относятся к тексту без предвзятости, но и приложат немало сил, чтобы пробить твою рукопись в печать. Таким человеком для моей первой книги стал *Николай Семенович Евдокимов*, друг детства моего отца, никогда не ожидавший, что сын его друга, ученый вроде бы по своему складу, в тридцать лет окажется писателем. Но прочитав «Два дома», он сказал моему отцу с удивлением: «Похоже, что и в самом

деле писатель». Я дал ему тогда и написанную к тому времени повесть «Я другой», которая утвердила его в восприятии моего текста как подлинного. А решив так, отнес рукопись в издательство «Советский писатель», увлек текстом главного редактора отдела прозы *Федора Колунцева*, написал сам отзыв, уговорил написать ещё одну рецензию *Всеволода Сурганова*. Н.С. Евдокимова я и хочу поблагодарить. Противостояние публикации было большее, чем можно было ожидать. Но он всячески пробивал рукопись. И спустя восемь лет, как он прочитал мою повесть (1977), книга была опубликована (1985). Если бы не он, то этот текст да и другие так и копились бы в моем столе.

II. Рецензии до

Конечно, как и все тогда, свое путешествие по журналам я начал с «Нового мира», который еще не стал оплотом православно-общинного фундаментализма, который виделся по-прежнему журналом А. Твардовского.

И.П. Борисова отправила повесть на рецензию С. Соловейчику. И рецензия была журналом получена:

С. Соловейчик О повести В. Кантора «Два дома»

Повесть В. Кантора «Два дома» обладает, на мой взгляд, по меньшей мере тремя достоинствами, которые делают ее публикацию необходимой.

Первая — это язык повести, весь материальный склад ее, что ли, плотность, пластичность и уверенность в изображении. Об авторе невозможно говорить как о начинающем, ему невозможно давать слишком настойчивые советы — это сложившийся и крепкий писатель. Отступления от литературных норм, вроде подробного и чересчур, вроде бы, философского сна («так не бывает!»), в таком контексте не кажутся просчетами и не есть просчет или результат неумелости, непрофессионализма. Так данному автору нужно для того, чтобы до конца сказать то, что он хочет сказать.

Второе достоинство — интерес автора к философскому спору, обильному и разветвленному. Наша литература несколько чужается философствования, особенно прямого, все это считается «разговорами», и вместо философских размышлений пластами идут «размышления на моральные темы», которые журналистика пережила еще к концу 60-х годов. Мне

представляется, что философское осмысление мира — одна из первых потребностей сегодняшней читающей публики. Эта потребность, быть может, еще не ясно выражена и не уловлена другими писателями, но с каждым годом будет появляться все больше художественных произведений, в которых страницы и страницы будут отданы философским спорам вроде тех, которые ведут герои В. Кантора. На смену действующему и только действующему герою идет герой думающий (Не рефлектирующий! Думающий!) — думающий об основных вопросах жизни. Повесть В. Кантора, если она была бы опубликована, могла бы приоткрыть другим, более мощным по голосу, писателям неизвестные им пути.

И третье достоинство повести — образ двух домов, двух укладов жизни, двух типов отношения к жизни, двух женщин, двух бабушек маленького мальчика, который и в себе чувствует смешение двух этих непримиримых стихий.

На этом закончу цитирование. Далее великий педагог предполагал, что, наверно, начитанные в современной литературе люди укажут на то, что нечто подобное у кого-то было, но что он этого не знает, и потому два этих образа в их непримиримости представляются ему открытием очень большого значения: *«Открытие, собственно в том, что эти два мира показаны именно как непримиримые. Ведь всегда кажется — хорошие люди, отчего бы не договориться им? Но, как показывает В. Кантор, “договориться” им невозможно... Это страшновато, но выглядит правдой, сделано очень убедительно»*. И это очень педагогичное, замечает тут профессионал, воспитательно важное открытие, для многих читателей будет потрясением. Поэтому он призывает перестать, наконец, заниматься проблемами потребительства и накопительства, ибо есть на свете и другие проблемы, другие деяния рода человеческого!

* * *

После этого меня и попросили найти классика, чтобы он написал предисловие. Единственный классик, которого я по случайности знал и даже беседовал с ним, устраивая круглый стол ученых и художников для «Вопросов философии», был В. Розов. Я позвонил ему. Он сказал, что, конечно, прочитает, но скажет честно, как он на самом деле сам оценивает повесть. К моему удивлению, он сам позвонил мне через неделю (старый стиль!) и заявил, что ему повесть понравилась, что он готов написать предисловие, но вправду ли в «Новом мире» ее хотят печатать, или это — так, отмазка? Сам позвонил в редакцию и выяснил нечто положительное, тогда и написал предисловие. Привожу его с необходимыми сокращениями.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

от Розова В.С.

Я прочел повесть В.К. Кантора «Два дома» и думаю, что это произведение весьма интересно и могло бы быть опубликовано в Вашем журнале. Сложные межсемейные и внутрисемейные отношения выписаны автором тонко и с большим драматическим напряжением. И то, что это напряжение жизни взрослых проходит через душу ребенка — особенно впечатляет.

Повесть еще сырая и требует руки редактора. Лично мне кажется необходимым обратить особенно пристальное внимание к длинным рассуждениям отца о смысле и назначении человеческой жизни. <...> Они длинны и риторичны. Однако, из этого не следует, что их надо изъять. Мне нравится в них то, что отец, говоря с сыном, в то же время все производимое говорит и самому себе, пытается разобраться в жизни.

Если же говорить о пользе этой вещи, то, мне думается, она несомненна, т.к. во многом затрагивает типичные мучительные стороны жизни многих. Аось кому-то и поможет жить.

В. Розов

Увы, не знал и не знаю, дошло ли даже это письмо до тогдашнего главного редактора — честное слово, не помню, кто тогда таковым был. А если дошло, то как он отреагировал?.. Не знаю. Знаю только, что с милыми ужимками, призывающими к пониманию ситуации, призывающими, так сказать, в соумышленники, редакционные дамы объяснили мне, что, к сожалению, рецензии Розова оказались недостаточно, да и вообще не ясно, какой хитростью я выманил у маститого автора эти строки. Короче, повесть не напечатали.

Как водится, молодой автор надулся и поклялся больше в этот журнал ни ногой. К Розову мне почему-то было стыдно идти. Но прошло три года. Я продолжал писать. В других журналах повесть тоже отвергли (об этом рассказ чуть ниже), и я снова явился в «Новый мир», принеся новую пачку рукописей. Теперь мне понятно, что редакция на мне поставила крест — непробивной, и пишет не то, что им надо. Про народ мало. Да и фамилия не очень-то. Хотя о жидомасонстве дамы мне не говорили. Но, наверно, сочувствовали мне, что такой глупый и не догадываюсь псевдонимом взять. Во всяком случае новую стопку рукописей не отвергли, а И.П. Борисова попросила принести и «Два дома», чтобы уж всё вместе отрецензировать. Еще раз. И отправила на рецензию критику и пушкинисту Валентину Непомнящему, думаю, желая получить отрицательный ответ. Имя мое по-прежнему ничего никому не говорило из варивших варево на литературной кухне. И дать заработать прогрессисту-почвеннику (внутренние рецензии были узаконенным спосо-

бом литературной подработки). И рецензия была написана, а копия дана автору. Выдержки из нее и представляю.

В. Кантор, Два дома; Я другой; Библиофил; Знакомая девочка, или Как сверкают пятки. — 338 стр.

Буду говорить в том порядке, в каком я прочел произведения В. Кантора. Многое в повести «Два дома» произвело на меня сильное впечатление, и прежде всего — записанная автором ситуация очень характерная и типичная (разумеется, не в статистическом смысле слова). Герой и рассказчик — мальчик-подросток (точнее: это воспоминания рассказчика о себе в возрасте подростка). Мальчик интеллигентный, рефлектирующий, — главная жизнь его идет внутри, и она очень сложна и драматична: его собственная душевная тонкость, оборачивающаяся подчас слабостью, его интеллектуальная честность и способность к пониманию другого, выливающаяся порой в отсутствие собственной позиции, — все это мучительно для его совести. А ситуация, в которой он живет, сама по себе достаточно сложна. Родители его — из разных общественных кругов. Мать, биолог, генетик (в ту пору генетика считалась еще «лженаукой»), — из «простой» семьи; и в доме бабушки Насти, ее матери, куда очень любит ходить мальчик Боря, царит мирная, застойно-патриархальная, но очень теплая и человечная атмосфера, сродни гоголевской «старо-светской». Отец же Бори, гуманный, — интеллигент до мозга костей, мыслитель-романтик, в котором энтузиастический пафос 30-х годов причудливо переплетается с «богоискательством», с напряженным вниманием к «последним» вопросам. Как и его мать, бабушка Лиды (вместе с которой и живет семья) — тоже биолог, но «лысенковской» школы — предельно откислизованный тип «несгибаемого» функционера, все чисто человеческие чувства которого <...> оттеснены или подавлены, нет, — как бы ассимилированы, что ли, железной логикой рассудка, долженствования, некоей высокой «конечной цели»... Сюжет повести, собственно, состоит в грандиозной ссоре между матерью Бори, ненавидящей свою свекровь со всею плебейской истовостью, темпераментом и открытостью проявлений, с этой самой свекровью и — с мужем, который беззаветно, по-детски, любит свою маму, хотя в глубине души во многом с нею не согласен. В конечном счете это столкновение между миром бабушки Насти (хотя сама она участвует в конфликте, по существу, не принимает), миром пусть «отсталым», но сохраняющим человеческое тепло, и в то же время не чуждым некой пугачёвски-бунтарской стихийности (характер Бориной матери, ее яростная вражда к лысенковищине и безудержная ненависть к свекрови), — и миром бабушки Лиды, холодным, рассудочным (впрочем, и холодность, и рассудочность — здесь тоже своего рода

страсть, по накалу не уступающая никакой иной) с его теоретической «правильностью», оборачивающейся бесчеловечием. Между этими двумя мирами мечутся отец Бори, безуспешно пытающийся хоть как-то их «согласить», «сгладить» непримиримые противоречия между ними, а главное — сам мальчик, многое понимающий, многое чувствующий и именно от этого бесконечно страдающий.

Таков самый грубый, самый схематичный абрис этой повести, но и он, мне кажется, дает представление о важности и глубине коллизии. Повесть — своего рода художественная стенограмма этого конфликта, имеющего отнюдь не частный смысл. Художественность ее — прежде всего в глубокой человеческой достоверности, касающейся и событий и характеров, и проблем, а также в тонком понимании автором их сути, — понимании, которое, в сущности, и создает эту достоверность.

Однако есть в этой повести какая-то внутренняя незавершенность — как будто стенограмма оборвана... И дело в том, «по личному предположению» рецензента, что автор слишком «привязан» к какому-то конкретному прототипу своего сюжета и слишком послушно идет за ним. «Привязанность» эта настолько сильна, что когда автор позволяет себе пофантазировать и описывает длинный сон мальчика Бори, в котором помимо фантастических деталей большое место занимает весьма сложный «взрослый» разговор, написанный опять-таки со «стенографической» точностью, я перестаю верить и готов довольно грубо заявить: в снах, тем более детских, так не бывает! Если бы тот же разговор автор передал помимо сна, — другое дело; встроенный в сон, он сразу разрушает ощущение правды, и сон оказывается чисто условным приемом, который очень плохо «смотрится» на общем фоне точности и достоверности повествования. Что же касается незавершенности повести, то она имеет место в буквальном смысле слова. В ночь того дня, когда скандал достиг своего апогея, Боря тяжело заболел и несколько дней находился в очень опасном положении. Выздоровливая, он «блаженствовал, наблюдая наступившее примирение... Об этой ссоре больше никто никогда не поминал, словно и не было такой...». Все это сообщается в двух последних абзацах повести, занимающей 129 страниц. Но хочется тут сказать — писатель не имеет права на такой легкий «выход из положения!» Художественное произведение ведь не рассказ случайному попутчику: история кончилась, электричка остановилась на нужной рассказчику станции, — до свидания!.. В. Кантор напоминает мне здесь художника, который виртуозно написал портрет глубокого и сложного человека, портрет, побуждающий к раздумьям о жизни и человеке вообще, но предназначил этот портрет для вклейки в удостоверение личности, в «разовый» пропуск... Другими словами, автор сам ограничивает свою роль ролью фиксатора, и ничего более.

Далее опускаю, ибо рецензент по-прежнему испытывает недоверие к автору, но уже по поводу других его текстов, которые к рассказу о первой повести не имеют прямого отношения, во всяком случае, в книге не представлены, а потому читатель и не может самостоятельно сравнить тексты автора и оценку рецензента. О рассказах замечено мимоходом, что сами по себе эпизоды, составляющие их сюжеты, психологически любопытны, но *рассказами* они не становятся, оставаясь в рамках жанра «самонаблюдения» — если такой *литературный* жанр существует.

* * *

Но кроме «Нового мира» был еще журнал («Дружба народов»), где вроде бы неплохо ко мне относилась завредакция прозы Инна Андреева — уже по первому рассказу. А «Два дома» были поддержаны и Вацлавом Михальским — с явной рекомендацией печатать.

В. Кантор. «Два дома».
Повесть. 129 страниц.
Рецензия

Мне никогда не приходилось слышать о писателе Владимире Канторе. Повесть «Два дома» мое первое знакомство с ним. А между тем, как явствует из этой работы, Владимир Кантор вполне сложившийся профессиональный писатель со своим голосом и своим видением мира.

Главный герой повести десятилетний мальчик. Время действия указано с полной определенностью: «я не допускался на вечерние разговоры, и только, напряженно вслушиваясь, улавливал временами отдельные выкрики и слова: “генетика”, “кибернетика”, “европейская безопасность”, “атлантический пакт”, “Робсон”, “Фаст”, “Сталин”, “Берия”, “культ личности”, для пятьдесят пятого года, как я теперь понимаю, темы довольно типичные в определенных кругах». Владимир Кантор показывает жизнь своего юного героя в двух кругах: в кругу бабушки Лиды — профессорши, и в кругу бабушки Насти — простой старухи. «У бабушки Насти был другой “круг”, здесь зато было покойно, без полуночных “историко-культурных” разговоров». Оба эти круга, оба эти мира даны в повести глазами мальчика, однако в повествовании вкраплены и отступления в сегодняшний день, в сегодняшнее миропонимание автора, который собственно и описывает свое детство.

По тональности письма, отчасти по героям (отец мальчика — неудавшийся поэт, историк, беспокойная душа, мать — человек, реально работающий в этой жизни, делающий по-настоящему важное дело), по общему нравственному настрою повесть Владимира Кантора напомнила мне последние работы Юрия Трифонова, а еще точнее — «Дом

на набережной». Я далек от мысли упрекать в этом автора, я даже не удивлюсь, если повесть эта была написана раньше того же «Дома на набережной», я просто говорю о том, что мне кажется очевидным. Параллели вообще дело рискованное, но литература настолько многосложный и многосвязный процесс, что не проводить их невозможно. Может быть, я ошибаюсь, и скорее всего, это так и есть, но еще мне показалось, что автору близок Альбер Камю, его повесть «Посторонний».

Хотя в повести Владимира Кантора и можно, например, прочесть, что «голова посыпана перхотью и нервным тиком», но это ляпсусы «местного значения», а вообще-то — язык повести чистый, выразительный, суховатый, как правило, точный.

Образы, которые создает автор, запоминаются, в них веришь. Особенно интересными мне представляются бабушка-профессорша — такая деревянная душа, которой все ясно раз и навсегда и у которой в том месте, где у людей должно быть сердце, помещена шкатулка, набитая ложным пафосом и цитатами из Маяковского; и еще хороши в повести Ратников — человек из «круга» бабушки Насти, из «вороньей слободки». Страшная судьба Ратникова написана с тем чувством меры, которое свидетельствует об очень хорошем литературном вкусе автора, его умении выделить главное, отсеять зерна от плевел. Все, что связано с Ратниковым — смерть его жены, смерть дочери, убийство им бандита Витюнчика впечатляет не только потому, что все это само по себе, по фактам, и должно впечатлять, а потому, что и тут, и из всего этого страха автор извлекает поэтическую мысль, заставляет читателя не ужаснуться, а задуматься о Жизни.

Пропускаю большой кусок пересказа повести. А в заключение рецензент сравнил текст автора с классическими образцами жанра, что исполнило автора надеждой, увы, напрасной.

Что касается композиционного построения повести, то она представляется мне началом большой работы о жизни и судьбе нашего современника, человека, родившегося в последний год Великой Отечественной войны. «Два дома» — это в своем роде «Детство», наверно будет еще и «Отрочество» и «Юность»? Во всяком случае, у меня сложилось совершенно ясное впечатление, что представленная в редакцию повесть — первая часть большой работы.

Вацлав Михальский

Я был уверен, что после такой рецензии повесть напечатают непременно. Но тут начались разнообразные редакционные игры и приоритеты, но все же повесть добралась до главного редактора, который прочитал текст и пригласил автора на беседу. Тогда-то,

как я выше написал, *Сергей Баруздин*, держа автора за отворот рубашки, сказал ему (т.е. мне), что печатать меня нельзя, поскольку я «мрачный, как Достоевский». Мрачным я себя не считал, сравнение с Достоевским мне польстило, но повесть была отвергнута. *Инна Андреева*, тогдашний завредакцией прозы, пыталась меня утешить, говоря, что моя повесть кажется главному бомбой, а острый текст можно пропустить только от именитого, вроде Трифонова. Как сейчас ни кажутся смешными эти предосторожности, ведь сегодня слово силы не имеет, тогда режим инстинктивно чувствовал, что та спокойная форма его бытования из-за свободы слова может прекратиться. А возможностей демократии для собственного пресупения тогдашние партайгеноссе еще не подозревали, да и не хотели ловчить, как нынешние. Зато нынешние чуть опасаются журналистики и совершенно безразличны к искусству. Да и вообще к сущностным вещам. Интересен только шоу-успех.

Короче, *И. Андреева* решила начать с рассказов, может, легче пройдут. И отправила пять текстов на отзыв знаменитой *А.С. Берзер*. Ответ был положителен, а ее авторитет был столь велик, что редакция засуетилась. И выбрала для публикации три рассказа: «Святочный рассказ», «Собеседник» и «Библиофил». Разумеется, их все равно не напечатали. Был я из другого круга, чужой... А рецензию частично приведу.

В. Кантор — «Смысл жизни», «Ольга Александровна», «Библиофил», «Собеседник», «Святочный рассказ».

В. Кантор не дает жанрового определения своим произведениям, за исключением последнего, вынесенного прямо в название. Это, конечно, не имеет существенного значения, но вместе с тем характерно для его вещей. В своей рецензии я буду хотя бы условно называть их рассказами.

Я не читала раньше прозаических произведений В. Кантора и, прежде всего, мне хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о талантливом писателе, который широко и свободно владеет словом. У него острый взгляд на подробности жизни, он умеет видеть и красочно и щедро писать об этом. Он умеет передать картины природы, облик людей, характерность обстановки, вещей.

Рассказы эти имеют самостоятельное значение, но связаны между собой (в какой-то мере) молодым героем, которого зовут Борис. Произведения посвящены разным периодам его молодости, отрочества и детства. Но писатель не стремится к прямому изложению биографии героя, хотя мы везде чувствуем его поиски смысла жизни, его размышления о своем будущем пути. Мысли эти благородны и человечны.

Очень хочется привести эту рецензию целиком, но, зная, что не имею на это юридического права, потому сокращаю на треть, перехожу к анализу рассказа, который и в этом сборнике опубликован.

В рассказе «Собеседник» с большой полнотой красок окружающей жизни показан пригородный автобус, дорога, вид, который открывается из окна. Вот, например, как уверенно и пластично нарисован портрет одного из спутников: «Лицо его было узкое и стремительное: брови — углом, от переносицы они поднимались на лоб и вдруг резким углом опускались к виску; нос словно летел вперед и немного вниз как копьё на излете; ему бы очень подошла борода эспаньолкой и треугольная шляпа, но длинный и узкий, разделенный заметной ложбинкой подбородок был чисто выбрит, а на голове плотно сидела, залезая резинкой на лоб, болоньевая шапочка от дождя».

Казалось бы портрет закончен. Но, к сожалению, автор не может вовремя остановиться и продолжает свое описание, размывая его: пишет о том, что герой его «был красив красотой, как я книжно определил про себя, “вырождающегося аристократа-византийца”» и долго рассуждает на эту тему еще.

Читая некоторые рассуждения и диалоги в рассказах В. Кантора, иногда хочется остановить его раньше, чем он останавливается сам. Идет это не от бедности, а от богатства, от полноты слов и чувств. В рассказах «Ольга Александровна» и «Собеседник» художественно-полнокровная ткань начинает временами тускнеть от дидактики нарочито поставленных вопросов и ответов. Герой слишком прямо обнажает свою цель, а автор слишком громко отвечает на его вопросы.

Связано это, может быть, с тем (я боюсь говорить об этом с полной определенностью), что герой много отводит места тому, что его призвание — быть писателем. Тема эта очень сложна для литературы, тут труднее избежать литературности и книжности. К тому же герой рассказов слишком молод для того, чтобы понять глубины страдания, которые заключены в этой профессии. Иногда герой-писатель мешает автору-писателю стать законченнее и сильней.

Именно этой законченностью, стройностью и сюжетной слаженностью (при всех прочих качествах, о которых я говорила выше) отличается, на мой взгляд, «Святочный рассказ».

Герой его — Григорий Михайлович Кузьмин показан в кругу семьи в момент успехов и довольства собой. В. Кантор отлично описывает домашнюю обстановку, рисует облик жены и сына. Все это возникает на страницах рассказа с естественностью и жизненной полнотой. И праздничный предновогодний ужин, и подарки, и елка, и речи главы семьи, и реплики жены, — все это создает художественную атмосферу рассказа.

Потом после чтения сочинения сына наступает отрезвление. Рассказ отмечен серьезностью и доброжелательством, он написан более экономно, чем другие рассказы. Я бы только посоветовала бы автору начать этот «Святочный рассказ» со второго абзаца. И, кроме того, подумать над необходимостью таких прямых толкований: «сам Григорий Михайлович вдруг с облегчением, почти физически почувствовал, что из него словно выходит какая-то болезнь, улетает, улечивается, и глаза становятся яснее, и дурман выходит из головы, как тяжелое похмельное сновиденье. Это улечал демон, рисовавший ему картинки, закрывающие живую жизнь. И выздоровевший Григорий Михайлович понял...»

Это мгновенное перерождение передано без психологического и художественного такта, без «диалектики души». А главное — все это вытекает изнутри, из течения самого рассказа. Это описание, может быть, следует сократить или свести его к одной тактичной и достоверной фразе — без громких слов и декламаций.

Мои замечания по этому рассказу носят очень мелкий характер и в целом я очень рекомендую этот рассказ отделу прозы для опубликования.

Рассказ «Библиофил» после небольших сокращений дидактических мест тоже заслуживает внимания журнала. «Ольга Александровна» и «Собеседник» нуждаются в дополнительном сюжетном осмыслении. Литературным и вычурным показался мне рассказ «Смысл жизни».

Перед нами произведения талантливого писателя, для которого печатание будет лучшей школой творчества.

30 июня 1983 г.

(А. Берзер)

Работавший в журнале («ДН») и благоволивший ко мне Лев Аннинский взялся тоже помогать и послал «Два дома» в ленинградскую «Аврору». Отрицательный, мыльный ответ не заставил себя ждать:

**АВРОРА. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ЦК ВЛКСМ, СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

192187, Ленинград, Литейный пр., 9 Тел. 73-33-90
N 709 11 мая 1981г.

Уважаемый Лев Александрович!

Повесть В.К. Кантора нам, к сожалению, пригодиться не может. У нас очень много прозы из времен послевоенного детства,

а мы испытываем нужду в рассказах и повестях о современности, с героем — молодым человеком наших дней.

Благодарим Вас за внимание к нашему журналу.

Редактор отдела прозы Е. Невзглядова

Мои сторонники в «ДН» махнули рукой. Не проходило ничего, всё было глухо. Еще один рассказ («Немецкий язык»), тематически связанный с «Двумя домами», я туда отнес, и он был отделом прозы принят. Наташа Воробьева его отредактировала, представила в главную редакцию, но — ... Что «но»? Разумеется, нет.

* * *

Но я уже был битый. Конечно же, я не только в «толстые» журналы ходил. Был тонкий, но ужасно по школьным годам памятный как прогрессивный. Как же! Аксёнов, Гладилин, Евтушенко... Они, правда, появлялись там уже редко, но и в редколлегии кое-кто из приличных был. И я отправился в «Юность». Там меня тоже не приласкали. Через недели две мне выдали такой отзыв:

**В. Кантор
Два дома. Повесть**

Это повесть и тонкая и добрая, но все же, сдается мне, малость она припозднилась написанием лет на пятнадцать...

Дело не в самой коллизии семейной, когда мать героя-рассказчика из среды «мещанской» попадает в среду высокоинтеллектуальную, где ее не уважают, третируют, считают «не парой» своему сыну. Такое явление вполне современно и будет современным, думаю, довольно долго. Опоздал автор, кажется с самой подоплекой семейной истории — мать героя занимается генетикой в самый трагический для биологии момент, когда Лысенко громил менделистов-морганистов. Ненависть свекрови, сталинистки, профессора, занимающейся историей науки, наверное, была вызвана и занятиями невестки (есть на сие глухие намеки в повести). Но теперешним-то молодым читателям сие совсем, увы, неизвестно (вы вспоминаете «лженаука кибернетика», а юноша недоуменно пялит на вас глаза).

Но все же недостаток повести видится мне в ином. Люди, которые не сдавались тогда, были по-своему особыми людьми. Такова мать героя. Но мы-то вертимся лишь в кругу семейной дрязги. Большая жизнь идет мимо (оно понятно — герой-мальчик другого, наверное, увидеть не мог).

Выпускаю несколько фраз, чтоб сохранить принцип цитирования, а не полной публикации. В заключение рецензент не без сообразительности замечал:

Что-то осуществилось, что-то кануло в лету, что-то переживается и сейчас. Сейчас уже можно что-то итожить, на одном факте «разговора об этом» уже далеко не уедешь...

И вот это-то обстоятельство и делает вещь запоздавшей. Вряд ли эта повесть будет интересна для «Юности».

5 июля 1979 г. Вяч. Иващенко

Я, получив рецензию, восприняв ее всерьез, случайно в тот же день столкнулся в редакции «Юности» с рецензентом и начал растерянно ему объяснять, что вся проза — о прошедшем, не случайно текст рассказчика строится в прошедшем времени. Он смущенно бормотал, что тематика не интересна, что лучше бы я съездил на границу, пожил среди пограничников (почему-то именно пограничников!), написал бы об этом повесть, а журнал бы опубликовал. Я опять же неуверенно постарался сказать, что искусство интересно только потому, что создает то, что волнует автора, тогда оно убедительно, что дело не в теме, а в душе героя, в ее разрыве надвое... Слушал он меня снисходительно, опустив глаза, заметив под конец, что ничего другого посоветовать он мне не может. Забавно, что в первые годы перестройки та же «Юность» о генетике писала бесконечно! Спустя несколько лет я познакомился на совещании молодых писателей (куда пристроил меня друг моего отца Николай Евдокимов) с Владимиром Амлинским и дал ему мою повесть. Ведь тема генетики и его интересовала по жизненной судьбе. Он взял и долго держал ее, пока не потерял. Зато опубликовал свою (в начале перестройки) «Оправдан будет каждый час». Впрочем, Амлинский, утерев мою повесть «Два дома», все же помог напечатать рассказ «Наливное яблоко». За что ему тоже спасибо.

* * *

Что было делать? Я ходил и ходил. Устные отзывы, конечно же, не приведешь, но один очень хочется. Текст был послан поэту-леваку А. Прийме. И отзыв был сногосшибательный. Очевидно, тот, какой от него ожидался.

ЗНАМЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

МОСКВА, ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, 25. ТЕЛЕФОНЫ 202-30-29,
202-04-49

Уважаемый Владимир Карлович!

Внимательно прочли Вашу повесть «Два дома» и рассказы. К сожалению, вынуждены Вас огорчить: они не подошли нашему журналу по причинам, которые изложены в рецензии.

Рецензию высылаем вместе с рукописью.

Всего Вам доброго.

*По поручению редакции журнала
«Знамя»*

2.7.79 г. Вал. Акудович

Отзыв на повесть «Два дома» и короткие рассказы

В. Кантора

*Повесть В. Кантора «Два дома» относится к числу тех, которые, как говорится, «вполне можно печатать» — после известной редакторской правки, разумеется. Но, сказав — «вполне можно...», тут же задаешься вопросом: **а где именно «можно»? В каком именно журнале?** И, отвечая на данный вопрос, волей-неволей приходишь к той очевидной, по-моему, мысли, что публикация повести на страницах «Знамени» будет «не в традициях» этого журнала.*

Судите сами: рукопись В. Кантора — повесть-воспоминание по всем своим жанровым признакам. В центре авторского внимания оказался мальчик, от лица которого и ведется рассказ, перемежаемый бесчисленными «как я помню», «как помню», «как помнится мне». То есть герой — уже в зрелых летах — вспоминает о давно ушедшем, безвозвратно минувшем, оживляет в памяти картинки прошлого. А памяти его можно лишь позавидовать: «Прямо за порогом, как помню, стояло ведро для ночных малых нужд, чтобы не бегать голышом из теплой постели в холодный туалет...» (стр. 9), «Мимо бабушки мне была видна наша комната, точнее, некая часть ее: кушетка, на которой лежала, отвернувшись к стене, мама, и спина стоящего перед ней отца» (стр. 4...). «Горела настольная лампа, мама тихо спала, так и не укрывшись даже пледом, стол, стул, шкаф — все было на месте, подушка под головой, а на полу — пусто...» (стр. 99), — «луч памяти» как высвечивает одну детальку за другой, освещает одно достойное, на взгляд автора, вос-

поминание за другим, чтобы тут же перекинуться, и его осветив, на новое воспоминание... Герой вспоминает, вспоминает, вспоминает, и — сладостны ему эти воспоминания и — бередают они его душу, и — вот уже, чудится, ничего кроме воспоминаний герою нашему в жизни и не остается; и — самое сладостное в жизни нашей, как вдруг выясняется, эти перманентные воспоминания о самой давней поре — о детстве, а все остальное — лишь досадный пострфактум к ним...

Конечно, возможна и такая версия героя. Более того, в общем контексте повести В. Кантора она выглядит вполне уместной, уж коль по жанру определили мы эту рукопись как повесть-воспоминание... Но — насколько все эти воспоминания отвечают тем задачам, которые ставит перед собой журнал «Знамя», издание **периодическое**, то есть тем самым обязанное выказывать хорошую реакцию если и не на самые животрепещущие события дня, то уж на актуальные **проблемы современности** всенепреренно?

И тут я вынужден с огорчением констатировать, что в целом интересная повесть никак, прямо скажем, в общий литературно-художественный контекст нашего журнала не вписывается. И так, и так я ее в этот контекст «пристраивал», и тем «бокком» и другим... Нет. Не получается. **Не вписывается** она, и — все тут.

А дело в том, что на страницах «Знамени» **по давней, устоявшейся традиции** печатались и по сей день печатаются произведения, в которых превалирует актуальная современная проблематика, в которых литературный герой оказывается не неким литературным героем вообще, но — **именно современным** героем, нашим современником с его каждодневными хлопотами, заботами, с его «жизтием сегодня», **обязательно** подразумевающим хотя бы его «завтра-жизтие». Герой прозы журнала «Знамя» — это деятельный ищущий человек сегодняшнего дня **в его завтрашней перспективе**. Таким он был пять, десять лет назад, таков он сегодня, таким он, я уверен, будет и через год...

А герой повести В. Кантора всеми помыслами своими, всей душой даже, если хотите, **развернут в прошлое**. Я это вовсе не в укор ему говорю. Я — о другом; о том, что он — **из иного смыслового ряда** нежели иные герои иных повестей, романов, печатавшихся в нашем журнале. Он живет, «назад оглянувшись», а не «вперед поглядывая», он **смакует** свое прошлое, любит его им, поэтому-то, если перефразировать его собственные слова, так и остается он там, в своем прошлом, «сидеть на табуретке, испуганно уставившись в пол, ожидая, пронесет — не пронесет» (стр. 46).

И когда герой с этой табуретки (я продолжаю развивать метафору...) — с табуретки детства своего — «попытался гордо приподняться... — голова снова сильно закружилась, и “наш герой” откинулся назад, чувствуя ужасную дурноту» (стр. 115).

Да и как ее не почувствовать, если любые попытки вырваться из круга бесконечных воспоминаний — «гордо приподняться» все равно ни к чему путному не приведут, ведь нет у героя не только сил, но и желания за узкий круг «домашних» детских воспоминаний выйти. Еще и еще раз говорю, все это — вовсе не в укор герою мною ставится, все это — лишь к тому, что **такая** «повесть о прошлом», «повесть-воспоминание» вряд ли найдет своего издателя не только в «Знамени», но и в любом — я уверен! — другом периодическом современном издании.

Тут я выпускаю несколько абзацев, в которых мне рецензент советует издать повесть в однотомнике прозы, но ни в коем случае не в журнале, поэтому...

от публикации повести В. Кантора следует воздержаться. Не чувствуется ведь на ее страницах **дыхания современности**, которым отмечены фактически все без исключения художественные произведения, в нашем журнале до сей поры опубликованные. А чувствуется иное дыхание: дыхание ностальгического толка, имя которому — тоска по давно ушедшему и — сквозь романтическую дымку — надрывно-романсовое прощание с ним.

(А.Прийма)

17 июня 1979 года

Р. С. Что касается до коротких рассказов В. Кантора, то такой жанр как короткие рассказы страницам журнала «Знамя» в принципе не свойственен. Короткие рассказы — прерогатива «Смены», «Работницы», «Юности»...

А.П.

Уже после перестройки я отнес во вроде бы изменившийся этот же журнал свой лучший рассказ «Случайные заботы и смерть». Редактор прочла и сказала странную фразу: «Если бы вы были классиком, то мы рассказ напечатали бы немедленно, потому что тема, вами поднятая, как раз для классика, но поскольку мы о вас ничего не слышали, то печатать не будем». Прохиндейская логика журнала была понятна. А впоследствии по поводу «Крокодила», который принес мне стипендию Генриха Бёлля, мне было сказано, что фантазмагорий «Знамя» не печатает. Когда же я заикнулся, что только что напечатали они «Собачье сердце», на меня взглянули, как на зарвавшегося идиота. «Ну вы сравнили!» — воскликнул редактор. Я ответил, что сравниваю жанр, хотя, видно, стоит сравнить и состояние авторов. Один умер, а другой, к несчастью, еще жив.

* * *

Что ж, я не был совсем уж лохом, не от мира сего, хотя ни в каких литературных компаниях не состоял, не умел, всегда был сам по себе. Поэтому помогли мне не клики, не шайки, а отдельные добрые люди. И я последовал совету *Н.С. Евдокимова* и отнес в начале 1979 г. две повести («Два дома» и «Я другой»), связанные главным героем, в издательство «Советский писатель» *Ф.А. Колунцеву*, другу Евдокимова. Человеку талантливому и свободному, армянину (*Бархударян*), взявшему русский псевдоним, курившему трубку и кашлявшему, писавшему свою сагу. Тогда все писали саги. Хотелось ухватить время нашего безвременья. Он прочитал, пригласил к себе и сказал, что ему понравилось, даже воодушевило его. Что он пошлет ее на рецензии приличным людям, а потом даст лучшую редакторшу — *М.В. Иванову*, которая и Трифонова, и Солженицына редактировала, а потому не будет вычеркивать всё подряд, не испугается. Один рецензент мне был понятен, второй прояснился, когда я получил отзывы. Через год я их получил, с предварителькой Колунцева:

Издательство «Советский писатель»

17 июля 1980 г.

Уважаемый Владимир Карлович!

Вместе с этим письмом и рукописью мы высылаем копии отзывов члена Правления издательства В.С. Сурганова и писателя Н. Евдокимова. В этих отзывах содержатся весьма полезные, на наш взгляд, советы по доработке рукописи.

С удовольствием ознакомимся с новым доработанным вариантом повестей.

Желаем творческих успехов.

С уважением,

Зам. зав. редакцией

русской советской прозы Ф. Колунцев

Я бросился к рецензиям, но так и не понял, что это за новый вариант я должен представить, ничего другого писать я не хотел.

РЕЦЕНЗИЯ

на рукопись сборника повестей В. Кантора «Два дома»

Эту рукопись интересно и приятно читать, ибо все время находишься в атмосфере интеллектуальной, и автор и герои его размышляют над жизнью, постоянно находясь в сфере нравственных исканий, в поисках своего места в жизни. Это в равной степени относится и к тем

персонажам повестей, которые только начинают жить, и к тем, которые заканчивают жизнь, пройдя по ее дорогам большой и не очень легкий путь. Они ошибаются, они заблуждаются, как бабушка героя повестей Бориса Лидия Андреевна, и не понимают своих заблуждений, но они все искренни, все измеряют себя и других мерками наивысшей требовательности коммунистической морали. Ибо и заблуждения их, и ошибки, и трагизм непонимания друг друга вызваны, по их разумению, не мелочными интересами, а стремлением принести как можно больше пользы своей Родине, полнее проявить свой гражданский долг.

Повествование ведется от лица мальчика Бориса, выросшего в интеллигентной семье, в атмосфере постоянных разговоров о «высоких материях». Этот дух размышлений, самоанализа, стремления к благородству мальчик впитал с раннего детства. Однако с годами он понимает, что в семье его не все благополучно, что его близкие — мать, отец, бабушка Лидия — живут в постоянном и, очевидно, неразрешимом противоречии. Конфликт этот весьма остр, он выходит далеко за рамки узкосемейных неурядиц, он безусловно носит социальный характер.

Повесть «Два дома» интересна и глубока именно тем, что автор нашел и сумел довольно выразительно и психологически достоверно нарисовать характер Лидии Андреевны, старой профессиональной революционерки. Она прожила большую и деятельную жизнь, она с ранней юности участвовала в революционном движении в России, а потом и в эмиграции, после Октября стала ученым, доктором наук, ревностным и искренним приверженцем идей Т. Лысенко, участвовала в гражданской войне в Испании, и ныне, на пенсии, занимается большой общественной работой. И в то же время Лидия Андреевна предстает перед нами как деспот в семье, считающая, что ее сын Григорий женился на девушке иного, «простецкого» круга, ведь отец его жены простой шофер, любящий выпить, что вся обстановка «той семьи» будто бы бездуховна. Лидия Андреевна не видит, не чувствует, что ее нынешнее отношение к миру, к людям эгоистично, догматически прямолинейно и, по сути, не только деспотично, но и бесчеловечно. Характер Лидии Андреевны, психологически достоверно нарисованный автором, удача В. Кантора. Это образ, по существу, новый в нашей литературе.

Несколько традиционен характер, облик другой бабушки Бориса — бабушки Насти, мягкой, душевной, все понимающей русской женщины, бывшей учительницы, какой-то «по-крестьянски» доброй, отзывчивой, милосердной. Но и этот характер выписан автором с достаточной полнотой и убедительностью.

Повесть «Два дома» показывает нам мальчика Борю в мучительных терзаниях, он мечется между уютотом, простотой мира бабушки Насти и нервной, враждебной атмосферой семейной жизни своих родителей в квартире деспотической старухи Лидии Андреевны. Эта тягостная

атмосфера в семье родителей усугубляется еще и тем, что мама Бориса и бабушка Лидя — коллеги по своей научной деятельности, они биологи. Лидия Андреевна, как говорилось выше, сторонница идей Т. Лысенко, опровергнутых жизнью, а мама Бориса, генетик, противник этих идей. В тяжкой обстановке этой семьи, в бесконечных пререканиях, мелочных уколах самолюбия, непримиримости, во всей этой тягостной атмосфере, созданной Лидией Андреевной, детская, мятущаяся, ищущая душа мальчика не выдерживает, и Боря заболевает...

В повести «Два дома» увидены и хорошо описаны разные характеры. Это отец Бори, разрывающийся между сыновым долгом перед матерью и любовью к жене и сыну. Это друг отца дядя Лева, верящий, подобно Лидии Андреевне, в высокую миссию Григория, который даже настойчиво советует Григорию бросить, оставить семью, чтобы целиком отдать себя науке, служению обществу. Это невежественный Ратников, ищущий истину в боге, чем-то очень трогательный в своем несчастье, в своей душевной незащищенности, верящий в евангельское «возлюби ближнего, как себя самого», как в единственное средство от всех бед человеческих. Это мама Бори, любящая сына, мужа, и может быть не менее твердая характером, чем Лидия Андреевна.

В повести «Я другой» перед нами предстает уже повзрослевший Боря, старшеклассник. Боря находится в том периоде, когда он переживает свою первую любовь, и в этом периоде возмужания, в этом переходном возрастном периоде воспринимает окружающую его действительность.

И снова, как в повести «Два дома», его, героя этих повестей, чьими глазами смотрит на мир и читатель, тревожат нравственные проблемы, стремление стать лучше, чище, полезнее обществу, быть достойным тех идеалов, которым посвятили свои жизни его родные, его отец, мама, бабушка. Поэтому-то так остро он воспринимает кажущуюся ему гражданственную инфантильность своих сверстников, их несколько откровенные, иногда даже циничные суждения о женищинах, их грубость.

Это все написано достоверно, и все же, думается, автор несколько переборщил в описании неприглядности школьного окружения Бориса. Борису кажется, что его сверстники вульгарны, грубы, жестоки, что они не могут воспринимать окружающее так же тонко и возвышенно, как воспринимает он сам. Даже учителя в школе кажутся ему, и, к сожалению, выглядят в повести, людьми несимпатичными. Сам Борис поэтому выглядит помимо воли автора резонерствующим, рефлексирующим. Его самокопание, диктуемое, впрочем, высокой требовательностью к себе, надоедает. Повесть растянута. А ведь многие и многие рассуждения героя о себе самом, по сути, повторяют то, что уже было сказано в повести «Два дома», и, в частности, в главе «Что я чувствовал». О том, что у героя «нет дела, только чтение», что он одинок в этой среде мальчиков и девочек, которые выросли «в бараках».

Принимая целиком повесть «Два дома», как художественно законченную, талантливую, считая, что автор должен поработать над повестью «Я другой».

Считаю, что повесть «Я другой» необходимо несколько сократить за счет повторяющихся размышлений героя, его рефлексий. Необходимо убрать тот цинизм, те ругательства, которыми пересытана речь сверстников Бориса. Натуралистична сцена с кошкой, которую забывают до смерти пьяные парни. Сцена эта невероятно растянута и без всякого ущерба может быть сокращена наполовину. Хотелось бы, чтобы в этой повести полнее было раскрыто чувство Бориса к девочке, которую он любит первой чистой любовью. Хотелось бы, чтобы и в этой повести была бы показана мать героя не только в ее конфликте с бабушкой Лидой, о чем мы уже хорошо и убедительно прочитали в повести «Два дома».

Думаю, что сейчас две эти повести несовместимы по своему художественному уровню. Повесть «Два дома» можно рекомендовать к изданию, она готова, но повесть «Я другой» требует доработки, и, на мой взгляд, небольшой доработки, скорее авторской редакции. Если автор сумеет выполнить все претензии рецензентов к его повести «Я другой», то может получиться незаурядная книга, дышащая мыслью, психологической и жизненной достоверностью.

4 июля Ник. Евдокимов

Это была первая, ее, по старой дружбе с автором, привожу целиком, вторую даю, как и предыдущие, с сокращениями:

РЕЦЕНЗИЯ на рукопись сборника повестей В. Кантора «Два дома» 321 м.п.стр., «Советский писатель», 1979

Сборник, собственно, представляет собой определенное единство в сюжетном и идейном плане. Это — диалогия, в которую входят две повести: «Два дома» и «Я другой». Главные действующие лица здесь одни и те же, различается только время действия, меняется «центр тяжести» его. Это смещение вызвано смещением центрального героя, изменением его возраста и, соответственно, круга интересов, переживаний.

Это, так сказать, внешне. Но по степени глубинного звучания своего и художественного решения повести эти, на мой взгляд, не равноценны.

Наиболее удавшейся, интересной по поставленным здесь проблемам, по созданным автором характерам действующих лиц я считаю первую — «Два дома». Здесь и впрямь углубленно исследуется давний и неразрешимый в силу органичности и непримиримости своей конфликт между двумя домами, двумя семьями. Конфликт этот носит отчетливо выраженный социально-психологический характер, он ориентирован в

конкретно-историческом плане и, на мой взгляд, достаточно жизненен и актуален, что сообщает повести осязаемую общественную значимость.

Повествование ведется здесь от лица ребенка, происходящее воспринимается его глазами, разумом, ощущениями. Маленький Борис, едва начавший ходить в школу, становится свидетелем и участником затянувшегося семейного конфликта. Узелок его затянут отношениями матери Бориса с ее свекровью — бабушкой Лидой, Лидией Андреевной. В немалой мере здесь психологические корни вполне традиционны: свекровь и невестка от века сталкиваются между собой, безуспешно пытаясь «разделить» или отстоять свое исключительное право на мужчину — мать, по исконному материнскому праву на сына, жена — по столь же несомненному праву — на мужа. Сыну-мужу, оказавшемуся меж двух огней, дорожающему каждой из близких ему женщин, приходится туго, именно в этом положении предстает перед читателем Григорий — отец Бориса, сын Лидии Андреевны.

Но здесь «срабатывают» еще два немаловажных фактора. Лидия Андреевна принадлежит к потомственной интеллигентной семье. Здесь сильны традиции и память об участии в революционном движении, в строительстве нового общества — культурном строительстве. Здесь существует и известного рода апломб, сознание своей исключительности, своего рода избранности — сознание, идущее, разумеется, от пережитков снобизма, получающее благодатную почву в процессе неприметно развивающегося омещания, духовной деградации. Ибо настоящий интеллигент-революционер не может, органически не способен смотреть свысока на людей иного социального круга, презирать их и осуждать, не пытаясь разобраться в мотивах их поведения, взглядах, найти с ними общий язык.

Именно так воспринимает Лидия Андреевна свою невестку Аню. Женитьба Григория на Ане, в глазах Лидии Андреевны, являет собой мезальянс, потому что Аня — интеллигентка в первом поколении, ее родители и близкие живут на городской окраине, ее отец был простым шофером и любит попивать, уклад в этом окраинном домике самый простой, наполовину крестьянский, «пригородный». В доме этом живут странные и темные люди, происходят свои драмы, вскипают страсти, напряженно работает ищущая, хотя и ограниченная невежеством, обожженная болью сердца мысль.

В центре этого мира, как самое светлое и доброе здесь, находится вторая бабушка Бориса — бабушка Настя, очень похожая и на бабушку Алеши Пешкова, и на бабушку из астафьевского «Последнего поклона» — похожа душевной сердечностью своей, простотой, честностью. Она — прямая противоположность Лидии Андреевны с ее черствым, эгоистическим складом души, недоверчиво-пренебрежительным отношением к окружающим, с ее догматической жилкой и прямолинейностью, категоричностью взглядов и суждений. Она, что всячески подчеркива-

ется в повести, воплощает собой начало бездуховное, бесчеловечное, что сказывается даже в ее материнском чувстве, деспотичном до предела.

Так сталкиваются холод и тепло, доброта и бессердечность, особо остро воспринимаемые маленьким героем повести. Его и наши симпатии явно на стороне второго дома — дома бабушки Насти, при всей внешней вульгарности царящей здесь атмосферы.

Есть еще и третий фактор, заявленный, однако не разработанный автором. Анна — мать Бориса — и Лидия Андреевна, оказывается, коллеги по своей научной деятельности. Они обе биологи, но Анна в послевоенные годы отдала свои пристрастия и интересы генетике и, в связи с событиями, происходившими в ту пору в биологической науке, на долгий срок оказалась в тяжелом положении. Торжествовала линия Лысенко, сторонником коей была Лидия Андреевна. Таким образом, невестка выступает еще и в роли научного и идейного противника свекрови, притом, к моменту действия повести, уже в качестве фигуры, торжествующей, в свою очередь. Все это привносит свои особенности и сложности в конфликт и без того сложный и острый и, соответственно, сообщает динамику и напряженность содержанию, которое развивается и раскрывается автором весьма интенсивно и успешно. Здесь все удается В. Кантору — характеры действующих лиц, психологическая и нравственная атмосфера двух домов, столкновения и споры взрослых персонажей, состояние мальчика, который вынужден терпеть то и другое и лавировать, приспосабливаться в силу своих возможностей к атмосфере, явно держа сторону матери против бабки Лидии и стараясь сохранить отца, которого бабка всеми силами стремится не только поссорить, но и разлучить, развести с ненавистной невесткой. Психологически и даже физиологически объясним тяжелый срыв, болезнь ребенка, не выдержавшего подобное нервное напряжение...

Считаю повесть «Два дома» работой художественно зрелой, завершенной, выполненной вполне профессионально и талантливо, достойной встречи с читателем.

Здесь пропускаю нескольких фраз и абзацев, к «Двум домам» не относящимся.

Повесть «Я другой», где тоже в качестве главной фигуры выступает и ведет рассказ Борис, мне представляется менее удавшейся. Замысел автора интересен и здесь. <...> Здесь многое перекликается с тем, что мы видели в «Двух домах», но уже в заметной приглушенности — что-то отболело, остыло, отбушевало, что-то, скорее всего время и возраст, смягчило деспотичную старуху. <...>

Ни динамики, ни напряженности, свойственной «Двум домам», здесь нет. Все это вызывает у меня серьезные сомнения относительно

целесообразности рекомендации этой повести к изданию. Тем самым приходится ставить под сомнение рукопись в целом — во всяком случае, в том виде, который ныне предложен автором. Возможно ли издание «Двух домов» отдельной книгой, я не знаю, но если возможно, то моя рекомендация по отношению к этой повести остается в силе. Данную же рукопись, в силу изложенных выше причин, считаю нужным отклонить.

30.VIII. 79 Вс. Сурганов

Дорабатывать я тогда особенно не стал, не понимал, как и что. Выкинул абзацы, замедлявшие темп. Снова принес. Но Сурганова убедил Евдокимов. И книга была принята. Потом ее вставляли в план несколько лет, потом выкидывала, но не жестоко, Марина Иванова, а потом произошла (уже на стадии сдачи в набор) катастрофа с контрольным редактором, кончившим Пищевой институт, но кем-то присланным в писательское издательство — *бдить*. Особенно ему не понравились мои «Два дома». Чистая крамола! Разве такие, как моя бабушка Лида, большевики были?! Они были из чистой стали. И повесть — клевета на партию и старых большевиков. Он пытался аргументировать, ссылаясь на философию, на плохое мое понимание системы художественных образов и пр. К тому моменту я был кандидатом философских наук, до этого закончившим филологический факультет МГУ. И кое-как отбил. Тогда он сказал, что приказным и волевым порядком снимает «Два дома». Я ответил, что тогда снимаю всю книгу. Ей Богу, его это нисколько не расстроило! Даже обрадовал. Но и самые матерые считались с финансовой ведомостью. А мне уже было выплачено — по рекомендации предусмотрительной Марины Владимировны — 60% гонорара. И контролер был вынужден умерить свои аппетиты. Повесть осталась, хотя и поуродованная. В побитом виде и вышла в свет (родственники меня уговорили). В одна тысяча девятьсот восемьдесят пятом году, поздней осенью.

Дальше началась ее самостоятельная жизнь без меня. Ее, оказывается, некоторые даже прочли.

III. Рецензии после...

Комментировать рецензии не буду. Просто приведу (в порядке их публикации) отрывки, относящиеся к «Двум домам». Не знаю, кому это будет интересно, но мне их собрать давно хотелось.

Да, разумеется, отреагировали прежде всего журналы, куда я прозу свою носил и где изредка печатали мои статьи.

1.

«Детская литература», 1986, № 8.

Владимир Кантор
ДВА ДОМА
Повести

Рисунки М. Кантора
М., «Советский писатель», 1985. 200 с.

После многочисленных деревенских мемуаров — вот городская «субъективная эпопея». Мера лирической исповедальности не оговорена, однако ж присутствие личного опыта автора очевидно. Рассказчик вглядывается в свои черты, заново узнает себя — юного Борю Кузьмина, московского мальчика. А узнав, вписывает в бытовой уклад 50-х годов, в их неповторимую социально-психологическую атмосферу, тщательно восстанавливает тогдашний образ жизни.

События прошлого становятся предметом упорного осмысления, анализа. Повествование предельно насыщено обобщающей мыслью автора. Рассказчик словно говорит: так я жил, думал, радовался и страдал, но сверх той непосредственности были еще какие-то закономерности духовного движения, не вполне осознаваемые мною тогда, но понятые теперь. И эти размышления для писателя не менее важны, чем те прямые зарисовки жизни, которые есть в книге. Хотя и события лишь с первого взгляда кажутся выхваченными наугад. «Повесть о том, как был разбит эмалевый фотопортрет бабушки Лиды» или «Повесть о том, как Боря пригласил на школьный вечер не ту девушку, какую хотел» рассказывают не только о непосредственно случившемся, не только о перипетиях «этого дня» и «этого вечера», но обо всем строе жизни в семье, о человеческих взаимоотношениях, которые опосредованы наследственностью, духовной преемственностью, всем неуловимым, но могуче лепящим характеры, дыханием эпохи.

«Два дома» — повесть о Семье, о Роде. Точнее, о двух родах, встреча которых анализируется рассказчиком как предпосылка своего духовного оформления. Встреча открыто конфликтна. Чаше писатель, обращаясь к своему детству, воспекает его первозданную цельность, которая не в последнюю очередь обусловлена духовным единством «предков». Не то у В. Кантора. Его герой становится свидетелем сосуществования двух правд, двух жизненных логик. Наиболее цельно представляют эти культурно-идеологические миры две бабушки героя: простодушная, ласковая бабушка Настя и «строгая, прямоспинная» бабушка Лида. Бабушки рознятся не просто характерами, не мелкими привычками — самой сутью, всем духовным складом. Вот

со слов отца Бори характеристика бабушки Лиды: она «живет запросами духовными, важнее идей, концепций, проблем для нее ничего нет. Она всю свою жизнь жила книгами, газетами, постановлениями, то есть подчиняя свою жизнь чему-то нематериальному, духу, иными словами». Мир вокруг нее просторен и холоден: «Наша квартира создавала у меня всегда ощущение открытого пространства, даже какой-то не горной, а горней разреженности, метафизичности и неуютности». Совсем иная атмосфера у другой бабушки. Здесь все обжито, уютно и тесно, «здесь так все просто, *простые люди*, хорошо и спокойно. Безо всяких там *ихних проблем*». «Телесный» мир, практичный и сердечный, «дух уюта, спокойствия и хлебосольства». Здесь — узел проблем. И узел этот пришелся как раз на Боря. Это его душа завязана всеми конфликтами. Стык этих миров кровотоцит, герой разрывается между ними. Они оба необходимы и оба неизбежны. Он старается их любить, по крайности обойтись по справедливости. Любовь сцепляет мать и отца Бори и разрывает его сердце. Устами отца рассказчик снова исчерпывающе констатирует: «Выносить такое раздвоение никому не бывает легко. В душе образуется своего рода двумирье, а это тяжело. Но скажу тебе и другое. Стоять на рубеже двух стихий, понимая и неся в себе правду их обеих, понимая эту правду не умом только, а чем-то высшим, всем своим существом...»

Боря встречается с двумя упорядоченностями, с двумя своеобразными гармониями — и уже не может одну оставить, а другую отбросить. В обеих есть своя правда и своя нетерпимость к чужому, и каждая в отдельности узка для него. Для Бори нет чужого, все — родное. Он нигде до конца не свой, но все понимает и допускает (хотя непосредственные чувства порой и мешают всепониманию). Вот его специфическая и характерная для героя нашего времени трудность: нужен синтез, новая гармония. И взять ее негде, кроме как своим трудом, рукотворным созданием новой цельной и деятельной человеческой личности.

<...>

Задача для героя сформулирована: деятельный синтез, сочетающий возвышенную идейность с непосредственным человеколюбием. Повесть обрывается в тот момент, когда уже выяснены предпосылки и условия и нужно браться за дело. Придет ли ему черед? Станет ли оно таким, о котором сказано в эпиграфе из грустного и патетического Сервантеса ко второй повести: «Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги»?

ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН
Ярославль

«Новый мир», 1986, № 9.
ВЛАДИМИР КАНТОР. Два дома. Повести.
М., «Советский писатель», 1985. 200 стр.

Герой повестей В. Кантора — сначала мальчик, потом пятнадцатилетний юноша — живет и формируется как бы в двух взаимоотрицающих мирах — двух домах (отсюда и название книги). Дом бабушки Насти, где живут тесно, но без заумных метафизических проблем и интеллигентских комплексов, где заботятся не о «реализации призвания», а просто о заработке, где по праздникам поют под гармошку «Когда я на почте служил ямщиком...», где деликатес — это не апельсины, а селедка, где педагогика не отвергает столь простых и мудрых средств, как ремень... И дом бабушки Лиды, в котором почти нет вещей, зато много книг, в котором по вечерам спорят о смысле жизни, о вечности, небытии, цитируя Гёте, Шиллера, Канта; в котором требуют друг от друга «общественного горения», «духовных запросов», «осуществления себя в делах» и т.д.

Противоположность этих миров (материальность, приземленность одного и «духовность», интеллектуализм другого) в книге настойчиво (порой излишне настойчиво) подчеркивается. Но автор не превращает художественный текст в закодированный абстрактно-философский трактат. Оба дома предстают перед нами с впечатляющей достоверностью и красочностью. Характеры людей, их взаимоотношения, детали быта выписаны четко и убедительно.

Главная удача В. Кантора в том, что ему удалось тонко и точно воссоздать внутренний мир своего юного героя, раскрыть диалектику его души, измученной бесконечной войной между домами (он-то принадлежит и тому и другому). События детства и отрочества описываются в повестях ретроспективно, с позиций более поздней умудренности героя.

<...>

Повести В. Кантора восходят корнями к русской литературной традиции серьезного исследования детства (отрочества, юности) как, может быть, наиболее трудной, наиболее существенной фазы жизни человека — фазы формирования уникального духовного микрокосма.

Характерный для этой традиции взгляд на детство *изнутри*, обогащенный интеллектуальной культурой автора, позволяет понять, насколько же нелегко, а порой исполнен подлинного драматизма и болезненных противоречий этот «труд души» даже тогда, когда для постороннего взгляда ребенок — баловень судьбы, готовый беззаботно прыгать с утра до вечера.

Вот и герой повестей Боря таков. Если бы только две семьи вели сражение за обладание Бориной душой! Если бы лишь два непримиримых мира ему приходилось примирять! Нет, задача у героя намного сложнее. Его сознание, его психика оказываются на стыке еще целого ряда чуждых друг другу миров. С одной стороны, это обжитый мир семьи, родственников, соседей, с другой — совершенно не похожий на него сопредельный и запредельный мир улицы, школы, страны, человечества. Отнюдь не бесконфликтно соприкасаются мир прошлого (истории, традиции тонкой интеллигентской культуры) и мир бытовой повседневности с отношениями, далекими от книжных, литературных. А какая пропасть открывается вдруг между миром умопостигаемым с его холодными вечностью и бесконечностью, мучительным вопросом о смысле жизни и миром сиюминутным, теплым, дорогим в своих мелких деталях. Все это — через раздирающие противоречия, таящиеся в душе, между целомудренностью, поэтичностью и боязнию показаться «маленьким», не современным. Отсюда — бравада, напускная бывалость, внешний цинизм...

<...>

Есть в книге просчеты структурно-композиционного плана, встречаются языковые огрехи. Но в целом беллетристический дебют Владимира Кантора, автора ряда философских и литературоведческих работ, безусловно удачен. Повести, составившие книгу «Два дома», получились содержательными, со своим лицом.

Г. Петрова

3.

«Литературное обозрение», 1987, № 6.

Владимир КАНТОР

Два дома.

Повести. М., «Советский писатель», 1985

Наливное яблоко.

Рассказ. «Юность», 1986, № 7

Имя Владимира Кантора известно: он автор немалого числа статей по проблемам литературы, написал книги о русской эстетике второй половины XIX века и романе Достоевского «Братья Карамазовы». Однако как прозаик В. Кантор новичок, и его маленькая диалогия — повести «Два дома» и «Я другой» — литературный дебют.

Обе они построены в форме воспоминаний. Автор даже несколько нарочито подчеркивает временную дистанцию, которая пролегла между событиями повестей и рассказом о них. Все эти «я

помню» введены не для того, чтобы подчеркнуть автобиографичность повествования: прихотливость и избирательность человеческой памяти мотивируют отсутствие центрирующего сюжета, объединяющего все его линии.

О чем же эти повести? О мальчишке, а потом подростке, растущем в семье, где столкнулись две жизненные позиции. Мальчику тяжело переживает разлад, не в силах выбрать одну из жизненных правд — «бабушки Насти» или «бабушки Лиды». Впрочем, для героя это действительно сложно: он «понимает и несет в себе правду их обеих»: и простого, уютного, незамысловатого образа жизни бабушки Насти, и высокой холодноватой духовности бабушки Лиды.

Уж не лежит ли в подоплеке повествования, ограниченного точным местом (Москва) и временем (1955-й и 1960-й годы) философская притча об извечном конфликте между теплой поэзией простой и доброй души, не ведающей терзаний возмнившего разума, и горными высотами духа, не чувствующего житейской земной почвы? Если читатель поймет наметившуюся коллизию только так, он ошибется, хотя и будет прав, что не остановится на буквально-сюжетном содержании, которым столь часто и исчерпываются произведения, создаваемые в ностальгическом упоении воскресить давно унесенный временем мир детства.

У В. Кантора определенно есть способность в нескольких чертах воссоздать характер, передать атмосферу происходящего, вкус к точным деталям возрастной психологии. Однако не это является опознавательным знаком его прозы. Взгляд В.Кантора на семейный конфликт социально точен: антагонизм невестки (матери мальчика Бори Кузьмина) и свекрови (бабушки Лиды) отнюдь не «метафизического» происхождения (мол, «мама с бабушкой ссорятся по вековечному архетипу», — как говорит Боре отец). В глазах доктора наук и профессора Лидии Дмитриевны Обручевой жена сына унаследовала представления мещанской, бездуховной, неинтеллигентной среды. Справедливо ли это — другой вопрос, но корень непонимания и конфликта — в социальной психологии.

Интерес писателя Владимира Кантора к тем людям и тем событиям, которые он описывает, можно определить так: личность в поисках своего социального самоопределения. В. Кантор обращается к истокам — детству и отрочеству. Писатель напряженно вглядывается в тот момент жизни человека, едва вышедшего из «младенческого одиночества» (Бунин), когда постепенно в его кругозор входит Другой. В детстве — мать, отец, бабушка, в отрочестве — друзья и девочки. В замысле автора Боря Кузьмин минует три ступени приобщения к человеческому обществу — семья, дружба, влюбленность (правда, степень художественной разработки этого замысла

идет, к сожалению, по убывающей). Показывая мальчику разные типы социального бытия и социального поведения (уклады домов бабушек Насти и Лиды, семейства Кротовых), писатель хотел поставить его перед выбором. По-видимому, таким был замысел. В художественной реальности повестей эти модели оказались неравнозначными, потому что тот социальный тип, который олицетворяет собой Лидия Андреевна Обручева, оттеснил и подавил остальные (очень возможно, что он более всего и волновал автора).

А характер волевой и «прямошпинной» бабушки Лиды, что и говорить, неординарен, причем, как никакой другой, он отразил свое время. Еще гимназисткой она за свои политические убеждения год отсидела в тюрьме, потом эмиграция, учеба в Сорбонне, после революции — занятия наукой и, конечно, большая общественная деятельность, участие в строительстве нового общества. Стальная пружина, заключенная в этом социальном типе и придающая ему столь действенную силу, — сосредоточенность на высоких идеях, устремленность к надличным идеалам, моральный ригоризм. Для Лидии Андреевны нет ничего важнее в жизни «духовных запросов» и «общественного горения».

Видимо, многое в этом характере недоговорено — хотя суть его ясна, — но не забудем, что Обручеву мы видим глазами ее маленького внука. Вот только почему эта бескомпромиссная преданность общественным интересам столь необаятельна и совсем не вызывает душевных симпатий читателя? Не оттого ли, что она « всю свою жизнь жила книгами, газетами, постановлениями », и дух, вскормленный на такой пище, оскудел, отдалился от реальной живой жизни? Тем не менее ребенок, а затем подросток Боря Кузьмин испытывает к ней если не любовь, то уважение, и уж, во всяком случае, сильнее в нем чувство родства именно с бабушкой Лидой; говоря герценовским слогом, как раз здесь происходит рифма через поколение. Боря, мальчик робкого десятка, мечтатель, склонный к созерцанию, преодолевая свою природу, борется с самим собой, стремится жить общественными интересами, как его бабушка и отец. И если позже повзрослевший герой признается, что он с трудом может « выделить линию своей тогдашней душевной жизни, ее центральную идею », то писатель Владимир Кантор, как мне кажется, стержень ее почувствовал и постарался исследовать.

По первой книге трудно предсказать, как сложится дальнейшая литературная судьба писателя. Бесспорно одно: у Владимира Кантора есть свой угол зрения на действительность, свой круг волнующих его проблем, наконец, свой голос. А разве этого мало, чтобы от повествования, носящего автобиографический характер, — ситуация типичная для первой книги — обратиться к формам, в которых

лично пережитое войдет уже не прямо, а растворенным в многоликих образах жизни — знак зрелости.

В. МАСЛОВСКИЙ

4.

«Дружба народов», 1987, № 12.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Владимир Кантор. Два дома. Повести.

М., Изд-во «Советский писатель». 1985

Как узнаваемо все в этой книге: и уютные палисады, и ожидание в прохладном парадном, и бараки, и обязательный трамвай! Москва пятидесятых. Асфальт переулков упирается в огороды. И все живет единой жизнью. А посреди этой жизни мальчик Боря Кузьмин. Вот он — насупленный, в школьной форме давно забытого покроя — на обложке. Он центр семейного союза и центр семейных противоречий, но сам при этом как бы на «ничейной земле», так что справа — коммуналка бабушки Насти, «родовое гнездо» матери, а слева — квартира бабушки Лиды, «родовой замок» отца. «Обеим бабкам я вышла внучка» — этот эпиграф из Марины Цветаевой уже по прочтении первых страниц осмысливается как сердечная и грустная ирония.

Квартира у бабушки Лиды отдельная (в тогдашней Москве — редкость, но не предмет зависти). И сама бабушка Лида — доктор наук. А комната бабушки Насти на окраине, и сама она просто бабушка Настя. Правда, когда-то учительствовала в деревне, но это было довольно давно. Комната у нее теплая — дверь войлоком обита, и абажур над столом красный. А квартира у бабушки Лиды холодная. Всегда сквозняк. И мама говорит, что от этого мальчик такой слабый...

Противостоящие миры соединил собою этот ребенок. Мир «профессорский», неуютный и подчеркнуто строгий. И мир «простой» — бабушка Настя, Георгиевский еще кавалер дед Антон, их соседи — он теплее, интуитивнее, что ли, но у этого мира своя, не менее определенная философия, свое, глубоко скрытое высокомерие. И все вокруг Бориса Кузьмина построено так, что одна любовь противопоставляется другой, а то и просто стремится вытеснить другую. Каждый из двух миров сожалеет о том, что породился с другим. Каждый из двух миров ревностно оберегает свои традиции. Но в доме бабушки Насти (где тепло) — жизнь растительная. А в квартире бабушки Лиды (где сквозняк) — жизнь духовная. Это точка зрения бабушки Лиды. Мама воюет с нею, но живут они все именно у нее: тут есть где жить, и тут отец. И мама с бабушкой Лидой воюет! Из-за Бори, из-за мужа, Бориного отца: слишком преданный сын. Воюет в

конце концов за себя: мама и бабушка коллеги, биологи, по-разному смотрят на предмет науки, которая для каждой из них — дело жизни.

Вот так узел завязывается! Но мальчишка на обложке смотрит прямо перед собой. И вся его поза, и локоть, опущенный на угол старинной этажерки, и разведенные носки ботинок напоминают дагерротип гимназиста времен Гарина-Михайловского, чей педагогический эпос закономерно вспоминается при чтении повести В. Кантора. В основе обеих книг, разделенных столетием, одна проблема — воспитание российского интеллигента. Для героя Гарина-Михайловского формирование выдержки и трезвости воззрений и неперемненное общение с детьми улицы — традиционные условия демократического воспитания. От Бори Кузьмина выдержки и недетской объективности требует сама жизнь, водоворот родственных отношений. Ни одна его привязанность к людям близким не проявляется явно. Его любовь к матери и отцу лишена непосредственности, открытости. И все институты сознания подчиняет себе выросший еще в недрах ребяческого воображения взгляд со стороны, поглощающий мальчика настолько, что даже улица, этот храм вольности, не притягивает. Не по-детски систематический анализ пронизывает все вокруг. Все подвергается молчаливой оценке, и ничему как будто не отдается предпочтение. Самое поразительное в маленьком герое книги — сочетание совершенного механизма логики и удивительной затушеванности чувств. Ведь даже фактический финал первой повести — нервный срыв, происшедший у мальчика в результате родительской ссоры и положивший ей конец, — даже эту эмоцию автор пытается объяснить как поломку в механизме сознания, которое не в силах отдать предпочтение (отдать любовь!) одной из враждующих сторон.

Есть в повести «Два дома» эпизод, как бы «забегающий вперед»: разговор повзрослевшего уже Бориса с отцом. Подросток рассуждает о том, что ему трудно объединить в себе два родственных враждующих мира. Вот что отвечает отец: «Ты прав, разумеется. Выносить такое раздвоение никому не бывает легко... Но скажу тебе и другое... это в дальнейшем, может быть, как раз и обогатит тебя, именно духовно обогатит, хотя сам ты, может, и понимать не будешь, откуда твоя глубина».

С точки зрения отца, благодаря происходящему на судьбе сына лежит печать избранности: «Двумирье — это великое и тайное преимущество немногих избранных». И следом идет неотразимый пример — Гёте. Если добавить к этому, что, по мысли самого мальчика, его будущая стезя — писательство, пример, приведенный отцом, неотразим вдвойне.

О том, что Боря Кузьмин мечтает стать писателем и даже пробует свои силы на этом поприще, мы узнаем из следующей пове-

сти книги «Я другой». По своему пафосу, по авторской интонации новая повесть — прямое продолжение предыдущей. Лишь небольшой — около пяти лет — временной прочерк разделяет их.

...Забылся и исчез для читателя домик бабушки Насти. Двор «профессорского» дома укрывают разросшиеся тополя. И вообще на улице лето, а нашему герою пятнадцать лет!

Бабушка Лида постарела. Мама, по словам отца, теперь «настоящий ученый». Развитие биологии подтвердило ее правоту. Отец, все еще не порвавший с семьей, вопреки прогнозам друзей стал известным историком. А Боря сделался неуклюжим юношей, влюбленным в девочку Лену. Круг его чтения — Сервантес и Шекспир. Боре Кузьмину нравится демонстративное безразличие Меркуцио к смерти. А в «Дон Кихоте» юношу не привлекает борьба с «ветряными мельницами», столь популярная в этом чудесном возрасте. Не то что ему было неловко за героя, а просто не его это дело. Ни крайность мнений, ни открытая душевная страстность не искушают его натуру. Скорее всего, он уже сложился как личность, но еще не осознает этого. Примеры из юности отца — главный козырь в назиданиях бабушки Лиды (школьный активист, поэт, организатор) — не привлекают его. Вызывают некоторое смущение, но не привлекают. Похоже, он вообще не склонен к демонстративному подвижничеству, а за отсутствие «коллективизма» его журили еще там, в первой повести. Однако законы необходимого порядка и связанные с ним навыки лицемерия прочно закреплены в нем и, решив, скажем, прогулять уроки, он не убегает опрометчиво, а пытается испросить «официального» разрешения у директрисы под благовидным, но выдуманным предлогом. Попав впросак, он сперва теряется, но быстро спохватывается. Он выкручивается осмотрительно, не спеша, умело использует все выпавшие ему варианты защиты, и победа остается за ним. Впрочем, для нашего героя это никакая не победа, так, взято мелкое препятствие. Он очень выросл в этой житейской ситуации. И поступает безошибочно, почти автоматически просчитывая все «за» и «против». О, этот мальчик далеко не бесстрашен, но уже отнюдь не незащищен. Но сила его не столько в мышцах, сколько в особой автономии личности: он сам по себе.

<...>

Как же отцовские размышления о благодатной почве двумирья? Оно еще не готово осуществиться в потомке. Зато сам потомок незаметно утверждает в своем собственном, но удобном и достаточно просторном мире, где все дышит невозмутимой прочностью и даже первая любовь выглядит тщательно взвешенной и основательной привязанностью...

Но не нужно представлять эту книгу неким педагогическим трактатом, разыгранным «в лицах», ведь это, в сущности, и с по-

ведь. Декларируя перед сверстниками внушаемые ему идеальные этические установки, мальчик прежде всего убеждает себя в их несовершенстве. Вообще все шаги Бори Кузьмина направлены на то, чтобы столкнуться с действительностью всё то в окружающем, что желает отгородиться от грубости и антиэстетизма жизни. Годы семейной «гражданской войны» преподали ему навыки плавания в море житейском. Но ребенок, затворенный в этом самоуглубленном и осторожном подростковом, неизменно требует правды. Он защищен от приятия вульгарщины в любых ее формах, и в этом несомненная победа тех, кто стоял у истоков его личности.

Мир бабушки Насти — дед, соседи, если вспомнить сказанное Пришвиным про Обломова — суть великая русская лень; деятельность по Штольцу — движение ради движения — этой лени не к лицу, а для больших дел время не вышло. Мир бабушки Лиды в том виде, в каком внук застаёт его, временами раздражает ложным пафосом высоких и слишком общих установок. Но там, под оболочкой, ветер времени, драма деятельной личности, сильный и не реализованный дух, женщина, втайне желающая в конце концов просто быть женщиной-родоначальницей и оберегать тепло жизни. Вот почему образ Лидии Андреевны Обручевой вызывает не только доверие, но и сострадание. Похоже, нет его, этого искупительного двумирья: высокомерие одних, как и резкость других, родились не от противоречия, а от сомасштабности и потому взаимной притягательности столкнувшихся судеб. Вот почему в продуманной сквозняками и, казалось бы, шаткой постройке окончательного благоденствия вырастает к финалу книги плотный, хорошо укоренившийся росток, пока еще как будто бесформенный, но зато основательный и очень терпеливый в достижении цели потомок — будущий герой иного, своего, еще неведомого времени.

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

5.

«КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 18, 29 апреля 1988 г.

*Семь лет из жизни Писателя,
или Тернистый путь
в формальное объединение
(Запрещенный прием)*

...Когда вы прослушаете всю историю, вы скажете, конечно, что у нее должен быть счастливый конец. Вот тут-то я и удивлю вас: конец как раз несчастный.

Когда история, которую я сейчас, наконец, начну, закончится, вы, если не заскучаете, перечитаете все мои вступительные отвлеченности и, может быть, увидите их моими глазами, то есть воспримете как необходимые повествованию...

<...>

Итак, семь лет назад Писатель, находясь в зрелом возрасте (до сорока было тогда еще далековато, но не близко и от тридцати), почувствовал, что он вправе подать документы для вступления в Союз писателей.

<...>

Три человека, известные в среде тех, кто профессионально занимается литературой, и равно известные среди квалифицированных читателей и высоким профессионализмом и благородной репутацией, — три члена писательского объединения, три Писателя дали своему коллеге по цеху, своему товарищу рекомендации. И началась процедура приема Писателя в члены объединения. Точнее, конечно, было бы сказать иначе: началась процедура приема Писателя в Союз писателей.

<...>

Итак, началась процедура приема. Но нет, мне опять придется отвлечься. Надо же все-таки рассказать, что за Писатель. С чего начать? С прозы, философских, литературоведческих или критических работ? С книг, вышедших несколько лет назад, с совсем недавней книги, с самой последней публикации?

Журнал «Вопросы литературы» представляет Писателя так: критик, литературовед, кандидат философских наук. Автор книг «Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба», «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского» и статей по проблемам русской культуры XIX века и современной литературы. Это ровно два года назад, в связи с публикацией «Безыдеальная эстетика (Литературно-эстетические взгляды и судьба А.М. Скабичевского)». Те, кто не без оснований считает себя любителем российской словесности, эту публикацию, конечно, не пропустили. Потому что отнюдь не богата литература об одном из самых знаменитых писателей прошлого века, о человеке, в течение пятидесяти лет влиявшем на умы современников. Исследование Писателя, опубликованное в мартовском номере «Вопросов литературы» 1986 г., можно считать главой в истории русской литературы.

Другой главой в этой истории должна бы стать работа из майского номера «Вопросов философии» 1985 г. «Эстетика жизни (Споры вокруг второго — 1865 г. издания “Эстетических отношений искусства к действительности”»).

Осмелюсь утверждать, что так в нашем литературоведении о Чернышевском прежде не писал еще никто. В той работе, о которой

сейчас идет речь, Писатель объясняет, в чем особенность его подхода к эстетической теории Чернышевского: эту теорию он, Писатель, рассматривает в контексте тем и проблем, поставленных русской художественной культурой, на фоне символических образов, в которых литература тех лет выражала свое понимание действительности.

Этот системный подход к теме, исследование великой диссертации как части системы — «в контексте» и «на фоне» — позволили Писателю сделать самые оригинальные наблюдения.

Слово и сама жизнь Николая Гавриловича Чернышевского — не просто достояние, а, по мнению Писателя, одно из высших проявлений русской культуры, из статьи «Эстетика жизни» встают как насущно, жизненно необходимые современности, сегодняшнему развитию мысли... Вот каков бывает результат талантливого и компетентного чтения, развитой и глубокой мысли, воспитанных чувств, умного письма.

О последнем романе Ф. Достоевского, о «Братьях Карамазовых», Писатель создал довольно значительную по объему главу в ту самую Историю русской литературы, которая нарисовалась в моем воображении (это будет злободневнейшая книга, написанная на уровне предмета исследования; она будет интересна, как сама русская литература; она будет так же насущно необходима современности, как сама русская литература; мы будем зачитываться ею, как лучшими русскими книгами; она будет написана с той же глубиной и обстоятельностью знания, так же вольно, дерзко и смело, как те главы, о которых я говорила, не успела сказать, еще скажу чуть позже, — она будет написана так, как умеет только этот Писатель).

«Художественная литература» выпустила книгу о «Братьях Карамазовых» в серии «Массовая историко-литературная библиотека». Писатель не спеша подводит читателя к роману, рассказывая историю его создания, затем вместе с читателем входит в роман, как в дом, помогает в нем обжиться... Что есть братство? Какие решения «предвечных» и «проклятых» вопросов предлагает стране русская интеллигенция? Народный идеал — это осуществленная реальность или социально-психологическая возможность, некая ориентация народного сознания? И что это за способность к самоосуждению, которая проявляется на Руси с такой беспощадно-страшной силой? И кто он, безымянный повествователь в романе, каково его соотношение с самим Достоевским? Что такое карамазовская стийность? Не проявление ли это в России «донравственного, дохристианского, природно-языческого начала, того, без всяких нравственных ограничений поведения, которое, на взгляд писателя, было тесно связано с крепостным правом»? И что это за загадочные, завораживающие слова: «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее»?

И каковы бывают мучения одинокого ума, и что такое вообще одиночество, и когда в человеческой жизни наступают высшие миги...

Над такими-то вопросами бьется книга.

А совсем недавно в издательстве «Искусство» вышел в серии «История эстетики в памятниках и документах» сборник «А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры». Составление, вступительная статья и комментарии — Писателя. Книгочеи знают, какая это серьезная серия. А те, кому удалось купить книгу, о которой я говорю, может быть, уже успели насладиться и вступительной статьей (очередная глава в Историю русской литературы!), восхитились примечаниями. «Лучшее лекарство против стагнации, а издается и продается вглухую, втихую», — замечает Писатель в статье «Имя рокковое. Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская культура», опубликованной в «Вопросах литературы» за март нынешнего года.

Статья Писателя о Чаадаеве — очередная глава в его будущую историю — блистательна. Это страстный монолог о выстоявшем человеке, это Слово о слове, оставившем след в нашем сознании — будто алмазом по стеклу.

Я могла бы долго еще говорить про статьи и книги Писателя о Литературе, о развитии мысли — и буду говорить, но не сейчас. Мы и так уже слишком далеко от сюжета: «Началась процедура приема Писателя в Союз писателей». А надо хоть несколько слов сказать о его романе. Он вышел в 1985 г. в издательстве «Советский писатель», называется «Два дома», состоит из двух повестей. Московский мальчик в этом романе становится отроком, потом юношей. Но это совсем не о послевоенном детстве книга, как может показаться на холодный и поверхностный взгляд. Хотя приметы быта, нравы, сам воздух жизни в ней точны, безошибочны, безупречно реальны...

Я не доверяю людям, забывшим, какая трудная пора — детство, отрочество. Людям, которые легко говорят «счастливое детство» и предаются воспоминаниям под девизом «что пройдет, то будет мило». Эти люди создали бесчисленное число книг, из которых следует, что в послевоенном детстве у них был тяжелый, насыщенный быт, но очень много чистоты, радости, счастья. Я когда-то очень давно, просто страшно сказать, как давно, поклялась себе не забыть, как трудно жить в детстве, — и держу клятву. Не забываю, как часто и горько плачешь, как тебя обижают и унижают, как все тебя учат и все тебе приказывают, как ты ни на что не можешь повлиять, ничего не можешь одолеть, победить. «Несправедливо, несправедливо, неправда, больно, перестаньте, не хочу», — кричит наш ребенок. Но мы ведь все всегда знаем лучше него, за него... И этому нет и не будет никогда конца.

Так хочется вырасти, наконец. Вырасти — но тянется, тянется время. И ты не так все делаешь, ты не такой, как все, ты хуже всех.

Все могут, умеют, все ловкие, все красивые, все сильные... А ты маешься, маешься, маешься. И думаешь, думаешь, думаешь... Каким быть? Взрослые учат всегда говорить правду, но они ведь не выносят и не хотят прощать то, что детям представляется правдой. И как высказать, какими словами сказать, как одолеть немоту и найти слова, чтобы тебя поняли, чтобы ты сам себя понял? Два таких разных человека родили тебя на свет. Ты — их, они оба — твои. Но как одному воплотить в себе два дома, два уклада, два характера, сколько уйдет на это сил и откуда они возьмутся...

Взросление человека идет под знаком жажды освобождения. Вырасту — свободен. Видимо, взросление, формирование, строительство человека похоже на взросление и самостроительство целого человеческого сообщества. И тот же знак: буду, буду свободно.

Расти, понимать, додумываться, учиться, быть «как все», оставаясь собой, осознавать, каким ты себя строишь, как надо строить, видеть свои пределы, с самим собой, таким, а не иным мириться, себя ломать, терзать, казнить, чтобы себя же и изменить, решаться чувствовать, что нет тебе пределов, ударяться о стены, без конца ошибаться — вот труд...

И об этом книга. Ее легко читать, но простота обманчива: в книге много ума и чувства, и много мыслей, по которым не надо бы скользить глазами.

По мыслям, по хорошим, честно написанным строчкам вообще никогда не надо бы скользить.

И, видимо, в Союзе писателей все думают так же. Поэтому прошло больше трех лет со дня, когда Писатель подал свои документы, прежде чем первая приемная инстанция сказала: да, он достоин стать членом нашего Союза.

Потом прошло еще три года. Срок оказался достаточным, чтобы вторая инстанция, видимо, тщательнейшим образом изучив все произведения писателя, подтвердила: да, в самом деле, достоин.

Третья инстанция управилась за полгода. И это понятно: здесь, наверное, заседают писатели третьего, высшего по отношению к первым двум инстанциям разряда, читают быстрее, понимают прочитанное лучше. Да, сказала третья, высокая инстанция. Три рекомендателя были абсолютно правы. Достоин.

Не расслабляйтесь, читатель. Высшая, четвертая инстанция, собравшаяся еще через полгода, в которой заседают самые-распресамые лучшие писатели — секретариат Союза писателей РСФСР, — все внимательно перечитала, все изучила и заявила: ничего подобного, не достоин. Ошиблись дававшие рекомендации. Ошиблась целая секция московских критиков. Ошиблась приемная комиссия Московского отделения Союза писателей. И секретариат

правления Московской писательской организации тоже ошибся. В наш Союз писателей мы вашего Писателя не примем.

Фарс, вы скажете. Отвратительная пьеса. Фарс самый неудачный. Тем более, если вы сами литератор, знаете это дело, вам, конечно, покажется, что именно Союз писателей России должен был бы протянуть руку Писателю, так великолепно занимающемуся именно русской литературой, русской эстетикой, русской философией и культурой, Писателю, пишущему такую хорошую прозу. Ведь такие-то люди разве не больше нужны Союзу, чем Союз им? Ведь такие-то люди и вне Союза хуже писать, хуже работать не будут. А Союз без таких людей благодаря кому же собирается наращивать свой авторитет и силу?

Да и вот, тем более, что вы сами литератор, скажите, а вы хоть на секунду поверили мне, что в течение этих семи лет кто-нибудь из голосовавших хоть что-то у Писателя читал? Я уж не говорю «изучал» — читал хоть строку?

Нет, все это фарс. Да и фарс самый неудачный...

<...>

В этой статье речь шла о Владимире Канторе.

Его рекомендовали в Союз писателей Сергей Бочаров, Игорь Виноградов и Лазарь Лазарев.

Суть дела изложила

Татьяна ИВАНОВА

Спустя годы могу еще раз сказать спасибо Татьяне Ильиничне. В Союз меня приняли. Но, как она и предсказывала мне, я там не прижился.

Все-таки писателем можно быть только в одиночку.
1999, июль.

P.S. Хотя за книгу прозы «Два дома и окрестности» много позже я стал лауреатом шестой артиады народов России (2001) в номинации «Литература, лига мастеров, гильдия профессионалов» за книгу прозы «Два дома и окрестности» (М., 2000).

P.P.S. Но жизнь без печатания прозы продолжалась, да, строго говоря, и сейчас продолжается. Дома я печалился Марине, моей жене, дочка выростала в испарениях этих разговоров. Когда она стала писать свои гениальные рассказы, она охватила и этот сюжет. Не могу не привести ее рассказ.

Мария КИСЕЛЕВА
Великий писатель
Рассказ

Он был писателем. Хорошим писателем. Никто не мог так точно, как он, передать ощущение, чувство, состояние человека в этом мире, так точно подобрать краски, разрисовать белый лист бумаги, чтобы на нем появилась завершенная картина.

Однако его никто не понимал. Все написанное им почти никем не читалось, не только потому, что печаталось крайне редко, но и потому, что даже уже напечатанное молча лежало на прилавке какого-то магазина, никем не покупаемое, или на складе в издательстве.

Непризнанный, нагруженный сумками, он шел по мокрым улицам Москвы, думая, где бы достать деньги жене на пальто, а дочке на занятия с репетитором английского языка. Шел мимо книжного магазина, где лежали его книги. Он зашел: «Хоть бы их там уже не было!..» Ан нет! Книги лежали... Все. Столько же... «Не брали?» — уточнил он у продавца. Девушка отрицательно покачала головой, не проронив ни слова. «Ну и черт с ним, — подумал автор и вышел. — Вечность еще впереди, она рассудит».

Когда писатель умер, вечность рассудила все просто. Не было ни всеобщей славы, ни всеобщего признания, ни введения в курс школьной и университетской программы. Не было вообще ничего. Дело в том, что мир пришел к своему логическому завершению. Не было больше никого, в том числе и тех потомков, которые, как считал автор, должны были открыть, прочитать, оценить. Мир ушел в небытие.

Но не так все грустно, как кажется. Великого писателя читала и понимала его жена. Счастье и радость доставляли ей его рассказы и повести. Она знала, что ее муж — гений, и ей было все равно, знают или нет об этом другие. А он знал, что жена знала. И разве этого не достаточно?..

А еще — они очень любили друг друга. Так что вечность пусть сама оправдывается — перед Богом или перед кем там у них принято.

Лето 2004

На этом шедевре и закончу главу.

27. Под постоянным присмотром, или Предсказание на долгие времена

Новогоднее гадание

Странно, но, как в старинных романах, все началось с новогоднего гадания. Точнее, начали в Новый год вертеть блюдце. Никто из гостей не занимался этим профессионально, хозяйева, т.е. мы с первой моей женой, тем более. Выпили уже немало, под гитару попели, в буриме поиграли, но спать еще не хотелось. Домой ехать гостям было далеко, спальные места, — на кухне, на полу, на двух диванах — уже были распределены, но спать никто не ложился. Чья была идея — вертеть блюдце и пытаться судьбу — категорически не помню. Кое-как из обрывков сведений нашли нужные компоненты, написали алфавит на краях блюдца, расчистили стол, зажгли свечи, поставили нечто вроде пограничного столбика, который должен был отмечать буквы. Первым загадал ревнивый муж, задав прямой вопрос: «Как зовут любовника моей жены?» «Дух не поймет, — возразил кто-то. — Надо имя женщины назвать». Все неуверенно хмыкнули. «Хорошо, — согласился муж, — как зовут любовника Катерины?» И вдруг блюдце медленно начало вращаться. Руки играющих лежали на столе. «Следите кто-нибудь за столбиком, который буквы фиксирует!» — крикнул муж. Пашка Гутт, художник, мастер по литью, общий приятель, к любовным шашням собравшихся отношения не имевший, недавно разведшийся, но сохранивший все же нормальное отношение к женщинам, хотя жена ему сначала изменила, а потом и оставила, сказал: «Ладно, я буду». Красавица-блондинка пышная Катька, уже заметно беременная, крикнула: «Пусть Паша, я ему доверяю». Похоже, что она все же нервничала. И тот принялся складывать: «Эс, е, эм, е, эн. Вроде все». Все переглянулись, не понимая. «Ну и что за глупость получилась?» — спросила Катька. Квадратный, широкоплечий Семен-журналист воскликнул: «Да ну, давайте еще попоем. Я еще свою любимую не пел!» И затанул тогдашний шлягер: «Писисма...», не произнося мягких звуков. Муж посмотрел на Катерину, но ничего не сказал. Моя сообразительная свояченица сказала:

«Как-то неправильно мы придумали. Нужно духу исторические вопросы задавать. Например, кто величайший полководец в русско-французских войнах пушкинского периода?» И блюдо вдруг снова закрутилось. Честно говоря, все, не шибко патриотически настроенные, ждали ответа «Наполеон». Но буквы пошли другие. Павел произносил их вслух: «Бе, а, ре, ка, эл, а, и краткое. Чего-то у меня не складывается». Немного знавший о Наполеоновских войнах, я твердо прочитал слово духа блюда: «Барклай. Единственный, кто и вправду разбил Наполеона в Битве народов». Оказывается, о Барклае никто и не думал. Тут же вспыхнул застарелый, как древний нарыв, спор, не было ли оставление Москвы Кутузовым его величайшей победой над французским полководцем?..

Малость побазлав, решили перейти к современной политике. Изрядно поддатые, спорили о том, как точно построить вопрос. Наконец, выработали общий вопрос: «Кто будет править нашей страной в ближайшие годы?» И блюдо закрутилось. Пашка шевелил губами, тихо произнося буквы, решив, видимо, не путать друзей. Но, крутанувшись всего ничего, блюдо остановилось. «Ничего не понимаю, — сказал Гутт, — всего три согласные. Так не бывает. Давай еще раз». Все почему-то ждали фамилию Громыко и согласились на повтор. Но блюдо упорно называло три согласные буквы. «Да ты произнеси их вслух», — потребовал муж-рогоносец, желавший всюду правды. Блюде снова задвигалось, а Гутт повторял буквы: «Ка, гэ, бэ. Ну и что?» И вдруг заорал: «КГБ, что ли?!» Мы замерли. И тогда самый вдумчивый и рассудительный, будущий доктор искусствоведения и профессор Мишка Алленов, сказал, немного растягивая слова: «Но этого не может быть. Не может быть по определению. Во-первых, мы просили имя, во-вторых, организация не может править, она должна быть персонифицирована». Я не удержался, чтобы не встрять: «А партия?» Мишка был хорошим спорщиком: «Там всегда были вожди. И Ленин, и Сталин, и Хрущёв, и Брежнев... А КГБ — нечто неопределенное, да и страшновато звучит». Надо сказать, что никому из нас с органами напрямую сталкиваться не приходилось, хотя весь тамиздат — от «Архипелага ГУЛАГ», «Круга Первого», «Колымских рассказов» до «Крутого маршрута» — был читан и перечитан. Даже решили, что Евгения Гинзбург лучше Аксёнова, что Аксёнов может гордиться своей матерью. Такая уж была в те годы советская интеллигенция.

Появление американца

В следующем году на смену Брежневу пришел председатель Комитета госбезопасности Андропов. Он стал Генеральным секретарем

партии. Сразу ничего не изменилось. Хотя пошли разговоры, что Андропов хочет избавить страну от фальшивых речей, что на вопрос помощников, к каким идеям им надо на новом этапе обращаться, он завел их в свою библиотеку за кабинетом, показал стеллажи, уставленные собранием сочинений Ленина, и сказал: «Здесь все написано. Мне к этому нечего добавить». Это должно было означать скромность нового властителя. Разумеется, о гадании мы помнили, но все говорили, что в отличие от КПСС КГБ знает реальное положение в стране. И это хорошо. Говорили, что Андропов приказал устраивать чекистские рейды по ресторанам и саунам, отлавливая там чиновников, развлекающихся в рабочее время. Это тоже как бы хорошо говорило о новом начальнике.

Но интеллигентская кухонная жизнь продолжалась своим чередом. Гости, пьянки, песни. Как-то подруга жены Таня Никольская, вышедшая замуж за польского астрофизика Ромку Юшкевича, пришла в гости с мужем и его американским коллегой Тони Рутманом. Пришедшие принесли хорошую заморскую выпивку типа виски и джина. И пошел сумбурный как всегда разговор, говорили на гуманитарные темы, поскольку астрофизика была для нас с женой абсолютной черной дырой. Татьяна, конечно, сказала, что я давно пишу прозу, но что меня пока не печатают.

Тони тут же сказал, что он тоже пишет прозу, фантастику, в духе Роберта Шекли. Но тоже еще не печатал. Как я понимал, у нас были разные причины непечатания. Тони сказал, что ему приходилось помогать русским друзьям. Он даже фиктивно женился на одной русской девушке, чтобы она могла в Америку уехать. Его же бабушка и дедушка уехали в США из Одессы. «О чем пишешь?» — спросил Тони. Говорил хорошо, но акцент был очевидный.

Я только что (1983) закончил роман-сказку на 14 п.л., вполне приключенческую, в итоге получившую название «Победитель крыс» (по совету младшего брата). А вначале называлась «Болезнь и выздоровление» — о том, как заболевшему мальчику по имени Борис (так во многих моих ранних повестях звался мой alter ego) в бреду чудится крысиное царство, с которым он вступает в борьбу. Выздоровление сопряжено было с победой. Победив в сказочном мире крысиное царство, он выздоравливает в реальном мире. Тони, мгновенно, видимо, просчитав, как книгу можно подать на Западе, предложил мне передать рукопись, а он ее переправит на Запад, где она с гарантией будет опубликована. Я твердо отказался, чем немало его удивил.

Хотя ни одно советское издательство роман не брало. А во внутренней рецензии в издательстве «Молодая гвардия» известный создатель фантастических сказок про девочку Алису Кир Булычѳ начал свой текст так: «По моему объективному мнению...» Так вот, по его

объективному мнению, роман был написан автором для диссидентских друзей, чтобы читать его перед камином за бутылкой джина таким же, как он, врагам советской власти. Странное у него было представление о наших полунищих квартирах, где о каминах даже никто не думал. После такого отзыва редактор издательства попросил меня срочно забрать рукопись: мало ли что! Потом я отправил роман на конкурс в странной неопытности, что, как в сказках, выигрывает лучший, а не знакомый. Долго в это верил. Чтобы открыть незнакомое имя, надо иметь смелость мысли. А где она? Я помню, как в «Дружбе народов» два моих рассказа, уже прошедших все инстанции (так что редаппарат меня уже поздравлял) были остановлены и возвращены автору (то есть мне) на последней инстанции. Это было сделано аккуратным маленьким тихо и ласково полуулыбающимся армянином Тер-Акопяном, кажется, заместителем главного редактора. У него было два соображения, что, во-первых, он совсем меня не знает, а во-вторых, пишу я про интеллигенцию, и он не понимает, зачем я все это пишу. Никому не интересный предмет. И ведь ни одного моего текста не пропустил, хотя раз пять отдел прозы подавал мои тексты, написала на мои рассказы хвалебную рецензию А.С. Берзер. Но Тер-Акопян был тверд, как сухие армянские горы, где давно не было дождей.

Почему не хотел публикации на Западе? Нисколько не осуждая тех, кто печатался в другой стране — от Декарта и Спинозы до Гроссмана и Солженицына. У них были, как им казалось, сверхидеи, которые могут изменить мир. Мир я менять не хотел, понимая, что от моего слова, как и от слова вышеназванных, это не зависит. Разговор же о человеческой судьбе не является интересом разных разведок. Потому что писал не для спецслужб — наших и тамошних. Мои тексты были текстами — не советскими и не антисоветскими. Они ни на кого не были рассчитаны, и я не хотел, чтобы их понимали и принимали не по моей программе. Это были рассказы о жизни, достаточно острые, чтобы их не печатали здесь, но никогда сознательно политически не заостренные. Просто в режиме, конгруэнтном тоталитарному, всякая независимость воспринимается как «вражеская вылазка». Но мир в XX в. был уже устроен так, что не ангажированная литература, попав в другую систему, поневоле начинала казаться ангажированной. Назвать это сознательным аутсайдерством? Возможно. Во всяком случае, когда кончилось прямое противостояние людодерству и людоедству (тогда выбор был очевиден), принимать чью-либо сторону казалось мелким и неприличным, а результат такого выбора — скоропортящимся продуктом. Все же чувство независимости и собственного достоинства хоть и усложняет жизнь, позволяет быть верным себе. И других грехов хватает — отношения с женщинами, друзьями, детьми...

Об этих грехах и писал. Но ГБ недаром назывались внутренними органами, они лезли туда, где их быть не должно было. Лезли в частную жизнь, выталкивая законопослушных людей в оппозицию. А поскольку судьба человека складывается на пересечении разных линий, в том числе исторических и современных властных, писатель не может их не касаться. Впрочем, даже описания природы, в которую сбежали Пришвин и Паустовский, при желании можно было воспринять как антисоветский выпад. Ходил в те времена анекдот: почему опасны неуправляемые ассоциации? А что это такое? Ну, к примеру, смотрите вы на красивый пейзаж, а сами думаете: «А начальство-то наше говно». Похоже, что моя проза шла по схеме неуправляемых ассоциаций.

Вначале под шумок завершения перестройки сказку «Победитель крыс» напечатали тиражом 225 000 экземпляров. Взялось за это издательство им. Сабашниковых. Женой издателя была моя однокурсница Лариса Заковоротная. Но тут случился ГКЧП. И типографы с перепугу остановили тираж. Я был невероятно расстроен, решив, что роман так никогда и не выйдет. Но дня через три ГКЧП вдруг лопнул, типографы быстро справились с книгой, припечатав лично для себя лишних 200 экз. Тираж пошел в продажу под припев продавцов книжных ларьков: «Книга о трудном детстве и победе Бориса Ельцина!» А потом крысы словно испугались. Они ведь продолжали править миром, пусть и в измененных обличьях. И хотя роман разошелся в разных интернетных системах — Word. PDF. FB2, о нем пишут в И-нете, издательства переиздавать книгу отказываются.

Американцы и литература

Но я изрядно забежал вперед. Тони я ответил, что в издательстве «Советский писатель» уже четыре года лежит книга двух моих повестей, что всю редакторскую правку я прошел. А срок издания обычно три года, так что вот-вот книга и выйдет. Не стал только говорить, что там за меня просил писатель и друг отца Николай Семенович Евдокимов, который, конечно, как я полагал, дал мне шанс, направив рукопись в издательство.

«Как хочешь», — ответил дружелюбно Тони. Он начал приходить в гости, заранее звоня из телефона-автомата. Это то, что ГБ не фиксировало. Как-то привел пару друзей-астрофизиков — высокого полного брюнета Грегора и молоденькую необыкновенно хорошенькую финку Тину с синими глазами, белыми волосами, высокой грудью, очень ладную при невысоком росте, короче, такую хорошенькую, какими бывают только юные красавицы-фин-

ки. Правда, девушка было тоже уже американка. Как-то в жизни людей быстро происходила эта американизация. Похоже, что Тина очень нравилась Тони, он пытался за ней ухаживать, но она явно предпочитала высокого Грегора, а не рыжеватого интеллектуала Тони. Прижималась своей нежной грудью к спине высокого брюнета, заглядывая ему через плечо, когда он что-то писал. А Тони отворачивался в такие моменты.

Говорили о величии астрофизики, хором рассказывали о великом Хокинге, парализованном астрофизике, которого называли современным Эйнштейном, которого помощник-индус возит на каталке, переводит его слова и все его высказывания — гениальный. Они показывали фото человека, который у нас дальше школы для слабоумных не пошел бы. И все же снова заговорили о литературе, о том, что наша система противоречит свободному развитию творчества. «Вот тебе мешает писать ваша система?» — допытывался у меня высокий Грегор. Мне очень хотелось сделать гостю приятное и сказать, что мешает. Но я не мог понять, как мне кто-то, кроме близких да работы, которой приходилось отдавать время (хотя она порой и сюжеты подбрасывала), может помешать сидеть за машинкой и писать свою прозу, сколько влезет. Мешало только то, что совсем не всегда получалось, что я хотел, а иногда и вовсе не получалось, и тогда я надолго откладывал в стол недописанное. «Да нет, не мешает», — смущенно ответил я, а они посмотрели на меня не то с сожалением, как на приспособленца, не то как на недоумка. Тони, который уже со мной подружился, постарался мне помочь: «Но ведь тебя не печатают!» «Да, — обрадовался я, хотя чему тут было радоваться. — Не печатают!». Они переглянулись. «Может, мы тебе можем помочь?»

Я абсолютная случайность. Меня не должно было быть. Меня в принципе должны были выкинуть в помойную яму, а я стал профессором. Им это было не понять.

И я отрицательно покачал головой. И все же потом многое поворотилось и как? Почему вдруг их явление сыграло некую роль? Началось с какого-то пустяка. Они позвонили нам из своего отеля и пригласили в «Арагви». Я возразил, что мы в рестораны не ходим, зарплату на это не хватает. Но Грегор важно сказал, выделив это слово: «Мы вас **приглашаем**». Я не понял и повторил слова о недостатке денег, предложив лучше у нас дома. Грегор важно пояснил не очень цивилизованному русскому, что раз они приглашают, то берут расходы на себя. Что-то нас с женой тогда смутило, только мы не поняли, что именно. За соседним с нами столиком сидели очень элегантно одетые три парня кавказского типа. Потом вдруг они послали на наш столик бутылку коньяку, потом подсели сами.

Заговорили о литературе, о том, что писатель должен смело писать, что думает. Я говорил, что настоящий писатель всегда так пишет. О чем дальше шел разговор, я не помню, меня изрядно повело с коньяка, мы чаще водку пили. Тони как-то вдруг скучился, обычно оживленный, он стал молчать, отвечать односложно. А потом вдруг встал и сказал, что пора расплачиваться, подозвал официанта и отдал деньги. Я почему-то подумал, что он подсчитал и понял, что слишком много денег им приходится платить. Его американские друзья смотрели с удивлением, но не возражали. Кавказские ребята уговаривали еще посидеть. Мы с женой как приглашенные (а потому не платящие), разумеется, сразу поднялись. Уже гораздо позже я сообразил, что Тони уже имел мелкий опыт с подсаживающимися к столику милыми ребятами.

Как бы милиция

Хотя, как выяснилось полгода спустя, наивности у него было гораздо больше, чем опытности. Правда, за эти полгода неожиданный опыт стали приобретать мы. Вначале мы вдруг заметили, что у нашего подъезда бесконечно дежурит милицейская машина. Надо, быть может, сказать, что это был дом, где жила профессура Тимирязевской сельскохозяйственной академии, где мой дед работал заведующим кафедрой геологии, пока его не посадили. Причем все это было в прошлом. Так что машине не придали никакого значения. Примерно месяц никакого значения не придавали. До следующего эпизода. Был уже конец мая, настроение весеннее, хорошее. Я вошел в подъезд, свой подъезд. Красностуденческий проезд, дом 15, кв. 5. И принялся подниматься на свой третий этаж. На площадке второго этажа, немного посторонившись, меня миновали два милиционера в полной форме, даже с портупьями. И один другому, продолжая разговор, бросил: «Нет, в пятой квартире никого нет. Я там долго простоял. Ни звука». Он говорил о моей квартире, но я не решился их остановить и спросить. Они спустились, хлопнула дверь подъезда, а я открыл свою квартиру. Никаких изменений.

Мы очень странно представляли себе и существующую действительность и историю. Мы воспитывались на Пушкине, Лермонтове, Чехове, мы знали, что иного выхода из Первой мировой войны, кроме Октябрьской революции, быть не могло. Да-да, был мрак самодержавия. А потом? Песня: «Вышли из мрака железные ленинцы, мир за собой повели...» Иначе страна пропала бы. Мы знали, что потом был сталинизм, но до этого были храбрые комиссары 20-х годов, которые не щадили своей жизни ради идеи и ради на-

рода, был Олеко Дундич, был Чапаев, были партизанские отряды, воевавшие в Сибири против японцев, был Лазо, который «бился в тесной печурке», был железный поток, рожденные бурей, орлята, сотня юных бойцов из буденновских войск. Ну и комсомольцы, которые уходили на Гражданскую войну, причем ему был дан приказ на Запад, ей в другую сторону. Неужели все это зря было? Летели тачанки и кони храпели, и гордые песни казнимые пели, — писал Коржавин. Неужели зря? Неужели история каждый раз обманывает людей? Что же искать? То, что нравственно? Защита близких, ненависть к предательству, свобода Родины. Но ведь об этом и официоз твердил. А за официозом был еще при Ленине Холмогорский лагерь смерти, потом Беломорско-Балтийский канал, казни писателей и поэтов, Колыма, украинский голодомор... Книги Солженицына, Шаламова, Гинзбург, Надежды Мандельштам, «Реквием» Ахматовой... Мы знали о злодеяниях гэбэшников, но почему-то перестали их бояться. Что-то перегорело в общественном сознании. Произошла явная поляризация, появилось много людей, которые не то чтобы боролись с этой системой, просто не хотели с ней дружить, старались жить помимо. Когда в 1992 г., уже будучи женат вторым браком, я очутился в Германии, получив стипендию фонда Генриха Бёлля, я подарил свою вторую книгу прозы «Историческая справка» Льву Копелеву. Копелев как раз дал добро на эту стипендию. И он, прочитав мою прозу, говорил сотруднику: «Ich mag, wie er schreibt», а мне сказал: «Мне нравится ваш слог. Но мы каждой строчкой боролись с Советской властью, а вы пишете так, будто ее нет!». Строго говоря, для моего поколения, моего круга ее и не было. Ни для меня, ни для обеих моих жен. Или, точнее, была, как погода, за которой все же надо следить.

Поэтому ни жена, ни я не испугались. Даже некий азарт пронёсся, как в детской игре в казаки-разбойники. Только было непонятно, кто казаки, а кто разбойники. Самое ужасное, что казалось, что никто. Просто адреналину добавлялось. Я иду к автобусу, по нашей боковой улочке за мной едет милицейская машина. Так повторяется не раз. Как-то я спросил, почему мне такая честь, что милиция провожает меня от дома до автобуса. «А вы знаете, — сказал один из двух, — в наших переулках хулиганья много. Всякое может случиться. А ведь наша задача беречь покой советских граждан. Вы ведь советский гражданин?» Я согласился: «А кто же еще?» Он мне улыбнулся: «Ну вот видите!..»

Самое забавное, для меня, во всяком случае, произошло в начале лета 1984 г., когда мы с моей первой женой собирались на дачу. Я вышел из дому в джинсах, рубашке навыпуск, с холщевой сумкой через плечо. И шел от дома к трамвайной остановке. И вдруг

на этой узенькой тропке передо мной возник высокий и широкоплечий милиционер, поднял руку и сказал вежливо: «У меня к вам вопрос. Вы здесь проживаете?» Я ответил: «Да». «И прописаны здесь?» «Да». «А вы могли бы паспорт предъявить?» Самое удивительное, что паспорт у меня был с собой, никогда постоянно не носил, а тут шел в какую-то официальную контору и взял с собой. «Пожалуйста», — и с чувством идиотической гордости я протянул свою «краснокожую паспортину». Мент внимательно пролистал документ, потом козырнул и вернул его мне, добавив: «А может, и впрямь вам лучше уехать в свою Америку, чтобы к вам никто не приставал». Я передернул плечами: «Америка вовсе не моя». Мент ответил: «Ну как знаете. Сердечно советую». Я ничего не сказал (говорить было нечего) и пошел к трамваю.

А через пару недель мы уехали на дачу до начала сентября.

Снова Новый год

Почему-то на Новый 1984 год мы решили собрать много народу. Конечно, американцев, или «штатников», как называла их подруга жены, мы не могли не позвать. Новогоднюю ночь все же приятнее проводить в семейной обстановке среди друзей. И семьи уже этой нет, уже четверть века, как с женой в разводе, осталась душевная тяжесть от какого-то неправильного устройства жизни и своей сомнительной роли в этом устройении. Тем нелепее кажется, что каких-то малоизвестных мне людей, с которыми меня ничего не связывало, кроме двух-трех вечерних посиделок, я называл своими друзьями. Не только с тех пор не переписываемся, даже не помню их. Честно сказать, от американцев мы ждали заморских напитков типа джина, виски, ликера. Они привезли довольно много бутылок, вывалили на стол несколько банок красной и черной икры, кусок балыка и несколько подносов нарезанной и упакованной семги. Такой упаковки мы раньше не видели. Были они оживлены и веселы с мороза. С ними неожиданно для нас пришло еще двое молодых парней тоже лет тридцати, как-то похожих друг на друга. Они внесли огромные букеты цветов, словно и не зимнее время было.

Тони еще втащил из прихожей коробку с елочными игрушками. Со смехом пришедшие пятеро иностранцев начали наряжать елку. Двух новеньких поначалу мы тоже сочли американцами. Ввалились московские приятели в новогодних масках, со скабрёзными шуточками: «Красная шапочка, ты куда собралась? На елочку?» «Нет, на палочку!» Пришла с певцом Семёном недавно родившая пышнотелая Катерина, оставив ревнивого мужа с маленькой дочкой. «Спать

уложит, усыпит, и придет», — сказала она о муже. И пошла к зеркалу укладывать пышные волосы. «Ох, Катерина, — сказал невысокий усатый художник по прозвищу Джеб. — Добалуешься!» И обернулся к американцам: «Гляжу, американского полка прибыло! Меня Джеб зовут. Тони и Грегора знаю, на Тину все мы облизываемся. А вы оба кто? Да я не спрашиваю, кому служите. Понятно, что ЦРУ. Зовут-то как?» Тот, у которого костюм был потемнее, протянул руку и назвался: «Игорь». Второй в костюме посветлее тоже представился: «Анатолий». Джеб охнул: «Так вы не американцы?» Тут и мы все подгрести. «Да нет, — охотно объяснил Грегор, — они русские, как и вы. Тоже творят что-то и тоже советскую власть не принимают. Мы с ними вчера на улице познакомились. Потом в ресторане сидели. Настоящие антисоветчики». Мне стало как-то не по себе. «Это они зря, — сказал, — продолжая ерничать Джеб, — мы-то тут собрались все советские люди и без советской власти никуда!» Пашка Гутт, высокий человек с сильными руками, работавший с металлом, взял Грегора за плечо и вывел его на кухню, где посадил на табурет и сказал: «У нас не принято приводить в чужой дом случайных людей, незнакомцев, в сущности». Грегор побледнел и смутился: «Я не подумал. Но, поверь, они хорошие ребята».

Потом тем не менее сели за стол, принялись пить, есть, петь песни. Отчего-то, однако, мне было не по себе. Возможно, от слов Тони: «У тебя движение какое-то с твоей книгой есть?» Неожиданно любившая поговорить моя первая жена Мила довольно резко сказала: «А тебе что за дело? ЦРУ интересуется?» Тони вздрогнул. «Милка, да ты что!» Я ответил спокойно: «Было две рецензии. Одна хорошая, другая ругательная. Это был тормоз, но полгода как вторую переписали на позитивную. Хотя все равно движения пока нет». Дело в том, что проза очень долго гуляла по журналам — рецензии были более чем положительные, да и имена более чем уважаемые: Виктор Розов, Симон Соловейчик, Анна Берзер... Были и отрицательные, как понятно. Я уже поминал Кира Булычёва по поводу романа-сказки. А тут о повести «Два дома», повести о детстве мальчика, написал внутреннюю рецензию некий поэт Алексей Прийма, обвиняя меня, что, очевидно, я подражаю прозе Серебряного века, что несовместимо с принципами социалистического реализма и что этой прозой вполне могут заинтересоваться соответствующие органы, а для советского журнала такие тексты абсолютно неприемлемы. Честно сказать, из прозы Серебряного века я читал тогда разве что Ивана Бунина да Леонида Андреева. Все остальное я прочитал много позже. Но удар был грамотный. Московский журнал на букву «З» сделал вид, что испугался. Хотя, наверно, руководители этого печатного органа понимали, кому дают

рукопись на отзыв. Я шутил тогда, что по объему рецензии уже превышают объем повести. Мне уже было тридцать восемь, а движения никакого. И тогда друг отца Николай Семенович Евдокимов предложил подать рукопись в издательство «Советский писатель», сам написал первую рецензию. Вторую по его просьбе написал Всеволод Сурганов. Сначала ругательную, потом исправил ее по настоянию Евдокимова. И рукопись потихоньку поехала.

Игорь и Анатолий наклонились ко мне почти одновременно: «Небось, Софье Власьевне достается? Такое же надо распространять...» Я и вправду был удивлен: «А кто такая эта Софья Власьевна?» Они почти хором воскликнули: «Ты что, не знаешь? Так же все нормальные люди советскую власть называют». Я пожал плечами: «Не знаю». Пашка Гутт привстал: «Да чего вы к Володьке пристали? У него покойная бабушка все же член партии с 1903 года». Разговор ушел в сторону. Только Тони, в очередной раз отвергнутый Тинной, вдруг шепнул мне на ухо: «Если что надо будет, ты мне скажи. Что-нибудь придумаем». Я сказал: «Тони, отстань, мы уже с тобой об этом говорили». Курили, выпивали, окурки гасили прямо в пустеющие блюдца из-под салата. Стоял запах смеси дыма, перегара и еды. И разговор уехал от литературы к буриме, песням под гитару, анекдотам, шарадам. Моя жена Мила была одна из лучших гитаристок и певиц под гитару, которых я в своей жизни слышал. Но дар свой она являла только в дружеском кругу. Зато когда пела, разговоры замолкали. Молодые люди, Игорь и Анатолий, тоже заткнулись и слушали, при этом умело и как-то очень профессионально наполняли бокалы соседей. Нынешний опыт подсказывает мне сравнение: почти как служба на светских приемах. Пили и пели часов до четырех утра. Потом кто-то остался ночевать, но американцы и их новые русские знакомые уехали на вызванных такси. Московские друзья расположились кто где. Молодую мать Катерину увез на машине ее муж.

Не очень серьезное любопытство органов

Эта главка скорее не рассказ, а пересказ. Прошло дней десять после Нового года. И вдруг Катерина срочно звонит моей жене Милке и предлагает погулять в парке вместе, она с младенцем и коляской, а Милка просто так. Жена моя, насколько помню, была не большая любительница свежего воздуха, предпочитая сигарету и гитару. Но в голосе Катерины звучало столько интриги, что она сорвалась, поскольку после сигареты любила нечто запрещенное властью. А тут как раз пахло таким запрещением.

Рассказ Катерины был несложен, но адреналину прибавлял, да и нас отчасти делал в чем-то политически важной единицей. Утром ей позвонили с Лубянки и попросили заехать в такое-то время в такой-то кабинет. Она быстро ответила, что не может, поскольку является кормящей матерью, а муж на работе и ей не на кого оставить ребенка. «Да-да, — сказал вежливый голос. — Мы в курсе. Но вы же гуляете с коляской во дворе в такое-то время». Катерина, растерявшись, подтвердила. «Так вот сегодня, на такой-то лавочке, вас будет ждать лейтенант Имярек. Ничего страшного, не волнуйтесь, чтобы молоко, не дай Бог, не пропало, просто десять минут беседы». И Катерина согласилась, гордо добавив, что если вовремя лейтенанта не будет, она его не ждет. «Не беспокойтесь, — успокоил ее вежливый голос габэшного начальника по телефону. — Он не опоздает». Действительно, вежливый эlegantный человек в светлоричневой дубленке, пыжиковой шапке сидел на лавочке, встал ей навстречу предъявил удостоверение, снова убрал его во внутренний карман, сел и предложил ей сесть рядом.

«Мы знаем, — начал он, — что Вы дружите с Владимиром Кантором и провели этот Новый год у него дома». Катька гениально нашла тон (если только потом не присочинила): «Это что такое? Нечего на меня мужиков навешивать! Я дружу не с Владимиром Кантором, а с его женой Милой, мы вместе работаем». Лейтенант возразил: «Но вы ведь были у них на Новый год?» «Ну была! И что?» Он достал из внутреннего кармана дубленки конверт, но еще не открывая спросил: «А вы можете характеризовать как-то семью Владимира Кантора, с политической точки зрения, разумеется». Слава Богу, та ни на секунду не задумалась: «Настоящая советская семья. Можно сказать, образцовая. И хочу сказать, что с хорошей советской традицией. У Владимира бабушка — член партии большевиков с тысяча девятьсот третьего года». Этот аргумент казался нам всегда безошибочным. Но лейтенант сказал: «Бабушка бабушкой, но с кем они сейчас общаются? Вот посмотрите». Он раскрыл конверт и выложил дюжины три свежих фотографий, где в полном объеме и разных видах и ракурсах был изображен Новый год и лица всех людей, там бывших гостей. Он принялся раскладывать фотки.

«Ну? — спросил он. — Можете мне рассказать, кто есть кто?». Катька поняла, что не узнать меня и мою жену она не может, и быстро взяла в руки эти фото, назвав нас, по поводу остальных делала ужимку неузнавания, пытаясь сообразить при этом, как эти «Игорь» и «Анатолий» сумели всех сфотографировать. Фотоаппарата у них не было, о мобильных тогда и слыхом никто не слышал. Да и не было у них в руках ничего постороннего... Разве что пуговицей, как в шпионских романах. «Вот Владимир, а это Мила,

его жена». Человек в дубленке взял у нее из рук эти фотографии и спросил: «Этих мы сами знаем, а другие?» У Катерины чесался язык сказать, что здесь она фотографов не видит. Но ответила заветной фразой, какой интеллигенция считала нужной отвечать на вопросы габэшников: «Да я довольно быстро напилась, поэтому никого не запомнила, а раньше никого и не видела». Он поднял брови: «Как напилась? Вы же кормящая мать...» Она простодушно посмотрела на мужчину в дубленке: «Дочку я уже покормила, она дома оставалась с мужем, он ее спать укладывал, вот я себе и позволила». Он в ответ пристально смотрел на нее, она глаз не опустила, только хлопала ими как девочка Мальвина.

«И это правда?»

«Разумеется, правда».

«Ну, что ж, — сказал он. — Спасибо вам за помощь и извините за беспокойство. Надеюсь, вы понимаете, что никому не должны рассказывать о нашем разговоре».

«Конечно, понимаю».

Он собрал фотографии в конверт, поднялся и пошел к выходу со двора, где его ждала машина. А Катерина бросилась домой к телефону.

Ключевой разговор

А через два дня мне вдруг позвонил Николай Семенович Евдокимов: «Ну, здравствуй, Вовка! Как дела? Хотел бы с тобой поговорить». Я ответил: «Конечно, я вас слушаю». Он ответил: «Нет, не так! Хочу, чтобы ты ко мне приехал. Разговор очень важный! И немедленно». Жена спросила: «Ты куда? Что случилось?» Я передернул плечами, как всегда, когда нервничал: «К Евдокимову». «Что ему на ночь глядя понадобилось? Тащить на Проспект Мира в такую поздноту... Может, на завтра перенести?» Я отчего-то нервно напрыгся: «Ты не понимаешь. Я не могу ему отказать. Он друг отца, и, что и для тебя, думаю, тоже важно, именно от него зависит издание моей книги. Мне сорок скоро, ни одной строчки не опубликовано». Но ей не хотелось, чтобы муж срывался по первому требованию литературного чиновника. А Николай Семенович был тогда член правления Союза писателей, что для нее означало «прихлебатель властей», чиновник. Как-то в нашем круге все делилось на белое и черное. И в этом контексте Евдокимов относился к черному цвету. Но для меня он еще был друг отца, написавший в 1949 г., когда отца исключали из партии и выгоняли из универа за «космополитизм», письмо в его защиту. Это была моя история. И я в ней жил. Поэтому, покачив головой, я все же поехал на ночь глядя к Евдокимову.

От метро был путь вдоль проезжей дороги с одной стороны и странной смеси пятиэтажек и потемневших от возраста деревянных домиков. Восьмиэтажный восьмиподъездный дом стоял в глубине двора. Я подошел к седьмому подъезду, нажал кнопки домофона и поднялся на четвертый этаж. Николай Семенович, которого я привык звать дядя Коля, встретил меня в домашнем вельветовом костюме, ухмыльнулся и сказал: «Что, письменник, испугался? Прибежал сразу. Жена-то не ворчала, что к какому-то старперу помчался? Ну, ты не сердись на нее, молодежь всегда ригористичной была. Сейчас переоденусь, пойдем прогуляемся. А ты пока книги посмотри». Библиотека у него была большая, но в основном современные писатели — советские и западные, из тех, что доставались только членам Союза по распределению. Надев теплое барашковое пальто, Евдокимов сказал: «Ну пошли, по дворам побродим. Я тебе тут шикарную голубятню покажу, сосед наш построил». Вначале я не понял, при чем здесь голубятня, потом сообразил: *для телефона*. Мы и гулять-то шли *для телефона*. Советская интеллигенция была убеждена, что госбезопасность прослушивает не только телефонные разговоры, но и разговоры, которые ведутся в комнате, где есть телефон.

Мы вышли на улицу, прошли мимо дома, дядя Коля шел молча. Наконец, свернули на тропу в сторону от писательской постройки. И тут он сказал, будто продолжал разговор: «Сегодня был съезд правления секретариата. Поэтому я тебя и позвал. Ты только не подумай, что тебя в секретари приглашают. До этого тебе далеко. Мы обсуждали литературу молодых, и все хором говорили, что у молодых нет никаких умственных запросов и философских рассуждений. Верченко сказал, что готов помочь публикации любого интеллектуального текста. Кто может назвать такой?» — спросил он. Извини, но я назвал твой «Два дома». Он вдруг кивнул и сказал: «Я слышал». Дядя Коля вдруг искоса посмотрел на меня: «Откуда он слышал? Ты ему что-нибудь говорил?» Я чуть не подскочил: «Да вы что? Я и про Верченко первый раз слышу». «Ну ты наив... Ты и вправду ничего не знаешь?» Я даже руками всплеснул: «Да вы что, Николай Семенович!» Он довольно улыбнулся и сказал: «Это хорошо, потому что без присмотра недобра очень много. Верченко в Союзе на должности человека, который присматривает. Мы всю жизнь под присмотром. Мы всегда дети. Можно ли дать детям жить по своему хотению? Натворят ведь черт-те что. Я сказал про твою бабушку, что она член партии с 1903 г., ни в каких группировках замешана не была, всегда придерживалась линии партии. И что ты из настоящей советской семьи, что я с твоим отцом еще с Дворца пионеров дружу, что твой отец Карл в партию во время войны вступил, что служил он в элитных частях АДД.

А Верченко спрашивает тогда: «Знаем мы таких, вроде Литвинова. Зачем же он с американцами крутится. Он же филолог, я выяснял. Секретов вроде никаких не знает, передать ему туда нечего? Может, антисоветчину какую пишет? И прославиться там хочет? Как думаешь?» Я ему возражаю: «Не думаю. Я читал, что он пишет. Ничего похожего. Я за него отвечаю. Слово коммуниста». «Ну смотри, — говорит, — понимаешь, какую ответственность на себя берешь? Ты-то ведь член партии?» «Тоже во время войны вступил». Верченко мне руку на плечо положил и говорит: «Ну что ж, мы с тобой два коммуниста, берем его на свою ответственность. Согласен?»

Конечно, согласен, говорю.

«Но откуда у него американские связи, постарайся узнать. А так пусть печатают книгу. Я им скажу, кому надо. Вот тебе и вся история. Не мог тебе не рассказать».

Он вдруг как-то искоса глянул на меня: «А откуда американцы? Приятели жены? Говорят, она больно много болтает, разговорчива слишком. Ты ей скажи, чтобы выбирала, с кем откровенничать можно, а с кем не очень».

«Скажу, конечно. Но жена здесь ни при чем. Я все же дома хозяин». Он усмехнулся: «Ну тогда оба язык не распускайте. Ладно, дуй домой, а то небось жена беспокоится, куда пропал».

Я снова сказал: «Спасибо!»

Он махнул рукой, как бы указывая мне путь к троллейбусу и метро: «Не за что. А книга твоя пойдет».

Она пошла и после чудовищной правки контрольного редактора вышла в 1985 г., в аккурат когда мне исполнилось сорок лет. Поздновато, конечно, для молодого писателя. Десять лет провалялась по редакциям и издательствам. Но, как говорил Карл Мангейм, в тоталитарном (или подобном тоталитарному) обществе человек чувствует себя до старости ребенком, которого начальник ведет по правильному пути. А ребенок должен испытывать только чувство благодарности.

20 апреля 2013

28. Герой «случайного семейства»

(О жизни и прозе Владимира Кормера)

В романе «Подросток» Достоевский назвал себя художником «случайного семейства», в котором отсутствуют «родовое предание и красивые законченные формы». Зато, полагал писатель, они есть в устоявшемся культурном слое «средне-высшего» дворянства — именно о нем и думал Пушкин, замысливая свои «преданья русского семейства». Первый роман Владимира Кормера (29.01.1939 — 23.11.1986) называется «Предания случайного семейства» (1970). Итак, в первом же своем романе он смело сопрягает две темы, два символа русской культуры, давая две скрытые цитаты — пушкинские «предания» (это как о чем-то устоявшемся) и достоевское «случайное семейство». Сразу — этим заглавием — он вводит свое творчество в контекст русской классики. И тем самым показывает, на каком поле собирается играть.

Достоевский задавал тревожный вопрос: «Не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимой силой переходят массами в семейства *случайные* и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе?» После революции случайным семейством стала вся Россия. Кормер берет на себя смелость назвать себя писателем, изображающим броуновское движение России, превратившейся в «случайное семейство». Ибо *предания* — это о прошлом, но которое длится и сегодня. Его герои, как и герои Достоевского, — люди из интеллигентного слоя. Из них самые близкие автору еще помнят о необходимости чести, достоинства, порядочности. Но в принципе произошла великая смесь, «смазь», о которой писал Достоевский. Подлинная интеллигенция была изгнана, расстреляна, посажена в лагерь, выжившая — люмпенизирована. В «Преданиях» герой рассуждает: «Николаю Владимировичу вдруг стало особенно жаль, что все здесь перед ним утратило свою чистую определенность: и крестьяне пред ним — были не крестьяне, и сказки, что они рас-

сказывали, были не сказки, и сам он, — в конце-то концов! — в каком качестве сидел между ними?! <...> Он лишь усмехнулся тому, насколько прежде все-таки было все четче: барин был баринем, мужик — мужиком, и интеллигент — интеллигентом, не то, что нынче, когда он и сам не понимал, кто он таков, и никто за столом не понимал этого. “Скорее всего, я здесь просто чужак, сказал он себе, — несмотря на то, что рос, как и они, среди полотняных ширмочек и ситцевых занавесочек, и жена моя, как и они, кухарка. В этот демократический век не осталось больше ни черной, ни белой кости, остались только чужие и свои”». И еще одну фразу Николая Владимировича, деда героя-подростка, о котором роман, я должен привести: «Стремления моей юности были соблазном. Я был глуп, суетен, я не знал, как следует, что такое сострадание, — сама жизнь научила меня всему. А если дел моих и не увидало человечество, то ведь и не для себя я живу. Вероятно, бывают эпохи, когда люди должны лишь молча страдать, а всякое творчество есть лишь ложь и самообольщение...»

Но все же остались *герои*, которые взяли на себя ношу русской культуры, пытаясь удержать уровень русской духовности. Несмотря ни на что!

У поэта Наума Коржавина есть замечательные строчки, написанные в 1952 г. и полностью относящиеся к таким людям *ноши*, в том числе и к Володе:

Ни к чему,
ни к чему,
ни к чему полуночные бденья
И мечты, что проснешься
в каком-нибудь веке другом.
Время?
Время дано.
Это не подлежит обсуждению.
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем.
Ты не верь,
что грядущее вскрикнет,
всплеснувши руками:
«Вон какой тогда жил,
да, бедняга, от века зачах».
Нету легких времен.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах.

Вот эту тяжесть Володя Кормер и пытался нести. И нес. Как-то в разговоре со мной Игорь Виноградов сказал, что ему как тогдашнему завотделом прозы «Нового мира» понравились сразу кормеровские «Предания». Но что они были *«из другого ящика»*. Из какого — не пояснил. Смысл был тот, что *непроходные*. Но почему? И хотя «антисоветчины» в тогдашнем даже понимании в этом тексте не было, «Предания» так и не были напечатаны. Это был роман о становлении подростка в послевоенное время, о взрослении не физическом, а метафизическом, отнюдь не политическом. Уже после смерти Володи его главный роман «Наследство» опубликовал журнал «Октябрь» (1990) и тут же перепечатал «Советский писатель» (1991). А в предисловии к отдельному изданию романа Виноградов написал, что, получив в свой отдел прозы «Предания случайного семейства», он понял: «Повесть уже тогда обещала в В. Кормере возможность будущей крупной писательской судьбы»¹. Мне многое непонятно в этом пассаже — а главное тон вершителя «писательских судеб». Очевидно, пьеса «Горе от ума» тоже кое-что обещала в судьбе ее автора. Вероятно, возможность стать крупным писателем. Повторяю: первая же вещь Кормера — уже явление настоящей прозы, написал бы он что-нибудь потом или нет. А любой подлинности надо радоваться как подарку. Но трудно было поверить, трудно было осознать, что среди очень талантливых советских писателей (пишу слово «талантливых» серьезно) появился реальный продолжатель наследия русской классической литературы. Продолжатель, показавший, что наследство это — не музейный экспонат, оно вполне живет и работает. Сразу хочу сказать, что бытовизма как такового в этом тексте не было. Писатель сразу ставит проблему теодицеи — а можно ли оправдать Бога за происшедшее с Россией. Спор дочери, матери героя, с отцом — дедом героя: «Нет. — В ее голосе прозвучали решительность и еще что-то, чего Николай Владимирович сначала не понял и лишь мгновение спустя разобрал: презрение. — Нет, я не верю! — продолжала она. — Потому, что если б Он был, то должен был бы осуществлять одну функцию — справедливость. А что делает Он? За что Он наказывает тебя или меня? Конечно, ни ты, ни я — не совершенства. Пусть. Но ведь есть же и большие, чем мы, грешники, мы не пользуемся властью, не ворует, не угнетаем своих ближних, не убиваем, и ты и я, мы знаем массу людей, о которых заведомо, безо всякой ложной скромности, можно сказать, что они хуже нас». Получалось, что Россия как случайное семейство была в Высших замыслах. Это было трудно переварить. Нужно обладать для этого мужеством зрения и мысли.

¹ Виноградов И. О В.Ф. Кормере и его романе «Наследство» // Кормер В. Наследство. М.: Сов. писатель, 1991. С. 3.

* * *

Что же Кормер представлял собой, как сегодня говорят, «по жизни»? Он и сам происходил из «случайного семейства». Родился в семье ссыльнопоселенца в Красноярском крае — в селе Решеты Нижне-Ингашского района. Рано осиротел. После смерти отца мать с сыном вернулись в разоренную войной Москву. Детали его собственной жизни так и сквозят в этом тексте. Все мы знали, что в детстве Володя попал в железнодорожное крушение, от которого остался шрам на губе, придававший ему немного сардоническое выражение. А это отзвучало и в «Преданиях». Возвращаясь из ссылки, мать и сын ехали, разумеется, поездом: «В прошлом году они попали в железнодорожное крушение. <...> У самой Анны была ушиблена нога, у Николая довольно глубоко рассечена скула, но все же исход был, конечно же, именно счастливым». Потом были чудовищные московские переполненные квартиры. Поэтому он так хорошо знал и описывал московский коммунальный быт. Всю свою жизнь Володя опирался только на себя. «Предания» — **ключевой роман, где, как водится у начинающего большого писателя, намечена главная тема его творчества.** И ее смысл — отсутствие устоявшихся норм человеческого общежития. Замечу, что ни в одном его следующем романе нет темы живого, реального отцовства. Герою преданий был дед Николай Владимирович, который оказался для подростка связью с прошлой Россией и ее ценностями. Кормер делал себя сам без помощи сильной отцовской руки, в которой так нуждаются все дети. Но такой безотцовщиной было пол-России в те годы (да и почти всегда), все семьи в этом смысле были случайными. Многие ломались, он стал сильным. Сильным духовно. Его творчество по-прежнему было *из другого ящика*. Впрочем, давно сказано о камне, отброшенном строителями...

Он вырослел трудно. Трудно, потому что чувствовал себя чужаком в случайном семействе России. В «Преданиях» он скажет: «Окрестные дворы и дома были наполнены этими бесконечными Витюлями, Вовулями, Лесиками, Колюнями и Шураями, еще некоторое время назад сопливыми, замурзанными, подающими надежды способными детьми, которые, внезапно и прежде срока развившись в городе, заматерели, и плебейство их, такое забавное раньше, вдруг повылезло изо всех щелей в каждом их слове и жесте и сделалось непереносимым. В силу ли более глубокой уже, внутренней несовместимости, природы которой он не понимал, но он чувствовал себя чужим им всем, хотя поспешно кивал, что знает, что знаком с ними, хотя здоровался и разговаривал с ними, а они, в свою очередь, смотрели на него с удивлением, ощущая тоже это неродство и тоже не вполне постигая его причины».

Тогда было выражение: «Он *пишет*». Это означало, что пишет свое, неподцензурное, тайное. Я познакомился с Володей и подружился, когда он писал «Наследство». Он боялся за рукопись. Сделанные под копирку экземпляры раздавал друзьям — на хранение. Одним из этих друзей — не без гордости могу сказать — был я. А Володя гордился, что его роман печатала та же машинистка, что печатала тексты Солженицына. Это был как бы шаг к художественной власти над миром. Он был уверен в своей грядущей известности. Помню, как в коридоре Института философии, где существовала тогда редакция «Вопросов философии», он топнул ногой и как бы шутливо сказал: «Мемориальную доску здесь!» Опасаться-то он опасался, но тем не менее давал читать рукопись людям, которым доверял, чьим мнением дорожил. Помню, когда в редакции он отмечал рождение сына, вдруг Мераб Мамардашвили, поздравляя Володю, бросил фразу: «Теперь пора позаботиться о наследстве».

* * *

Через полтора года после его смерти, 10 мая 1988 г., в Центральном доме медицинских работников на улице Герцена «состоялся вечер памяти писателя и философа Владимира Кормера», как написано было спустя две недели в «Русской мысли», где был опубликован краткий стенографический отчет об этом вечере. Думаю, тусовка эта состоялась не случайно. Уже был десять лет назад опубликован на Западе роман Кормера «Крот истории», появилась надежда на публикацию его текстов на Родине. Вечер вел Виктор Ерофеев. Выступили литераторы, приятельствовавшие с Кормером. Первым, разумеется, выступил ведущий, следующим поэт Юрий Кублановский (издавший в «Посеве» сокращенный вариант «Наследства»), затем Александр Величанский (очень много сделавший для публикации в России полного текста главного романа Володи), Дмитрий Пригов, мой отец — философ Карл Кантор, Анатолий Найман, Игорь Виноградов, Владимир Кейдан. Стенограмма хранит аромат подлинности тех лет. Несколько строчек из этого отчета, где говорится о пушкинско-моцартовском начале в жизнеповедении и творчестве Володе Кормера, мне хотелось бы привести. Об этом уместно сказать на первых страницах вступительной статьи:

«Об особом *“феномене В. Кормера”* говорил его близкий друг, философ и прозаик В. Кантор. В последние годы жизни Кормер часто вспоминал “Моцарта и Сальери”, особенно “праздного гуляку” Моцарта. Ведь в каком-то смысле самого Кормера можно было назвать “гулякой праздным”. Как же удивлялось начальство, когда вышел “Крот истории”! Когда же он успел это написать? Вроде пил, пил, был вполне советский человек, вроде совсем свой был.

Но это была не маска. Это было странное чувство свободы, поразительное, редкое, с внутренним мужеством. И эта свобода проявлялась во всем.

Последний роман В. Кормера — “Почва”. Работая над ним, он перечитал *“всех наших деревенщиков”*. И понял, что *“это этнография”* и что *“они не видят дальше того, что происходит”*.

Ежедневный и достаточно кропотливый труд “гуляки праздного” был не виден даже иногда и его приятелям. А он писал в год по роману, ходил на службу в редакцию, на полный рабочий день, где приходилось заниматься не только редактурой, но и утомительной писаниной. В. Кантор рассказал, что последние годы Кормера, после публикации на Западе “Крота” и ухода из редакции (чтобы не “подставить друзей”) были особенно тяжелыми, потому что ему порой приходилось писать под чужим именем и не совсем то, что хотел, стать “литературным негром” — надо было зарабатывать на жизнь для семьи.

“Чувство свободы — основное, что есть у художника, и Кормер из этой породы”, — закончил свое слово о покойном друге В. Кантор¹.

Вечер показал, что о Кормере помнит хотя бы узкий круг. Казалось, начнутся российские публикации — и придет слава. Но опубликован в России был только один роман. В 1990 г. в журнале «Нева» вышел мой роман «Крокодил», посвященный памяти В.Ф. Кормера. В том же году поэт Саша Величанский пробил в «Октябре» роман «Наследство». Мы встретились на четвертых поминках по Кормеру и пили весь вечер за то, что, кажется, лед тронулся, и Володино имя становится литературным фактом. Но Кормера все равно не хотели больше замечать наши журналы. Словно наступавший по всему миру и в стране постмодерн заколдовал попытки продолжения русской классики.

* * *

В нем была видна *порода*, не в нищевском смысле, а скорее в чеховском: чувствовалась незаурядность личности, ум в глазах, слегка саркастическая усмешка, безупречная точность суждений, слегка провокативный поворот мысли, чтобы разьяснить себе собеседника... К тому же высок, статен, мужественно красив, красив так, что женщины оборачивались на него. Он окончил МИФИ, работал в социологическом центре Ю. Левады, потом в 1968 г. И.Т. Фролов взял его, беспартийного, на работу в журнал «Вопросы философии», где Володя вел до 1979 г. отдел зарубежной философии. А значит, как читатель может понять, знал языки и тексты. Как шутил наш сотрудник

¹ «Русская мысль». 27 мая 1988. № 3726. С. 7.

(А.Я. Шаров): «Кормеру повезло. Он занимается хоть зарубежной, но философией. Зато остальные разделы нашего журнала вполне можно озаглавить “за рубежом философии”». Биография Кормера непредставима без журнала, а история нашей редакции — без ее «неформального лидера». Именно его отдел был напрямую связан с живым движением «закордонной» мысли и мог информировать отечественного читателя о процессах, там протекавших, а также публиковать наиболее острые статьи отечественных ученых, зачастую решавших российские проблемы через критику западноевропейских концепций. С 1979 г., получив парижскую премию имени Владимира Даля за свой роман «Крот истории, или Революция в республике S=F», он уволился (об этом рассказ впереди), однако продолжал, *почти подпольно*, посещать редакцию, справедливо считая оставшихся в журнале коллег своими друзьями. Он серьезно относился к людям.

Дело было еще в его старомодном делении людей на неприличных и приличных, «из хорошего дома». Он отнюдь не был снобом, но очень хорошо знал цену подлинности. Опять же, стоит привести слова героя «Преданий»: «Видит Бог, что если я и жалел когда-то, что не родился дворянином или вообще в какой-нибудь хорошей старой семье, то это не потому, что я кичлив и хотел бы еще кичиться своими предками, но потому лишь только, что хотел бы иметь возле себя человека с традициями, с достоинством. Такого, который бы незаметно, с детства, научил бы меня правильному взгляду на мир, сказал бы: это должно, этому следуй, а это презирай, не пристало тебе радоваться такому вздору.. Вот примерно и все, ведь тут и не надо многого».

Володя и журнал-то ценил за то, что там был своего рода оазис свободомыслия, создаваемый работавшими там людьми. Как я уже писал, он был бесспорным лидером редакции, а со своим невероятно красивым лицом и статной фигурой (все же несколько кровей в нем намешано) был всегдашним любимцем женщин самых разных слоев: от советских-светских аристократок, иностранных красавиц-миллионерш до золушек и простушек. Но лидером особого рода. Он никуда не призывал, не создавал партий и кружков, он создавал вокруг атмосферу свободы и раскрепощенности. О своем автобиографическом герое в «Преданиях» он сказал точно: «Он не хочет вовсе быть первым, “но и признать за кем-то еще это первенство над собой я не хочу”, — говорил он. Это была суцая правда, подтвердившаяся потом всею его судьбой, и даже роковая в ней: что-то всегда мешало ему быть первым, первенство требовало каких-то издержек, на которые он не был согласен, но и признать над собой чью-то власть не мог».

Вообще, десятилетие, которое считается *пропущенным*, не состоявшимся духовно (вторая половина семидесятых и начало восьмидеся-

тых), вовсе не было таковым. Просто оно было скрытым, не явленным публично, не обнародованным. Но пел великий бард Владимир Высоцкий, его голос в самодельных записях — без преувеличения — звучал по всей стране. По рукам ходили машинописные копии потаенных рукописей, тамиздатовские и самиздатовские книги. Уже гремели на весь мир «Иван Денисович» и «ГУЛАГ». Писались в стол романы. Далеко не последним среди творцов, хранивших традицию свободного духа, был Владимир Федорович Кормер. Этот период для многих из нас стал одним из самых значительных и значимых. Добавлю к этому, что мы переживали время окончательного расставания с вызывавшим уже брезгливость и очевидное неприятие оголтелым фанатизмом любого толка — будь то фанатизм партийно-государственный или диссидентский. У меня в архиве остались посвященные мне стихи, по мысли (да и по подписи: вроде его) они похожи на постоянный Володин саркастический взгляд на мешанину «случайного семейства» России.

О, гений, парадоксов друг!
Парадоксально все вокруг.
Сколь гениально наше время!
И ставший нормою обман,
И западники из славян,
И почвенники из евреев.

Поскольку точной атрибуции стихотворения дать не могу, назовем его, как делают искусствоведы: «из круга Кормера».

* * *

Тоталитарные режимы играют в вечность. Тысячелетний нацистский Райх, или бесклассовое общество осуществленной коммунистической мечты человечества, или просто великая держава, сравнимая с Древним Египтом... Вечность смотрит на нас с этих тоталитарных пирамид. Жизнь вне времени, жизнь режима навсегда. И самое грустное, что жители этих государств-левиафанов, необъявленные рабы режимов, были тоже убеждены в несокрушимости строя, убеждены, что проглочены крокодилом навсегда. По словам одного из русских мыслителей эпохи Николая I, он был уверен, что император переживет и их поколение, и детей их, и даже внуков. Примерно такое же чувство испытывали в конце семидесятых и мы. Многие эмигрировали в поисках цивилизованного пространства, где существуют утро, день и вечер, а не длится бесконечная минута «глубокого удовлетворения» существующим порядком вещей.

И как нельзя кстати звучали постоянно слова Володи Кормера в ответ на вопрос, почему он, *писатель и инакомысл*, не уезжает на Запад: «*Хочу посмотреть, чем все это закончится*». Я думаю, многие вос-

принимали это как некую ерническую фразу. А он по внутреннему своему пафосу, по профессии и образованию был наблюдатель и естествоиспытатель. Не случайно закончил МИФИ, работал математиком, социологом, что, без сомнения, помогало ему преодолевать всякого рода идеологические наваждения. Как человек строгого знания он считал, что всякое явление имеет начало и конец, что *она не может длиться всегда*. Конфигурации истории изменятся. Герой «Крота истории» пытается обосновать претензии СССР на мировое господство идеей «Третьего Рима». Но автор издевается над его умозаключениями, показывая их ущербность и ограниченность. Крот истории слеп, никаких надежд, как то делали марксисты, возлагать на него нельзя, и задача мыслящего человека — следить за его работой, а не строить априорных концепций, тем более не впадать в панику по поводу якобы вечного режима Совдепии. Этот режим когда-то возник, имел свои периоды, значит, наступит и завершение. Конечно, перенести на китайскую почву это было бы весьма трудно. Помню, как он махнул рукой и сказал: «Отдам Димке Борисову. Пускай так идет. И будь что будет». В предисловии Виноградова к «Наследству» сказано, что «Крота истории» передал на Запад А. Зиновьев, как тот сам рассказывал. Но не говоря уж о том, что роман попал в круги, далекие от контактов опального философа, надо просто восстановить историческую справедливость. Поэтому констатирую: Вадим Борисов переправил текст во Францию, где тот попал в нужное место в нужный час. В 1979 г. книга вышла в Париже в издательстве YMKA-PRESS, была переведена на французский и итальянский. Пошли обыски, КГБ арестовал его пишущую машинку, требовал объяснить, что он хотел сказать своим романом. Володя отделялся ссылками на слова Наполеона, что необходимо изображать «трагедию политики». Вот он и изобразил. В органах были шутники: как-то Володю вызвали в его военкомат, расположенный так, что из окон его просматривался двор Лубянки. Вспомнив «Круг первый», он решил, что домой не вернется. Но на фоне окна, из которого виднелся двор для прогулки заключенных, полковник поздравил Кормера с присвоением очередного воинского звания. Это была творившаяся обществом фантазмагория, которую он очень чувствовал, изображая ее в «Кроте истории».

В отличие от Зиновьева, думавшего, что «зияющие высоты» — это состояние, к которому в конечном счете придет все человечество, что советский коммунизм — не только навсегда, но постепенно и везде, в отличие от многих эмигрантов, веривших в возможность возврата к дореволюционной России, Кормер был человек, не испытывавший иллюзий и оболщений. Возможно, даже наверняка, он тоже прошел через череду самообманов и надежд, но мы его узнали спокойным, ироничным, слегка циничным, но не циником. К проблемам жизни и

бытия, даже к житейским проблемам он относился вполне серьезно, понимая, что жизнь человеческая, несмотря на бездарных правителей, политико-идеологические принуждения, идет по своим жизненным законам, и все равно бывает плохая или хорошая погода, люди любят, ревнуют, разлюбляют, им надо кормить семьи, что родители заслуживают почтения, а дети внимания, и т.п. Его любимый рассказ, как однажды прекрасным зимним днем он шел с друзьями кататься на лыжах и встретил *записного диссидента*, позднее в романе «Наследство» выведенного как Хазин. В роман этот эпизод не включен, поэтому позволю себе привести его. Увидев лыжников, которых он считал *своими людьми*, диссидент этот, облив своих друзей презрением, саркастически воскликнул: «Хорошо кататься на лыжах. Особенно в хорошую погоду. Особенно при советской власти!» Подобный фанатизм вызывал у Володи только ироническую усмешку. Вообще он никогда не растворялся в ситуации, умел посмотреть на нее со стороны.

Один мой близкий приятель, которому я как-то дал почитать кормеровскую прозу, спросил меня: «Как он может писать *такое*, работая в *идеологическом* журнале? Нет ли тут *двоемыслия*?» Но я уже говорил, что редакция воспринимала публикацию официозных статей как вынужденную обязанность, как своего рода маску, позволявшую скрывать истинную работу мысли. Впрочем, так жила почти вся советская интеллигенция, отнюдь не худшие ее представители. И это не было двоемыслием. Кесарю отдавалось кесарево, но Богу старались отдать Богово. Двоемыслие интеллигенции заключалось (об этом Кормер написал под псевдонимом *О. Алтаев* в «Вестнике РСХД» за 1970 г.) во внутреннем комплексе неполноценности, недоверии к реальной жизни духа, в псевдокультуре, требующей ложных идолов, фантомов, могущих оправдать ее неподлинную жизнь, в непонимании сложности исторического процесса, а потому и в желании найти универсальную отмычку, которая сразу откроет дверь в «светлое будущее». Опыт большевизма показал Кормеру, что вопрос не решается прямым противостоянием режиму, ибо приводит к возрождению худших черт прежнего состояния дел: возвращается «кружковщина», а с ней и «бесовство». Двоемыслие возникает, когда «ищут *легкого* решения, <...> хотя бы уйти от сложности»¹, когда человек считает себя *обязанным* противостоять режиму, но не может, комплексует и рождает очередных духовных монстров — как антитезу власти. И он беспечно спрашивал себя: «Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет потешить Дьявола? <...> Будет ли это новый русский мессианизм, по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия, или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксально-

¹ Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. М.: Традиция, 1997. С. 241.

го сталинского коммунизма?»¹. Вопрос, правда, в том, не было ли это подменой слов, когда в роли интеллигенции выступила та часть общества, которую Солженицын назвал «образованщиной»?

* * *

У Володи было много самых разных друзей — диссидентских, литературных, философских и пр. Круг приятелей-литераторов у него был велик. Как Высоцкий рвался в литературно-поэтический цех, так и Володя Кормер хотел попасть в этот же круг, чтоб его признали «настоящие» писатели, пусть и писатели андеграунда. Это не получалось, трудности вставали постоянно, хотя с ним охотно выпивали. Трудно признать в современнике и собутыльнике писателя большой русской классики. Еще одна сторона — это художники. Но о них особое слово. Перечислю просто несколько имен: Вадим Борисов, Юрий Сенокосов, Евгений Барабанов, о. Александр Мень, Лев Турчинский, Мераб Мамардашвили, Александр Величанский, Юрий Кублановский, много священников, среди них — о. Николай Ведерников, отпевавший Володю в Ивановской церкви. Но жизнь была сумасбродной, как и полагается в «случайном семействе». Болтали на кухнях, выпивали, попадали в странные истории. Порой чувствовали себя чужаками, инопланетянами, как дон Румата Эсторский (из романа Стругацких «Трудно быть богом», попавший в мир, где бояться и уничтожают книжников). Как уже было сказано, в «Преданиях» это было сформулировано вполне резко.

Об этом замечательно написал Мандельштам, словно про нас, про Кормера, как выходцев из иного мира: «Трагично бытие людей, желающих понимать». Реальность, утвердившаяся на почве бесчеловечного мифа, отрицавшего разум, была безусловно и категорически отвергнута Мандельштамом, искавшим опору именно в разуме, в рации. В статье «Деятнадцатый век» (1922) он сформулировал это: «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом, — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. <...> Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум — ratio энциклопедистов — священный огонь Прометея»². Поэт оказался прозорливее многих своих ученых современников, винивших во всех бедах нашей жизни рационализм западной теории. Ее достоинства и недостатки

обсуждать здесь не имеет смысла, ибо речь о другом. О том, что наша жизнь очень долго была построена на пафосе непонимания — запрете мысли, чтения и попыток самостоятельного размышления о судьбах мира. А Кормер именно это и умел делать — читать, думать и размышлять. Он и был выходец из другого мира.

Не могу обойтись без анекдота из жизни. Как-то вечером он зашел ко мне, а на холодильнике лежала данная мне «на почитать» книжка Евг. Замятина, на обложке которой (крупными буквами) стояло: «Издательство политэмигрантов из СССР». Ничего страшного в этой книге не было (никакого романа «Мы»), просто сборник рассказов, вот разве обложка... Володя попросил почитать. Я возразил, зная его систему обхождения пяти домов друзей, расположенных поблизости, выпивания везде до последней минуты перед метро. «Ты напьешься, и тебя в метро заметут», — сказал я. «Ты же меня знаешь», — возразил Кормер. «Вот именно», — ответил я. Но книгу все же дал. Рано утром зазвонил телефон, я снял трубку и услышал слова Кормера: «Володька, все же Бог есть». Ошалело я спросил: «В каком смысле?» Рассказ был жутковато-комичный, но с хорошим концом. «Ты был прав, я поднапился и меня, конечно, замели, завели в ментовскую комнату в метро. А книга у меня в кармане, думал в вагоне почитать. И тут лейтенант книгу-то из кармана вытаскивает, смотрит на обложку, потом на меня. Я трезвею, а он бледнеет. Соображаю, как бы половчее соврать, что на помойке ее нашел. А лейтенант вдруг говорит: “Как же вы такие книги читаете и так пьете?” И добавляет: “Я провожу вас по эскалатору до вагона, а вы уж постарайтесь доехать”. Вот и скажи мне, ты же тоже знаток человеческих душ, почему отпустил? К бабе ехал и не хотел дело затевать, из-за которого пришлось бы свиданку пропустить? Или эта так называемая вражда ментов и гэбэшников? Или — чего не бывает! — просто хороший человек?» Мы сошлись на том, что это был просто хороший человек, — так думая, жить легче.

Он дружил не только с литераторами, много дружил с художниками и искусствоведами. Жена его, Елена Мунц, скульптор, среди друзей, мне известных, — Андрей Красулин, Дмитрий Шаховской, Дмитрий Жилинский. Хочу еще сказать, что Лена — основной автор памятника Мандельштаму в Москве, открытого в 2008 г. Приведу интернетную цитату: «8 ноября в Москве открыт памятник Осипу Мандельштаму. Его авторы — скульпторы Дмитрий Шаховской и Елена Мунц, а также архитектор Александр Бродский. Памятник установлен в центре города, в сквере на углу Старосадского переулка и улицы Забелина, рядом с домом, в котором жил брат поэта Александр. Здесь Мандельштам останавливался во время своих приездов в столицу». Володя и сам неплохо рисовал, его рисунки украсили российское издание его книги «Крот истории», всегда вы-

¹ Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 243.

² Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Арт-бизнес-центр, 1993. С. 271.



*Е. Муци, Д. Шаховской. Памятник
О.Э. Мандельштаму*

ставлялись на вечерах его памяти. Он умел многое, но главное было — писание романов. Кормер очень твердо стоял на своих ногах. Не только стоял, но смеялся над теми, которые хотели вместо своих ног стоять на революционно-диссидентских или партийных котурнах. Злобного узколобого фанатизма Володя не терпел, смеялся над ним, издевался, сказать точнее. Иронией пронизаны все его тексты, а саркастическая усмешка совсем не напоминает обычно описываемое благодушие его фотографий. Если по стилю и охвату письма я бы сравнил его с Чеховым и Буниным, то по ироничности, конечно, не со Свифтом или Салтыковым-Щедриным, а с Вольтером.

* * *

Конечно, его последние вещи — «Крот истории», «Человек плюс машина» и пьеса «Лифт» — не сатира, как их уже определяли, а иронические фантазмагии. Стоит хотя бы взглянуть на пьесу. Она была опубликована, напомним, в журнале «Вопросы философии» в 2007 г. в № 7. Всегда и обидно, и радостно, когда ты участвуешь в извлечении «из-под спуда, из-под глыб» замечательного текста, давно требовавшего своего обнародования, требовавшего самим своим существованием и, наконец, в его публикации. Ибо текст «Лифта» из тех произведений, что и за двадцать пять лет лежания в архиве остаются не просто актуальными, а будто вчера написанными. Разумеется, появление такого текста требовало бы достаточной торжественности, да и журнал должен бы был быть если и не театральным, то хотя бы литературно-художественным. Обидно, что этого не произошло, но радостно, что у друзей и поклонников покойного писателя есть возможность сохранить текст не только в письменном столе, но и на страницах печатного издания, а стало быть, и в сознании нескольких тысяч читателей нашего журнала. В том большом времени, о котором писал когда-то Михаил Бахтин (и в котором он остался сам), честное и талантливое слово останется — независимо от того ранга, который присвоят ему потомки.

Часто повторяемы строки Ахматовой:

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.

По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

21 января 1940

Я бы попробовал немного применить их к творчеству Кормера, а еще точнее — к его пьесе. В этой пьесе все некстати, так не бывает, нелепость наваливается на нелепость, не так, как у людей, и вместе с тем абсолютно так же, но как-то иначе: застрявшие в лифте люди вдруг оказываются в совершенно «пограничной ситуации», «обнажаются и заголяются», как в рассказе Достоевского «Бобок», а при этом самые бытовые персонажи становятся демонами, старушка — феей и т.п. Речь идет о том, как банальный бытовой случай, в котором находился художник (пережил его вместе с другими, или услышал о нем), в процессе творчества вдруг преобразуется в художественное событие, в символ человеческой судьбы, можно даже сказать, в символ культуры. Возникшая среди застрявших в лифте ссора была и стыдной, и грязноватой, испуг несимпатичным.

Что из этого могло получиться? Бытовой случай, ставший сюжетом, и в самом деле был вполне банален. Сотрудники нашей редакции в 1979 г. ехали на день рождения к своему другу, уже ушедшему из журнала и работавшему в издательстве — каком, это отчасти важно: том самом, где через семнадцать лет выйдет последняя на данный момент Володина книга. Именинник ждал своих друзей из журнала, а пока пировал с другими гостями — по школе, университету, другим работам. Себя Кормер в этой пьесе не вывел, хотя в лифте и он сидел — шестым, а не пятым. Но это ведь не бытовая зарисовка, а символически-социальная структура общества (работа у Левады сказалась?). Поразительно одно, что хочу здесь заметить: журнал оказался чем-то вроде такой социальной единицы, пройдя которую, люди сохранили дружбу на десятилетия, чувствуя себя (может, я романтически немного преувеличиваю) чем-то вроде ремарковских «трех товарищей» или героев мушкетерского братства. Но внутри этой социальной единички были и свои проблемы. И они вполне обозначены в этой символической пьесе.

Вечный замах на правдоискательство, который иронически выведен (в образе Турусова), хотя не было уже веры, что оно возможно внутри

этой системы, поиск стукача в своих рядах, поскольку ячейки советского общества были устроены так, что без этого персонажа трудно было вообразить нашу жизнь. А главное — это *зависание* кабины с людьми над пропастью лифтовой шахты. Кормер очень любил тему научно-технической революции в России, об этом его роман «Человек плюс машина». Все, как будто, как и на Западе, но регулярно зависаем над пропастью. И тут выясняется, что никто совладать с этим зависанием не в состоянии: ни техническая обслуга, ни идеологи, ни сами герои пьесы, неожиданно оказавшиеся в *пограничной ситуации* — не благодаря личному выбору, а *потому что так случилось*. Разница, скажем, с Камю принципиальная. Там герой сам выбирает свою подвешенность над пропастью (чума — это пропасть, над которой висит любой человек). Более того, в борьбе с чумой он реализует свою возможность остаться человеком. У Камю все действие еще происходит под бесконечным небом, откуда на страсти персонажей взирают «небожители». Как у Тютчева: «Пускай олимпийцы завистливым оком / Глядят на борьбу непокорных сердец». В пьесе Кормера борьбы нет. Герои ссорятся, совокупляются, выясняют, кто стукач, а сверху спускаются не небожители, а Именинник и его гости. Все слои общества дефилируют перед застрявшими в лифте персонажами пьесы, но никто не желает войти в трагическую суть ситуации, высказываясь в связи с событием о своих проблемах, но оставаясь предельно равнодушным к судьбе героев.

Когда-то в шестидесятые годы вся советская интеллигенция зачитывалась романом Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» в переводе Риты Райт-Ковалёвой. Там милый мальчик Холден Колфилд мечтал ловить заблудившихся детей «над пропастью во ржи», чтобы спасти их от страшного падения. Это было очень созвучно миропониманию приличной советской интеллигенции. А тема бездны, пропасти со времен Пушкина и Тютчева всегда влекла русское сознание, наполняя нас всех ужасом и желанием противостояния. Но ни ужаса (испуг героев Кормера совсем не тянет на *Angst* Хайдеггера), ни тем более противостояния в «Лифте» мы не видим. И это, быть может, самая страшная правда о том времени и нашей культуре, в которой мы продолжаем пребывать. Единственный шанс писатель увидел в Доброй Фее, которая со времен «Золушки», великого фильма самых крутых сталинских времен с Гариным, Раневской и Жеймо, сохраняла нам веру в возможность *чуда*, потому что другого выхода не находилось.

Интересно, что когда в 1997 г. вышла его книга¹ (включившая две статьи Володи и его «Крота истории») в издательстве у нашего

друга Бориса Васильевича Орешина, ее презентация должна была состояться в Институте философии РАН. И вот уже собрались приглашенные гости в торжественную залу, в соседнем секторе уже был накрыт стол, институтское начальство поглядывало на часы: опоздание директора издательства и коробок с книгами явно превышало все нормы приличия. Нервничала Лена Мунц, ожидая книгу мужа. И вдруг прибежали служители («униформисты», как в пьесе) с криками: «Сидят! Сидят! Уже давно сидят! Пятнадцать минут как лифт застрял! Аварийку вызвали, скоро приедет!» Прошло еще минут двадцать, и явились помятые, слегка подвыпившие директор издательства Б.В. Орешин, главный редактор издательства Е.Д. Горжевская, редактор книги Э.Я. Логвинская и художник книги Тая Кормер, дочь писателя. Орешин всплеснул руками, входя в залу, со смехом говоря: «Без мистики не обошлось. Почти все по кормеровскому “Лифту”. И пять человек набилось, и с собой было! Мудрагей, вы там так же выпивали?» Начался смех, словно вернулся карнавальная настрой старого журнала, и еще один из бывших журнальных друзей А.Е. Разумов хмыкнул: «Кажется, у вас сейчас поболее было, чем у нас тогда». И вечер начался, как он и должен был начаться в честь этого автора — свободно, раскованно, иронически.

В общем-то Ахматова была права: поэзия растет из сора, но только в том случае, когда к этому сору прикасается художник.

* * *

Ортодоксы разных мастей считали, что у Кормера *нет ничего святого*. Если правоверные диссиденты негодующе недоумевали, как смеет он работать в философском, *почти идеологическом* издании, то фанаты журнала подозрительно замечали, что этот редактор *не отдаст себя журналу, не служит ему*, что наверняка у него *есть что-то свое*. А иметь свое, личное казалось почти предательством. Для Кормера многое было важным в жизни, даже святым (например, желание абсолютной независимости мысли, умение слушать Другого), но для него действительно ни одно понятие не имело сакрально-торжественного наполнения. Сакральность мест, понятий, явлений, традиционную российскую *идею служения* он высмеивал и презирал. Будучи едва ли не лучшим и высокопрофессиональным работником журнала, он не считал редакторскую деятельность смыслом своей жизни. Хотя он был человек дела и умел любое дело делать хорошо.

Его ироническое отношение и к советской действительности, и к борцам с нею объяснялось, я думаю, его глубоким пониманием, а может, просто ощущением явного распада режима и системы. Этот распад, названный перестройкой, он уже не застал, но партийные идеологи, ставшие главными обличителями идей марксизма и

¹ Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. М.: Традиция, 1997. В книгу вошли две статьи писателя и его роман «Крот истории, или Революция в республике S=F».

коммунизма, а также пропагандистами православия, невольно вызывают в памяти кормеровскую «мефистофельскую усмешку». Он действительно был дьявольски умен и прозвище «местный Воланд» носил не зря. Относиться к режиму всерьез мы уже не могли и не хотели. Более того, нормальная (то есть трудная, тяжелая, всякая) человеческая жизнь казалась более важным предметом для размышления и изображения, нежели власть имущие и их приспешники (разве что на факультативных правах). В равнодушии нашего круга к режиму, мне кажется, решающую роль сыграл Кормер, его проза. Он был исследователь жизни, а потому по сути своей — вне всяких партий.

Для него, несмотря на иронию его текстов, литература была дело серьезное, концептуализм и постмодернизм он называл «нелетающим самолетом», «самолетом, нарисованным на картинке». Серьезным и важным были отношения *дружеские*. Он не превращал свою жизнь в шоу, чтобы добиться славы и успеха *здесь и там*, а *там* еще и денег. Хотя мог бы. Особенно после премии Даля и выхода «Крота истории» сразу на трех языках — русском, французском и итальянском. Все мы помним, с каким шумом (когда после высылки Бродского и Солженицына стало ясно, что власть уже *не сажает, а отправляет на Запад*) творили себе паблисити иные писатели-диссиденты, собирая вокруг себя инкоров, устраивая идеологические скандалы, чтобы вызвать критический обвал в советской печати, тем самым создавая себе *имена борцов с режимом* и наворачивая горы вранья о своем геройстве. А самое главное — *подставляя* под удар карательных органов своих коллег (которых не могла защитить западная *гласность*), вынуждая их либо лишаться работы, либо совершать поступок, постыдный, хотя и известный со времен апостола Петра, именуемый *отречение*, что было уже несовместимо с их человеческим, личностным пониманием себя. Ригорист и фанатик в таких случаях мог бы сказать (да и говорили!), что тут-де и происходит подлинная проверка на *человеческую порядочность*. Если ты честный человек — жертвуй собой! Проверка и впрямь происходила. Но другого рода. Выяснялось, кто же мог отвечать сам за себя, не жертвуя ради своего престижа друзьями. Кто мог сам нести свою ношу. Кормер мог.

Владимир Кормер не любил политиканства, не принимал его. У него были другие ценности, которые можно было бы определить такими словами: достоинство, самоуважение и порядочность. Он сам выбрал свой путь и не хотел, чтобы другие оказались вынуждены разделять взятую им на себя ответственность. Он просто подал заявление об уходе, когда узнал о присуждении роману премии Даля. Не объясняя, куда он уходит. Журнал «Вопросы философии», надо сказать, мог послужить трамплином для другой престижной работы. И тут были юмористические казусы. Что-то интуитивно

чувствовавший и потому заушавший Кормера главный редактор (В.С. Семёнов) вдруг потерял бдительность, почему-то решил, что Володя *идет на повышение*, а потому и молчит о месте будущей работы, стал даже шутить: мол, наши сотрудники вливаются в высшие инстанции, важно добавляя по-английски: «Penetration, так сказать». А Кормер уходил в *никуда*. Лишь тогдашний ответственный секретарь (Л.И. Греков) сохранял недоверие и продолжал даже напоследок придираться к Володе по мелочам, нарвавшись в результате *на месть писателя*, попав как сатирический персонаж (Сорокаси́дис) в роман «Человек плюс машина».

Перед его смертью, склонившись у его постели, одна из наших приятельниц спросила умирающего: «Володька, а скажи, чего бы ты хотел сейчас больше всего на свете?» Он даже глаза закрыл. Но ответил: «А ты как думаешь? Любой писатель мечтает, чтобы его тексты были опубликованы — и неискаженно». В эти дни прошел слух о выходе в «Посеве» урезанного на треть «Наследства». И это мучило автора.

В 1997 г. журнал «Вопросы философии» в № 8 с моим предисловием опубликовал треть романа «Человек плюс машина». Надо сказать, с этим номером я обошел все московские журналы. Но получил везде вежливые отказы. Тогда с согласия главного редактора нашего журнала В.А. Лекторского, полного (извините за некую высокопарность, но правдивую) благородной решимости, роман в № 12 за 1998 г. был опубликован до конца с пояснением.

«От редакции. Публикуя в прошлом году («Вопросы философии», № 8, с. 77—111) треть романа Владимира Кормера, мы писали: “К сожалению, объем нашего журнала не позволяет опубликовать роман “Человек плюс машина” целиком. И вместе с тем мы идем на публикацию части романа по нескольким причинам. Во-первых, действительно философская проза (притом высокохудожественная) никогда не была противопоказана философскому журналу. Во-вторых, темы, поднятые в романе: технократические иллюзии интеллигенции, жизнь российско-советского научного сообщества, проблемы НТР, — всегда живо обсуждались на наших страницах. В-третьих, и было бы лицемерием это скрывать, Владимир Федорович Кормер как наш друг, многолетний сотрудник и автор журнала имеет право на исключение из общего правила — на публикацию своей прозы на страницах научно-философского издания. И в-четвертых, мы рассчитываем этой публикацией привлечь внимание к его творчеству не заангажированных литературных журналов”.

Прошло больше года. Мы предлагали рукопись (еще раз! спустя десять лет после смерти В.Ф. Кормера) в разные «толстые» литературно-художественные журналы, надеясь, что время прояснит ценность подлинных текстов. Естественно, мы начали с «Октя-

бря”, все же на волне энтузиазма опубликовавшего “Наследство”. К сожалению, там ответ был такой же, как и в других журналах: мол, вроде бы и все интересно, но необходим литературно-информационный повод для публикации романа, написанного в 1977 г. С жестким и безапелляционным резюме: печатать Кормера сейчас абсолютно бессмысленно. Но грех философам быть заложниками сиюминутности. Значительность содержания ведь меряется отнюдь не критериями моды или злободневности, *важнее всего понимать относительность сегодняшней актуальности.*

На наш взгляд, поводом для публикации хорошего текста может быть только сам этот текст. Как когда-то говорил Герцен: пока рукописи не пропали, их нужно предать печатному станку. Надо ли считать, сколько выдающихся памятников русской культуры он спас от забвения, сделав достоянием пусть узкого, но читающего круга российской публики. Надежда на тиранов, прозвучавшая в известной фразе о том, что “рукописи не горят”, может обольщать журналистское сознание, но отнюдь не философское, работающее с понятием вечности. Даже в метафизическом плане эта фраза говорит только о том, что все мы читаемы Богом. Не более того. Это вовсе не значит, что в земной жизни рукопись не может пропасть. Еще как может! В реальной действительности, не будь у “Мастера” его “Маргариты” и поклонников его таланта, пробивавших рукопись в печать, мы никогда не познакомились бы с романом о Воланде.

Мы вынуждены довершить начатое нами дело, понимая, что время (*которое в высшем плане, разумеется, соприкасается с вечностью*) проходит, и рукопись может пропасть. Поэтому мы публикуем последние две трети романа Владимира Кормера, напоминая нашему читателю, что начало этого текста он может найти в годовой подшивке журнала за прошлый год. В заключение хотим сообщить, что в январе следующего, 1999 г. Владимиру Федоровичу Кормеру исполнилось бы 60 лет».

* * *

Теперь необходимо все же сказать о главном романе писателя. Законченный в 1975 г. крамольный роман был напечатан, как я уже писал, лишь в 1990 г. Публиковались, казалось бы, более острые произведения: мемуары, романы, исследования, рассказы о страшных сталинских лагерях, о преступлениях, с которых началась «новая эра», о хрущёвских «островах коммунизма»... Роман Кормера оставался «непроходимым» ни здесь, ни там. На Западе друзьям писателя удалось опубликовать роман, но — сокращенным более чем на треть. Писателя хотели определить, на чьей он стороне, и, не определив, — отвергали. А он был сам по себе. Роман вроде бы о

диссидентах, но не диссидентский, и не антидиссидентский. Между тем всякое новое слово вторгается в литературу как бы со стороны, влияя по-своему на культуру, усложняя ее умственный и духовный строй. Думаю, что роман «Наследство» из таких, из «влияющих».

Владимир Кормер не дожил трех месяцев до своего сорокавосемилетия и четырех лет до публикации полного текста романа. Открыть его творчество читателю еще предстоит. Но могу уже сейчас сказать, что такого объективного, беспристрастного, аналитического подхода к действительности мы не видели, мне кажется, со времен Чехова, самого беспартийного из русских писателей. Я сознательно упомянул тот тип письма, с которым имеет смысл сопоставлять прозу В. Кормера. Художественный пафос его романа напоминает пафос естествоиспытателя: «Я наблюдаю, потому что хочу понять...» Задача его творчества, как я ее понимаю, весьма серьезна и ответственна: перед нами попытка художественного анализа метафизики отечественной культуры.

Само заглавие романа символично. Позволю себе параллель. В 1897 г. была опубликована работа «От какого наследства мы отказываемся?». Ее автор полагал, что можно отказаться от одной части культуры и взять «на вооружение» другую. Но презрительно отринутый путь революционного народничества (в пределе — нечаевский) оказался в дальнейшем доминирующим. Как показала история, наследуемый тип культуры нерасчленим — и в плохом, и в хорошем. Да и вообще нельзя ничего отвергнуть: в превращенном виде все явления истории и культуры продолжают жить, перетекая из прошлого в настоящее. От культуры нельзя отказаться, ее можно гуманизировать. Но для этого ее необходимо понимать, прежде чем предлагать «рецепты спасения».

Кормер хотел разобраться во взаимосвязи, взаимозависимости «грехов» и «правд» нашего прошлого и настоящего. Один из персонажей «Наследства», писатель Николай Вирхов, сочиняющий роман о русской эмиграции конца двадцатых годов и одновременно пытающийся записывать все, что видит вокруг себя (образ в значительной степени автобиографический), вдруг обнаруживает: «Он не присочинял, не строил никаких концепций, он просто дорисовывал то, что было уже известно, и лишь старался узнать этих людей поосновательнее, чтобы дорисовывать вернее. Более того, он желал бы совсем уйти от этой темы (т. е. современной. — В.К.), для того и занялся “исторической” линией. <...> Как это так получилось, что его история вдруг ожила, из плоской, записанной на клочках бумаги, претворилась в плоть и кровь, обернулась зверем?! Мертвые стали хватать живых. Самый малый шаг в глубь времен мгновенным ударом отдавался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каж-

дый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи, и все судьбы и все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то за что-то наследство. Никто не существовал сам по себе, вне другого».

Писатель осознает, что архетип культуры сильнее любого человека, что, думая, что поступают свободно, его герои ведут себя как марионетки на ниточках, и направляет их движение нечто, что определяло и жизнь их предков, неизжитые проблемы которых оказались актуальными и сегодня: «мертвые стали хватать живых». И два романа, которые пишет Вирхов, сливаются в один, обретающий единство проблематики и сюжета. Героиня «современного романа» Татьяна Манн оказывается незаконной дочерью героя «эмигрантских глав» Дмитрия Николаевича Муравьева, профессора, ученого, богатого и независимого человека, за которым «не стоят никакие круги». Деньги Муравьева, за которыми охотилась ЧК, всплывают в советской уже современности начала семидесятых как некий фантом: «наследство в твердой валюте». И вот уже бес, искушавший когда-то паразитарную сталинскую структуру, начинает смущать Валерия Александровича Мелика, одного из «сегодняшних» героев, «верующего христианина», пытающегося добиться рукоположения, но одновременно воспринимающего свое христианство как политическое дело, желающего выглядеть лидером христианской антисоветской партии. И уже непонятно, в самом ли деле герой сызнова воспылал страстью к своей бывшей возлюбленной Тане Манн или новую силу его чувствам придает вроде бы ожидающее ее наследство. Все зыбко, все двойится в этом не желающем осознавать себя и свое прошлое мире. Каверза романа в том, что денег-то, может, и нет вовсе, а наследство — есть. Оно — реальность, рок, проклятие. Герои наследуют не только нерешенные проблемы, но сам тип мышления и отношения к жизни.

Чрезвычайно важны для понимания замысла романа те духовные коллизии первой русской эмиграции, в которых пытается разобраться Вирхов, — с их сведением старых счетов, взаимными упреками, желанием не понять смысл произошедшего на Родине, а придумать «рецепт спасения». Партийные склоки противостоящих друг другу эмигрантских группировок, растущий немецкий национализм, подогреваемый сталинскими эмиссарами, разговоры о «Великой Германии» и «Великой России», провокации агентов ЧК, играющих на евразийских идеях патриотизма, раздувающих вражду между группками, — все это в ином вроде бы обличье неожиданно узнается нами во взаимоотношениях героев «современного романа». Ибо современные герои тоже имеют «благие намерения», но ведут они их, как и их предшественников, как пятьдесят, как сто лет назад, напрямиком в ад. Но кто же эти современные герои?

В поисках свободы, живой жизни, противостоящей официозу, все мы в той или иной степени симпатизировали диссидентству, среди которого были подлинные герои и святые, — напомним хотя бы Андрея Дмитриевича Сахарова. Впрочем, как в XIX в. сочувствовали революционерам-народникам весьма широкие слои русской интеллигенции, сами не ввязываясь в борьбу. Именно сюда, в диссидентские круги, следом за писателем Николаем Вирховым попадает читатель. Но для писателя Владимира Кормера изображение диссидентского движения — не цель романа. Просто через этот материал как через увеличительное стекло писатель пытался понять судьбу России. Будут, наверно, спрашивать, верно или неверно он «списал портреты». Но писатель не «списывал портреты», он при помощи своих героев говорит о сущности времени, культуры и т.д. А диссидентство было той самой болевой точкой, к которой сходились все нервные нити культурного организма России. И выяснилось, что у борцов те же беды и проблемы, что и у законопослушных граждан нашего государства: единое наследие — несвободы и неприятия независимой личности.

В доме Ольги Веселовой собиралась компания. Это были бывшие лагерники, прошедшие сталинские тюрьмы и ссылки, и молодые женщины и мужчины, считавшие бывших лагерников героями, людьми, «понимающими, как надо жить». Возникает замкнутая система, отражающаяся от остального, «неправедного» мира. Образуется своеобразная община. А у замкнутой группы, общины, роя, стаи — свои законы. Законы, отвергающие самобытность, индивидуальность, непохожесть. Как сформулировал в 1870 г. в издании «Народная расправа» Сергей Нечаев: «Одним словом, непримкнувшая без уважительных причин к артели личность остается без средств к существованию»¹. Но тоталитарное государство основано на том же принципе. И оппозиция отзеркаливает его структуру. Так что оказывается, что можно не служить, не делать карьеру, не вступать и не участвовать, более того, протестовать и подписывать, но... чураться, отталкивать тех, кто пытается думать своим умом, а не умом компании, умом кружка. Если вспомнить, то об опасности и ужасе кружковщины, перерастающей в бесовщину, предупреждали два наиболее чутких к общественным движениям писателя — Достоевский и Тургенев («Бесы» и «Новь»). Наше наследие — кружковщина, но наше же наследие — и противостояние ей. Кормер — наследник этой линии противостояния.

Неужели опять кружковщина, опять новая партийность?.. Да, первое и самое острое впечатление читателя именно такое, и оно

¹ Нечаев С.Г. Главные основы будущего строя // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. М.: Археограф. центр, 1997. С. 264. (Документальная публикация под ред. Е.Л. Рудницкой.)

не обманывает. Познакомившись в самых первых главах с Таней Манн, убедившись в ее неординарности, читатель с удивлением видит, что отвергающая систему, из семьи «сидевших», верующая искренне и истово, она, принимая всем своим существом вчерашних страдальцев, оказалась отторгнутой. «К ней вообще относились здесь отчужденно, и сблизиться с ними по-настоящему она не смогла. Она не знала причины, потому что делала вроде бы то же, что и они, — так же пила, так же читала стихи и писала экзистенциальные романы-монологи, которые Ольга одобряла, отводя ей роль “нашей Саган”. Но все они, однако, в чем-то не доверяли ей, и, хоть и думали о себе как об элите, ей самой, опростившись и зная жизнь, не упускали случая сказать “белая кость” и тому подобное».

Она, как замечает писатель, причины такого отношения к себе не понимала, но догадывается читатель: в ней слишком ощущалось свое, ни от кого не зависящее понимание жизни. При этом люди эти не злы, намерения их благородны. Кормер не шаржирует своих героев, просто сама жизнь, сам тип поведения — кружковщина — структурирует их поведение. Они сами оказались в плену законов, которые им диктовала наша жизнь.

Отсюда и моральный диктат, ригоризм, наплеватьство на личность, что мало отличалось от привычного законопослушным гражданам диктата партийной или комсомольской организации: «Меня хотят заставить делать то, чего я не хочу!.. Почему если кто-то думает иначе, чем они, то это уже подлость, это приспособленчество?! Это трусость? Я хочу быть человеком со своим мнением и жить, как я хочу, а не как они хотят... А то, как они говорили?!.. Нас, видите ли, не интересует, почему ты подписываешь и о чем ты при этом думаешь! Подписывая, ты становишься просто социальной единицей и в качестве таковой только и имеешь значение... Сво-лочи!» Таким образом, мы получаем зеркальное отражение государства, хоть и с обратным знаком, тот же тоталитарный синдром. И к читателю приходит понимание, что мы традиционно не можем осознать самоценности другого, личности. Ибо (вспомним слова поэта) «какие мы сны получили в наследство»? Да такие, по которым до сих пор живем. Нам не частное, нам «общее дело» подавай. Не случайно всплывает тень Достоевского, и мы слышим восклицание: «Бесовщина!» А кто из нас не переживал в той или иной степени диктата или остракизма того или иного кружка!

А где кружковщина, там непременно и претендент на роль лидера, фюрера, пахана, вождя. Здесь такой «обрученный со свободой» Хазин, который орет, обращаясь к человеку, пристроившему его на работу: «Ты понимаешь, б., что я идеолог русского демократического движения, или нет?! Ты понимаешь, что я за вас всех

кладу голову?!» В свое время против подобного революционерства предупреждали «Вехи», говоря о том, что истинная революция — научиться жить и работать культурно, по-европейски, не лозунги выкрикивать, а уметь трудиться. Характерна, кстати, фамилия — Хазин: здесь и «хаза», бандитский притон, и «Разин», символ разгула, вольницы. Замечателен ответ Хазину экономиста Целлариуса, такого «стихийного» веховца: «Двести миллионов хочет осчастливить, говно. А одному человеку можно за это на голову...»

Этот же экономист Целлариус говорит о том, что у каждого человека должна быть своя «средняя цена», и что вот «он не знает, как у других, но у него она останется прежней при любом режиме». Речь идет, разумеется, о наличии реальных знаний, профессиональных навыков, умении работать: это и есть средняя цена. И справедливость его слов герои очень даже чувствуют. Мелик изливается Вирхову: «Все как в вату... Все глохнет, любое усилие... Я не могу, так нельзя жить. Надо уезжать отсюда... А что дальше?! Там-то мы тоже никому не нужны! Слыхал, как Целлариус сказал вчера? — спросил Мелик. — “Средняя цена, средняя цена!” Это точно, между прочим. У него есть она, а у нас ее нету». Отсутствие этой средней цены приводит Хазина к слому и покаянию в КГБ, а Мелика — к трактату об оправдании Иуды. В пьяном бреде Мелику кажется, что он подписывает «сатанинский договор». Ему нечего противопоставить миру сему. Даже христианство. И стоит посмотреть, каково оно — «в исполнении» героев романа.

Ибо именно в их время готовилось общественное сознание к сегодняшнему «всеобщему интересу» к христианству, принявшему почти что характер государственной службы. Но вот беда: в этом интересе, который виден во всех телепередачах и газетах, можно углядеть желание морального воспитания, соображения просветительские, государственные, которые влекут за собой карьерные, даже полицейские и военные (институт полковых священников). Не видно одного: религиозности. И здесь «левые» не очень-то отличаются от «правых». Как в диалоге героев Достоевского: «Я верую в Россию, я верую в ее православие...» «А в Бога? В Бога?» «Я... я буду веровать в Бога». Героиня романа «Наследство» робко произносит: «Сейчас, кого ни спроси, обязательно будет богослов или специалист по делам Русской Церкви. Этого всегда так ждали, на это так надеялись, и вот сейчас, когда это происходит, видно, как это ужасно! Это так быстро стало модой, стало так доступно... как бы уже и неприлично: интеллигентный человек и не... Конечно, грех так говорить, но ведь это так?» Писатель угадал тенденцию, которая в наши дни из моды стала уже поветрием: вчерашние марксисты и истовые члены партии наперегонки бросились креститься,

гордиться православным прошлым и цитировать религиозных русских мыслителей. Ну а в романе? Мечется Мелик, пытаясь через рукоположение устроиться в жизни, составив себе из религиозности политический капитал. Набивает свою утробу апеллирующий к «почве» отец Алексей. Занимается культуртрегерством отец Владимир, видящий в христианстве терапевтическое средство лечения человечества. Один отец Иван Кузнецов, герой «эмигрантских глав», — пробравшийся с Запада в сталинскую Россию, служитель катакомбной церкви, безусловно верит в Бога. Но он и не по моде, он герой противостояния, крест несет, он одинок.

Про Кормера уже говорят, что он религиозный писатель, автор религиозного романа. Думаю, это не так. Если и религиозный, то скептик, наподобие Вольтера, о котором Белинский замечал, что нормы христианства у него в крови. Как писал Чаадаев: «Последствия христианства можно не признавать только в России. На Западе все — христиане, не подозревая этого, и никто не ощущает отсутствия христианской идеи»¹. Обезбоженный мир, где даже носители веры тщеславны и суетны, больше думают о своем преуспевании в разных областях жизни, нежели о духовном, нуждается в дьяволе, и он не замедлит явиться — в том или ином обличье. Кормер написал роман с точки зрения человека, воспитанного тысячелетней христианской культурой, которому поэтому не надо истоиво креститься на красный угол, где чехарда: то портрет Ленина, то икона. Особенно его правота стала ясна, когда церкви стали заполнять гэбэшники и бандиты в пуленепробиваемых крестах.

В ранних редакциях романа был эпиграф: «Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: „благословен Грядый во имя Господне!“» (*Матф 23, 38—39*). Воскликнуть этого никто из героев не сумел. Дом наш остается пуст. И вечная справедливость пасхального воскресенья, которым заканчивается роман, воскресенья, вознесшего Христа на небеса, нисколько не исключает шутовского хоровода и шабаша на земле. И под прикрытием Пасхи Хазин говорит о необходимости контакта с КГБ («Они не так глупы»); в алтаре героям чудится Мелик, недавно подписавший «договор с дьяволом»; заезжий иностранец собирается оформить брак с Таней, чтоб она могла выехать за наследством, и т.п. Вот такое жестокое знание о мире предлагает нам писатель.

И хотя оно тяжело, болезненно, трагично, оно необходимо. Все «лжи» и «правды» нашего прошлого мы несем в себе. Духовно независимый человек должен их видеть и понимать, чтобы противо-

стоять роевому, антиличностному сознанию. Русская классическая литература помимо жестокого и неприкрашенного изображения действительности оставила нам в наследство идею свободы. Но принять это наследство может только человек, преодолевший в себе раба. Кормер, на мой взгляд, следует в своем творчестве лучшим традициям, ибо глядит на мир глазами свободного человека. Что же в романе противостоит нашей чудовишной, запутавшейся в идеологических догмах реальности? Да сам роман, его свободное, не замутненное никаким идолопоклонством слово. Продолжая игру с понятием, вынесенным в заглавие романа, хочу сказать, что писатель Владимир Кормер оставил нам наследство, от которого мы станем богаче, если сумеем его освоить.

* * *

Владимир Федорович Кормер скончался от рака 23 ноября 1986 г. Болел он долго, больше года. Но держался поразительно мужественно и просто. Приходившим к нему друзьям о своей болезни не рассказывал, зато с искренним интересом расспрашивал об их делах. Затем он перенес тяжелейшую операцию (ему удалили почку). Я был у него в реанимационной палате, и между нами состоялся странный разговор. Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, осмеливаюсь записать его.

«Никому не рассказывал. Тебе скажу. Ты же тоже человек пишущий. Должен понять. Я *на том свете* побывал», — и лицо его было чрезвычайно серьезным.

Я неловко спросил:

«В каком смысле — *на том свете*?»

«В прямом», — ответил он.

«И что?»

«Меня *там* упрекнули. Мало работал. Если б мог, теперь жил бы по-другому».

Ему было сорок семь лет, когда он умер. Написал он и в самом деле не очень много. И все же не объемом написанного измеряется значимость писателя. Сама позиция его, художественная, философская, человеческая, была столь значительна, что и поныне остается актуальной и нуждается в осмыслении и закреплении.

Безвременья не бывает. Бывают люди сдавшиеся и люди выстоявшие, сохранившие верность себе и своему творчеству. Владимир Кормер был таким выстоявшим. Россия, даже превращенная в «случайное семейство», все же имела своих героев. Одним из таких Героев, бесспорно, был великий русский писатель Владимир Федорович Кормер.

¹ Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 280.

29. Судьба романа «Крепость»

(Нечто почти личное)

Писать и прятать

А была ли у этого романа судьба? Именно как у романа. Много ли людей его прочитало? Заинтересовались ли им критики? Узнала ли Европа? Было опубликовано о «Крепости» три статьи людей, которые знали автора. И это все. Был десяток писем, порой весьма восторженных. Пока роман был в рукописи, читавшие его произносили слова о Нобелевской премии и тому подобное. Да я и сам в какой-то момент поверил в его значительное будущее. Чудовищно сокращенный роман, его журнальный вариант, был номинирован на премию Букера, которую, естественно, не получил. Я насмотрелся, как мне швыряли рукопись сотрудники толстых журналов со словами: «Это никто не напечатает. Вы что о себе возомнили! У нас сейчас Набоков с Солженицыным на очереди». Роман и вправду был большой, почти соток печатных листов.

Начало романа — это когда я еще не думал, что это роман. Мне было лет двадцать, и я написал повесть под названием «Сочинение», где появился герой Петя Востриков. Это был 1965—1966 год. И герой, и тема школьного сочинения вошли потом в роман. Повесть не получилась, долго валялась среди бумаг, но, кажется, в результате многих переездов так и пропала. Потом на протяжении лет шести я приступал несколько раз к этому замыслу, пытаюсь взять неподдающуюся высоту разными формальными штучками, которых поднабрался в русской и западной прозе Серебряного века и двадцатых годов. И Белый, и Ремизов, и Пильняк, и Дос Пасос, и Хемингуэй — все их фокусы я опробовал. Искал даже мелодику Набокова. Пока не понял, что все это не мое, заемное. И прозу бросил, занялся диссертацией. Года три не писал ничего, напоминавшее художественный текст, хотя записную книжку всегда при себе носил. Но защитив диссертацию, ощутил вдруг пустоту в

душе, а также раскаяние, что променял себя на нечто внешнее. При этом, видимо, я уже переболел всеми формальными поисками, они мне стали просто не интересны. А интересно стало рассказать своим языком, своей интонацией, своим построением фраз о том, что я и впрямь пережил и перечувствовал. Так появились «Два дома» (1975). Потом «Я другой» (1978), еще десяток рассказов. Все это не печаталось, хотя я с тупым упорством носил свои тексты в разные редакции. Я не очень понимал причин отторжения. Потом мой друг Володя Кормер, которому очень нравились «Два дома», сказал про эту повесть, что испытывает «белую зависть», но для советских журналов она даже не антисоветская, а «просто из другого ящика». Она побывала во всех крупных журналах Москвы, я часами сидел в приемных, дожидаясь, когда очередная литературная дама, редактор отдела прозы, найдет время, чтобы сообщить мне, что моя проза их не устраивает. Были некие прорывы, ничем не окончившиеся. Написал на эту повесть отзыв Виктор Розов для «Нового мира», но не прошло. Была повесть слишком личной, я писал не о том, что нужно реакционерам или либералам, а то, что чувствовал. Но чувства и переживания подростка из образованного слоя никому не были нужны. Нужна была кондовая деревня с ее *ладом*, *заседания парткома*, который оказывается двигателем прогресса, либо *призыв на бой в борьбу со тьмой*, как сделал Андрей Вознесенский, изобразив играющего в городки Ленина в Лонжюмо. И каждый бросок биты — удар по нынешним и будущим «реакционерам», в число которых он смело включил Берию. Надо сказать, что готов был напечатать мою повесть «Наш современник» при условии русского псевдонима. Я отказался, не считая себя чужестранцем. В одном журнале повесть послали на отзыв поэту-леваку Алексею Прийме. И отзыв был тот, какой от него ожидался: «*От публикации повести В. Кантора следует воздержаться. Не чувствуется ведь на ее страницах дыхания современности, которым отмечены фактически все без исключения художественные произведения, в нашем журнале до сей поры опубликованные. А чувствуется иное дыхание: дыхание но-стальгического толка, имя которому — тоска по давно ушедшему и — сквозь романтическую дымку — надрывно-романсовое прощание с ним*». Как я уже рассказывал, в «Дружбе народов» главный редактор Сергей Баруздин сказал, держа автора за воротник рубашки: «Вас нельзя печатать, вы мрачный писатель. Рецензент сравнивает вас с Камю. А вы хуже. Прямо как Достоевский. Я грустный писатель, а вы мрачный. Но Россия — светлая страна. Уж если кто нам нужен, то Солженицын. Но и его печатать пока нельзя». Конечно же, после такой характеристики, несмотря на польстившее мне сравнение с Достоевским, журнал повесть отверг.

Но, впрочем, это маленькое отступление связано с главной темой, поскольку в первых четырех главах романа хронотоп развитого социализма (время и место действия) давался глазами повзрослевшего мальчика из «Двух домов», подростка, который уже учится в десятом классе, живет с умирающей бабушкой, старой большевичкой, в сущности, ставшей главной героиней романа. Хотя в романе три трагических героя, живущих на грани гибели, — старая большевичка Роза Моисеевна, подросток Петя Востриков и философ Илья Тимашев, работающий в журнале. Собственно, погибнуть должны были все трое (каждый по-своему), но в последний момент жена уговорила пощадить мальчика, что я и сделал, прибегнув к двусмысленности: персонажи говорят о нем, что он не то погиб, не то родители увезли его на Запад. Впрочем, посыл был на создание чего-то типа античной трагедии: Агамемнон с любовницей, его жена Клитемнестра и ее любовник Эгисф. Сам прошел нечто подобное.

Писал, о чем думал, об этом говорили и мои герои. К этому моменту я окончательно наплевал на соображения о том, что интеллектуальных тем в литературе быть не должно, что, прежде всего, должны быть чувства и переживания. Чувств и переживаний (страха, любви, испуга, ожидания неизбежного конца) в тексте было полно, но были и размышляющие герои. В конце концов, мог же Лев Толстой писать об «умствованиях» своих героев, я так даже назвал десятую главу романа. Может, сейчас все эти внутренние колебания о том, может ли в нормальном романе существовать интеллект, кажутся смешными. Но тогда были вполне серьезными. Но у меня была опора — друг отца. Поэт Наум Коржавин, ставший моим гуру, который написал стихи «Рассудочность»:

Мороз был — как жара, и свет — как мгла.
Все очертанья тень заволокла.
Предмет неотличим был от теней.
И стал огромным в полутьме — пигмей.

И должен был твой разум каждый день
Вновь открывать, что значит свет и тень.
Что значит ночь и день. И топь и гать...
Простые вещи снова открывать.

Он осязанье мыслью подтверждал.
Он сам с годами вроде чувства стал.

....

А ты, как за постыдные грехи,
Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.
Смотрел вперед, а видел пелену.
Я ослеплен быть мог от молний-стрел,
Но я глазами разума смотрел.

И повторял, что в небе небо есть.
И что земля еще на месте, здесь.

Что тут пучина. Ну а там — причал.
Так мне мой разум чувства возвращал.

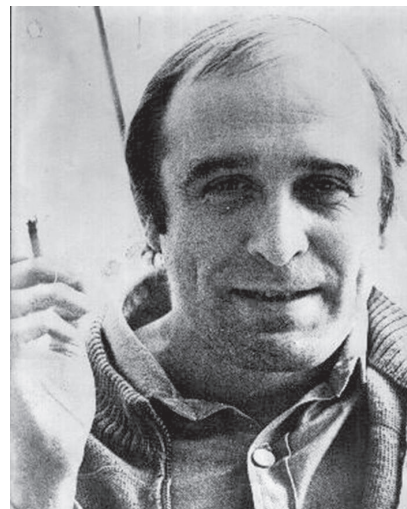
Нет! Я на этом до сих пор стою,
Пусть мне простят рассудочность мою.

Это декартовское послание в мир было мной принято и воспринято. И я писал, как думал и что думал, не заботясь о верности мнениям, существующим в официальном мейнстриме и среди инакомыслов. Но никому не рассказывал, слишком запредельные были мысли и соображения. Шел 1980 год, а герою пришла мысль о возникновении новой русской диаспоры, если вдруг распадется Советский Союз. И даже никого не будут изгонять, как при Ленине. Ведь много русских живет в разных республиках, которые вдруг станут независимыми странами. Илья Тимашев говорил: «Евреи поначалу относились к своим пророкам, как и мы: выгоняли, побивали камнями, распинали. Это ведь библейское: нет пророка в своем отечестве. И то, что наши философы и художники после революции оказались за рубежом — Бердяев, Булгаков, Франк, Шестов, Бунин, Цветаева — это и плохо, просто ужасно, но это и начало некоего процесса, впервые в русской истории родилась русская диаспора, в которой число интеллектуалов в процентном отношении к общей массе было невероятно велико. Это не эмиграция, как в прошлом веке, это диаспора — разница принципиальная. У евреев Завет тоже стал составляться в диаспоре, когда народ был рассеян, разметен. И в Завете он искал единства, учился преодолевать свои пороки, читая проклятия своих Учителей. Народ Книги! Но о близости еврейской судьбы и русской писал еще Владимир Соловьёв. Близости — несмотря на весь свойственный темным душам в России антисемитизм. Близости — в любви к литературе, и в грядущей судьбе — судьбе рассеяния, диаспоры. Сколько русских живет по разным республикам! Процентом тридцать или сорок! Такого при царизме не было. А это не рассеяние ли? Достаточно вообразить, что республики из колоний становятся независимыми государствами. Вот вам новая колоссальная диаспора». Собеседник возражает: «Так вы считаете, что будет еще одна катастрофа? —

привстал с кресла Борис. — А какие признаки надвигающегося на нас кризиса? Я не вижу. Как писал мой любимый Шекспир — повольте и мне процитировать:

В высоком Риме, городе побед,
В дни перед тем, как пал могучий Юлий,
Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц
Визжали и гнусили мертвецы;
Кровавый дождь, косматые светила,
Смушенья в солнце; влажная звезда,
В чьей области Нептунова держава,
Болела тьмой, почти как в судный день.
Такие же предвестья злых событий.
Спешащие гонцами пред судьбой
И возвещающие о грядущем,
Явили вместе небо и земля
И нашим соплеменникам и стражам.

А что явлено нам? Держава как никогда мощна, все ее трепещут, мы, может, победить не можем, но и нас никто не победит. Конечно, если мы проиграем Афганистан, как проиграли в прошлом веке Крым, то возможны реформы, но не более того. В социальном смысле все довольны. Я не говорю о личных катастрофах, они всегда и везде возможны. Или вы считаете, что такая империя, как наша, может сама собой развалиться? Чудес не бывает». Конечно, много было романтики в рассуждении героев, как будут русские спасаться. Это была, как мне казалось, довольно важная идея — русская литература как русская Библия, которая объединит потерявших свою опору русских людей: «Возникнет грандиозная диаспора русских людей, обретших свою сущительность независимо от государства, и утвердится в мире новая Библия, которая на новом витке истории после разрушения у нас даже зачатков цивилизации окажется хранительницей преданий, традиций, духа, сохранит высшие достижения русской культуры. Поэтому я и говорю, что в нашей классической литературе наша единственная надежда, что мы не озвереем окончательно. Будет большой канон и малый канон — разных объемов, но составлять и комментировать надо уже сейчас». Были в романе и шуточки из городского фольклора, который я всегда любил, но КГБ они явно не понравились бы, скажем, такая шутка: «Что такое пятнадцать человек на сундук мертвеца?» И ответ, придававший пиратской песне из «Острова сокровищ» макабрический оттенок: «Как что такое? Это же Политбюро на мавзолее». Да и другие шуточки были неслабые.



Владимир Кормер. 1983

На этой главе мне пришлось прервать писание романа. У моего друга Владимира Кормера вышел на Западе роман «Крот истории», причем роман получил премию Владимира Даля. У Володи был обыск, арестовали пишущую машинку, отобрали какие-то бумаги, но важного ничего не нашли. Все свои тексты он хранил у друзей. У меня несколько лет лежала рукопись, наверно, главного его романа — «Наследство». Он ожидал ареста. Однажды, как он на следующий день со смехом рассказывал, почти по Солженицыну он думал, что пришло его время.

Его вдруг вызвали в военкомат, а ему уже сорок лет. Надо добавить, что его военкомат находился на Лубянке. Он и все мы не раз читали, как вызывали перед арестом в какое-то нейтральное место, а человек оказывался на Лубянке. А тут и ходить далеко не надо было. На всякий случай он сказал, чтобы жена его не ждала, и отправился в военкомат. По его рассказу, когда он поднялся на четвертый этаж, то машинально глянул в окно и увидел внутренний тюремный двор. И сел перед нужным кабинетом, ожидая, что его сейчас заберут. Но пришла его очередь, он вошел в кабинет, за столом сидел майор, спросивший его фамилию и начавший рассматривать какие-то списки. «Одно меня утешало, — острил потом Кормер, — что вряд ли это были уже расстрельные списки». И вправду, майор, найдя его фамилию, попросил, причем вежливо, пройти в соседний кабинет. Там за столом сидел уже полковник. Он поднял голову, увидел Володю и неожиданно поднялся из-за стола и пошел ему навстречу, протягивая руку для рукопожатия. Лицо его было освещено радостью и дружелюбием. «Хорошо, что вы пришли, Владимир Федорович, — сказал полковник, улыбаясь весьма приветливо. — Давно хотел с вами познакомиться, ведь ваша очередь давно подошла, и мы хлопотали за вас. И вот уже результаты». Кормер рассказывал, что сразу подумал: «Вот это добрый следователь, не знает, что сказать, потому и несет какую-то чушь». А потом себя остановил: «Что за бред! Причем здесь следователь? Я же еще не в ГБ». А полковник продолжил: «Поздравляем вас, Владимир Федорович, с присвоением очередного воинского звания. Теперь вы — старший лейтенант!» Володька рассмеялся:

«На самом деле, как я понимаю, это был психологический нажим. Раньше я был приписан к другому военкомату. Перевели в этот, чтобы я ощутил близость расправы». Я спросил: «Ощутил?» Кормер хмыкнул: «Вполне. Я боюсь, что теперь пойдут обыски у друзей. Хочу забрать у тебя “Наследство”. Нашел, куда его отнести. Да и ты подумай, нет ли у тебя чего компрометирующего. Какая-нибудь новая рукопись, которой ты не хотел бы лишиться». Конечно, я сразу подумал о «Крепости».

Но куда ее было деть! За исключением Кормера только один мой друг знал о том, что я пишу прозу. Эдуард Тинн жил в Таллинне, а познакомились мы в аспирантуре. За несколько лет нашей дружбы я понял, что могу абсолютно положиться на него, что он не подведет никогда. Несмотря на свою эстонскую медлительность, был большой ловелас, со смехом принимавший правила партийной игры. «Мы, эстонцы, маленький народ, — говорил он, — поэтому на нас мало обращают внимания. Большой брат разрешает нам вольности, и парни в нашем ЦК вполне пристойные ребята». К тому моменту он стал главным редактором эстонской Литературки, называвшейся «Sirp ja Vasar». Эду позволял себе многое как главный редактор. Скажем, печатал советских диссидентов. Напечатал известного Володю Гершуни, который, ничего не поняв, говорил всем знакомым, что в эстонской газете сидит «какой-то партийный недоумок», и тот даже напечатал его, Гершуни! Эду просил меня не разувирать московских интеллектуалов, что он недоумок. «Пусть, чёрт, так думают. Мне так легче проводить их тексты». Узнав о моих тревогах, хотя по телефону я бормотал нечто не очень вразумительное, он сказал: «Успокойся, Володенька. Партийный товарищ Тинн всегда придет на помощь!» И действительно, через день он приехал, выслушал мои пророчества о развале СССР, взял оба экземпляра и, смеясь, произнес с нарочито утрированным эстонским акцентом: «Думаю, московские кагэбэшники никогда не догадаются, что некий московский не очень лояльный человек дружит с настоящим партийцем товарищем Тинном! Не волнуйся, у меня все будет в полной сохранности». И уехал. Я был отныне спокоен, но голова продолжала работать, я делал наброски в блокнот, но запретил себе эти наброски перепечатывать.

В 1983 г. я попал на философскую конференцию в Красновидово. Эта поездка многое поменяла в моей жизни. Я делал там пленарный доклад о пророческом пафосе русской мысли. Мы, конечно, выпивали там немало. Со мной в одной комнате жили Борис Юдин и Вадим Рабинович, пили водку и немного вина, хотя мешать нельзя. Но я все убежал из нашей комнаты в комнату в другом отсеке, где жили московские философнии и среди них очень понравившаяся мне девушка. Мне хотелось, чтобы она услышала мой доклад, и он

бы ей понравился. Но она не слишком реагировала на мои заигрывания, которые ей явно не нравились, слишком кавалер был пьян. Но поглядывала на меня с интересом. Короче, я вернулся в наш номер и пил уже без остановки, пока не свалился на койку. Друзья уложили меня под одеяло. Утром я не мог поднять головы. Борис сразу предложил мне выпить водки, чтобы прийти в себя. Но я не любил опохмеляться, глотнул на всякий случай бокал сухого, но оно мне не помогло. Горло пересохло, слова еле вязались. Поэтому сев за стол, стоять за кафедрой я был не в состоянии, я осторожно начал со слов, что вчера все допоздна болтали, поэтому-де у меня, возможно, будут некие запинки в докладе. Леонид Баткин, который вел первую часть конференции, тут же заложил меня: «Видели мы ваши беседы! Как вы пили и к девушкам бегали». Я вяло отмахнулся и произнес первую фразу, что принципиальное отличие русской культуры, отличающей ее от других европейских культур и сближающее ее с древнееврейской, заключается в ее пророческом пафосе. Тут голос у меня сел окончательно. Я смотрел в зал, чувствуя, что лучше бы понравившаяся девушка меня не видела. И тут длинными шагами зал пересек Борис Юдин со стаканом в руке: «Это вода, — громко сказал он. — У докладчика горло пересохло». Протянул мне стакан и шепнул: «Это водка. Выпей немедленно, если не хочешь опозориться». И я залпом выпил стакан водки, на минуту замер, но тут же в голове начало яснеть. И я произнес свой доклад, покоров свою будущую вторую жену. Мне хлопали. Особенно старались молодые парни в аккуратных костюмах и приличных галстуках. Это были участники комсомольской конференции, которая проходила в том же здании и примерно в то же время.

Темы их конференции не помню. Не помню и то, как и каким образом я оказался в их отсеке, но помню, как повели они меня в номер их жоака, рослого спортивного блондина с правильными арийскими чертами лица, которое было бы даже интеллектуальным, если бы не внимательный чересчур глаз и не повышенная обходительность, не принятая в нашем кругу. Он достал бутылку красного вина, сказав, что привез ее из Парижа несколько дней назад (в Париж никто из моих друзей в те годы не ездил), сказав, чтобы я пил, не стесняясь, что вино настоящее, хорошее, что есть еще. И действительно достал еще две бутылки, поскольку к нашему столу подвели еще трое комсомолов с вежливыми улыбками. И все они говорили, что им чрезвычайно интересно общаться с таким замечательным интеллектуалом, как я. Наводили мосты с интеллигенцией, как я поначалу подумал. Мы выпили под их славословия по паре бокалов, закусывая французским сыром. Меня снова повело. Но потом, как я ни был уже пьян (вино легло на вчерашнюю

водку), я насторожился, поскольку вожак по имени Сергей вдруг сказал мне: «Ну что, Володя, выпьем за твое творчество! Очень бы хотелось почитать, что ты пишешь для себя». Я изобразил тут же (на автомате!) простодушного недотепу: «Да все, что я пишу, опубликовано либо в “Вопросах философии”, либо в “Вопросах литературы»». Вожак возразил, даже сделал протестующий жест рукой: «Ты не понял, я о твоей прозе...». Я удивился: «Какой прозе? Я же философ!». Он полуобнял меня за плечи: «Но у каждого творческого человека всегда есть нечто, что он доверяет только своему письменному столу. А каждый пишущий втайне все же писатель, и порой интереснее, чем члены Союза писателей!» Я вывернулся из-под его руки (ух на каком стороже проходила наша жизнь!) и возразил: «Может, кто и пишет, а я этими глупостями не занимаюсь. Я, пожалуй, пойду». Он настаивал: «Но я же знаю, что ты пишешь». «С чего бы это я стал писать прозу! Да и откуда тебе знать!» — рванулся я к двери. Он шагнул за мной следом, за ним еще пара парней. Но дверь я уже открыл и на свое счастье за дверью я увидел понравившуюся мне девушку, которая сказала: «А я тебя всюду искала. Девчонки мне сказали, что ты в эту сторону пошел». Ариец отступил: «Ну, раз у тебя такая очаровательная провожатая, не стану навязываться!» И он отступил назад за дверь. Марина взяла меня за руку, назвав вдруг по фамилии (так потом и всю жизнь называет): «Пойдем, Кантор. Не надо пить с кем попало. Особенно с этими». Прятанье продолжалось. Ведь надо было не только написать. Но и утаить.



Марина. 1983—1984

Чтобы закончить с этим сюжетом, еще один эпизод. В следующем году меня пригласил на свою еще полуподпольную выставку приятель брата — художник Алексей Сундуков. Выставка собрала несколько десятков далеких от официоза интеллектуалов. Смотрели мрачные лица москвичей, сидящих в метро, длинные очереди несчастных людей и т.д. И вдруг белозубая (вправду белозубая!) арийская улыбка Сергея: «Я же говорил, что встретимся!» Чуть позже я спросил Алешу, откуда он знает Сергея: «На улице подошел.

Сказал, что слышал обо мне, хотел мои картины посмотреть. Хороший парень!» Специализация у него, видимо, была такая — по творческим людям. Я сказал Алеше, чтобы он был осторожнее, но тот только пожал плечами. Через год Сундуков уехал в Штаты. Мне непонятно было, прокол ли это Сергея или его задача была выдворять нонконформистов за пределы державы. Не знаю.

В 1985 г. началась перестройка, я подумал, что пора вернуться к роману. И позвонил Тинну с просьбой устроить приглашение мне и Марине как бы на конференцию. Что он и сделал, поселив нас на окраине Таллинна у своих приятелей — актеров Русского драматического театра Эстонии. Они были на гастролях, а в их однокомнатной квартире поселилась влюбленная пара. На стене висела фотография Марины Влади и Владимира Высоцкого. Степень популярности Высоцкого сегодня трудно вообразить. Рукопись Тинн принес через два или три дня, но я тогда даже не стал ее смотреть, слишком мы были заняты друг другом. Все же человек должен иметь хотя бы одного настоящего друга, на которого он может положиться в самые скверные минуты жизни. Мне в этом смысле повезло. У меня был и, слава Богу, пока есть такой друг. Эстонец из страны, весь советский период (и после) не любившей Москву, был самым надежным человеком в моей жизни¹. Кстати, солженицынский Иван Денисович тоже говорил, что эстонцам всегда можно было доверять. Объяснить это не берусь. Просто в один из дней пришел друг Эдуард Тинн и принес довольно толстую папку, где лежали оба экземпляра романа. «Где прятал?» — спросил я. «Это мой маленький эстонский секрет», — подмигнул он. Мы прошли до какого-то кафе, но долго не рассиживались, очень спешили домой. Он не стал нас задерживать.

¹ Маленькая история, иллюстрирующая мою фразу. Как-то в советское еще время Тинн устроил мне приглашение с докладом в комсомольский лагерь недалеко от Нарвы на молодежную конференцию деятелей культуры Эстонии. «Будет эстонская элита», — сказал он. Но сам Эдуард приехать к моему докладу не успевал. Помню, я делал доклад на тему «Понимание Пушкиным свободы». После доклада два-три вежливых хлопка. Честно сказать, такая реакция была тогда для меня непривычна. Потом был обед, за столиком я сидел один. Нет, вначале со мной сидел один эстонский режиссер и молча поглощал свой обед. Вдруг освободилось место за другим столиком с эстонцами. Он тут же встал, сказал «Извините». И ушел из-за моего столика. Тяжело чувствовать себя изгоем. Вечером обычное эстонское развлечение — сауна. Я решил туда не ходить. Внезапно в моем номере появился Тинн. «Володюшка, пойдем в сауну». Объяснять ему я ничего не стал. Просто пошел с ним. Но он, видимо, все понял. В сауне его радостно приветствовали — человек он был в Эстонии известный. Вытолкнув меня вперед, он сказал: «Я хотел бы представить всем одного из ближайших моих друзей, философа и писателя Владимира Кантора, это я его сюда вытащил». И тут вдруг все принялись дружески пожимать мне руки и хлопать по плечам. А мой прежний сосед по столу сказал: «Очень хороший доклад сделал ты». Я не удержался и спросил: «А сразу это было незаметно?» Он ответил: «Сразу заметили, но мы не знали, кто ты. Мало ли кого Москва пришлет!».



Два друга в Таллинне — Владимир Кантор и Эдуард Тинн

Прошло еще несколько дней. Потом вернулись хозяева квартиры, мы поблагодарили и представились. Они вдруг так радостно улыбнулись: «Как здорово! Марина и Володя! Вы были на своем месте». Это дало мне установку на работу. В 1986 г. на меня нахлынул роман «Крокодил». Роман этот я написал за три недели. Мне казалось, что если я его не напишу сейчас, то забуду крокодильскую эпоху. «Крокодил» всем нравился, кроме редакторов журналов, в которых мне говорили: «Где вы видели таких советских людей?!». Благодаря Самуилу Лурье, которому текст чрезвычайно понравился, я напечатал этот роман весной 1990 г. в «Неве», где Лурье тогда работал. Теперь его перевели на разные языки. Даже стипендию Бёлля не в последнюю очередь я получил благодаря «Крокодилу».

Но вернусь к «Крепости». До 1989 г. я писал роман, не отрываясь. Очень много перечитал, причем то, что раньше и не думал читать. Поскольку главная героиня Роза Моисеевна (прототип — моя бабушка) почти сорок лет прожила в Аргентине, потом воевала в Испании и даже получила орден «Красного Знамени» за проявленный героизм (а на столе у нее стоял металлический бюстик Дон Кихота и интербригадонец в красной пилотке), я принялся учить испанский язык и погрузился в испанскую и латиноамериканскую литературу. И «Дон Кихот», и Борхес, и Хуан Карлос Онетти,



Карл Кантор

и Маркес (да вообще латиноамериканский магический реализм был усвоен), и очень много читал Кальдерона, от него и от Сервантеса явные барочные черты и барочная трагическая интонация романа. Прочитал книгу знаменитого аргентинского президента Сармьенто «Фаундо». О Борхесе и Онетти опубликовал даже статьи. И написал больше сорока печатных листов. Правда, успел за это время защитить докторскую диссертацию, развестись с Милой и жениться на Марине. А Марина — родить дочку Машу. Но Марине читать рукопись романа не давал. Доверял я тогда только оценке отца. Отец держал роман почти неделю. А потом сказал, чтобы я приезжал поговорить. Роман ему скорее не понравился, хотя сказал, что замах мощный, объем тоже не маленький, есть пара очень удачных глав, особенно глава с пророчествами. Но мало энергии, нет интриги, которая бы держала действие. А тогда все у меня кончалось сравнительно благополучно, героев жалел, не хотел погружать их в ужас жизни. «Ну и ладно, — сказал я, — значит, не получается у меня большая форма». Отец рассердился: «Что за малодушие! Знаешь, сколько раз Толстой переписывал “Войну и мир”? Тринадцать раз. А это все же эпопея! И у тебя вариантов нет. Надо все переписать от первой до последней строчки».

Я не удержался: «А удачные главы тоже переписывать?» Отец пожал плечами: «Ты пиши, как до них дойдешь — сам решишь!» Но тут уж меня заело. И я решил и в самом деле отложить все дела. За два с половиной года я не написал ни строчки постороннего текста. Разве что рецензию для «Знамени» на роман «Наследство», вышедший в «Октябре» и отдельным изданием в 1990 г., четыре года спустя после смерти Володи Кормера.

Когда я заканчивал роман, вновь всплыла тема укрытия, прятанья текста. В августе 1991 г. я подошел к завершающей главе под названием «Последняя возможность свободы». Я и без ГКЧП знал, что герой реализует в этой стране последнюю возможность свободы через самоубийство, попытка переворота, так мы восприняли ситуацию, казалось, добавила энергии в переживания героя. А случилось так. Утром жена мне говорила, что я многое угадываю, что многие концовки моих текстов исполняются. Я возразил, что вот, мол, напи-

сал про крокодила, а его, разумеется, нет и не будет. Вполне серьезно возразил. И тут позвонила теща. Я первый снял трубку. Обычно она со мной не говорила, сразу требовала к телефону дочку. Но тут сказала быстрым голосом: «В стране переворот. У власти какое-то ГКЧП. Включите телевизор». Перед этим я закончил предпоследнюю главу «После смерти», которую Марина прочитала через плечо и сказала, что ей страшно здесь жить. А теперь, включив телевизор и увидев лица людей, как бы отстранивших Горбачёва, обещавших навести порядок в стране и уже пославших танки в Прибалтику, мы оторопели. «Ну вот, — сказала Марина, — вот и крокодил пришел». Утром я пошел на работу, двигаясь между танков, которые оккупировали Москву. Адреналин был на высоте. А вскоре началась осада Белого дома. Первая реакция была — ехать. Там друзья. Но жена сказала: «А мне кажется, надо тебе дописывать роман. Ты столько над ним сидел. Было бы глупо не завершить работу. **А потом думать, куда его снова прятать...**». И писал я, не разгибаясь, пока шла борьба вокруг Белого дома, пока гекачеписты мотались в Форос к Горбачёву, отрывался только, чтобы послушать «Эхо Москвы». И я дописал роман за три дня, к моменту завершения всей истории с ГКЧП. И отец на сей раз сказал все хвалебные слова, какие мог. Это, конечно, для меня было очень важно, потому что я доверял ему полностью: он всегда говорил то, что думал.

Но мысль о том, что надо найти роману некое надежное укрытие, меня не оставляла. Не было ощущения, как, скажем, у Солженицына, что этот текст откроет кому-нибудь глаза на что-нибудь, сообщит правду о, скажем, советском строе, но туда была вложена душа и много лет работы, напряженного творческого писания, и не хотелось, чтобы это пропало. Хотелось, чтобы хоть кто-то услышал мой внутренний голос. Сразу скажу, что полный текст романа так и не был опубликован, печатались отрывки, сокращенные варианты, даже отдельной книгой роман вышел изрядно сокращенный. Но об этом еще расскажу. Пока же доведу до логического завершения **тему «прятать»**. В конце 1991 г., под Новый год, позвонила мне домой Дагмар Херрманн, с которой я познакомился в 1990 г. в Германии. Дагмар была сотрудницей в огромном проекте Льва Копелева «Немцы глазами русских и русские глазами немцев». Сотрудники копелевского проекта были тесно связаны с фондом Генриха Бёлля, куда Дагмар передала мои книги. Собственно, она и рассказала мне о фонде, без нее я бы никогда и не подумал, что кто-то может меня пригласить в другую страну, чтобы я мог писать и получать при этом стипендию. Это было выше моего советского понимания, ибо в СССР такого рода оплаченные дома творчества получали советские маститые, доказавшие свою верность власти. И вот она сказа-

ла, что мои книги победили по трем номинациям и что я получаю стипендию фонда Бёлля на 1992 год, на полгода, начиная с июля, что весной она приедет с коллегой в Москву по делам и передаст мне деньги на дорогу: «Поздравляю вас с наступающим немецким годом». И когда они приехали, я упросил Дагмар забрать рукопись романа, пусть хранится она в Германии: кто знает, какое еще ГКЧП объявится в России. «Только рукопись тяжелая», — сказал я, извиняясь. «Такая тяжесть только в радость», — ответила почти в рифму немецкая красивая женщина и христианка.

Печатать, или Ожидание счастья

Я, если честно, ожидал чего-то похожего на счастье, счастья не случайного, а заслуженного многолетней работой. Первый раз в истории моих художественных писаний я был уверен, что текст будет напечатан, и даже знал, в каком издательстве — в издательстве им. Сабашниковых, где в 1991 г. вышел роман-сказка «Победитель крыс» огромным тиражом. Издатели знали, что я пишу очень большой роман, и были готовы его издать. И когда они прочитали текст, то приняли его, роман им понравился. «Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. <...> С жестокой беспощадностью, позволившей только искусству, автор романа всматривается в человека — в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях. А в общем основные темы просты и жутковаты: любовь, насилие, смерть», — так они анонсировали этот роман в 1992 г. Во всяком случае, когда я в июле уезжал в Германию на стипендию Бёлля, уже была верстка романа (она до сих пор у меня хранится). При этом русский издатель отправил дайджест романа во французское издательство «Фламарион», которое пообещало, что сразу после выхода романа в издательстве Сабашниковых он будет переведен и издан во Франции. Так что ехал я в приподнятом настроении, в ожидании должного наступить счастья, более того, как последний идиот, рассказывал немецким литературным знакомым, что у меня должен выйти новый роман по-русски и практически сразу по-французски. И, конечно, сглазил! Нельзя о таком рассказывать встречным и поперечным, надо иметь простое писательское суеверие. Но я нес в себе уверенность, что, говоря словами пиратов из романтически-приключенческих книг, *поймал ветер удачи*.

Опять же первый раз в жизни, когда мне стукнуло уже сорок семь лет, я был признан писателем, мог не скрывать этого, как чего-

то постыдного и противоречащего моим профессиональным занятиям. Сидя на стипендии Бёлля, я все же, чтобы не расслабляться и скучая по дочке, написал маленький роман-сказку «Чур. Сказка для дочки Маши». Разумеется, гуляя по *Freistaat* (в переводе это значило «свободное государство», шутка в духе Бёлля), так называлась деревня *Langenbroich*, где стояло за оградой несколько домов Бёлля в окружении огромного сада. Дома эти стали пристанищем стипендиатов фонда, писателей и художников. В те месяцы, что я там жил, у меня были хорошие соседи: художник Юрий Ларин и его жена Ольга Максакова (замечательный врач, работающая до сих пор в Институте нейрохирургии имени Бурденко), потом художник Давид Боровский с женой Мариной, писатель-«нонконформист» из бывшей ГДР — Rudolf Wawerzinek. Приезд мой туда был довольно смешной. Прилетел я в Кёльн, встретила меня Дагмар, привезла домой и спросила, хочу ли я то, что предлагает мне фонд на эти полгода: машину и компьютер. Что касается машины, то я и сейчас бы от нее отказался, но тогда я отказался и от компьютера. Напоминаю, что шел 1992 год. И мы — большинство! — еще в глаза не видали эту машину. Поэтому я попросил велосипед и пишущую машинку с кириллицей. Надо сказать, Дагмар, хоть и была слависткой, в очередной раз подняла на меня ошеломленный взор, сказав, что велосипед не проблема, но машинка с кириллическим шрифтом — это проблема. Но для своего стипендиата фонд постарается. Перед этим я ее ошеломил, когда в первые дни нашего знакомства, в мой первый приезд, спросил, где можно купить сухое молоко для маленькой дочки. Она посмотрела на меня вопросительно: «А чем ваша дочка больна? Какое молоко ей надо?» Но дело было в том, что молока в Москве в тот год практически не было, и жена Марина вставала каждый день в пять утра, занимала у магазина очередь, записывая при этом на запыстье номер очереди, шла домой, снова выходила к восьми в магазин. Там по номерам на руке «в порядке общей очереди» давали по полулитровой бутылке молока «в одни руки», как тогда говорили. Молоко было не лучшего качества, поэтому порошковое молоко могло оказаться решением проблемы. Я попытался пояснить, что дочка здорова, но, видимо, больна страна, потому что в Москве нет молока. «Не понимаю, — сказала Дагмар, — в такой большой стране, где так много полей и травы... Не понимаю». Это и вправду было трудно понять, но так было. «Но это можно у нас купить в аптеке». Мы пошли в аптеку, где Дагмар, показывая на меня, сказала провизорше, что господину из России нужно сухое молоко для дочери. Провизорша дружелюбно кивнула: «У нас есть разные виды сухого молока. От какой болезни оно вам нужно?» Дагмар перевела и все же спросила на всякий случай: «Владимир, все

же чем больна ваша дочка? Не стесняйтесь, в аптеке это как у врача, можно все говорить». Немного раздражившись, я ответил, что мне нужно ПРОСТО МОЛОКО, и это все. Аптекарьша кивнула, что это тоже возможно, но за «просто молоком» нужно послать на склад. Я уходил на какую-то встречу с очередным русским эмигрантом и спросил Дагмар, сможет ли она зайти через пару часов в аптеку. Вечером меня ждали четыре килограммовых пакета с сухим молоком. «Сколько я должен вам?» Она отрицательно покачала головой: «Нисколько. Это же для ребенка».

Так вот, в очередной раз удивившись русской неприхотливости, которую удовлетворить было сложнее, чем достать европейский ширпотреб, она повезла меня в дом Бёлля, сказав, что это довольно-таки далеко, «немецкая тайга». Деревня, немецкая деревня, в сущности, маленький поселок с кирпичными домами, находилась, как я потом выяснил, рядом с городком Kreuzau. Но Дагмар как-то об этом мне не сказала, просто она знала, что в имении Бёлля я не один. Она взяла ключ у хаусмайстера, провела в дом Бёлля, где внизу была кухонька, душ и туалет, а на втором этаже спальня и кабинет с письменным столом. Был вечер пятницы. Объяснив, как и чем пользоваться, Дагмар вдруг достала большой хлеб, круг колбасы и пачку кофе, фильтры для кофеварки, сказав, что из фонда ко мне приедут в среду и привезут стипендию, пишущую машинку и велосипед. И уехала, а я, уставший, рухнул в постель. Утром проснулся рано, принял душ, выпил кофе и вышел во двор. Чувство попадания в Эдем охватило меня: ясное синее небо, утренний холодок наступающего жаркого дня, огромный сад, куда тут же зашел, а там полные плодов яблони, груши, вишни, кусты смородины и малины, земляничная поляна и что-то еще, чего я не видел. *Все говорило о некоем восхождении, а впереди виделась и заслуженная награда — выход романа.* Но надо было понять, где я, найти почту, чтобы позвонить домой, магазин с едой, аптеку на всякий случай. Я вышел за ворота: ряд каменных двухэтажных домов, около одного из них возился человек со своей машиной. Я приблизился и произнес со своим диким произношением заранее приготовленные фразы на немецком, где здесь почта, аптека и магазин. Он с удивлением глянул на меня и сказал: «Keine Post, keine Apotheke und keine Geschäft». Ответ его я понял и расстроился и порадовался предсмотрительности Дагмар, решив, что хлеб, колбаса, кофе и разнообразные фрукты позволяют мне продержаться до среды. Вернувшись домой, я распаковал чемодан, развесил и разложил одежду, достал было блокнот и ручку, как вдруг снизу раздался стук в дверь. Я спустился вниз, открыл дверь, перед дверью стоял невысокий человек с как будто извиняющимся лицом и протягивал руку: «Давайте знакомиться. Меня зовут Юра Ларин, а моя жена Оля приглашает вас на завтрак».

Я тоже представился, мы пошли к их дому, а по дороге я судорожно вспоминал, откуда мне знакомо это «Юрий Ларин». Мы вошли в их квартиру, Оля тоже приветливо протянула руку и пригласила за стол с вполне немецким завтраком, где даже мармелад был. И тут я вспомнил, хотя и смутно, статью в московской газете о Николае Ивановиче Бухарине. Что он за год до ареста и казни женился на молодой женщине, тоже из партийной семьи, Анне Лариной, что она сохранила завещание Бухарина будущему ЦК, выучив его наизусть, в котором он отрицал свою вину перед партией. Компартию как раз пытались запретить, на этом фоне оправдание казалось полной нелепицей. И вместе с тем поразительная женская верность не могла не произвести впечатление. И я воскликнул, от смущения перепутав слова: «О, вы внук Бухарина!» Оля рассмеялась: «Юра, смотри, как Володя тебя омолодил! Володя, Юра не внук, а сын Николая Ивановича!». Я покраснел, извинился. И тут же вспомнил подробности статьи, что сын Бухарина жил в другой семье, под фамилией матери, и до двадцати лет даже не подозревал, чей он сын. Может, такая судьба и оградила его от фанаберии, свойственной детям начальственной элиты. Был Юра скромн, все время проводил со своими холстами, очень хороший художник, с мягкой ненавязчивостью рисовавший мир, который видел. Оля прошла со мной до Кройцау, где можно было купить практически всё — и продукты, и белье, и одежду, и красивую посуду и разнообразные немецкие штучки, которые создают домашний уют. Пешком ходу было минут двадцать через пригорки парка и как бы лесной дороги, но ходил и автобус, который шел три-четыре минуты. Потом Ольга показывала мне наш участок и окрестности, где за забором тянулись кусты ежевики, ряды кустов шиповника, по опушке недалекого леса росли земляника и дикая малина. «В общем, Володя, — сказала Ольга, — всё, что до леса, по сути дела наше, можем этим пользоваться». Помолчала и добавила голосом Кота в сапогах, усмехнувшись: «Впрочем, что за лесом, тоже наше».

Так мы прожили бок о бок несколько месяцев. Удивительная пара! Пересказывать жизнь этих нескольких месяцев — другая задача. Мне было хорошо, но даже как-то неловко от этого состояния дрящегося счастья. Скверно было только, что телефоны пока еще глушили, дозвониться было невозможно, письма не доходили: скорее всего почтовые чиновники искали в письмах деньги, ибо часто из прекрасного далека люди слали валютные денежные знаки родственникам. Но, пожалуй, это была самая большая неприятность, не мешавшая ощущению счастья. Однако, видимо, не случайно в романе «Крепость» главная героиня, бабушка Роза Моисеевна, вспоминает стихи своей дочки, ставшей известной аргентинской поэтессой, вспоминает эти стихи в своем переводе. А стихи такие:

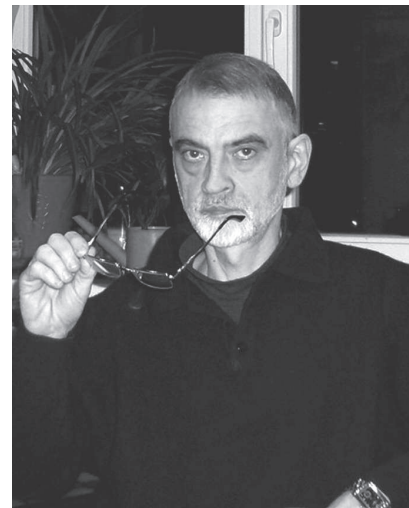


Юрий Ларин и Ольга Максакова (июль-август 2011)

В доме все было готово,
ожидали счастья.
Мыли, гладили,
чистили, наводили блеск.
Счастье не пришло.
В доме все было готово,
ожидали счастья.
Готовили еду, закуски, выпивку.
Счастье не пришло.
В доме все было готово, ожидали счастья,
там были настоящие люди,
они вышли из тюрьмы
и готовились к борьбе.
Счастье запаздывало.
В доме все было готово, ожидали счастья.
Пели, смеялись,
плакали, танцевали.
Счастье подошло к двери, посмотрело, вздохнув, и ушло...
В другом месте
его срочно ждали.

И вправду, счастье подошло к двери, посмотрело, вздохнув, и ушло...

Я вернулся в Москву, в самолете воображая, как возьму в руки томик своего романа на русском языке, а вскоре и на французском. С издателями последние месяцы я никак не мог связаться, да и не очень к этому стремился, ведь дома у меня уже несколько месяцев лежала верстка практически готовой книги. Дома ждал меня квартирный вопрос (в нашу коммуналку подселся алкоголик) и ненапечатанный роман. Это был какой-то обвал. О квартире рассказывать не буду, но о романе, разумеется, надо. Еще перед моим отъездом издатели сказали, что хотели бы роман иллюстрировать, как был иллюстрирован «Победитель крыс». Я был против, говоря, что подобные романы требуют мыслительного усилия, а не картинок. Но у издателей были свои коммерческие соображения. Естественно, обратились они к моему брату, который иллюстрировал роман-сказку, но он почему-то не мог и рекомендовал своего близкого приятеля Андрея Цедрика, одноклассника и однокурсника, и художника хорошего, и человека замечательного, при этом верующего. Две мелкие истории. Первая рассказана братом, как в школе еще Андрей на перемене, стоя у окна, читал Евангелие. Проходивший мимо учитель литературы вдруг вырвал из его рук книгу: «Что это у тебя?!» Напомню, что в советское время Евангелие было книгой запрещенной, за его чтение можно было и из школы вылететь. Андрей изловчился и вырвал у литератора книгу, спрятал под школьный китель, и бросил в ответ: «Англо-русский словарь!» Второй случай наблюдал я. Это уже был период его институтского учения. Мы встречались на кольце трамвая № 27 на Войковской. Он должен был передать мне какую-то книгу. На трамвайной остановке пошатывался какой-то пьяный мужичок. Увидев нас, людей по виду серьезных и трезвых, мужичок припал к груди Андрея и спросил, где он находится. «Метро Войковская», — ответил Андрей, отодвигая мужичка в сторону. «Вот куда меня черт занес!» — промычал мужик. «Именно он», — ответил Андрей. И я подумал тогда, что так мог ответить только верующий человек. Но после успеха его живописи на Западе, после того, как он получил в Голландии немалые по тем временам деньги, он запил, причем мертвецки, по-русски. И издатели рассказали мне, что Андрей сделал эскизы, эскизы им понравились, что сроку он попросил два месяца, но пил без продыху и через два месяца принес все тот же ватманский лист эскизов, да еще с какими-то подозрительными следами на листе, сказав, что он свинья, что сам это понимает, но побороть себя не может. В темпе картинка к роману нарисовал брат, но типографские цены на книги с иллюстрациями взлетели неимоверно. Сережа Артюхов, директор издательства и прямой потомок Сабашниковых, еще надеялся, что вдруг цены опустятся до прежнего уровня, я в это не верил и просил его издать роман без иллюстраций. Прошли пара месяцев. Сережа решил, но в этот момент типографские цены



Сергей Артюхов

этим текстом на рынок, но тем временем лопнул Советский Союз, а с ним и книготорговля сошла практически на нет. Теперь же не было денег на издание романа. Сережа и Лариса (главный редактор, бывшая моя однокурсница) не хотели, а потому и не могли раскручивать свое издательство через детективы, фантастику, политический ширпотреб, хотели печатать либо мемуарно-научную литературу (издали мемуары Б. Чичерина, М. Сабашникова и др. — чтобы хотя бы в литературе оставить **этос** либерально-буржуазных кругов России), либо то, что они считали современной высокой литературой. Мой роман попал в высокую литературу, и это, конечно, радовало, но он не печатался, что радовать никак не могло. А гранта на издание романа я достать не мог. Наконец, Сергей снял с меня зарок, разрешив носить рукопись по разным журналам и издательствам.

В московских журналах, где не печатали моих рассказов, разумеется, не стали глядеть и на роман. Период длинных романов (Гроссмана, Солженицына и т.д.) закончился, читатель больше не хотел романов с продолжением. Рукопись мне возвращали с плохо скрываемым презрением к человеку со стороны. Переправил рукопись (замечу, что электронной версии тогда у меня не было) в Питер Сане Лурье, опубликовавшему в «Неве» роман «Крокодил», а в дни ГКЧП напечатавшему в «Невском времени» мой страшный рассказ «Удар копытом» (1990), с предварительными словами, что писатель предчувствовал, а мы не прислушались. Но у Лурье возникли какие-то проблемы с руководством журнала, и он мне написал, вернув рукопись, что, мол, Володя, я вам еще пригожусь, а пока не могу. Правда,

даже не взлетели, а просто оторвались от Земли. Как космическая ракета. Сергей просил меня ждать, никуда роман не носить и даже выплатил полный гонорар, чтобы тем самым связать меня и денежными обязательствами. Но я и без того считал себя многим обязанным издателям, которые выпустили в свет роман-сказку, текст, отвергавшийся в течение девяти лет самыми разными издательствами, но потом с легкостью преодолевший барьер в 200 000 экземпляров. А заказов вообще было на четыреста тысяч, но издатели решили переждать год, а то и два, и снова выйти с

самый замечательный ответ я получил в издательстве «Культура», где директором был интеллектуал Михаил Швыдкой, а главным редактором мой однокурсник и приятель, германист Михаил Рудницкий. К нему-то я и отнес рукопись, которую он держал две недели. Ответ его стоит подчеркнуть. Возвращая рукопись, он сказал с пониманием настоящего германиста: **«Володька, может, это наши “Будденброки”, но кто их сегодня будет читать. Для нашего издательства это не подходит»**. Еще раз повторю, что издательство называлось «Культура», а германист Миша не мог не знать, что «Будденброки» были поначалу опубликованы мизерным тиражом, на посмотри, как поведет себя публика, и Томас Манн писал тогда в одном из писем, что за два месяца продано уже тридцать экземпляров. Но жадность первоначального накопления капитала была сильнее культурных соображений. На этом хождение по издательствам я прекратил. В «Литературном обозрении» мой другой однокурсник Валя Масловский попытался опубликовать главу «Умствования» о русской классике как «русской Библии». Леонард Лавлинский (главный редактор) в верстке публикацию зарубил. Я пошел к Игорю Дедкову, совершенно замечательному, чистому и принципиальному критику, выехавшему из провинции, настоящему новомировцу, но без их партийных пристрастий, работавшему в «Новом мире», ушедшему оттуда из-за разногласий с начальством, но в сумятице перестроечных и постперестроечных лет ставшему заместителем главного редактора журнала «Свободная мысль», бывшего «Коммуниста». Я принес ему полную рукопись. Не знаю, зачем. Видно, хотелось слова одобрения от человека, которого я уважал. И слово это я получил. «Будь я главным редактором “Нового мира”, — сказал Дедков, — я бы этот роман напечатал. Но давайте думать реально. Что из этого романа мы можем опубликовать в нашем журнале?» Тогда я показал ему верстку главы, не пошедшей в «Литературном обозрении». На следующий день он мне позвонил: «Берем». И текст вышел: **Умствования (фрагмент главы из романа «Крепость»)** // Свободная мысль. 1993. № 10. С. 44—56. «Может, это вам поможет», — сказал по выходе номера Дедков. Не помогло.

Здесь я хотел бы сделать неожиданное отступление. Как-то я пошел с женой и приехавшей в Москву Дагмар Херрманн на спектакль Валерия Фокина «Остановка в городе N». Спектакль был настоящей классикой. Билеты были номерные, зал крошечный. И вдруг после аплодисментов ко мне подошел служитель и сказал, что режиссер хочет со мной поговорить. Удивившись, я спустился на сцену, где услышал неожиданно, что Фокин читал моего «Крокодила», хотел по нему делать спектакль, но не нашел меня (это было время моей полугодовой бёллевской стипендии), но теперь он перегорел с этой темой, и нет ли у меня чего-нибудь нового. Я сказал, что есть

роман, но он очень большой, не для спектакля. «Принесите», — сказал Фокин. Я принес полную верстку. И через неделю мы снова встретились и он сказал, вдруг переходя «на ты» (то есть я стал *своей*): «Вова, я готов это ставить. Но это, конечно, телевидение, я хотел бы сделать от трех до пяти серий. Я уже звонил на вторую программу, они готовы взять три серии. Про тебя они тоже слышали. Но я из-за центра Мейерхольда весь в долгах. Нужно достать всего-навсего девять миллионов». Для меня это было типа звездочку с неба. Но я сказал, что попробую найти мецената. Разумеется, все мои поиски были безуспешны. Устраивать свои дела никогда не умел.

Как вдруг в 1995 г. журнал «Октябрь», куда я отнес предусмотрительно верстку, а не рукопись, заинтересовался романом, и в день моего рождения мне позвонила заместитель главного редактора Нина Константиновна Лошкарева и сказала, что роман им понравился и они берут его в полном объеме. И опять же сдуру я рассказал об этом не такому как прежде широкому кругу людей, только родственникам, все порадовались, особенно брат, который знал Лошкареву, даже сказал, что попробует утвердить ее в этом решении. Прошло время, я принимал участие в конференции с американцами о проблемах демократии, первая часть была в Москве и на волжском Плесе, вторая часть должна была происходить в Штатах, в Огайо, город Коламбус. И вдруг за неделю до отлета мне позвонила Лошкарева с просьбой зайти. «Как вы понимаете, — сказала она, — принимая решение о публикации такого большого романа, мы советовались с разными понимающими людьми. Нет, нет мы не изменили свое отношение к вашему роману, он нам все так же нравится. Но по совету людей, к вам расположенных, мы просим вас сократить роман вдвое, чтобы читатель сумел одолеть такой сложный текст». Я ответил что подумаю, что сейчас улетаю в США, там буду тоже думать, а по возвращении дам ответ. А сам решил больше никому и никогда не рассказывать о том, что у меня нечто удается, вытравить из ментальности даже малейший намек на хвастовство.

По возвращении я сократил роман до двадцати листов. Поначалу взяли читать, не испортил ли я роман сокращением. Логика замечательная: вначале требование сократить, а потом смотреть, не стало ли хуже. Зачем сокращать хорошее. После прочтения сказали, что по-прежнему хорошо. Но этого оказалось мало. Редакция вошла в охоту. И потребовала сократить еще пять листов, а то в два номера журнал не уложится. Я попробовал позвонить в другие журналы, где меня немножко знали. Везде говорили — семь-восемь листов, но понимаете, мол, не факт, что возьмем. И я остался при «Октябре», сократив еще пять листов. А потом мне позвонил заводилом прозы и сказал, что ему удалось сократить еще четыре листа. Это походило на издевательство. Но я не представлял, до какой степени может дойти нечувстви-

тельность к тексту. Редактор вычеркнул всю аргентинскую линию, всю линию бабушки Розы Моисеевны. То есть центральной узел романа¹. Тут я понял булгаковскую Маргариту, которая крушила квартиру критика Латунского. Но крушить ничего не стал, только сказал сквозь зубы, что есть предел крушения крепости и что я забираю роман. Редактор пожал плечами: как хотите. Но руководство все же чувствовало себя связанным словом (в этот период данное слово еще хоть что-то значило у людей старшего поколения, молодому редактору лишь бы выполнить приказ о сокращении, а не хочет автор, так и хрен с ним: кто такой!). И роман (вернее, остатки романа; чуть не написал «останки») был опубликован в двух номерах — шестом и седьмом номерах «Октября» 1996 г. В двенадцатом номере «Октября» вышла статья Дмитрия Бавильского «Сон во сне. Толстые романы в толстых журналах» в постмодернистском стиле. Там пара страниц была и о «Крепости», страниц, мне понравившихся. Но друг моего детства, биофизик, прочитав статью, позвонил и спросил: «Так и не понял: хотел ли он тебя похвалить или обосрать». Классическое восприятие постмодернистского текста. Смешно сказать, но этот искореженный роман был номинирован на премию Букера и даже вошел в long list. Но не более. Уже потом я сообразил, что иного и быть не могло. Когда вы подаете заявку на грант, там есть пункт, получали ли вы раньше какие-либо гранты. Поначалу я стеснялся указывать предыдущие гранты (будто хвалюсь), но мне объяснили, что такое указание облегчает работу эксперта: раз уже давали, можно и еще раз дать. Мое имя не значилось в мейнстриме литературного процесса, а потому и роман читался, не читаясь. Примерно в те же годы я занимался перепиской замечательного русского мыслителя и писателя-эмигранта Федора Степуна. Среди прочего я публиковал его письма Семену Франку, в которых Степун утешает Франка. Немецкие издательства, несмотря на усилия Степуна, отказывались печатать его книги. И, скажем, о книге Франка «Непостижимое» написал, что эту удивительную, одну из лучших книг века, немцы боятся печатать, потому что ее нельзя будет продавать. Она по своей сущности чужда настоящему времени. Она в прошлом и, может быть, в будущем, но не в настоящем². Вот так и я думал

¹ О принципиальной значимости этого образа говорили все читатели романа и все редкие авторы, писавшие о романе. Сошлюсь на слова одного из крупнейших современных историков, неожиданно, спустя несколько лет после выхода романа отдельным изданием, написавшего аналитическую статью о романе: «Главной знаковой фигурой романа оказывается, однако, бабушка Роза Моисеевна, член партии с 1903 года...» (Булдаков В. П. Как рухнула крепость социализма. Беллетристическая деконструкция Владимира Кантора // Историк и художник. 2008. № 1—2. С. 333—341).

² Сегодня практически весь Франк переведен и издан на немецком языке (восемь томов!) и вошел в число наиболее читаемых и обсуждаемых современных философов. Знаю точно, поскольку писал к одному из томов («Свет во тьме») предисловие и комментарии.

о своем романе. Эти слова, как и слова Ницше о своих книгах, что это книги для немногих, очевидно, всегда служили утешением для таких литературных неудачников, вроде меня.

Конечно, при этом я не оставлял попыток издать роман целиком. К этому времени в замечательном издательстве РОССПЭН, ориентированном на историческую, политическую и философскую литературу, я издал начиная с 1997 г. несколько книг, довольно толстых. С директором издательства Андреем Сорокиным мы, кажется, научились понимать и уважать друг друга. Андрей читал мою прозу, знал о романе, но в научную парадигму издательства он слабо вписывался. Надо было найти ход, объясняющий решение издательства публиковать роман, а также грант, позволивший бы обойти упреки в непрофильной трате денег. Ход нашла Светлана Яковлевна Левит, придумавшая много издательских серий. Она и предложила издательству новую серию — «Письмена времени», в которой можно и нужно было печатать не строго научные, а мемуарные, в том числе художественные тексты, в которых можно было бы найти понимание эпохи. Серия существует и сегодня, но роман был напечатан всего один. Правда, мне пришлось убирать из текста слишком живые подробности быта. Хотя они все же остались, но бульон стал менее насыщенным. Теперь главной осталась задача достать грантовые деньги. Поначалу я решил обратиться к еврейским меценатам, поскольку в романе явственной была еврейская тема. Я не очень верил в еврейскую карту, слишком ничтожна была тема для народа, живущего испарениями Холокоста и постоянной войны, но поначалу мне сказали в Фонде, что субсидируют книгу, предварительно, правда, прочитав ее. Я передал туда журнальный вариант. Он вроде бы понравился. Но потом потихоньку грант замотали. Олигархов я никого не знал, да и не мог вообразить, как к ним подойти с такой странной просьбой — помочь изданию романа. Вроде как нищий с протянутой рукой. И этой самой рукой я и махнул на все то дело. Но оказалось, что преждевременно. Помогла неожиданно не то русская широта, не то расхристанность, не то та необъяснимая русская щедрость, когда с пьяных глаз вместо десяти копеек дают нищему сто, а то и тысячу рублей.

Уже был август 2004 г. С момента написания окончательного варианта романа прошло тринадцать лет. Мой приятель Алексей К. отмечал свой день рождения, который всегда у него проходил как мальчишник. Что делают взрослые мужики, собравшись поздравить своего друга? Выпивают, разумеется. А поскольку нет хоть чуть-чуть гармонизирующего их женского начала, то выпивают серьезно. Вот и в тот день выпивали. А потом я вышел на кухню покурить, где сидел Валера, старый приятель, даже друг Алексея. В те дни он ока-

звал разные пиар-услуги. Лицо авантюриста, обаятельная улыбка, был он похож чем-то на молодого Крючкова, киноактера, разумеется. И затаившись, выпустив изо рта кольцами дым, спросил: «Ну что, достал спонсора на свой роман?» Что за роман, он не знал, да, кажется, и вообще художественную литературу не читал. Но от выпитого алкоголя был абсолютно добродушен и захотел совершить нечто хорошее для друга своего друга. «А сколько издательство хочет денег, чтобы приступить к печатанию?» — поинтересовался он. Но в его интонации я уловил нечто большее, чем простой интерес, уловил ему самому неожиданное и не очень внятное желание помочь. «Две с половиной тысячи баксов», — сказал я несмело, но при этом странным чутьем понимая удачу. «Всего-то! — с пьяной широтой воскликнул он. — Нет проблем, завтра их получишь. Позвони мне». На следующий день, как мне кажется, он хотел бы забыть о своих словах. Я же вцепился в его предложение как маньяк. И позвонил — раз, другой, третий. Весь день он не откликался. На следующий день он сам мне позвонил из другого города, уже сильно податый: «А, может, мы издадим твой трехтомник? Тебя, оказывается, читал Имярек. Ему нравится. Давай я договорюсь с каким-нибудь издательством и дам на твоё издание двадцать пять тысяч баксов... Согласен?» У меня хватило ума ответить несогласием: «Нет, не надо. У меня с РОССПЭНом уже есть некая договоренность. Давай её реализуем». Он немного был озадачен: «Ладно, я подумаю». Потом снова пару дней я не мог с ним связаться. Тогда вспомнил известный фильм Чаплина про маленького Чарли и миллионера, который спяну обещал ему всегда финансовые блага, а по утрам его не узнавал. Но все же в конце концов мой знакомый принял решение стать спонсором, заключил договор с издательством, что деньги перечисляются именно на издание романа Владимира Кантора. И дело пошло. Текст читался редактором РОССПЭНа, привыкшей к политической и исторической лексике, поэтому фразочки героев, шутивших над стереотипами советских формул, переиначивавших эти формулы, она правила в соответствии с «правильными словами». Скажем, один из персонажей, глядя на наше начальство, бросил фразу: «Без царя В ГОЛОВЕ, а правительство рабочее». Она же правила так, как это было у Ленина: «Без царя, а правительство рабочее». Но это я заметил только, когда роман уже вышел. Меня тогда не было в Москве. Единственное, что еще я успел сделать перед отъездом, вставить как послесловие полный вариант статьи о моем творчестве челябинского литературоведа Марины Загидуллиной: «Русское барокко конца XX века. Творчество Владимира Кантора». Статья была отвергнута практически всеми журналами. За исключением «Октября», тогда еще дружившего со мной, давшего сокра-

щенный вариант текста. Главным редактором «Октября» стала тогда Ирина Николаевна Барметова, она и настояла на журнальном варианте статьи. Спасибо ей! Хотя само начало статьи было вполне провокативно: «Когда выйдет собрание сочинений Владимира Кантора, многое из того, что я хочу сказать, станет очевидным». Думаю, немало редакторов были в шоке от этой фразы. Собрание сочинений писателя малопубликуемого и малопечатаемого!!! Да и вообще — писателя ли!

Я улетал тогда по гранту Фулбрайта в Нью-Йорк и следить за работой редактора не мог. Ошибки получились иногда смешные, иногда обидные. Но роман все же вышел в конце 2004 г. Повествовать о Нью-Йорке интересно, однако, это вполне самостоятельная песня. Но одно не могу не рассказать. В Бахметьевском архиве я занимался бумагами русских эмигрантов. А в самом Нью-Йорке я познакомился, а затем и подружился с Ларисой Шенкер, главным редактором журнала Слово/Word, в котором я с тех пор много раз печатался. Но речь не об этом. Журнал находится в том же помещении, где раньше был Еврейский рабочий комитет, по приглашению которого удалось эмигрировать из фашистской Европы великому русскому мыслителю Георгию Петровичу Федотову, в котором, кстати, не было ни капли еврейской крови. Так неожиданно возникла рифмовка моих научных занятий и жизни. Если же вернуться к «Крепости», то Марина прилетела ко мне на Рождество и Новый (2005) год и привезла роман, о судьбе которого она болела, может, даже больше меня. Это была, конечно, радость. Интересно, что, узнав о прилете моей жены в Нью-Йорк, ее американская приятельница Мередит Кигер из Западной Вирджинии заказала в Нью-Йорке нам на праздник специальные американские рождественские цветы (название не помню). Может, вспомнит кто из читателей. Вдруг в дверь позвонили и посыльный внес замечательный букет. Записка при цветах была от Мередит. Как из такой дали прислать свежий букет?.. Мы даже не сразу догадались о такой простой возможности, как просто заказать цветы в том городе, где живет приятный тебе человек букет цветов и оплатить доставку.

Конечно, мы посчитали, что это добавление к радости выхода романа и что-то сулит.

Еще несколько месяцев я оставался в Нью-Йорке.

А потом 30 марта в день моего рождения была презентация романа в Овальном зале Иностранки. Мне в аккурат исполнилось 60 лет. Юбилей. Но роман — это как бы и новое мое рождение. С тех времен, когда я начал его писать, прошло двадцать пять лет, а с момента окончания четырнадцать лет. Произносили речи. Желали удачи, поздравляли. Мне казалось, что, наконец, у романа (пусть вышедшего и меньшим объемом, чем авторский вариант, пусть изданного без моего присмот-



Рождественский стол с фотографией дочери и цветами.

ра) начнется писательская и читательская судьба. Собрались друзья и знакомые. Пришли сотрудники из Вышки, где был я человеком новым. Было занятное удивление одной из сотрудниц, что профессор пишет романы, и деликатный совет, чтобы я писал и научные тексты. Многих это удивило, кто-то засмеялся. На самом деле, знали-то меня в основном как ученого, да и выход романа в научном издательстве говорил о том, что я свой более или менее именно среди ученых собратьев.

Я не обращал внимания на эти мелкие несуразности. Роман лежал передо мной, выпущенный типографским способом. И читатели (все присутствовавшие в Овальном зале были потенциальными читателями!) могут взять его в руки. И некоторые брали, и прямо в зале принимались листать.

Все же это книга! Книга в твердом переплете! И роман столько лет ждал своего издания!

Видимо, слишком долго ждал. Критика прошла мимо. Читали друзья и знакомые, им нравился роман. Я даже начал подсчитывать отклики. Их случилось около тридцати. Все, правда, упоенные, но это все же не то, чего ожидает любой писатель. Хотя именно неуспех романа дал окончательную закалку моему, так сказать, стоицизму, если можно сюда отнести этот термин. Во всяком случае, умению *жить и писать вне успеха*.

Хотя был еще момент, когда нечто вроде тщеславного ожидания проснулось. Мне вдруг позвонил мой старый приятель, инженер и



Первый читатель романа на юбилее и презентации (Маргарита Самохина)



тоже литератор, сказав, что он даже не поехал с друзьями на лыжах, настолько увлек его мой роман. «Я им говорю: «Пока не дочитаю Кантора, никуда не поеду». Вот и дочитал. Очень сильно. А ты Лялю Костюкович знаешь? Она в Италии живет», — быстро проговорил приятель. «Нет. А что?» Приятель удивился: «А еще писатель! У Ляли переводческое агентство, она живет в Италии. Сошлись на меня и пошли ей. У тебя электронная версия есть?» Поскольку книгу делали мои друзья, художник — Петр Ефремов, верстал Юра Балабанов, то электронная версия у меня была, что я и сказал. Он снова спросил: «Тяжелая? Мейлом послать сможешь?» Я посмотрел: «Чуть больше одно-

го мегабайта». Он уверенно сказал: «Пройдет, посылай». И я послал. Через неделю или полторы (13 июня 2005 г.) получил ответ.

«Глубокоуважаемый Владимир Карлович

Ваш роман — сильное и запоминающееся удовольствие. Чувство, что это подлинная литература, охватывает сразу — а кроме того, запоминается то, из чего это построено, клочки московской жизни шестидесятых и семидесятых, отрывки фраз, слова. Внутренний дискурс основных “главных героев”, рефлексия, продолжающаяся даже за пределами человеческого существования, создает читателю уверенный фон для сопереживания. Романов, ставящих перед собой столь масштабные задачи, очень мало и ценность этой вещи неоспорима.

Думаем, что Вы понимаете, как непроста задача — продажа прав этого романа на Западе и в особенности в США. Первая, и, пожалуй, основная сложность в том, что предперестроечный период советской истории составляет для западного читателя плюсквамперфектное прошлое. Читатель не умеет понять и того, что произошло в России вчера, что уж говорить о том, что происходило сорок лет назад.

Добавьте к тому крайне малую симпатию западного и в особенности англофонного читателя к масштабным романам. Все чаще предпочтение (переданное через цифры массовых продаж) отдается коротким книгам, которые можно воспринять за короткий промежуток времени (т.е. прочитываемые средним читателем за 2-3 дня).

Нам представляется, что Ваш роман (и мы готовы предпринять все для этого усилия) должен быть предложен в первую очередь на европейские рынки. Надо начинать работать с Германии и Франции. Если Вы согласны, чтобы мы представляли Вас в этих странах, мы с удовольствием начнем работу именно в этом направлении.

С глубоким уважением,

Елена Костюкович и Андрей Бурцев».

Да, это была очередная порция иллюзий. Ляля делала, что могла, и, кажется, даже сверх того. Она поставила на свой сайт все мои данные, все книги, все упоминания в прессе, послала книгу в разные места, но — все было впустую. Западного издателя на роман так и не нашлось. Можно продолжать, но последнее время я все думаю, что необходимо издать все же полный вариант.

А пока такова история, но не судьба романа без судьбы. Я поставил подзаголовок: «Нечто почти личное». Почти — поскольку думаю, что не я один переживал подобные надежды и разочарования. Но жить надо без иллюзий. Как закончил Пушкин свой *Домик в Коломне*: «Больше ничего / Не выжмешь из рассказа моего».

30. Как взрослеет мальчик

(Интервью с Еленой Погорелой)

НГ-EXLIBRIS

04.04.2013 00:01:00

Кантор Владимир Карлович (р. 1945) — русский писатель, литературовед, доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Высшей школы экономики в Москве (НИУ-ВШЭ). Родился в Москве. Окончил филфак МГУ имени Ломоносова (1969), аспирантуру Института истории искусств (1973). С 1974 г. работает в журнале «Вопросы философии». С 2003 г. — профессор философского факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ). Литературная стипендия фонда Генриха Бёлля (1992). Дважды лауреат премии «Золотая Вышка» (2009 и 2013) НИУ-ВШЭ за достижения в науке. Среди монографий — «“...Есть европейская держава”. Россия: трудный путь к цивилизации: Историческо-философские очерки» (1997), «Феномен русского европейца: Культурно-философские очерки» (1999), «Между произволом и свободой. К вопросу о русской ментальности» (2007), «“Судить Божью тварь”. Пророческий пафос Достоевского: Очерки» (2010), «Крушение кумиров, или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России)» (2011). В числе прозы: «Два дома: Повести» (1985), «Крокодил» (1990), «Два дома и окрестности: Повесть и рассказы» (2000), «Записки из полумертвого дома: Повести, рассказы, радиопьеса» (2003), «Смерть пенсионера: Повесть. Роман. Рассказ» (2010), «Наливное яблоко. Повествования» (2012).

Работы Владимира Кантора не могли быть напечатаны во время советского режима. Не потому что были антисоветскими, а потому что стояли по другую сторону советской реальности. Но был и еще один момент — сам Кантор, осознавая свою «инакость», не

стремился к громкой славе. Более важным было внутреннее постижение опытов литературы, науки и философии. В 2005 г. французский журнал «Le Nouvel Observateur» включил Владимира Кантора в список 25 крупнейших мыслителей современности. Об истоках философской прозы и детских сюжетах с Владимиром КАНТОРОМ беседовала Елена ПОГОРЕЛАЯ.

Владимир Карлович, Вы — известный писатель, литературовед, культуролог, философ, преподаватель; более 40 лет Вы пишете прозу и одновременно успеваете публиковать, рецензировать, комментировать философские и публицистические сочинения. Скажите, что для Вас первично и наиболее важно? Художественная (автобиографическая?) или научная проза стала для Вас литературным началом?

Вопрос очень важный и, несмотря, на кажущееся простодушие, очень сложный. Для меня, по крайней мере. Я начинал с писания рассказов и повестей, в четырнадцать-шестнадцать лет уже было написано с десяток рассказов. Они нравились родителям и друзьям дома (тут я запинаясь, надо, наверно, объяснить, о ком я говорю). Отец мой Карл Кантор был профессиональный философ, его друзья, о которых я говорю, — это его брат, мой дядя, знаменитый разведчик и писатель Алексей Коробицин, писатель Николай Евдокимов, поэт Наум Коржавин и кинорежиссер Григорий Чухрай. Перечислил и слышу вопрос: так, наверно, проблем не было? Были, поскольку тогда эти люди были почти неизвестны. Коржавин был весь в самиздате, Коробицин сам только начинал писать, лучшие вещи Евдокимова были впереди. Чухрай только снял «Сорок первый», который пустили третьим экраном. Конечно, им было приятно, что сын друга пишет прозу. Но такая была моральная установка, что никому в голову не приходило меня как-то протезировать.

Да и передо мной как-то не стояла задача — непременно напечатать. Скажем, свой любимый рассказ тех лет «Джамбли» я написал в 1963 г., в восемнадцать лет. Опубликован он был почти полвека спустя. Словно сам себе напроорочил. Рассказы, написанные в



«Володя-двудомный». Фото из архива Владимира Кантора

те годы, я позволил себе включить как вставные новеллы в роман «Крепость», который вышел в 2004 г. (а закончен был за четырнадцать лет до публикации). То есть они увидели свет спустя сорок лет после написания. Впрочем, такая же судьба (не столь сокрушительная) была практически у всех моих текстов. Повесть «Два дома», которая потом нравилась многим, написана в 1975 г., десять лет гуляла по журналам, везде отвергалась, хотя были вполне серьезные отзывы, например, Виктора Розова. Но почему-то ее воспринимали как антисоветскую. В одном журнале мне даже пригрозили, что сообщат моему начальству (я уже работал в «Вопросах философии»), что я «пишу прозу», т.е. занимаюсь криминалом. Хотя она не была ни антисоветской, ни советской. Она просто была несоветской, сама по себе. Повесть удалось опубликовать в книге лишь в 1985 г., причем поуродовал ее контрольный редактор изрядно.

Идти в дворники и сторожа я не хотел, мне это было неинтересно. А поскольку вырос я в профессорской квартире, то жизнь ученого казалась предпочтительной. Мне было понятно, что жить на публикации своей прозы я не смогу. Таким образом, я оказался в науке. Тоже с немалым трудом, впрочем, сейчас речь о другом. Самое важное, что эта часть моей жизни стала не менее важной. Натан Эйдельман как-то подарил мне свою книгу с надписью «Володе двудомному». Название первой повести оказалось символическим в моей судьбе. Сейчас, отвечая на Ваши вопросы, я сам себе задаю вопрос, почему мои тексты постоянно вызывали (да и вызывают) отторжение журнального руководства? Припев был один: Вы не так пишете! Как не так? В советское время эта фраза была понятна: не по-советски. А после перестройки? А, кажется, дело просто. Журналы ориентированы на потребителя. А потребитель потребляет либо ту форму и содержание, что ему известны, либо откровенное постмодернистское шукачество.

Так что первично у меня — проза. Но если вспоминать разнообразные философские идеи на этот счет, то напомним, что литература всегда одухотворялась философией: от Шекспира и Гёте до Достоевского и Томаса Манна. Просто растут они из одного корня: из любопытства к миру — своему и окружающему. Порой это любопытство очень мучительно, приходится пробиваться к пониманию. Как в литературе, так и в философии. Но просто ничего не бывает. Но здесь трудность связана с удовлетворением. Когда пишешь (все равно — прозу, литературоведение, философию), то жизнь твоя полна.

В одной из Ваших наиболее известных повестей «Два дома» отчетливо прослеживается автобиографический опыт. В какой мере Ваша история, история Вашей семьи повлияла на Ваше писательское мировоззрение?

Мне кажется, что семейное (или бессемейное) начало — исходная точка любого писательства. В каком-то смысле моя семья стала моим, простите за банальность, университетом. Я потом узнал много разного в науке, в людях, но некая система человеческих отношений, трагическое начало за спокойными словами, внутренний разрыв близких людей, который при этом не становится фактическим, бытовым разрывом, разность социальных слоев в одной семье (профессорство, с одной стороны, крестьянство, а затем городская околица — с другой). Причем, поразительное дело, отец именно благодаря своему еврейству был абсолютный русофил, мама, вышедшая из русских крестьян, была трезва и непримирима к действительности. Но когда жизнь ее била (а она била!), она проявляла фантастическое, очень русское терпение и выносливость. Думаю, что мое более или менее стоическое отношение к моим постоянным писательским неудачам (задубелая шкура) идет от мамы. Вот это страшное русское слово: «Наплевать! Пережду! Выстою!» Уже спустя годы читал у Бунина в его эмигрантских текстах, что Россия должна перетерпеть большевизм, как перетерпела татарское иго. Может, мамино терпение имело эти корни. Главное, что я вынес из своей семьи, кредо, которое там сформировалось, что стремиться к успеху и славе неприлично, что главное — это быть верным себе, пытаться точно передать, что ты чувствуешь и думаешь. Это главное, а не признание современников. Повторю, я никогда не писал с ориентацией на какой-либо слой, на некоего читателя. Я писал только для себя, понимая, что если я точен в своих словах, дошел до некоего дна, то там, как говорил Лев Толстой, находится нечто, что присуще всем думающим людям. И они рады это общее найти. Поэтому как бы не обращаясь ни к кому, я имею дерзость обращаться к людям, имеющим представление о морали и духовности, которой они меряют жизнь. А такие люди были всегда. Да и постмодернизм, ломавший эстетические и духовные ценности, пытавшийся обратить их в ничто, кажется, начинает публике надоедать. Более того, последние годы я все чаще слышу о людях, которым интересно мое творчество. Не говоря уж о студентах, которые любят своего профессора (как мне кажется) и его писания, могу процитировать письмо, которое недавно получил от одной современной писательницы по поводу своей последней книги «Наливное яблоко». Имени называть не имею права, но за подлинность текста ручаюсь: «Я читаю, оторваться не могу, хотя сначала раскачивалась и даже фыркала, привыкая к Вашему особенному, неторопливому ходу, к ровному голосу, но сейчас вдруг поняла, что мастерство такого уровня имеет право на неспешность, на скрытые токи и как бы упрятанный в глубину темперамент. Спасибо».

Вы — один из немногих современных писателей, постоянно возвращающихся к теме человеческого взросления, к «детским» сюжетам — вспомнить хотя бы Ваш цикл «Книжный мальчик», да и одно из первых написанных по-русски эссе о Дж. Толкиене принадлежит Вам. Что означает для Вас тема детства? В какой мере Ваши собственные детские впечатления соответствуют тому, что Вы пишете?

Последнее время у меня рассказов о детстве стало меньше. Да и могу ли я и прежние сюжеты назвать «детскими»? Или темой многих своих рассказов назвать детство? Мы имели потрясающую детскую литературу. Назову хотя бы «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Я пытался не рассказать о ребенке, а понять, как происходит человек, как он взрослеет, какие муки в период взросления испытывает. Ведь понятие «книжный мальчик» я усвоил из прозы Достоевского и Толстого, главные герои которых были те самые книжные мальчики, то есть люди, поднявшиеся на определенный интеллектуальный уровень, с которого они могли судить о мире. А Толкиен — это же не просто сказка, а то же самое: попытка понять жизнь, снимая все социальные и политические маски современной ему реальности. Поэтому его тексты могли читать многие, да и читают спустя годы. Правда, получив от переводчика (моего друга тех лет Андрея Кистяковского) третий экземпляр рукописи, я читал ее вместе с сыном, который даже из железной рельсы выпилил себе меч, чтобы походить на Арагорна. Я его очень хорошо понимал. Будь я его ровесником, я бы сделал то же самое. Наверно, с тех пор я не изменился.

В «Вопросах литературы» Вы регулярно печатаете материалы о Достоевском, Герцене, Б. Зайцеве, Ф. Степуне. Что привлекает Вас в каждом из этих «героев»? Чей (философский) взгляд на действительность Вам ближе — и почему?

Тут ответ опять двоятся. Хотя первенство, безусловно, принадлежит Достоевскому. Его открытие как-то совпало у меня с открытием самого себя. Я прочитал его впервые в восьмом классе и помню эту мучительную боль и ужас от того, что как будто о себе прочитал. Более того, первая удавленная прозаическая вещь («Два дома») была как-то неожиданно вызвана перечитыванием «Подраста», где рассказ ведется подростком из двоящейся семьи, как и у меня, где отец — Андрей Версилов — не только интеллектуал, но и из более высокого социального слоя, мать же Аркадия — крестьянка. И вдруг я понял, что нашел ключ к пониманию себя. Я писал в университете курсовые по Достоевскому, диплом уже конкретно по «Братьям Карамазовым», тема которого была вполне моей, экзистенциальной: «Проблема интеллигенции и народа у Достоевского». А далее шло открытие других имен. Я писал как ис-

следователь об очень многих русских писателях и мыслителях — тут и Герцен, и Лев Толстой, и Степун, и Пушкин, и Чернышевский, и Семен Франк, и Георгий Федотов, и Петр Столыпин. Перечислять далее не буду. Ближе все-таки Достоевский и Степун. Может, прежде всего, своим неприятием экстремизма и нигилизма, на мой взгляд, самой страшной опасности России, да и не только России — человечества (извините за пафос).

Какой из Ваших собственных художественных текстов Вам наиболее дорог: «Крокодил», «Два дома», «Смерть пенсионера»? С чего нужно начинать, чтобы составить наиболее точное представление о манере Владимира Кантора?

Начинать стоит с начала. То есть с «Двух домов». Там, строго говоря, все мотивы моей прозы уже есть. Даже момент фантазмагии, из-за которого долго не хотели печатать «Крокодил» (как это возможно, чтобы в нашей реальности явился вдруг настоящий крокодил!), был уже в первой повести. Там герою-подростку являлась змея, которая преследовала его, и он видел ее как бы воочию. Правда, там этот мотив относили за счет болезненного бреда, в который погружается к концу текста мальчик. Но до сих пор идут споры, являлся ли черт Ивану Федоровичу или это был болезненный кошмар? Я-то считаю (и писал об этом), что это настоящая реальность, ведь Достоевский все же был верующий человек, а бесы, черти — постоянное сопровождение по-настоящему верующего человека. А потом, конечно, не случаен в этом контексте мой роман-сказка «Победитель крыс», где персонажи-люди живут среди крыс (которые правят этим миром), помогают им «настоящие коты», есть там и Баба-яга, и Леший, а тут же и «стекляшка», в которой выпивают герои, ручной паук бабы-яги. Сказка эта пользовалась большой популярностью, да и сейчас гуляет по Интернету, ее кто-то оцифровал, перевел в удобный для электронных книг формат FB2, и теперь ее предлагают разные сайты. А сказка — это тема детства, но там именно в фантазмагорическом, сказочном плане рассказывается о нашей жизни, где взрослеет мальчик. Но ведь эта фантазмагория и есть на самом деле реальность.

Об авторе

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», литературный стипендиат фонда Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных литературных премий, трижды номинировавшийся на премию Букера, дважды входил в шорт-лист премии Бунина, историк русской культуры, автор более семисот (700) опубликованных работ. Дважды лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009 и 2013 гг., Москва). Лауреат первой премии в номинации «За лучшее философское эссе» в Первом Международном литературном Тютчевском конкурсе (2013). Последний роман «Помрачение» — лонг-лист премии «Ясная Поляна» (2014), лонг-лист премии «Русский Букер» (2014). Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005 г.) парижским журналом «Le nouvel observateur (hors serie)», вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьёва». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, чешский, польский, сербский, эстонский языки.

Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА

ПРОЗА

ДВА ДОМА. Повести. — М.: Советский писатель, 1985.

КРОКОДИЛ. Роман // Нева. 1990, № 4.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1990.

ПОБЕДИТЕЛЬ КРЫС. Роман-сказка. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.

ПОЕЗД «КЁЛЬН—МОСКВА». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.

МУТНОЕ ВРЕМЯ. Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.

КРЕПОСТЬ. Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. № 6, 7.

ЧУР. Роман-сказка. — М.: Московский философский фонд, 1998.

СОСЕДИ. Повесть // Октябрь. 1998, № 10.

ДВА ДОМА И ОКРЕСТНОСТИ. Повесть и рассказы. — М.: Московский философский фонд, 2000.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА. Повесть // Октябрь. 2002. № 9.

КРОКОДИЛ. Роман. — М.: Московский философский фонд, 2002.

ЗАПИСКИ ИЗ ПОЛУМЕРТВОГО ДОМА. Повести, рассказы, радиопьеса. — М.: Прогресс-Традиция, 2003.

КРЕПОСТЬ. Роман. — М.: РОССПЭН, 2004. (Серия «Письмена времени»).

KROKODYL. Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcńska.* — Warszawa: Dialog, 2007.

ГИД. Повесть // Звезда. 2007. № 6.
СОСЕДИ. Арабески. М.: Время, 2007.
KROKODILL: Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3—5.
СМЕРТЬ ПЕНСИНЕРА: Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010.
СТО ДОЛЛАРОВ: Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.
ZWEI ERZÄHLUNGEN. Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012.
НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО. Повествования. М.: Летний сад, 2012.
MORTE DI UN PENSIONATO. Venezia-Mestre: Amos Ediziooni. 2013 *per la tradizione Emilia Magnanini*.
ПОМРАЧЕНИЕ: Роман. М.: Летний сад, 2013.
ПОМРАЧЕНИЕ: Роман // Волга. 2014. № 1—2, 3—4.
КРЕПОСТЬ. Роман. Второе издание (восстановленное). М.: Летний сад, 2015 (в печати).
ЗАПАХ МЫСЛИ. Повесть (*готовится к публикации*).

МОНОГРАФИИ
РУССКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БОРЬБА. — М.: Искусство, 1978.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» Ф. ДОСТОЕВСКОГО. — М.: Художественная литература, 1983.
«СРЕДЬ БУРЬ ГРАЖДАНСКИХ И ТРЕВОГИ...» Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. — М.: Художественная литература, 1988.
В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: ОПЫТ РУССКОЙ КЛАССИКИ. — М.: Московский философский фонд, 1994.
«...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА». РОССИЯ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ: Историософские очерки. — М.: РОССПЭН, 1997.
ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА. *Культурфилософские очерки*. — М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.
RUSIJA JE EVROPSKA ZEMLJA. *Mukotran put ka civilizaciji. Prevela s ruskog Mirjana Grbić*. (Biblioteka XX vek). Beograd, 2001.
ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА. *Культурфилософские очерки*. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.
РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). М.: РОССПЭН, 2001.
РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.: РОССПЭН, 2005. (Серия «Российские пропилеи».)
WILLKÜR ODER FREIHEIT? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. ibidem-Verlag. Stuttgart, 2006.
МЕЖДУ ПРОИЗВОЛОМ И СВОБОДОЙ. К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007 (Серия «Россия. В поисках себя...».)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ХАОСА. М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские Пропилеи».)
DAS WESTLERTUM UND DER WEG RUSSLANDS. Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie. Ediert von Dagmar Herrmann. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010.
«СУДИТЬ БОЖЬЮ ТВАРЬ». ПРОРОЧЕСИЙ ПАФОС ДОСТОЕВСКОГО. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. (Серия «Российские Пропилеи».)

«КРУШЕНИЕ КУМИРОВ», ИЛИ ОДОЛЕНИЕ СОБЛАЗНОВ (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. (Серия «Российские Пропилеи».)

ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ, МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. Очерки // М.: Научно-политическая книга, 2013. (Серия «Актуальная культура».)

РУССКАЯ КЛАССИКА, ИЛИ БЫТИЕ РОССИИ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014 (Серия «Российские пропилеи».)

СБОРНИКИ

РУССКАЯ ЭСТЕТИКА И КРИТИКА 40—50-х ГОДОВ XIX ВЕКА. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982. (История эстетики в памятниках и документах).

А.И. ГЕРЦЕН. ЭСТЕТИКА. КРИТИКА. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ. Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987. (История эстетики в памятниках и документах).

К.Д. КАВЕЛИН. НАШ УМСТВЕННЫЙ СТРОЙ. Статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: Правда, 1989.

МЕТАМОРФОЗЫ АРТИСТИЗМА. Составление, первая статья. М.: РИК, 1997.

Ф.А. СТЕПУН. СОЧИНЕНИЯ. Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: РОССПЭН, 2000.

SIMON L. FRANK. *Licht in der Finsternis. Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie*. Einleitung von Vladimir Kantor: Das „Prinzip des christlichen Realismus“ oder Gegen utopische Willkür. (S. 11—35). Kommentar von Vladimir Kantor (S. 303—304). Verlag Karl Alber. Freiburg/München. 2008. 306 S.

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАН. *Сборник*. Составление, вступительная статья В.К. Кантора — (Серия «Философия России второй половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2009.

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. *Жизнь и творчество*. Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора. (Серия «Социальная мысль России»). М.: Астрель, 2009.

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. *Большевизм и христианская экзистенция*: Избранные сочинения / Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН. *Избранные труды* / Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора. (Серия «Библиотека общественной мысли»). М.: РОССПЭН, 2010.

ФЕДОР АВГУСТОВИЧ СТЕПУН. *Сборник* / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. — (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.

ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ СТРУВЕ. *Сборник* / Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора. (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.

ФЕДОР СТЕПУН. *Письма* / Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем разделам В.К. Кантора. (Серия «Российские Пропилеи»). М.: РОССПЭН, 2013.

Оглавление

1. Писатель и философ Владимир Кантор. Интервью с Виктором Шендеровичем, Радио «Свобода» 26.02.2006.....7

О жизни, выходящей из ряда...

2. Попутное слово27
3. Реальность той стороны луны. Мой дядя Алексей Коробицин, разведчик.....32
4. Как встать вне строя.....59
5. Необходимость «планки», или Преодоление современности (Слово об отце)88
6. *Сергей Бычков, Владимир Кантор. Вспоминая отца Александра...* Современная переписка из двух углов.....99

Просто о жизни

7. Разве это жизнь?.....125
8. О динозавре131
9. Идиотизм российской жизни (Дачные сценки)133
10. Приснится же такое!.....138
11. Построждественский сон.....143

Журнал «Вопросы философии»

12. Иван Фролов, или Человек-эпоха (Выступление на круглом столе в журнале «Вопросы философии»).....147
13. Что-то вроде инициации (Столкновение с Л.Ф. Ильичёвым)154
14. Почти катастрофа, или «В нашей серенькой эстетике...».....166
15. Король Хуан Карлос и философ Хосе (Из истории философского журнала)176
16. Магия слова в эпоху застоя186
17. Могила Чаадаева.....190
18. Фагот (Маленькая модель советской коррупции)197
19. Тамиздат и Старая площадь (О феномене случайного)215
20. Едва не прервавшийся отпуск.....222
21. Синагога, или Машина с мацой228
22. Возможность дышать, или Лекарство от официоза (О словаре «У нас и у них»).....233

Шок Запада

23. Проклятие советолога245
24. Как мы открывали Западную Европу.....250
25. Тот свет, или Простодушие (мой американский опыт: первый визит в Штаты)279

Литературные дела

26. Выживание в системе неподлинности («Два дома»).....305
27. Под постоянным присмотром, или Предсказание на долгие времена.....351
28. Герой «случайного семейства» (О жизни и прозе Владимира Кормера).....366
29. Судьба романа «Крепость» (Нечто почти личное).....392
30. Как взрослеет мальчик (Интервью с Еленой Погорелой)421

- Об авторе427

Научное издание

Кантор Владимир Карлович

**Посреди времен,
или Карта моей памяти**

*Литературно-философские опыты
(жизнь в разных срезах)*

Макет и оформление Ю.В. Балабанов

Корректор М.П. Крыжановская

По издательским вопросам обращаться:

«Центр гуманитарных инициатив»

e-mail: unikniga@yandex.ru, unibook@mail.ru.

Руководитель центра Соснов П.В.

Комплектование библиотек, оптовая продажа в Санкт-Петербурге

ООО «Университетская книга-СПб»

Тел. (812)640-08-71, e-mail: uknigal@westcall.net

в Москве ООО «Университетская книга-СПб»

Тел. (495)915-32-84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:

магазин «Книжный окоп»

В.О., Тучков пер., 11. Тел.: (812)323-85-84

Подписано в печать 24.11.2014

Формат 60x90/16 Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 27. Усл. печ. л. 27.

Тираж 1000 экз. (первый завод 500 экз.)

Заказ №

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpk.ru. E-mail: marketing@chpk.ru

факс 8(496) 726-54-10, тел. 8 (495)988-63-87